

Семь искусств 6/2015



Журнал

Редактор Евгений Беркович

СЕМЬ ИСКУССТВ

Наука

Культура

Словесность

6/2015

Журнал

**«Семь искусств»
№ 6 (63) 2015**

Редактор и составитель
Евгений Беркович

Художник
Дорота Белас



Семь искусств
Ганновер 2015

Журнал «Семь искусств» № 6 (63) /2015 — Ганновер:
Семь искусств. 2015. — 401 с., 23,8 а.л.

«Семь свободных искусств – основа воспитания, которое надлежит
давать не для практической пользы, но потому, что оно достойно
свободнорожденного человека и само по себе прекрасно».
Аристотель. "Политика".



Семь искусств
Ганновер 2015

Оглавление

<i>Альфонс Декандоль</i> О преобладающем языке для науки. Перевод <i>Оскара Шейнина</i>	5
<i>Василий Демидович</i> Юрий Лучко	15
<i>Юрий Моор-Мурадов</i> По какому цеху числить Юлия Кима?	27
<i>Давид Бен-Гершон (Черногуз)</i> О роли пустяков в дружбе. Литературно-психологическое исследование по письмам Арнольда Шёнберга и Василия Кандинского	30
<i>Павел Нерлер</i> Посланы с того света: Солагерники Осипа Мандельштама Публикация вторая	51
<i>Дмитрий Бобышев</i> Человекотекст. Трилогия Книга первая. "Я здесь"	73
Борис Тененбаум 96 Брак по расчету, в котором оказался изъян. Глава из новой книги "Израильские войны"	96
<i>Владимир Фрумкин</i> «Приключении» с «Молчанием», или — перефразируя Коржавина — Баллада об историческом недокорме	104
<i>Владимир Бабицкий</i> Классическая музыка в различных сопровождениях	115
<i>Артур Штильман</i> Коллеги моего отца. Из глав, не вошедших в книгу воспоминаний о Москве	129
<i>Антон Зверев</i> Правила творческого беспорядка, или «Орленок»: эксперименты со свободой	145
<i>Дарья Ярош</i> Полынный альбом	161
<i>Генрих Тумаринсон</i> Труднее всего	175
<i>Мишель Деза</i> Причины тают	183
<i>Марианна Гончарова</i> В ожидании конца света	191
<i>Анатолий Николин</i> Возьми сына твоего. Главы из новой книги	294
<i>Мари де Франс, Вероника Долина</i> Двенадцать "повестей" Марии Французской. Предисловие и перевод <i>Вероники Долиной</i>	306

<i>Ян Пробиштейн</i>	
Эмили Дикинсон (1830-1886) в переводах Яна Пробиштейна	345
<i>Джером Дэвид Сэлинджер</i>	
Океан полон кегельных шаров. Перевод Якова Лотовского	352
<i>Виктор Каган</i>	
Определение себя	361
<i>Шуламит Шалит</i>	
Я помогаю солнцу рисовать. Штрихи к портрету Эльзы Ласкер-Шюлер (1869-1945)	369
<i>Игорь Ефимов</i>	
Закат Америки. Саркома благих намерений	385

Альфонс Декандоль

О ПРЕОБЛАДАЮЩЕМ ЯЗЫКЕ ДЛЯ НАУКИ

Перевод Оскара Шейнина

Alphonse De Candolle, On a dominant language for science, this being chapter 5 of his *Histoire des sciences et de savants depuis deux siècles*. Genève, 1873.
Annual Report Smithsonian Instn for 1874, 1875, pp. 239-248.

Перепечатка перевода из
Annals and Mag. of Nat. History, ser. 4, No. 11 (год не указан)

[1] Во времена Возрождения все европейские учёные употребляли латинский язык. Римская католическая церковь бережно сохраняла его, и ни один из современных языков в то время не предоставлял достаточно богатой литературы, чтобы стать его соперником. Позже Реформация нарушила поддерживаемое влиянием католической церкви единство.

Итальянский, испанский, французский и английский языки один за другим обогатились устойчивыми идиомами и приобрели обширную литературу всякого рода. И, наконец, 80 или не более 100 лет назад успехи науки привели к ощущению неудобства применения латинского языка. Это был мёртвый язык, а кроме того он был недостаточно ясен ввиду своих инверсий [см. пояснение], сокращённых слов и отсутствия артиклей. В то время существовало распространённое желание описать многочисленные совершённые открытия, объяснять и обсуждать их без необходимости искать слова. Почти всеобщее давление этих обстоятельств оказалось причиной применения современных языков в большинстве наук, хотя естественная история оставалась исключением. В ней всё ещё употребляется латинский язык, хотя только в описаниях, в специальной технической части, в которой число слов ограничено и конструкция предложений очень регулярна.

По правде говоря, что сохранили естествоиспытатели, так это латинский язык Линнея, каждое слово которого имеет точное значение, каждое предложение логично и ясно, притом в таком виде, в котором его не применил ни один римский автор. Линней не был языковедом, даже современные языки он знал недостаточно и очевидно, что он преодолевал многие трудности, когда писал на латинском языке. Имея весьма ограниченный словарь и склад ума, который равно восставали против периодов [см. пояснение] Цицерона, и сдержанности Тацита, он сумел создать язык, точный в своей терминологии, подходящий для описания форм и понятный студентам. Он никогда не применял термина, не определив его.

Отказ от этого специального языка учёного шведа означал бы, что описания окажутся менее ясными и менее доступными учёным всех стран. Если мы попытаемся перевести на латинский язык Линнея некоторые предложения о современной флоре, написанные на английском или немецком языках, то быстро ощутим недостаточную ясность. В английском языке *smooth* равным образом относится к *glaber*

и *laevis*¹. На немецком языке строение предложений, указывающих родовые или иные отличительные признаки, иногда так запутано, что в некоторых случаях я обнаружил, что немец, хороший ботаник, который лучше меня знал оба языка, не смог перевести их на латинский. И положение было бы ещё хуже, не введи авторы много чисто латинских слов в свой язык. Но, за исключением параграфов, относящихся к отличительным признакам, и всех мест, где речь идёт о последовательности явлений или теорий, превосходство современных языков несомненно. Именно поэтому даже в естественной истории латинский с каждым годом применяется всё реже.

Однако, утеря связи, ранее установленной между учёными всех стран, стала чувствоваться, так что появилось совсем несбыточное предложение создать какой-то искусственный язык, который был бы для всех народов тем же, что письмо для китайцев². Он должен был быть основан на мыслях, а не на словах. Эта проблема оставалась никак не решённой; будь решение возможным, оно оказалось бы таким сложным, таким негибким и негодным, что быстро вышло бы из употребления³.

[2] Нужды и обстоятельства каждой эпохи приводили к предпочтению одного или другого европейского языка в качестве средств общения образованных людей всех стран. Два столетия эту услугу оказывал французский язык. Ныне различные причины видоизменили его применение в других странах, и почти повсеместно утвердилась привычка, что каждая нация должна применять свой собственный язык.

Таким образом, мы оказались в периоде смятения. Что считается новым в одной стране, не таково для тех, кто читает книги на других языках. Изучать живые языки оказывается всё более и более напрасным, потому что никогда не будешь знать полностью, что публикуется в других странах⁴. Очень немногие владеют более, чем двумя языками, а если постараться перейти в этом отношении некоторую границу, украдём своё время у других занятий; существует точка, за которой изучение средств познания препятствует нашей образованности. Многоязычные обсуждения и переговоры не соответствуют пожеланиям тех, кто пытается их устраивать.

Я убеждён, что несудобство подобного состояний будет ощущаться всё сильнее и сильнее, и я полагаю, судя по примеру греческого, который употребляли римляне, и французского в современности, что нужда в преобладающем языке признаётся почти всегда; к этому по необходимости возвращаются после каждого периода анархии. Чтобы понять это, мы должны рассмотреть причины, по которым язык становится предпочтителен, равно как и те, которые приводят к его распространению несмотря на его любые возможные недостатки. Так, в XVII и XVIII веках по всей Европе существовали побуждения предпочесть французский латинскому.

Это был язык, на котором говорила большая часть образованных людей того времени, достаточно простой и очень ясный. Он имел преимущество быть схожим с латинским, который был тогда широко известен. Англичанин и немец были уже наполовину знакомы с французским ввиду своего знания латинского; испанец и итальянец были впереди на три четверти. Весь мир понимал обсуждения, проводимые на французском языке, а также книги, написанные на нём или переведённые на французский.

[3] В нынешнем веке цивилизация намного продвинулась севернее Франции, и население возросло там больше, чем южнее. Употребление английского языка удвоилось ввиду его распространения в Америку. Науки всё более и более развиваются в Германии, Англии, в Скандинавских странах и России, научный

центр тяжести сместился с юга на север. Под влиянием этих новых условий язык может стать преобладающим, если обладает двумя отличительными признаками. Во-первых, он должен включать достаточное число немецких и латинских слов или форм, чтобы сразу оказаться близким для немцев и народов, употребляющих романские языки. Во-вторых, на нём должно говорить значительное большинство цивилизованных людей.

Дополнительно к этим двум существенным условиям для решающего успеха языка хорошо, если он также обладает грамматической простотой, краткостью и ясностью. Единственный язык, который через 50 или 100 лет сможет удовлетворять всем этим условиям, это английский. Этот язык наполовину немецкий и наполовину романский. В нём есть немецкие слова и формы, а также французские слова и он применяет французский метод построения предложений. Он является переходным между основными языками, ныне употребляемыми в науке, как французский раньше был переходным между латинским и несколькими современными языками.

Будущее распространение англо-американского языка очевидно. Это станет неизбежным ввиду движения населения в обоих полушариях. Вот доказательство, которое легко привести в нескольких словах и цифрах. В настоящее время население таково⁵ (*Almanach* 1871):

Англо-говорящие в Англии, 31 млн; в США, 40 млн; в Канаде и пр., 4 млн; в Австралии и Новой Зеландии, 2 млн, всего 77 млн.

Говорящие на немецком языке в Германии и части Австрии, 60 млн; немецкие кантоны в Швейцарии, 2 млн, всего 62 млн.

Франко-говорящие во Франции, 36.5 млн; во французской части Бельгии, 2.5 млн; во французских кантонах Швейцарии, 0.5 млн; в Алжире и колониях, 1 млн, всего 40.5 млн.

Судя по возрастанию в этом веке, мы можем оценить вероятный рост населения (*Almanach* 1870, р. 1039). В Англии, оно удваивается каждые 50 лет и через столетие, к 1970 г., достигнет 124 млн [$124:31 = 4$].

В США, Канаде, Австралии оно удваивается каждые 25 лет, и там будет 736 млн [$736:46 = 16$], а всего вероятная численность англоговорящих достигнет к 1970 г. 860 млн.

В Германии, северное население удваивается в 56-60 лет, на юге — в 167 лет⁶, в среднем, допустим, 100 лет. В 1970 г. вероятное население в странах немецкого языка будет около 124 млн [$62 \times 2 = 124$].

Во франко-говорящих странах население удваивается примерно за 140 лет и поэтому вероятно достигнет в 1970 г. 69.5 млн [$69.5:40.5 = 1.7$; $100:140 = 0.7$].

Итак [...], говорящих по-немецки будет в семь раз, а по-французски в 12 или 13 раз меньше, чем по-английски и вместе они не составят четвертиговорящих по-английски. И тогда немецкие или французские страны будут относиться к странам английского языка как Голландия или Швеция сейчас относятся к ним самим. Я вовсе не преувеличил рост англо-австралийско-американского населения; судя по площади стран, которые они занимают, они будут долго соразмерно размножаться. Кроме того, английский язык более любого другого рассеян по всей Африке и Южной Азии.

Сознаю, что Америка и Австралия — это страны, в которых культура литературы и наук ещё не так продвинуты, как в Европе, и вероятно, что какое-то время сельское хозяйство, торговля и промышленность будут поглощать всю самую актив-

ную энергию. Я это признаю. Но равным образом верно, что столь значительное множество интеллигентных и образованных людей будет вообще решающим образом влиять на мир. Эти новые люди, англичане по происхождению, смешаны с немецким элементом, который по интеллектуальным наклонностям уравнивает ирландцев⁷.

В общем, они относятся с исключительным рвением к обучению и приложению открытий. Они много читают. В обширном населении сочинения, написанные на английском языке или переведенные на него, должны очень хорошо распродаваться. В отличие от сочинений на французском и немецком языках, это поощрит авторов и переводчиков. Мы в Европе знаем, как трудно публиковать книги по серьёзным дисциплинам, но откройте издателям громадный рынок, и книги по самым специальным темам начнут продаваться. Когда переводы начнут читать вдесятеро больше читателей, чем сейчас, ясно, что будет переведено большее число книг, что немало поспособствует преобладанию английского языка. Многие французы уже покупают английские переводы немецких книг, так же, как итальянцы покупают переводы на французский. Если английские или американские издатели воспримут мысль о переводе на их язык лучших сочинений, которые сейчас появляются на русском, шведском, датском, немецком и т. д. языках, они удовлетворят население, рассеянное по всему свету и особенно многих немцев, которые понимают английский. И мы ещё только на пороге количественного преобладания англо-говорящих населений.

[4] На первый взгляд природа языка не влияет существенно на его распространение. Французский оставался предпочтительным в течение двух веков, хотя итальянский был таким же ясным, более изящным и стройным, более сходным с латинским и какое-то время обладал примечательной литературой. Причинами предпочтения французского были количество и активность французов и географическое положение их страны. Однако, качества языка, особенно те, которые предпочитают современные читатели, не лишены влияния. В настоящее время восхищаются краткостью, ясностью и грамматической простотой. Нации, по крайней мере наши индоевропейские народы, начали выражаться малопонятно и сложно, но со временем упростили и уточнили свои языки. Санскрит и баскский, два очень древних языка, слишком усложнены, более, чем греческий и латинский. Языки, происшедшие от латинского, облечены в более ясные и более простые формы. Я не знаю, как философы объясняют явление сложности языка в древности, но она несомненна. Легче понять последующее упрощение. Когда приходят к более простому и удобному методу действия или разговора, он естественно предпочитается. Кроме того, цивилизация поощряет личную активность, а это приводит к необходимости краткости слов и предложений. Успех наук, частые контакты лиц, говорящих на разных языках и испытывающих трудности в понимании друг друга, приводят ко всё более настоятельной необходимости ясности. Чтобы избежать ощущения нелепости в конструкции од Горация, необходимо получить классическое образование. Переведите их буквально необразованному рабочему, оставляя каждое слово на своём месте, и это для него окажется как бы устройством входной двери на третьем этаже. Этот язык уже невозможен даже в поэзии.

Не все современные языки имеют ныне требуемые преимущества ясности, простоты и краткости в равной степени. Во французском слова короче и глаголы менее сложны, чем в итальянском, что по всей вероятности способствовало его успеху. Немецкий не претерпел современной революции, в соответствии с которой каждое предложение или его часть начинается с основного слова, и слова тоже разделены на

две разбросанные части. У него три рода, тогда как во французском и итальянском только два. Спряжение многих глаголов довольно сложное. И тем не менее современные тенденции влияют на немцев, и ясно, что их язык немного видоизменяется. В особенности авторы научной литературы усиленно стараются выразаться непосредственным образом и применять краткие фразы по образцу других стран.

Аналогично, они забросили готический шрифт. Переписываясь с незнакомыми людьми, они часто из вежливости употребляют латинский алфавит. Они охотно включают в свои публикации термины, перенесенные из иностранных языков, видоизменённые иногда лишь по форме, но иногда значительно. Это подтверждает существование современного духа и просвещённого суждения столь многочисленных учёных Германии. К сожалению, видоизменение форм имеет малое значение, а существенные изменения происходят очень медленно.

[5] Более практичный английский язык сокращает предложения и слова, охотно, как и немцы, перенимает иностранные слова, но *кабриолет* становится *кэбом*, а из *меморандума* производится *мемо*. Этот язык употребляет только необходимые и естественные времена, настоящее, прошедшее и будущее и условное [наклонение]. Нет произвольного различия родов; одушевлённые объекты имеют мужской или женский род, другие — нейтральны. Обычное построение фразы настолько уверенно начинается с основной мысли, что в разговоре часто можно обойтись без надобности заканчивать предложение. Основной недостаток английского языка сравнительно с немецким или итальянским заключается в абсолютно беспорядочном правописании, настолько нелепом, что детям нужно целый год учиться читать⁸. Произношение недостаточно отчётливо и недостаточно определённо. Я не последую за мадам Санд в её забавных проклятиях по этому поводу, но в её словах есть правда. Гласные недостаточно чётки. Однако, несмотря на эти недостатки, английский, как сказала та же умная женщина, это достаточно определённый язык, точно такой же ясный, как любой другой, по крайней мере если англичане захотят пересматривать свои рукописи, что они не всегда делают, они же так спешат!

Английские термины приспособлены к современным нуждам. Если вы хотите окликнуть судно, крикнуть поезду *стоп!*⁹, объяснить машину, продемонстрировать физический опыт, или обойтись несколькими словами в разговоре с занятыми и практическими людьми, это — наилучший язык. По сравнению с итальянским, с французским и прежде всего с немецким, для говорящих на нескольких языках английский предлагает кратчайший путь от одной темы к другой.

Я наблюдал это в семьях, в которых одинаково хорошо знают два языка, что часто происходит в Швейцарии. Если эти языки — немецкий и французский, то последний почти всегда побеждает. Почему? Я спросил у швейцарца, немецкого швейцарца из Женевы. *Вряд ли могу сказать*, — ответил он. — *Дома мы говорим по-немецки, чтобы мой сын упражнялся в языках, но он каждый раз переходит на французский язык своих товарищей. Он короче и потому более удобен.*

До событий 1870 г.¹⁰ крупный эльзасский предприниматель послал своего сына учиться в Цюрих. Я полюбопытствовал, почему?

— *Мы не можем склонить своих детей говорить по-немецки, который им знаком точно как французский. Я послал своего сына в Цюрих, где говорят только по-немецки, чтобы он был вынужден говорить на нём.*

В таких предпочтениях мы не должны искать объяснений в настроениях или причудах. Если есть выбор между двумя дорогами, одной из них прямой и от-

крытой, второй — извилистой и трудно отыскиваемой, наверняка, почти без раздумий, пойдёшь по более короткой и более удобной.

Я также наблюдал семьи, в которых двумя в равной мере знакомыми языками были английский и французский. В таких случаях английский оставался главным даже во франко-говорящих странах. Он переходит из поколения в поколение, его употребляют те, которые спешат или хотят что-то сказать как можно более кратко. Цепкость французских и английских семей, поселившихся в Германии, в употреблении своего собственного языка и быстрое исчезновение немецкого в немецких семьях, поселившихся во французских или английских странах, можно скорее объяснить сутью языков, а не влиянием моды или образования.

Вот общее правило: при столкновении двух языков при прочих равных условиях побеждает более краткий и более простой. Французский побеждает итальянский и немецкий, английский одерживает победу над другими. Короче, следует только сказать, что чем язык проще, тем легче его выучить и тем быстрее он может с пользой употребляться.

Английский язык имеет ещё одно преимущество при домашнем употреблении: его литература наиболее подходит женскому вкусу, и каждый знает, как велико влияние матери на язык детей. Они не только учат тому, что называется *языком матери*¹¹, но часто, если хорошо образованы, им приятно говорить с детьми на иностранном языке. И они так и делают, радостно и изящно. Молодой парень, который считает, что его учитель иностранных языков строг, что его грамматика надоедлива, думает совсем иначе, когда его мать, сестра или подруга сестры обращаются к нему на каком-либо иностранном языке. Часто это окажется английским, и по самой лучшей причине: нет такого языка, столь богатого сочинениями (написанными в духе истинной этики) по темам, столь интересным для женщин: религия, образование, художественная литература, биографии, поэзия и т. д.

[6] Будущее преобладание языка, на котором говорят англичане, австралийцы и американцы, таким образом, как мне представляется, обеспечено. К этому приводит сила обстоятельств, а суть самого языка должна ускорить это движение. Народы, говорящие по-английски, поэтому отягощены ответственностью, которую им хорошо бы сразу признать. Это — моральная ответственность перед цивилизованным миром предстоящих веков. В их обязанности, а также интересах сохранить нынешнее единство языка, в то же время допуская необходимые или подходящие видоизменения, которые могут возникнуть под влиянием заслуженных писателей или принятых по общему согласию.

Следует опасаться, что до окончания следующего столетия английский язык расколется на три части, которые будут относиться друг к другу как итальянский, испанский и португальский или как шведский и датский. Некоторые английские авторы одержимы желанием составлять новые слова; несколько слов придумал Диккенс. Но в то же время английский язык уже имеет намного больше слов, чем французский, а история литературы показывает, что необходимость пресекать слова настоятельнее, чем добавлять их к общему запасу.

За три последних столетия ни один писатель не употребил так много различных слов как Шекспир, так что должно было быть [было появиться] много ненужных. Вероятно каждая мысль и каждый объект имели раньше термины саксонского происхождения, и ещё один — латинского или французского, не считая кельтских или датских слов. Весьма логическое действие времени состояло в пресече-

нии двойных или тройных слов, так зачем восстанавливать их? Народ, столь экономный при использовании слов, не нуждается более, чем в одном термине для каждой вещи¹².

С другой стороны, американцы вводят новые ударения или правописание и австралийцы начнут поступать так же, если не поостерегутся. Почему бы всем не возыметь благородное честолюбие в предоставлении миру одного краткого языка, поддержанного огромной литературой, на котором в будущее столетие будут говорить 800 — 1000 миллионов цивилизованных людей?

Для других языков английский окажется как бы громадным зеркалом, в котором каждый будет отражён, ввиду газет и переводов, и все друзья интеллектуальной культуры обнаружат удобное средство для обмена идеями. Это окажет замечательную услугу будущим народам, и в то же время авторы и учёные англо-говорящих народов будут сильнее желать продвижения своих собственных идей. Прежде всего в этой устойчивости заинтересованы американцы, поскольку их страна окажется самой важной из англо-говорящих. Как они станут оказывать большее влияние на старую добрую Англию, если не разговаривать в точности на её языке?¹³

Свобода действий, разрешённая повсюду у англичан, усиливает опасность разделения языка. К счастью, однако, определённые причины, которые раскололи латинский, не существуют для английских народов. Римляне покорили другие народы, идиомы которых сохранились или появлялись здесь и там несмотря на административную общность. Американцы и австралийцы, напротив, имеют перед собой только дикарей, которые исчезают бесследно¹⁴. Римляне были в свою очередь побеждены и разделены варварами. Никаких свидетельств единения в их древней цивилизации не сохранилось, разве только в церкви, которая сама испытала влияние всеобщего упадка.

[7] У американцев и австралийцев много процветающих школ, и у них английская литература, равно как и своя собственная. Если захотят, они смогут оказывать своё влияние сохранением единства языка. Они имеют такую возможность ввиду определённых обстоятельств. Так, учителя и профессора в основном происходят из штатов Новой Англии. Если эти влиятельные люди правильно представляют себе судьбу своей страны, они предпримут все усилия, чтобы передавать язык в его чистоте; они будут следовать классическим авторам и отбрасывать местные нововведения и выражения. В вопросе языка истинный патриотизм (или, если угодно, патриотизм американцев, действительно решивших заботиться о своей стране) должен состоять в употреблении английского языка старой доброй Англии, в подражании произношению англичан и применении их причудливого правописания пока сами англичане не изменят его. Если им удастся добиться этого у своих сограждан, они окажут всем нациям включая свою собственную несомненную услугу для будущего.

Пример Англии доказывает влияние образования на единство языка. Обычные контакты образованных людей и чтение тех же книг понемногу приводит к исчезновению шотландских слов и акцента. Через несколько лет язык по всей Великобритании станет единым¹⁵. Основные газеты, издаваемые умелыми людьми, также оказывают счастливое влияние на сохранение единства. Целые колонки в *Таймсе* написаны на языке Mascaulay и Bulweg и читаются миллионами. В результате создаётся впечатление, которое поддерживает сознание общества в должном отношении к литературе.

В Америке газетные статьи написаны не так хорошо, но школы доступны всем классам, а среди университетских профессоров есть лица, превосходно владеющие английским языком. Если когда-либо возникнет сомнение по поводу взглядов обеих стран о желательности изменения правописания или даже изменений в языке, было бы превосходно организовать встречу делегатов из основных университетов Трех Королевств, Америки и Австралии, чтобы предложить и обсудить подобные изменения. У них несомненно хватит здравого смысла, чтобы принять как можно меньше нововведений, и их совет будет вероятно воспринят с общего согласия. Несколько видоизменений в правописание уже облегчат английский язык посторонним и будет способствовать сохранению единства в произношении по всем англо-американским странам.

Замечания доктора Джона Эдварда Грея (Британский Музей)

Эти замечания посвящены лишь одной, пригом второстепенной теме, а именно иллюстрации гораздо большего числа читателей научной литературы в Англии по сравнению с континентальной Европой. В частности, он указывает, что сочинения известнейшего геолога Лайелля и других естествоиспытателей расходились в Англии в тысячах экземплярах и что многие иностранные учёные публикуют свои статьи на английском языке или сопровождают их английскими резюме. Наконец, он сообщает, что Гальтон (1873, с. 346) оставил *интересные замечания* о работе Декандоля.

Сведения об упомянутых лицах, терминах и пр.

Bulwer-Lytton E. G. E. L., 1803-1873, писатель

Macauley T. B., 1800 — 1859, поэт, историк, политический деятель.

Sand G., псевдоним писательницы Авроры Дюпен

Инверсия: изменение обычного порядка слов в предложении

Период: пространное сложноподчиненное предложение

Новая Англия: общее название шести штатов США, расположенных на северо-востоке страны

Три Королевства: старинное название современного Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии; королевства Англии, Шотландии и Ирландии

Примечания

1. В ботанике *glaber* означает оголённый или не волосатый [...], а *laevis* – мягкий, ровный. Я знаю, что оба эти термина были [иногда] небрежно переведены словом *мягкий*, как на это и намекает автор. Д. Э. Г.

2. Китайский язык насчитывает семь весьма различных диалектов. О. Ш.

3. Искусственные языки были всё-таки созданы, и самый известный из них — эсперанто. Он, конечно же, не заменил ни одного естественного языка, но какое-то распространение всё же получил. О. Ш.

4. Странное утверждение, которое не стоит даже того, чтобы его опровергать. О. Ш.

5. Не учтены англо-говорящие в Индии и на Востоке. Д. Э. Г.

6. Громадное различие в этом отношении между регионами Германии видимо было как-то объяснено. О. Ш.

7. Массовый приток ирландцев в США начался в середине XIX в., и вызван он был отчаянным положением в их родной стороне. В основном этими ирландцами были полуграмотные крестьяне. О. Ш.

8. Будучи как-то удивлён медленному обучению английских интеллигентных детей чтению, я осведомился о причинах этого. Оказалось, что каждой букве соответствует несколько звуков, или, можно сказать, каждый звук записывается различными путями. Необходимо поэтому научиться читать каждое слово в точности, а это — работа для памяти. Автор

9. Скорость первых поездов (всего несколько вагончиков) была ничтожна, но о подобном обычае мы не слышали. О. Ш.

10. До 1870 г. означает до франко-прусской войны. О. Ш.

11. *Mother tongue*, первый язык матери, родной язык. О. Ш.

12. Умный английский автор только что выпустил том об институтах народа, который в Англии зовётся швейцарцами (Swiss), он же называет их Switzers. Почему? И не появятся ли вскоре Deutchers вместо Deutsch? Автор

13. Рассуждение автора противоречит здравому смыслу и опровергнуто историей языка. Не мог язык оставаться неизменным, да и никому этого и не нужно было. До раскола языка дело никак не дошло, но во многих местах применяются его упрощенные, т. е. искажённые формы в качестве *lingua franca*, средства общения людей, разговаривающих на разных языках. Особо известен среди этих форм так называемый Pidgin English. На с. 86 Дополнений к толковому словарю английского языка проведено различие между семью диалектами языка (американский диалект почему-то не включён). Наконец, ни сам Декандоль, ни указанный словарь ничего не говорят о существовании диалектов в самой Англии.

Покойный профессор Трусдел, крупнейший физик и механик, историк этих наук и прекрасный знаток *американского диалекта английского языка*, сообщил нам как-то, что чувствует себя как бы в последнем околе защитников его чистоты от новых иммигрантов. О. Ш.

14. *Дикари* действительно вымидали. Во-первых, *бледнолицые* были носителями слабой степени неизвестных им болезней (оспы) и заражались ими. Во-вторых, привыкшие к постоянному укладу жизни, они морально растерялись и оказались бессильными против пьянства (Дарвин). Наконец, новые пришельцы активно содействовали этому процессу, так как нуждались в новых землях. О. Ш.

15. Это предсказание автора не сбылось. О. Ш.

Библиография

Almanach (1870), *Almanach de Gotha*. Gotha.

— (1871), *Almanach de Gotha*. Gotha.

Galton Fr. (1873), On the causes which operate to create scientific men, *Fortnightly Review*, vol. 13, pp. 345-351.

Lalande J. de (1802/1803), *Bibliographie astronomique*. Osnabrück, 1985.

Sheynin O., Шейнин О. Б. (1980), On the history of the statistical method in biology. *Arch. Hist. Ex. Sci.*, vol. 22, pp. 323 — 371.

— (1986), Quetelet as a statistician. *Ibidem*, vol. 36, pp. 281 — 325.

— (2007), Третья хрестоматия по истории теории вероятностей и статистики. Берлин. Также www.sheynin.de download No. 16.

В начале своей деятельности швейцарский учёный Альфонс Декандоль (1806-1893) занимался юриспруденцией, но в основном стал известен своими последующими работами по бо-

танике. Став одним из основателей географии растений, он естественно интересовался и статистикой. В 1833 г. он, правда, неверно отождествил её с количественным методом, но в 1873 г. указал, что главное — не накапливать чисел, а *подчинять их законам логики и здравого смысла*, см. соответственно Шейнин (1980, с. 331 — 332; 1986, с. 286).

По поводу переведенной статьи Декандоля мы здесь добавим только, что в России в те времена основным иностранным языком был французский. Вот характерный эпизод. В конце XIX в. готовилось издание собрания сочинений Чебышёва, которое вышло в 1899 — 1907 гг. на французском и русском языках. Отвечая Маркову, одному из редакторов, по поводу своего участия в издании в качестве переводчика, Ляпунов (письмо 28 окт. 1895 г., Архив РАН, ф. 173, опись 1, 11, № 12; также Шейнин (2007, § 5.5, Письмо 81)) сообщил, что считает русское издание *излишней роскошью*, потому что *всякий математик в состоянии читать по-французски*. По крайней мере в гимназиях изучался, видимо так же серьезно, немецкий язык, английский же начал побеждать лишь в XX веке, да и то далеко не сразу. Возможно, что одними из первых его начали изучать статистики ввиду необходимости знакомиться с сочинениями биометрической школы.

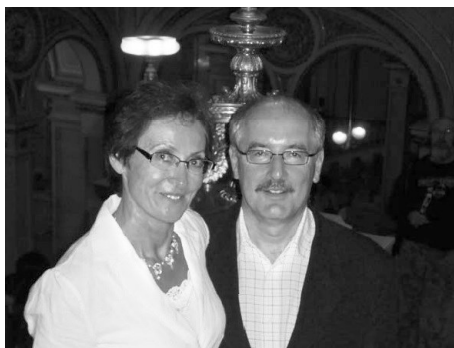
И вот эпизод, относящийся к немецкому языку. После появления в 1776 г. немецких астрономических работ Даниила Бернулли и Ламберта, Лаланд (1802/1803, 1985, с. 539) заметил: *С этого момента астрономам следует изучать немецкий*.



Василий Демидович ЮРИЙ ЛУЧКО

В конце мая 2012 года у меня была недельная командировка в Высшую техническую школу Берлина (точнее, в «Beuth Hochschule für Technik Berlin», или кратко «ВНТВ» — слово "Beuth" добавлено потому, что это престижное государственные высшее учебное заведение Германии названо в честь реформатора Прусского образования Christian Peter Wilhelm Friedrich Beuth'a (1781-1853)). Там я встретился с выходцем из Белоруссии, профессором математики ВНТВ Юрием Лучко (Yuri Luchko). Поскольку я давно знал Юрия, в своё время окончившего «Колмогоровский интернат» при Мехмате МГУ (ныне СУНЦ МГУ), то мне показалось интересным взять и у него интервью. Юрий охотно согласился на нашу беседу «под диктофон», любезно предложив мне провести её у него на даче. И вот мы втроем — Юра, его жена Юлия и я — в тёплый субботний день отправились на машине на эту дачу, расположенную в живописном местечке Мельхов (Melchow), километров в сорока от их Берлинской квартиры. Там, в непринуждённой обстановке, и состоялся наш с Юрием разговор.

Ниже приводится распечатка моей беседы с Юрием Лучко.



ИНТЕРВЬЮ С ЮРИЕМ ЛУЧКО

В.Д.: Дорогой Юра. Мы с тобой давно знакомы, и потому я буду к тебе обращаться на «ты».

Сначала расскажи, как ты появился в Москве в Колмогоровском интернате при Мехмате МГУ? Как тебя отобрали для этой учёбы?

Ю.Л.: Да, это хороший вопрос. И ответ на него, в принципе, довольно длинный. Но я постараюсь, всё-таки, выразаться покороче.

Всё началось, на самом деле, с моих родителей. Оба они были учителями математики в сельской школе. В сельской школе деревни Словатичи Гродненской области в Белоруссии.

Мой папа, Фёдор Юлианович, особенно интересовался математикой. К сожалению, в тяжёлое послевоенное время ему рано пришлось прервать свою учёбу и пойти зарабатывать деньги сельским учителем. Но интерес к математике он сохранил на всю жизнь. И ещё с дошкольного моего возраста, он старался заинтересовать меня математикой. Рассказывал мне интересные вещи, ставил задачи... И я, постепенно, заинтересовывался математикой. Она стала меня привлекать. Я стал читать популярную математическую литературу... И всё это произошло «с подачи отца»...

В.Д.: А легко ли было купить популярную математическую литературу в Белоруссии в твоё время? Много ли там её издавалось?

Ю.Л.: В советские времена в Белоруссии была та же ситуация, что и в России. То есть, популярная литература в магазинах была, и она была доступна по цене. Такие книжки стоили 10-20 копеек...

В.Д.: И продавались они не только в Гродно, но и в маленьких селениях, да?

Ю.Л.: Во всяком случае, у нас в райцентре они продавались...

В.Д.: В райцентре, понятно.

Ю.Л.: Да, в райцентре их можно было купить.

Я стал решать олимпиадные задачи. Это было мне просто интересно. Отец мне сначала помогал. Потом я стал решать задачи лучше его и стал участвовать в олимпиадах. Ну, на районном уровне сначала. Потом я стал выигрывать областные олимпиады, республиканские. И в 8-ом классе попал на Всесоюзную олимпиаду от Белоруссии.

В.Д.: Это в каком году получается?

Ю.Л.: Это было в 1978-ом году.

В.Д.: Хорошо!

Ю.Л.: На этой Всесоюзной олимпиаде я получил «второй диплом»...

В.Д.: Олимпиада состоялась в Москве?

Ю.Л.: Нет, она проходила в Ташкенте.

Это была моя, можно сказать, первая поездка за пределы Белоруссии. Всё мне было очень интересно.

Я выступил успешно на этой олимпиаде. Получил даже специальный приз за решение наиболее трудной задачи. И мне там вручили подписку на журнал «Квант» с подписью самого Кикоина.

В.Д.: Круто!

Ю.Л.: Я до сих пор храню эту подписку.

Ну, и как лучший из команды Белоруссии, я получил там ещё кучу других призов. И всё это произошло в 8-ом классе. Хотя путь к этому, как я уже сказал, был довольно долгим.

После этой олимпиады меня заметили. А тогда была общая практика, что победители Всесоюзной олимпиады, получившие первые, вторые и третьи дипломы, приглашались в специальные физматшколы в различные города страны.

Белорусы традиционно приглашались в Москву, в Колмогоровскую школу-интернат № 18. И я тоже получил приглашение там учиться.

На самом деле там был какой-то отбор и экзамены, но победителей Всесоюзной олимпиады зачисляли без экзаменов. Вот я и решил поехать на учёбу в этот интернат. И был зачислен туда без экзаменов.

В.Д.: И сколько лет ты проучился в этом Интернате?

Ю.Л.: В Интернате тогда учились только в двух старших классах. Тогда это был 9-ый и 10-ый классы... Насколько я знаю, и теперь в нём учатся, также, только в двух старших классах...

В.Д.: Значит, ты учился в Москве два года.

Ю.Л.: Два года, да.

В.Д.: После обучения в этом Интернате ты поступил в БГУ. А не было ли у тебя желания учиться далее на Мехмате МГУ? И кто-нибудь из твоих одноклассников не поступил ли на Мехмат МГУ?

Ю.Л.: В Интернате был довольно солидный уровень образования, хорошие преподаватели и, естественно, хорошие дети, с которыми можно было заниматься. Так что уровень подготовки позволял выпускникам Интерната, практически, в 99% случаев, поступить в ведущие московские ВУЗы. И основная часть моих одноклассников, примерно 90%, действительно, туда и поступила... Некоторые в МГУ, на Мехмат или Физфак. Некоторые в МФТИ. Некоторые в МИФИ...

Я же решил вернуться в Белоруссию. По двум причинам.

Во-первых, сказалась, конечно, тяга на родину.

Во-вторых, год моего поступления — 1980-й — был годом Олимпиады в Москве. И, поэтому, экзамены в ведущие московские ВУЗы проводились в тот год не как обычно, то есть раньше, чем в другие ВУЗы, а одновременно. Тем самым был какой-то «риск непоступления». Хотя, на самом деле, навряд ли мне надо было бояться этого риска. Ведь Интернат я закончил только с двумя четвёрками, что было неплохим достижением. Потому что в то время (по крайней мере, когда я его заканчивал) за всю историю Интерната было лишь два золотых медалиста. То есть, только два его выпускника получили все пятёрки.

В.Д.: Ты не помнишь фамилии этих двоих медалистов?

Ю.Л.: Нет, не помню — это было задолго до моего времени.

А в нашем выпуске таких медалистов вообще не было.

В.Д.: Таких не было, понятно.

Ю.Л.: Поэтому мой интернатский аттестат был довольно солидным.

В.Д.: Да-да.

Ю.Л.: И я, собственно, мог с ним поступать в любой московский ВУЗ. Думаю, и практически поступил бы... Но, всё-таки, ... тоска по родине пересилила. И я поехал учиться в университет в Минске, который в то время тоже пользовался хорошей репутацией.

В.Д.: Безусловно!

Вот ты поступил в БГУ. Кто читал у тебя лекции по математическому анализу, алгебре, аналитической геометрии?

Ю.Л.: Эти предметы преподавались на 1-м курсе.

Анализ у меня читал Иван Александрович Соколов. Он даже был не профессором, а доцентом. Но с методической точки зрения, с точки зрения дидактики, его лекции были великолепны. Я до сих пор вспоминаю их. И у меня до сих пор хранятся конспекты его лекций. То есть он был, может быть, не крупным учёным, но прекрасным педагогом... Я и до того анализ уже как-то знал, но после его лекций он вообще стал моим любимым предметом.

Алгебру читал тогдашний декан, Гаращук...

В.Д.: Не помнишь его имя-отчество?

Ю.Л.: К сожалению, не помню его имени-отчества, надо посмотреть.

В.Д.: Понял.

Ю.Л.: Но по алгебре у меня была ещё интернатская, очень серьёзная, подготовка.

У нас алгебру вёл в Интернате Никулин. В частности, материал по теории групп, который он нам дал, «не покрыла», так сказать, даже моя университетская программа. То есть, мы глубже копали в Интернате. Вот. Но, с другой стороны, мне было легко слушать Гаращука, потому что многие вещи из его курса мы уже изучили в Интернате.

Аналитическую геометрию читал у нас Феденко. Это довольно известный был профессор...

В.Д.: Известный математик, да. У него есть книжки.

Ю.Л.: В частности, есть книга Феденко, Тышкевич «Линейная алгебра и аналитическая геометрия». По этой книге он, собственно, нам и преподавал.

В.Д.: Понятно.

Ю.Л.: Ну, опять-таки, многие вещи из аналитической геометрии я уже знал по Интернату.

В.Д.: Ясно-ясно.

Но вот ты дошёл до 3-го курса. Кто стал твоим первым научным руководителем? Олег Игоревич Маричев?

Ю.Л. С Олегом Игоревичем Маричевым я познакомился, действительно, на 3-м курсе. Но дипломную работу на 3-ем курсе... не дипломную работу, а...

В.Д.: Курсовую работу.

Ю.Л.: Да, курсовую работу, я писал у Соколова, по математическому анализу.

В.Д.: На Мехмате БГУ курсовые работы писались с 3-го курса, как и на Мехмате МГУ, а не со 2-го курса?

Ю.Л.: Да, с 3-го курса курсовая была.

Потом, мою курсовую работу 4-го курса, я писал в Институте математики Белорусской академии наук у Василия Ивановича Бердника. Это довольно известный специалист по теории чисел, ученик Владимира Геннадьевича Спринджука... И, собственно, у меня была сначала идея заниматься теорией чисел.

В.Д.: Интересно!

Ю.Л.: Да-а.

Общался с Бердником я на семинаре в Институте математики, который стал посещать. Особенно меня привлекала аналитическая теория чисел, где использовался математический анализ. Но, тем не менее, с течением времени я, всё-таки, склонился к чистому анализу, и теорией чисел заниматься перестал.

В. Д.: Скажи, пожалуйста, в Институте математики, куда ты ходил на семинар, не пересекался ли ты с Владимиром Петровичем Платоновым?

Ю.Л.: В коридоре я его встречал, но наш семинар по теории чисел он не посещал. Это был семинар Спринджука.

В.Д.: Ясно.

Ну а как с Маричевым ты познакомился?

Ю.Л.: С Маричевым?...

Он читал у нас спецкурс на 3-м курсе по теории интегральных преобразований специальных функций. И в то время, если сказать честно, они произвели на меня довольно странное впечатление... Больше отталкивающее, чем привлекающее...

В.Д.: *(смеётся)*

Ю.Л.: Он работал с довольно странными объектами — страшными, очень специальными функциями со многими параметрами... Типа H -функции Фокса и O -функции Мейера.

В.Д.: *(смеётся)*

Ю.Л.: И тогда это мне не очень понравилось. Но, тем не менее, то, что он преподавал, мне запомнилось. И в дальнейшем я с интересом стал заниматься этими объектами. Но не сразу.

В.Д.: Диплом ты уже у него писал, да?

Ю.Л. Нет, дипломную работу я писал ещё в Научно-исследовательском институте электронно-вычислительных машин.

В.Д.: А-а-а!

Ю.Л.: Это довольно большой институт. И поскольку у нас на факультете преподавалось программирование, то многие выпускники Мехмата БГУ были готовы потом работать в области программирования. А минский НИИ ЭВМ предоставлял много рабочих мест выпускникам Мехмата БГУ для такой деятельности. Особенно иногородним... Как известно, иногородним тогда было трудно остаться работать как в Москве, так и в Минске...

В.Д.: Да, конечно.

Ю.Л.: И, собственно, большого выбора у меня, как иногороднего, после окончания Мехмата БГУ не было...

В.Д.: В общем, первое своё рабочее место я получил...

В.Д.: В этом институте.

Ю.Л.: Да, в НИИ ЭВМ. И там же писал диплом.

В.Д.: И, кстати, научился там хорошо программировать, да?

Ю.Л.: Да, научился там хорошо программировать. Что мне в жизни, в общем-то, пригодилось.

В.Д.: Понятно.

Ю.Л.: Даже очень пригодилось.

В.Д.: Да-да.

Ну, теперь такой вопрос: читал ли тебе лекции Пётр Петрович Забрейко?

Ю.Л.: Пётр Петрович Забрейко читал лекции на параллельном потоке. По функциональному анализу. У меня же лекции по функциональному анализу читал Антоневич. Это тоже довольно известный специалист, читал прекрасные лекции, ничего не скажешь. Но я всегда мечтал посещать лекции Забрейко, и... время от времени, когда позволял план занятий... посещал его лекции. Лекции замечательные. Потом уже, будучи аспирантом в БГУ, я посещал и семинар Петра Петровича Забрейко по функциональному анализу.

В.Д.: В общем, я очень многое вынес из его лекций и его докладов.

В.Д.: Хорошо.

Я знаю, что в БГУ преподавал Фёдор Дмитриевич Гахов. Не слушал ли ты его лекции?

Ю.Л.: В моё время, когда я был студентом, Гахов уже больше не преподавал. Иногда он приходил на семинар по теории функций при кафедре теории функций, и я несколько раз его там видел. Но лекции для студентов он уже не читал...

В.Д.: Насколько я помню, он приехал в Минск из Ростова?

Ю.Л.: Да, он приехал, из Ростова.

В Минске он основал довольно большую школу. Многие доценты и профессора кафедры теории функций были его учениками.

В.Д.: Понятно.

Как ты оказался в Германии? Кажется, прошёл конкурс по линии ДААД?

(примеч. В.Д.: напомним, что в ФРГ существовали «грантово-стипендиальные» программы «Немецкой академической службы обмена» (то есть «Deutscher Akademischer Austausch Dienst» или, коротко, «ДААД») для поддержки студентов, аспирантов и молодых учёных из стран Центральной и Восточной Европы, позволявшие, в частности, молодым специалистам этих стран стажироваться в различных научных центрах Германии.)

Ю.Л.: Да, это действительно так... Но сначала несколько слов о предыстории...

В.Д.: Хорошо.

Ю.Л.: Как я уже говорил, после Университета я пошёл на работу в НИИ ЭВМ. И честно отработал там свои три года... как и полагалось после распределения. А в это время Маричев организовал на Мехмате БГУ лабораторию под названием «Лаборатория прикладных методов математического анализа» с целью компьютеризировать его алгоритмы для работы со специальными функциями в теории интегральных преобразований. В этой Лаборатории стал работать один из его учеников, Семён Борисович Якубович, с которым я дружил... И после трёх лет моей работы в НИИ ЭВМ, с его подачи, меня пригласили на работу в эту Лабораторию... как математика и как программиста.

Я перешёл на работу в БГУ, где стал младшим научным сотрудником в маричевской Лаборатории. Одновременно с этим я поступил в аспирантуру БГУ и стал работать над диссертацией, занявшись теорией специальных функций интегральных преобразований.

С точки зрения аспирантуры, это направление стало темой моей кандидатской диссертации. А по работе в Лаборатории я должен был заниматься программистской реализацией алгоритмов данного научного направления в системах компьютерной алгебры. Тогда это была очень модная вещь. Был 1988 год, когда мы в Лаборатории этим начали заниматься.

Персональные компьютеры только-только что появились.

Тем не менее, мы уже неплохо, вскоре, продвинулись в этой своей работе... И, после нескольких лет работы, я подготовил свою кандидатскую диссертацию в этой области.

После защиты диссертации у меня появилась и возможность подать заявку на грант в рамках упомянутой «ДААД-овской программы».

В то время — это было уже перестроечное время, это был уже 1993-ий год — немецкое посольство в Минске впервые объявило открытый конкурс на получение ДААД-овских грантов. До этого такие гранты тоже существовали, но распределялись они келейно, по партийной линии. А в 1993-ем году, в первый раз, был объявлен открытый конкурс на получение гранта. И все могли на него подавать документы.

Я узнал об этом конкурсе, подал на него документы и получил свой грант.

В.Д.: Ты знал уже немецкий язык? Документы, наверное, надо было по-немецки писать?

Ю.Л.: Частично по-немецки... Но, на самом деле, для математиков и представителей естественно-научных дисциплин, достаточно было знания английского языка.

В.Д.: Ясно.

Ю.Л.: Хотя немецкий я учил в школе...

В.Д.: И в БГУ?

Ю.Л.: В БГУ я учил уже английский.

В общем, у меня были базовые знания немецкого языка. Ну и, более-менее неплохой, английский. Этого оказалось достаточно для получения гранта.

В.Д.: Отлично.

В 1998-ом году, когда я приезжал в Берлин на Международный математический конгресс, ты меня познакомил с твоим немецким руководителем, профессором Свободного Берлинского университета (Freie Universität Berlin) Рудольфом Горенфло. Расскажи немного о нём. По составленной мною его математической генеалогии, он является научным пра- пра-правнуком Леопольда Кронекера.

Ю.Л.: Э... Профессор Горенфло был моим руководителем в рамках моего гранта от ДААД... С ним я поддерживаю отношения, добрые приятельские отношения, до сих пор. Мы дружим семьями. Он прекрасный человек и прекрасный математик... немножко прикладного уклона. И он сыграл в моей математической карьере очень значительную роль...

Дело в том, что образование, которое получали на Мехмате БГУ... в то-гдашние времена... было излишне теоретическим. Нас учили теоретической математике. А о приложениях речь шла лишь изредка, и в стороне от основных курсов. Горенфло же является математиком-прикладником. Он хорошо владеет численными методами и умело использует математику для построения математических моделей конкретных физических процессов. Вот этому, как раз, я у него и научился. И стал делать это с удовольствием.

Таким образом, если до приезда в Берлин я считал себя математиком-теоретиком и немножко свысока относился к практическим задачам, то в Берлине я познакомился с другой стороной математики — с её прикладной стороной. И, собственно, был покорён ею. Так под влиянием Горенфло я научился применять математику для моделирования конкретных задач естествознания.

Комбинация математики с прикладными науками является сильной стороной Горенфло. До сих пор... А всё потому, что его научная карьера была не только чисто теоретической. Он работал... и на фирмах, и в научных институтах, где занимался прикладными проблемами. И вот эту сторону математики он всегда пытался донести своим студентам, аспирантам и всем тем, с кем сотрудничал. Поэтому я бы сказал, что прикладной математике я научился именно у него. И с удовольствием ею занимаюсь до сих пор.

В.Д.: Понятно.

Поддерживаешь ли ты связь со своими соучениками по колмогоровскому Интернату?

Ю.Л.: После окончания Интерната, по началу, мои связи с соучениками были очень активными. Особенно с теми, кто учились в московских ВУЗах. Я часто к ним ездил в Москву... Естественно, я считал своим долгом приезжать и на так называемый День рождения интерната — первое воскресенье декабря. Традиционно в этот день в Интернате собиралось очень много людей из разных выпусков. Иногда это празднество проводилось на Мехмате МГУ...

Однако с теми, кто разъехались по разным городам, мои связи, вскоре, значительно ослабели... Особенно после перестройки, очень сильно разбросавшей людей... Наступили тяжёлые времена и связи совсем ослабли... Но до сих пор я поддерживаю контакты, по крайней мере, с двумя своими одноклассниками.

Один из них — Александр Зеньков — занимается теперь бизнесом, как и многие другие выпускники математических факультетов разных ВУЗов. И занимается бизнесом очень успешно. Время от времени он приезжает в Берлин тоже.

Второй же мой одноклассник — Сергей Иванов — продолжает активно заниматься математикой. Он закончил аспирантуру в МГУ... Занимается теоретической алгеброй...

В.Д.: Не помнишь ли ты его научного руководителя?

Ю.Л.: Так... должен подумать... Александр Юрьевич Ольшанский...
А Сергей уже уехал в США.

В.Д.: Уехал в США?

Ю.Л.: Да, после аспирантуры и защиты диссертации он уехал в США. И последние годы он работает в Иллинойском университете... Профессором алгебры.

Он получил довольно серьёзные результаты, имеет хорошие публикации. И мы с ним тоже находимся в контакте.

В.Д.: Хорошо.

Сейчас ты являешься профессором Высшей технической школы Берлина. Какие лекции ты в этой Высшей школе читаешь? И какое твоё мнение о её студентах?

Ю.Л.: Структура... нашего, по сути дела, политехнического института... отличается, естественно, от структур математических факультетов университетов. Но по математике и у нас есть бакалаврская и мастерская программа...

В.Д.: Мастерская или магистерская?

Ю.Л.: По-немецки — «мастерская».

В.Д.: Да-а?

Ю.Л.: Да. На русском языке это, наверное, называется «магистерской» программой...

Но мы учим своих студентов в большом объёме прикладной математике. То есть, естественно, у нас читаются классические курсы «чистой» математики — и анализ, и алгебра, и геометрия, и дифференциальные уравнения... Но, при этом, у нас усиленно преподаются курсы программирования, вычислительной математики, математического моделирования и ряд других «прикладных» курсов...

Лично я стараюсь преподавать разные предметы, и это мне удаётся. То есть я преподаю и прикладные дисциплины, в частности, программирование — разные языки программирования, объектно-ориентированные, системы компьютерной алгебры. Но, при этом, я с удовольствием преподаю, также, и чисто теоретические математические дисциплины, например, математический анализ и дифференциальные уравнения... А ещё я преподаю математическое моделирование, где, в общем-то, сходятся разные предметы, где нужны знания и в различных областях «чистой» математики, и по вычислительной математике и, в конце концов, по программированию. То есть, мой диапазон довольно широк. И я, на самом деле, очень доволен, что у нас нет узкой специализации, что профессора сами могут выбирать, какие курсы им читать.

В.Д.: А студентами ты доволен? Понимают ли они всё? Или ленятся?

Ю.Л.: Наши студенты, как, наверное, и везде... в современных университетах... разные. К счастью, всегда есть «хорошее ядро»...

В.Д.: Понимаю — «золотые 10-20 процентов»!

Ю.Л.:... сильных студентов, которые интересуются, которые хорошо понимают, которые задают вопросы, с которыми приятно и легко работать.

Есть, естественно, и середнячки... которые не всё понимают. И есть, конечно, слабые студенты.

В.Д.: Просто бездельники! (*смеётся*)

Ю.Л.: Да, бездельники. Которые мало что понимают, да, к тому же, и прогуливают занятия.

Но, к счастью, в каждом курсе, который я до сих пор читал, среди слушателей всегда находилась группа студентов, с которыми было приятно и хорошо работать. Хотя, к сожалению, иногда такая группа была довольно маленькой...

В.Д.: Знакомо!

Ю.Л.: Среди студентов, действительно, много бездельников, которые не хотят ничего делать... С ними, конечно, трудно работать. Но я думаю, что сейчас это типичная картина для ВУЗов разных стран.

В.Д.: Совершенно согласен.

Так, теперь личный вопрос. Я знаю, что твоя жена Юлия тоже математик, и что она тоже окончила Мехмат БГУ. Работает ли она?

Ю.Л.: Юлия преподаёт.

Во-первых, она преподаёт в нашем политехническом Институте высшую математику для «нематематиков», в частности, для «информатиков». А, во-вторых, она ведёт математический кружок... для одарённых школьников... в Гумбольдтовском университете.

В.Д.: Молодец!

Ю.Л.: Юлия, после приезда в Германию, несколько лет не работала, занимаясь только нашими детьми... Которым, собственно, она передала свои знания и интерес к математике и к точным наукам. Это была её работа многие годы. Но после того, как наши дети выросли, Юлия занялась преподавательской деятельностью в нашем Институте и в Гумбольдтовском университете.

В.Д.: К тому же за это время она выучила немецкий язык. Она же прекрасно говорит по-немецки.

Ю.Л.: По-немецки она говорит, пожалуй, лучше меня. Хотя я уже давно преподаю на нём... Разные бывают способности к языкам у разных людей.

В.Д.: Это-то я знаю (*смеётся*).

Ю.Л.: У неё, вот, оказались хорошие способности к языкам.

В.Д.: Да и у тебя неплохие.

Теперь о детях. Я знаю, что у вас двое сыновей. Старший Дмитрий, младший Алексей. Я даже знаю, что Дмитрий был среди победителей на Московской международной олимпиаде школьников по химии.

Где Дмитрий теперь учится?

Ю.Л.: Наш сын, Дима, теперь учится в Гумбольдтовском университете в Берлине.

В.Д.: На каком курсе уже?

Ю.Л.: Он уже на пятом курсе сейчас, то есть, заканчивает Университет. Собирается в следующем семестре писать свою дипломную работу...

Один год он провёл в Японии... По обмену... Учился там в Токийском университете.

В.Д.: Как раз во время Фукусимы?

Ю.Л.: Как раз во время катастрофы в Фукусиме.

В.Д.: Да-а...

Ю.Л.: К слову сказать, в Японии Дима занимался не только химией — он там получил и чёрный пояс по каратэ, которым занимается уже много лет...

Математикой он также интересуется. И даже, по началу, учился в Гумбольдтовском университете сразу на двух факультетах: на химическом и на математическом... Но потом, через несколько семестров, нагрузка на химическом факультете сильно возросла. Ему пришлось делать много лабораторных работ... И он математические курсы... немножко запустил. Но собирается, после получения диплома по химии, всё-таки, закончить также своё математическое образование, и получить ещё диплом математика.

В.Д.: Замечательно!

А где теперь учится ваш младший сын, Алексей? Не хочет ли и он стать математиком?

Ю.Л.: Да, он, также, хочет стать математиком. Пойти по стопам своих родителей и многочисленных родственников... Как по моей линии, так и по линии Юлии...

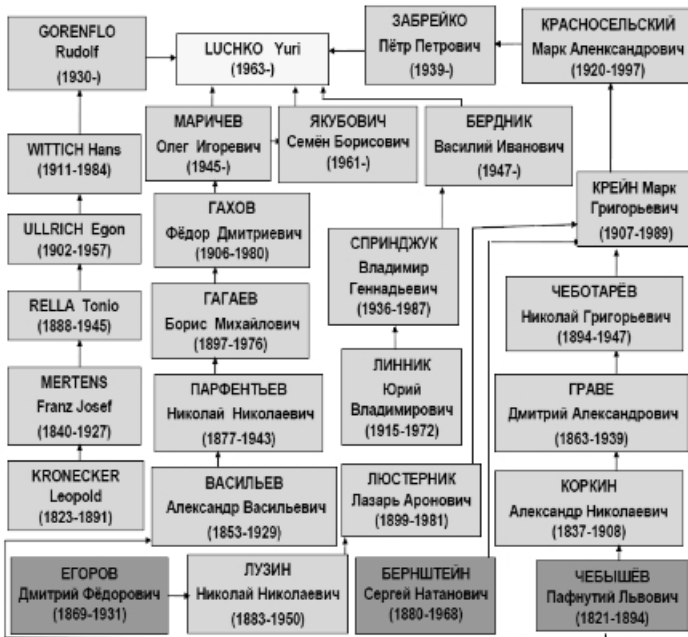
Алексей в школе много раздумывал о дальнейшей своей учёбе, выбирая между химией, физикой и математикой. И, всё-таки, в конце концов, он решил остановиться на математике.

И сейчас Алексей учится на втором курсе в Техническом университете Берлина.

В.Д.: Понятно.

Ну, в заключение, мне остаётся только поблагодарить тебя за эту нашу беседу и пожелать тебе, Юлии, да и всему твоему семейству, всего самого наилучшего.

Ю.Л.: Большое спасибо. Мне было интересно это интервью...



Юрий Моор-Мурадов

ПО КАКОМУ ЦЕХУ ЧИСЛИТЬ ЮЛИЯ КИМА?

Демарш двух членов комиссии по поэтическим премиям* после вручения ее **Юлию Киму** вернул меня к славным годам обучения в Литературном институте. Если я верно понял, эти члены комиссии, сами поэты, выразили сомнение, являются ли произведения Юлиа Кима поэзией.

Свою первую лекцию по курсу теории поэзии в Литинституте доктор филологических наук Владимир Иванович Гусев начал с вопроса, обращенного к нам, молодым поэтам, прозаикам, драматургам: «Что такое поэзия? Что является главным отличием этого жанра от других, например, от прозы?»

Около сотни студентов нашего поточного курса стали бросать варианты. "Рифма". Гусев легко опроверг это утверждение, напомнив о белых стихах, о поэзии ряда европейских стран, где поэты давно уже забросили этот рудимент.

Поэты среди нас авторитетно заявили: "Стихотворный размер". Преподаватель напомнил о пушкинском раешнике "Сказка о Попе и его работнице Балде".

"Более высокая, чем в прозе, концентрация тропов", — попытал счастья ваш покорный слуга (всякие там метафоры, эпитеты, гиперболы, литоты и прочие образные аксессуары — загляните в Википедию). Владимир Иванович (он, конечно, пришел на лекцию вооруженным до зубов) назвал несколько известных прозаических произведений, в которых "тропическая густота" даст фору любому стихотворению. И прочел стихотворение знаменитого поэта, начисто лишённое любого намека на образность. Я уже не помню, что именно это было; для иллюстрации приведу свой пример. Много ли художественных красот в этих вот почти канцелярских строках: "22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили. Нам объявили, что началась война". А ведь это не просто стихотворение — это начало знаменитой песни, которую можно петь, не чувствуя неловкости (как при пении дифирамбов очередному генсеку). И просторечное "началася" здесь так уместно, так убедительно...

Были еще доводы. Гусев все их легко парировал и умело подталкивал нас к выводу, что стихотворением может считаться любой текст, главное, чтобы его набрали столбиком и включили в поэтический сборник или поэтическую подборку в журнале.

Если согласиться с этим, то на первый план выходит не особенности стиля, а то, насколько написанный текст находит отклик в душе читателя, воздействует на него, востребован им, вызывает желание читать своим любимым, своим единомышленникам, оппонентам, обращаться к ним в минуты счастья, печали... Да, нам не дано предугадать, как слово наше отзовется — но то, как оно в конечном счете отзовется, и служит главным критерием художественности.

И в этом плане произведения Юлиа Кима выдерживают любую непредвзятую критику. Говоря образно, Юлий Ким является обладателем поэтического пояса самого высокого ранга и ранжира. Какого цвета у него пояс, исходя из этой метафоры? Черного?

Мне не довелось ознакомиться с подробными доводами членов комиссии по премиям, забравших кандидатуру Кима. Вполне возможно, что они вообще брезгают тем, что пишут и напевают под гитару всякие "барды". Не зря у очень многих язык не поворачивался назвать Владимира Высоцкого при его жизни поэтом. Но ничего не попишешь — теперь уже даже самые замшелые ретрограды признают, что Высоцкий был лучшим русским поэтом 20 века. До него далеко и Есенину, и Маяковскому, не говоря уже о Рождественском, Евтушенко, Вознесенском и разных там прочих шведах.



Юлий Ким

Я же иду еще дальше. Я заявляю, что Высоцкий как поэт выше Пушкина. Впервые я сравнил двух этих гигантов, услышав "римейк" Высоцкого на "Песнь о вещем Олеге". В написанной тогда же статье (разумеется, не опубликованной — никто не решился публиковать) я задавался вопросом: Что является пафосом стихотворения Пушкина, для чего оно написано? Без сомнения, это строфа:

«Волхвы не боятся могучих владык,
А княжеский дар им не нужен;
Правдив и свободен их вещий язык
И с волей небесною дружен».

И что же говорит нам своим стихотворением Высоцкий?

"Волхвы-то сказали того и всего,
Что примет он смерть от коня своего".
(1967)

И этих волхвов дружина долго топгала "своими гнедыми конями".

Насколько выше посыл Высоцкого, жизненное, насущное, тоньше. Приземлённое — но и трагичнее. Тысячные залы собирались, чтобы послушать эти его строки. Соберите сейчас двадцать человек, пообещав, что им прочтут "Песнь о вещем Олеге" Пушкина.

А окончательно укрепился я в своей градации двух поэтов в 1980-м году, увидев телефильм "Маленькие трагедии". На роль Дон Гуана в "Каменном госте" режиссер Михаил Швейцер неосторожно пригласил актера театра на Таганке Владимира Высоцкого. Я слушал монологи Дон Гуана — и остро чувствовал, что поэт Высоцкий произносит тексты, которые НИЖЕ его таланта, его мощи. Это как если

бы виртуоза игры на саксофоне попросили сыграть лагерную побудку на пионерском горне. Куда там Пушкину до накала строк Высоцкого.

То, что Пушкин уступает Высоцкому, не должно нас удивлять. На самом деле мы сравниваем не таланты, а эпохи. Руками гениев водит эпоха. Пушкин жил в счастливые вегетарианские времена, когда не гнали миллионами в лагерь, не морили сознательно голодом губернии, не подавляли честь и не пробуждали в нем само низменное. Царь наказывал политических врагов — но народ он считал своим. А что творили правители со своим же народом (и не только со своим) в 20 веке — не мне вам рассказывать.

Так что отставим в сторону то, каким образом доводится до слушателей поэзия — под гитарный аккомпанемент, или в подцензурных респектабельных сборниках.

И еще одна деталь. Это прозвучит парадоксом для многих, но композиторы и поэты-песенники со мной безоговорочно согласятся: сочинять просто стихи намного легче, чем стихотворные тексты для песен. Поскольку будущее пение накладывает дополнительные условия. Уж поверьте человеку, который и стихи писал, и тексты для нескольких песен с трудом накопал.

Юлий Ким не просто еще один большой русский поэт. Он — основоположник целой школы. На мой взгляд, Тимур Шаов является одним из самых талантливых поэтов современной России. Тимур работает в особом жанре, который апеллирует к богатому культурному багажу слушателя, отталкиваясь, перекликаясь с классикой. Его поэзия подразумевает знание слушателями огромного культурного и социального наследия. И я возьму на себя смелость утверждать, что такой Тимур Шаов вырос из одной фразы Юлия Кима: "Белеет мой парус такой одинокий / На фоне стальных кораблей". (Эти мои строки не должны обидеть Шаова — он действительно большой поэт, он разносторонний, кимовская линия у него — одна из многих; он вырос на этом — и пошел дальше. Уж он-то несомненно заслуживает главных премий России).

Две строки Юлия Кима о белом парусе не просто перепевка классики — это отражение новой эпохи, переосмысление, развитие. Если бы в силу каких-то немислимых обстоятельств от всей поэзии Юлия Кима осталась бы одна эта фраза, будущие доктора филологии могли бы с полным основанием сказать, что в России во второй половине 20-го — начале 21-го века творил поэт, который гениально отразил свою эпоху.

3 мая 2015

* В 2015 году решением жюри общества поощрения русской поэзии Юлию Киму была присуждена национальная премия "Поэт", что вызвало негативную реакцию, с одной стороны Александра Кушнера и Евгения Рейна, которые вышли из состава жюри этой премии за отказ присудить её 58-летнему литератору из Санкт-Петербурга Алексею Пурину, с другой стороны — Евгения Евтушенко и Олега Чухонцева, которые в качестве лауреата хотели видеть Наума Коржавина, о чём Евгений Евтушенко заявил прямо на церемонии награждения Юлия Кима 28 мая в Москве.



Давид Бен-Гершон (Черногуз)

О РОЛИ ПУСТЯКОВ В ДРУЖБЕ

Литературно-психологическое расследование по письмам Арнольда Шёнберга и Василия Кандинского

Часть вторая

(первая часть опубликована в № 2/2010)

Коллинвудовский взгляд на историю

Обычно, стараясь обосновать свою точку зрения, мы приводим факты, потом устанавливаем между ними логические отношения и, наконец, приходим к выводам. Но история, даже археология или источниковедение, это спекулятивные науки. Подлинность документов — часто под вопросом, тогда как апокрифы и фальсификации оказываются источниками важнейшей информации и т.п. Упрекать историка в субъективности — либо глупость, либо демагогия. Историк прекрасно знает, что разные версии одного и того же события возникнут сразу же как оно произойдет, и самая тщательная документировка не поможет. Эта ситуация описана в новелле Акутагавы "Ворота Рашемон"^[i] и одноименном шедевре-экранизации Куросавы. Если в естественных науках можно, по крайней мере, стремиться к воспроизведению результатов экспериментов, к повторению наблюдений, то для историка это невозможно по определению. Необъективны авторы учебников, откровенно политизирован подбор материалов, необъективны историки, необъективны сами источники, свидетельства самих участников событий. Профессиональные историки знают, что *объективная* история невозможна. История — это творение историка: американский историк Эдвард Карр называет эту позицию Коллинвудовским взглядом на историю, полностью исключающим объективность:

"...Св. Августин видит историю с точки зрения раннего христианина, Tillamont с с точки зрения француза 17-века, Gibbon — англичанина 18-го века, Mommsen — немца 19-го века. Каждый взгляд возможен только для человека, принявшего его". ^[ii]

Согласно этой гипотезе факты — ничто, интерпретация — все, пишет Карр. Он отмечает, что этот принцип ранее был сформулирован Ницше:

"Ложность мнения для нас не возражение против него — вопрос в том, насколько оно продвигает жизнь, предохраняет жизнь, предохраняет виды, возможно, создает виды". ^[iii]

Приходится смириться с практической невозможностью объективного, независимого от принимаемой теории взгляда. А выбор теории может диктоваться и эмоциональными, и прагматическими соображениями.

"Когда мы пытаемся ответить на вопрос, что такое история, наш ответ сознательно или несознательно отражает наше собственную позицию во времени..."^[iv]

Американские прагматисты, указывает Карп, продвинулись в том же направлении: знание есть знание для некоторой цели. Валидность знания зависит от валидности цели. В чем же цель моего анализа? Валидна ли она? Вопрос, в данном случае, не только в "исторической справедливости", при соответствующем умонастроении можно опровергнуть что угодно — существование иудейского Храма (палестинские "историки"), исчезновение миллионов (отрицание Катастрофы). Интерпретация подписанного документа немедленно приведет к спорам уже при переводе документа на разные языки, например, в зависимости от употребления артиклей, терминов и т.д. Примером может служить знаменитая резолуция ООН 242. Так по какой версии будет определяться жизнь живых людей — по английской или французской? Разница всего в одном артикле «The», доставляющем столько неудобства тем, кто живет без артиклей. Так «эти территории» или «все территории» или просто «территории». Интерпретация неизбежно политическая. Не случайно нормальный юридический документ начинается или сопровождается определением ключевых понятий и хороший юрист — это тот, к чьему документу трудно подкопаться. Но невозможно сопровождать словарем каждый документ. Что же говорить, например, о письме, где многое вообще непонятно тем, кому оно не адресовано. Пробелы между фактами и домыслами должны быть заполнены другими домыслами.

При интерпретации психологических конфликтов направленность, цель интерпретации выходит на первое место. Композитор Лука Ломбарди отмечает^[v], что целый ряд писем Шёнберга не был включен в издание Erwin Stein ^[vi] и предполагает, что Штейн подверг переписку цензуре, решив не публиковать такие декларации, которые придали бы Шёнбергу настолько отличающийся от уже известного образ, который мог бы показаться контрпродуктивным или даже компромиссным. Аналогично поступили составители собрания сочинений великого философа Германа Когена, разбив его произведения на собственно «философские» и на «еврейские», тем самым навсегда закрепив его репутацию лучшего знатока и интерпретатора Канта, у которого лишь к концу жизни слегка поехала крыша на еврейской теме. В результате главные, оригинальные работы Когена выпали из общефилософского дискурса, став предметом «Jewish Studies» (Еврейских Исследований), вполне уважаемого и нормального финансируемого направления в гуманитарных науках, представляющего интерес — ну как вы думаете для кого? Правильно.

Только чтение самих «еврейских» произведений Когена, например «Религии Разума», его главного опуса, может дать представление о том, насколько сам автор был бы против такой интерпретации его наследия, самого содержания своего послания поколениям. Он писал вовсе не для кафедр «Еврейских исследований», его намерением было сделать тысячелетний интеллектуальный поиск еврейских мыслителей частью западной философии. Услужливые ученики спасли современную философию от мощной «атаки» Когена, поместили его в золоченую рамочку и успокоили поклонников Хайдеггера: «Коген уже умер, а его наследник, Эрнст Кассирер, хороший философ — совершенно здоров на голову, никаких еврейских завихрений, совершенно не опасен». Во время знаменитого диспута в Давосе скучное академическое бляение Кассирера, ну действительно хорошего философа, увяло под блистательным натиском Хайдеггера, великолепного писателя и ора-

тора, и за кем потянулись молодые, еще не определившиеся еврейские интеллектуалы? Правильно. Вместо мощного, монументального строения «Религии Разума», философского основания монотеизма, стихиям языческого мифа Хайдеггера были противопоставлены сухие, рациональные «феноменологические» аргументы, которые не могли взволновать молодые сердца. Результат — Хайдеггеровское язычество стало центральным событием в философии 20-го века. Знаете, каким было одно из первых административных действий Хайдеггера на посту "фюрер-ректора" Фрайбургского университета? На основе закона о расовой чистоте его бывшему учителю, Эдмунду Гуссерлю, основателю философской школы феноменологии, запретили пользоваться университетской библиотекой.[vii] Дискуссиям об антисемитизме Хайдеггера, репрессиях еврейских студентов и коллег, его отношениях с нацистами посвящена большая литература (я немного остановлюсь на этом в 4-части), в данном контексте важно то, что «политически корректная» интерпретация наследия Когена привела к тому, что исключительность философии Хайдеггера и сейчас не требует доказательств. Он также выше элементарного нравственного суда, как великий Вагнер, как Гоголь, как Достоевский. Именно ученики Когена виновны в том, что вместо полноценного диалога двух великих философов, «Религия Разума» так и не вышла за пределы «Jewish Studies».

Трудности темы

Целью моего расследования стало воссоздание правдоподобной картины событий, приведших к разрыву отношений двух ключевых фигур в культуре и искусстве 20-го века. Более конкретно, распространенной гипотезы о том, что причина разрыва — интрига Альмы Малер, клевета, попавшая на "плодотворную почву" обостренной чувствительности или даже параноидальной одержимости Шёнберга комплексом неполноценности, связанным с его еврейским происхождением. Критики, как говорится, добавляя insult to injury, "примиряют" художников посмертно, на основании "пустяковости" их разногласий. Пег Вейс, историк и ведущий западный специалист по Кандинскому, в своем исследовании этнических корней обоих «аутсайдеров» мейнстрима,[viii] помещает Шёнберга и Кандинского в лагерь «ориенталистов», противопоставляющих себя «Западу». Это напоминает мне девочку, невинно рассказывающую своему папе-еврею, ленинградскому интеллигенту, о фильме, который она видела вместе с классом: «Там люди в мохнатых шапках, такие дикие, то ли евреи, то ли казахи, скакали на лошадях...». С точки зрения Вейса духовное родство языческого шаманизма Кандинского и иудейства Шёнберга несомненно — оба «восточного» происхождения. Мне невозможно согласиться с подобной вполне правдоподобной интерпретацией, корнящейся в Кантовском отношении к иудаизму как к племенной религии, не имеющей универсального этического содержания [ix]. Действительно, сам Шёнберг эпатирующе писал о собственном ориентализме, но он имел в виду совсем другой культурный контекст. Его ориентализм был прямой противоположностью ориентализму Кандинского — всю жизнь они двигались в разных направлениях религиозного пространства, каждый — к собственной идентичности. Как писал Шёнберг, «его» Кандинский не мог бы разделять с теми, кто способен нарушить мир, в котором он хочет работать, даже такую вещь как геометрия, а иначе это не «его» Кандинский.

Помимо общих трудностей, справедливых для любой темы по истории культуры, в данном случае была еще одна трудность, о которой исчерпывающе написала Dika Newlin в своем эссе «Почему так трудно написать биографию Шёнберга?»:

«Не только ученикам и друзьям, но второму поколению, т.е. ученикам учеников, похоже, было трудно писать о реальном Шёнберге. Недавний случай: мой студент обнаружил, что он испытывал серьезное препятствие в своей работе, непосредственно связанное с личностью Шёнберга. Он наглядно описал то, что я сама чувствовала много раз — практически непреодолимое чувство ответственности, накладываемой работой с музыкой и идеями Шёнберга. Это было почти как если бы он боялся рассердить Шёнберга лично. Я тоже часто испытывала это странное ощущение. В результате я смогла помочь студенту фокусировать свои мысли на идее анализа работы Шёнберга, как рекомендовал сам композитор... Ему удалось сделать это, и он недавно сообщил мне, что он почувствовал что "Шёнберг сейчас одобряет его работу". Опять же, ощущение было слишком хорошо знакомо!

Так как я никогда не сталкивалась с подобной психологической реакцией у студентов или коллег, работавших над музыкой других живых или недавно умерших композиторов (не говоря о тех, что уже канонизированы музыковедением, то есть, умершие более 100 лет назад), я начинаю спрашивать себя: есть ли что-то в самом Шёнберге, что оказывает этот любопытный и приводящий в замешательство эффект? Я ищу ключ к загадке в собственном пути Шёнберга. И кажется, я нахожу его. Ибо и он оказался творчески "заблокирован", не смог закончить основные религиозные произведения, *Die Jakobsleiter* и *Moses und Aäron*. Как я уже отмечала в "Self-Revelation and the Law" (Yuval, 1968), он предлагал несколько причин, по которым он не завершил эти работы. Нервная проблема с глазами (таинственная и не-диагностируемая!), мешавшая ему писать, то, что он не получил стипендию Гугенхайма, которая дала бы ему время для работы, другие помехи. Опять же, поверхностное оправдание, а не реальные причины [DBG — а мне причины кажутся вполне убедительными].

Как я отмечала ... Шёнберг, может быть, нашел ответ в своей лекции о Малере..., в которой он обсуждает почему столь многие композиторы умерли после завершения Девятой симфонии: похоже, что Девятая является пределом. Тот, кто хочет перейти этот рубеж, должен умереть. Кажется, что-то может быть передано нам в Десятой, чего нам лучше не знать, для чего мы пока еще не готовы. Те, кто написали Девятую, встали слишком близко к потустороннему миру. Возможно, загадки этого мира будут решены, если один из тех, кто знал их, напишет Десятую. И этого, вероятно, не произойдет... Шёнберг опасался, что Всевышний не позволит ему завершить его великие религиозные произведения. И то, чего он опасался, сбылось.

"Да, даже Шёнберг не посмел подойти слишком близко в своем диалоге с Богом: "... Пусть не говорит с нами Бог, дабы нам не умереть! "... Но как это связано с написанием биографии Шёнберга? Могут ли потенциальные биографы действительно приравнивать глубокое изучение жизни Шёнберга слишком тесному сближению с божественным? Я очень боюсь, что мое завершение биографии Шёнберга может оказаться столь же роковым, как

композиция Девятой Симфонии, которую я не собираюсь писать. Это звучит слишком просто.

Я знаю, оставив на миг мой личный опыт за ее пределами, что большинство учеников Шёнберга смотрели на него как на супер-отцовскую, может, даже квази-божественную фигуру. [DBG — то же писали об учениках создателя предыдущей теории гармонии — Пифагора]. Они... часто обижались на "контроль мыслей" осуществляемый им. Для доказательства прочтите письма Альбана Берга к жене, особенно те, в которых он описывает проблемы, испытанные Веберном при попытке дистанцироваться от подавляющего влияния Шёнберга. Как не оказаться художественно парализованным Шёнбергом и в то же время не отвергнуть его — это конфликт, через который прошли мы все! [x]

Как я пришел к этой теме? Зимой 2003 года, проходя мимо Еврейского Музея в Нью-Йорке (к моему стыду я был там только однажды), я обратил внимание на афишу выставки "Schoenberg, Kandinsky, and the Blue Rider" [xi]. Имя Шёнберга, учителя Альбана Берга и автора «додекафонии», я уже слышал много лет назад от своего более музыкально эрудированного одноклассника, Саши Мамедова (запомнилось, поскольку приятель звал меня Додиком). Я зашел, получил электронный путеводитель, начал бродить по залам, впервые увидел мучительные автопортреты Шёнберга и хорошо знакомую, благодаря Эрмитажу, живопись Кандинского, услышал эту странную музыку, которую не хотелось слушать, но которая чем-то царапала, озадачивала, впервые узнал о «Голубом Всаднике», о том, что эти, такие непохожие, люди дружили, потом поссорились... Ну, бывает. Впечатление было странное, немного болезненное. Не скажу, чтобы эта история привлекла особенное внимание, тем более что мои вкусы были совершенно консервативны. Скажем так, в Эрмитаже моим любимым залом была японская комната, а отнюдь не зал с Кандинским и Малевичем, и на концерт из произведений Шёнберга я бы вряд ли пошел. Оставалась загадка человеческих отношений, но углубляться в это казалось как-то неприлично. В конце концов, это чья-то личная жизнь. То, что было предназначено для публики — они предоставили в ее распоряжение, а тут личные письма... Как-то неловко — как будто подглядываешь. С такими мыслями я и вышел из Еврейского Музея и, в общем, позабыл об этом, погрузившись в хлопоты подготовки к алие.

Спустя несколько лет, уже в Израиле, я случайно набрел на официальную версию событий на сайте Шёнберга, захотел узнать подробности, начал читать его письма. Они поразили меня своей страстной силой. Произошло какое-то мгновенное узнавание, мне стало казаться, что я знаю о мыслях и переживаниях Шёнберга что-то, не понятное автором комментариев — да он и прямо пишет, что историки и биографы до сих пор не могут точно воссоздать картину событий. Мне казалось, что сам Шёнберг пишет об этом более чем однозначно — почему же биографы больше склонны доверять сплетням, чем самому герою? После короткого поиска, из 'примирительных' заметок российских критиков (см. Часть 1), я понял, что интерпретации совершенно политические. Тиганическая фигура Шёнберга слишком важна для искусства и культуры 20-го века и его акцентированное еврейство создает много неудобств. Нельзя же, в конце концов, следовать примеру нацистских критиков. Получался парадокс — казалось, нацисты писали о Шёнберге более правдиво, понимали его лучше (см. Часть 1, стр. 3), чем современные критики, приспособляющие его под собственные идеологические схемы! Попытавшись разобраться в ситуации, и, как мне казалось, лучше понимая что-то благодаря психологической близости, я захотел

рассказать об этом, так сказать, «защитить» Шёнберга от фамильярности, от лакировки, что выразил сам Шёнберг, обращаясь к Кандинскому: «...Эти люди продают не свою драгоценную собственную кожу, но нашу: вашу и мою».

Эта работа — не историческая монография, а попытка тенденциозного анализа, полемика с общепринятым, но не менее тенденциозным взглядом, который, как мне кажется, искажает правду. Я не утверждаю, что мне известна 'правда', я лишь предлагаю свою версию происходившего, основанную на переписке героев, на других свидетельствах. Ее мотивом была не публикация — ведь я не профессиональный историк или музыковед. Причинами были стыд и гордость. Стыд за мыслителей-евреев, не стесняющихся невежества в собственном наследии. И гордость за тех, кто под угрозой жизни не изменил своему народу. Стыд за великих мыслителей, так мало знающих о непрекращающемся тысячелетнем интеллектуальном и духовном поиске своих соседей по планете. Гордость за тех, кто под угрозой потери карьеры, а часто и жизни открывал правду о людях, создавших фундамент и непрерывно строивших дом западной цивилизации. 2-я часть значительно менее беллетристична — ее цель проанализировать, почему герои думали и поступали, так как они думали и поступали, на основе источников, малоизвестных русскоязычному читателю. Лишь незначительная часть этого материала доступна в Интернете, большая часть — это книги и статьи, опубликованные в специальных журналах. Вместо пересказа мыслей авторов я предпочитаю давать прямой перевод, чтобы хотя бы уменьшить неизбежное «влияние измерения координаты на импульс частиц» (принцип неопределенности Гейзенберга), т.е., в данном случае, влияние собственной предубежденности. Моя версия совершенно спекулятивна, «анекдотична» в английском смысле этого слова, т.е. не подкреплена дополнительными архивными находками, но она казалась мне более убедительной психологически, более когерентной с тем, что писали сами герои. Покажется ли вам моя реконструкция убедительной, в большей степени зависит от вашей позиции, чем от моих аргументов. В конечном счете, я хотел донести до слушателя одну конкретную мысль — то, что произошло — вовсе не «пустяк», не недоразумение, из-за пустяка не было бы такой драмы. Более того, то, что произошло между Шёнбергом и Кандинским, на мой взгляд, могло дать ключ к пониманию многих сходных драм, разыгрывавшихся, и продолжающих разыгрываться сегодня, ключом к центральной духовной драме XX века, ключом к выходящей за его пределы драме германо-еврейских, а благодаря сложности фигуры Кандинского и русско-еврейских отношений. После углубления в тему, узнав о собственных взглядах Шёнберга на сионизм, я подумал, что здесь может быть ключ и к драме современных еврейско-еврейских отношений, а после знакомства с поисками собственной идентичности Кандинским — ключ к центральной духовной драме мировой истории — противостоянию язычества и монотеизма.

Случай на курорте, или как бытие определяет сознание

Хотя первоначально я не собирался анализировать свидетельства "Эпизода в Маттси", реакция читателей на 1-ю часть после публикации в 2010 году показала, что это сделать надо. Дело не в достоверности самого факта, а именно в восприятии его в разных источниках. На сайте Шёнберга [xii] это событие упоминается несколько раз:

«В июне 1921 Шёнберг с семьей и несколькими учениками приехал на курорт Маттси. Местные власти потребовали, чтобы он покинул территорию, потому что он еврей.

В разделе, рассказывающем об истории отношений с Кандинским [xiii], написано:

«Шёнберг стал чувствителен к своему ассимилированному еврейскому происхождению летом 1922 года из-за инцидента в Маттси, в провинции Зальцбург, где он проводил свой отпуск, когда местные власти постановили, что все евреи должны покинуть это место»...«В какой степени перерыв в работе над ораторией Лестница Иакова ...был связан с "Событиями в Маттси" в прошлом году (антисемитский погром, устроенный во время летнего сезона отпусков в Зальцбурге, что привело к изгнанию еврейских гостей, в том числе Шёнберга), остается предметом спекуляций. Известно, лишь, что резкая актуализация еврейской идентичности, вызванная социально-историческим контекстом, положила конец периоду его теософской и эзотерической рефлексии на эстетическом уровне». [xiv]

Что же именно произошло на курорте, где Шёнберг собирался провести более лето и откуда через несколько дней уехал? Была ли это реакция на чью-то хулиганскую выходку, реакция администрации гостиницы на жалобу других постояльцев (как в «Мистере-Твистере»!), правила курорта типа «Только для белых», какая-то новая кампания, государственная политика — неужели Шёнберг об этом не знал? Неужели благословенная Австро-Венгрия, оплот терпимости и цивилизации, сделавшая многих своих сограждан иудейского вероисповедания почти равнодушными к проблемам 'восточных евреев', ведь «антисемитизм — это там, в Польше, в России, а у нас тут, слава Б-гу, все цивилизованно, да здравствует Император!»), так изменилась, став республикой, неужели там в 1922 действовали расовые законы, когда фашизм в соседних Италии и Германии был еще всего лишь одним из политических движений?!

Известный музыкальный критик Malcolm MacDonald, в своей книге «Шёнберг» [xv] пишет (стр. 60, 10-я строка снизу):

«Через несколько дней [после приезда в Маттси — DBG] Шёнберга посетила делегация из местного городского совета. Евреев, сообщили ему, больше не приветствуют в Маттси; но, конечно, если г-н Шёнберг может представить доказательство христианского крещения... Шёнберг оставил свои сертификаты о крещении в Вене; но в любом случае он отказался [бы] унижить себя их предъявлением...».

В работе Alexander Ringer [xvi] читаем:

«Маттси, австрийский курортный город, запретил евреям [пребывание] в рамках нового политического порядка, как это было при старом порядке (? — DBG). Характерно, что Шёнберг отказался представить доказательства того, что он и его семья были настоящими христианами».

Richard McBee пишет:

«Летом 1921 Шёнберг с семьей поехал на курорт Маттси вблизи Зальцбурга на столь необходимый отдых. Вскоре им было отказано [в пребывании] в соответствии с решением городского управления, о том что "евреи нежелательны".

Даже если бы Шёнберг предъявил необходимое свидетельство о крещении, от-крытость антисемитизма [вызвала у него] отвращение». [xvii]

David Drew пишет:

"Летом 1921 Шёнберг привез свою семью на австрийский курорт Маттси под Зальцбургом. Как все путешественники и отдыхающие в эти беспокойные времена, Шёнберги вначале должны были зарегистрироваться. К несчастью, Шёнберг не привез свои документы о крещении. Официальный ответ был однозначен: 'Jüden sind unerwünscht' ('Евреи не желательны'). Глубоко шокированный, Шёнберг и его семья немедленно покинули курорт. Инцидент в Маттси был поворотным пунктом: после 20 лет успешной ассимиляции Шёнберга заново толкнули к осознанию своих еврейских корней". [xviii]

Mark Berry пишет:

«Мечты о всеобщем братстве не были обязательно мертвы, но они уже никогда не будут такими же. Это было доведено до Шёнберга в очень четких выражениях летом 1921 года. Он и его семья были вынуждены покинуть Маттси, город, в котором они проводили праздничный отпуск, который его обитатели предназначали только для арийцев (now held by its inhabitants to be restricted to Aryans) [xix]

До эпизода в Маттси Шёнберг привык верить, что живет в просвещенной стране, где антисемитизм может быть лишь хулиганством, но никак не поощряться администрацией или властями, тем более что по отношению к нему лично, это уже просто идиотизм — ведь он христианин с почти четвертьвековым стажем! Это событие, если можно так выразиться, 'вытряхнуло' Шёнберга из той "башни из словенной кости", в которой он находился. Похожее прозрение произошло с Герцлем во время процесса Дрейфуса.

«Роковая Альма»

Надо заметить, что основания для подозрений в интриге у Нины Кандинской были. Альма Малер (урожденная Шиндлер) всю свою яркую жизнь была окружена драматическими приключениями и выдающимися мужчинами. В 'официальном' списке ее любовников и мужей [xx] — художники Густав Климт и Оскар Кокошка, композиторы Александр Цемлинский и Гюстав Малер, профессор теологии, которому прочили пост кардинала Вены, Johannes Hollnsteiner, архитектор Вальтер Гропиус, биолог Пауль Каммерер, и наконец, писатель Франц Верфель.

Самым причудливым образом судьба Альмы переплетена с жизнью Шёнберга. К 1922 году Альма уже, наконец, нашла свою «тихую гавань». Правдоподобна ли версия Нины Кандинской, что Альма хотела их поссорить из женской мести Кандинскому — судите сами.

С детства Альма играла на пианино, и ее первые композиции относятся к 9-летнему возрасту. После эпизода с Густавом Климтом, «укравшим ее первый поцелуй» — романа, разрушенного вмешательством матери — Альма, которую уже называли самой красивой женщиной в Вене, в 1900 учится у талантливого композитора Александра фон Цемлинского.



Александр фон Землинский

Хотя именно в его руках виртуоза "произошло сексуальное пробуждение Альмы", позднее она отзывалась о нем как о "карикатуре, о маленьком, уродливом гноме". У Землинского, которым восхищался Брамс, брал уроки контрапункта и музыкант-самоучка Арнольд Шёнберг. Музыканты подружились, позднее Арнольд женился на сестре Землинского, Матильде. Сложные отношения связывали Шёнберга с последним партнером Альмы, Францем Верфелем. По мнению David Drew, в музыкальном плане преданность Альмы делу Малера в сочетании с ее собственными талантом композитора склоняла ее видеть в Шёнберге естественного преемника Малера, а в его ученике, Альбане Берге, посвятившем ей оперу Вочек — еще одного члена «семьи» [xxi]. Но я немного забегаю вперед.

В 1901 году Альма Шиндлер знакомится с директором Венской Оперы Густавом Малером, бывшем на двадцать лет старше ее. Вскоре Альма становится его возлюбленной, а затем женой [xxii].



Густав Малер

Условием брака со стороны “Диктатора Венской Оперы” был отказ Альмы от сочинительства. Альма отказывается от собственных амбиций, становится заботливой женой и секретарем Густава, рождает ему двух дочерей, спасает его от долгов. Но творческая неудовлетворенность и, в особенности, внезапная смерть 5-летней дочери от дифтерии вызывают у нее тяжелую депрессию. Вместе со второй дочерью она едет лечиться на горный курорт Тобельбад (описанный в “Волшебной Горе” Томаса Манна). Здесь она знакомится с молодым и талантливым немецким архитектором Вальтером Гропиусом и влюбляется в него.

Узнав об измене, влюбленный в жену Малер пытается спасти брак. Он добивается консультации у Фрейда. Диагноз Фрейда после 4-часового сеанса психоанализа — неявная лицензия на виртуальный инцест: жена Малера Альма любила своего отца, Рудольфа Шиндлера, и может любить только мужчин этого типа. Малер, в свою очередь, любил свою мать и искал ее тип в каждой женщине. Именно возраст Малера, которого он так стеснялся, делал его столь привлекательным для жены! Воодушевленный, Малер начинает поощрять музыкальные занятия Альмы.

Под его руководством она подготавливает для публикации 5 своих песен, и в 1910 году издатель Малера печатает их. Альма прекращает отношения с Гропиусом, но — уже слишком поздно. Сердце Малера разбито в буквальном смысле. Во время их поездки в Нью-Йорк, куда его приглашают как дирижера, у Малера обнаруживают тяжелую инфекцию, осложненную пороком сердца (все происходит до открытия антибиотиков) и после возвращения в Вену он умирает.

После смерти Малера Альма не торопится возобновить контакты с Гропиусом.

В 1911, очевидно, чтобы преодолеть депрессию, Альма начинает работать ассистентом-добровольцем у молодого Венского биолога, Пауля Каммерера, ставшего впоследствии одним из наиболее знаменитых биологов в мире — Нью-Йорк Таймс называла его новым Дарвином! Каммерер вызвал мировую сенсацию демонстрацией наследования приобретенных признаков у ряда животных (точнее было бы назвать его новым Ламарком — DBG). Альма, изучавшая поведение богомолов-мант, весьма критично отзывалась о научном подходе Каммерера: "...Я кормила их [мант] на затемненном дне их клетки, но они предпочитали есть высоко, при солнечном свете, и твердо отказывались измениться ради Каммерера. Я делала записи, очень подробные записи, что тоже раздражало Каммерера: менее подробные за-



Вальтер Гропиус



Пауль Каммерер

писи с позитивными результатами доставили бы ему больше удовольствия!" Короткая страстная любовь, сопровождавшая работу, зашла так далеко, что Пауль начал угрожать, что застрелится на могиле Малера, если она не выйдет за него замуж! В конце концов, Каммерер действительно застрелился в горах недалеко от Вены в 1926, но не из-за Альмы, а за своей знаменитой жабы — после того, как его обвинили в подделке образца, иллюстрирующего передачу приобретенных признаков по наследству. Надо заметить, что подход Каммерера характерен для ученых, верящих в правильность своей теории, об этом подробно пишет известный химик и философ Майкл Полани. «Разоблачение» может быть таким же малообоснованным, как и то, против чего оно направлено. Обвинение против Каммерера не было доказано окончательно, оставляя место для нескольких версий, и не исключено, что его самоубийство — вовсе не акт признания правоты обвинителей, а невозможность смириться с позором. Ошибки в науке — дело обычное и ученые постоянно перепроверяют друг друга. Но восстановить репутацию, разрушенную обвинением в подделке, невозможно.



Оскар Кокосшка

Попробовав себя в науке, Альма в 1912 встречает талантливого художника чешского происхождения, *enfant terrible* венской богемы, Оскара Кокосшку. Оскар жесток и необуздан — в прессе его называли "самым диким из всех чудовищ!" Знакомство с Альмой никого не оставляет равнодушным. Занятия любовью прерывались только в те часы, когда Альма становилась моделью для своего возлюбленного: когда он не любит ее, он пишет ее. Многие работы Кокосшки, в том числе знаменитая "Невеста ветра", — были вдохновлены Альмой. Страсть Оскара вскоре становится собственнической, он одержим ревностью. Это утомляет Альму, оба устают от эмоциональных подъемов и спадов в своих отношениях. Мать Кокосшки спешит на помощь сыну и угрожает застрелить Альму, если она еще раз встретится с ним! Аборт, сделанный Альмой без его согласия, наносит Оскару удар, от которого он уже не оправился. Отослав Оскара на фронт добровольцем, Альма возобновляет контакты с Гропиусом и в 1915 году, во время одного из его армейских

отпусков, выходит за него замуж. Эта новость причиняет Оскару больший удар, чем штыковое ранение, полученное в России. В глубоком отчаянии он заказывает в Мюнхене куклу в натуральную величину, которая во всех деталях должна была изображать потерянную возлюбленную. Результат был разочаровывающим и Кошка во время дикой, разнузданной оргии в своей мастерской в Дрездене обезглавливает неуклюжее чучело из тканей, дерева и шерсти, и в такой символической, даже языческой форме (вспомним обряды охотников и колдунов), отделяет себя от Альмы — счастья и проклятия своей жизни.



Вальтер и Альма с дочерью

Через год у Альмы и Вальтера рождается дочь Манон (она умрет от полиомиелита в возрасте 18 лет и в память о ней Альбан Берг, член 'семьи', сочинит скрипичный концерт). Однако брак с Гропиусом не был счастливым — из-за службы Гропиус редко бывает дома и в ноябре 1917 года уже 38-летняя Альма знакомится с поэтом и писателем Францем Верфелем, который был на одиннадцать лет ее моложе.

«Жирный кривоногий еврей с вывороченными губами», как она описывает свое первое впечатление о Верфеле, вовсе не вызывает у нее отвращения, что надо понимать как отсутствие антисемитизма. Верфель, терзаемый глубокими внутренними противоречиями, о которых речь пойдет ниже, увидел в Альме своего спасителя, свою богиню, которой ему разрешено поклоняться... Муза жестока и требовательна. Она посещает Франца в его комнате в отеле "Бристоль" при любой возможности и, после занятий любовью, беспощадно отправляет его обратно за письменный стол. В начале 1918 года Альма беременеет. Мартин, «дегенеративное семя Верфеля», как с любовью пишет о нем Альма, рождается преждевременно, болеет и умирает через десять месяцев. Вначале Гропиус верил, что ребенок его, но вскоре измена была обнаружена и в 1920 году они разводятся.

С этого времени Альма посвящает всю жизнь заботам о своем "Францелле", "маленькой птичке" в ее руках, которая нуждалась в ее защите. С момента развода с Гропиусом, Альма и Верфель жили вместе, но поженились только в 1929 году. После аншлюса в 1938 году Альма и Франц, хорошо понимая что их ожидает при нацистах, бегут во Францию. С лета 1938 до весны 1940 они живут на Ривьере и в Париже 40-летний (!) Франц переносит свой первый инфаркт. После вторжения немцев во Францию и с началом депортаций евреев, они пытаются эмигрировать в Соединенные Штаты. Приобретение выездных виз невозможно, но мировая извест-

ность Верфеля играет свою роль и им организуют побег. В 1940 году вместе с Генрихом Манном и его семьей, Альма и Франц пешком (!) бегут через Пиренеи в Испанию, а оттуда, повторяя путь еврейских изгнанников пятью веками ранее — в Португалию, где, наконец, садятся на корабль, идущий в Нью-Йорк. В США Альма и Франц поселились в Лос-Анджелесе, на Голливудских холмах.



Франц Верфель



Альма с Францем Верфелем



Альма в старости

Спустя год после смерти Франца в 1945 году, Альма становится гражданкой США, затем переезжает в Нью-Йорк, где оказывается в центре культурной жизни города. В числе ее друзей — писатель Герхарт Гауптман, певец Энрико Карузо. Леонард Бернстайн, видел в ней живую связь с Малером и Бергом, «с которыми у него не было возможности встретиться как человеку, принадлежащему более позднему поколению». Умерла Альма Малер-Верфель, женщина-легенда в возрасте 85 лет в 1964 году.

Апология сверхчеловека Кандинского

Вопрос о происхождении взглядов Кандинского сам по себе достоин отдельного исследования. Его отец родился в Дальневосточной Азии. По мнению Вейса:

"...этнографические экспедиции Кандинского в отдаленные районы Вологодской губернии в 1889 году были, по крайней мере частично, продиктованы его желанием проследить его собственные корни среди финно-угорского народа Коми. Это была также попытка контакта с корнями тех древних членов клана его отца, которые эмигрировали из горной Уральской области на реке Обь, с места, известного как Кондинск, в далекую Восточную Сибирь — вначале в Якутию, а затем к еще более восточным районам — Кяхту на монгольской границе и Нерчинск, районы, населенным бурятами и тунгусами...». [xxiii]

Дор Аштон [xxiv] полагает, что корни драмы еще в российском прошлом Кандинского, вероятно, разделявшего обычные для аристократических российских кругов «умеренно» антисемитские взгляды. Но давайте по порядку. К 1923 году Кандинский пережил ужасы Мировой войны, русской революции, голод и болезни; он пережил две эмиграции и личную трагедию — смерть 3-летнего сына Володи. В Германии он переполнен новыми впечатлениями. Найдя свой дом на основанном Гропиусом в 1919 году факультете Баухауз в Веймаре, "Храме социализма", по выражению его друга, художника Лайонела Фейнингера, вновь окруженный коллегами и обожанием учеников, он хочет возродить, казалось, ушедший, дух старого времени. Первые письма в июле 1922 года были таким же теплым и сердечным, как и прежде — оба друга стремились к встрече [xxv]. Кандинский приглашает Шёнберга присоединиться к Баухаузу. Тем временем, по мере усиления напряженности в Веймарской Республике, меняется атмосфера и там. "Гражданские комитеты" в Веймаре обвинили поддерживаемый государством Баухауз в "спартаковских тенденциях" и укрывательстве "элементов чужеродного происхождения". [xxvi] Хотя государственное расследование нашло среди двух сотен студентов только 17 евреев, ассоциация евреев с политическим радикализмом в Германии 1923 года совершенно очевидна. К 1923, лидеры Баухауза стали настолько осторожны, что брошюра с упоминанием "Храма социализма" была отозвана с выставки и тираж уничтожен. Нервно наблюдая за наступлением нацистского режима, в Баухаузе не могли не касаться в своих дискуссиях хорошо заметной общественной деятельности «элементов "чуждого происхождения — еврейских художников и журналистов. Мог позволить себе что-то «этакое» в своих отзывах о евреях и Кандинский.

Ко времени получения письма 15 апреля 1923, Шёнберг (как он прямо пишет Альме) был уже в курсе разговоров в Баухаузе, и вряд ли успев «остыть» после эпизода в Маттси, не был настроен смягчать выражения. Его жесткий ответ задел, даже шокировал Кандинского, предположившего, что «кто-то преднамеренно пытался разрушить их дружбу». Вполне возможно, что ситуацию могло бы разрядить простое признание вины, так как параноиком Шёнберг уж точно не был. Но в то-то и дело, что Кандинский, по-видимому, не видел ничего предосудительного в своих взглядах, он действительно верил в антисемитский миф, хотя и был готов сделать исключение для своего друга: "Я люблю тебя, как художника и человека, или, возможно, как человек и художник..., те "немногие", которые обладают относительной внутренней свободой", как и мы" никогда не должны допускать, чтобы

между нами вбивали клин...». Ну и подкрепив свой «широкий жест», обычным аргументом о том, что его лучшие друзья были евреями (как и у Вагнера), Кандинский, что называется «попал» — попав в болевую точку Шёнберга. К тому же, развивая свою мысль о принятии в «элигу», Кандинский использовал взрывное слово *Übermensch*, не понимая как оно звучит в уже еврейских устах Шёнберга.

Аштон подчеркивает, что, несмотря на незначительность их разницы в возрасте, они принадлежали к разным поколениям. Поколением Кандинского, родившегося в 1866 в России, послание о *Übermensch* было воспринято в том смысле, который и имел в виду Ницше. *Übermensch* — это творческий индивидуалист, обладающий внутренней свободой, отказывающийся от деградировавших ценностей — представим себе, например, нигилиста Базарова. В 1880-х годах *Übermensch* был героем, который мог отвергнуть отечество, воспитание, убеждения, родителей и спутников, кто мог, по определению Карла Ясперса, найти собственный путь самосозидания. До первой мировой войны Шёнберг, вероятно, разделял бы этот взгляд. Но к началу нового века — для людей поколения Шёнберга — понятие *Übermensch* уже приобрело нацистскую, расовую интерпретацию — человеку уже не надо было становиться другим, он уже был другим — по факту рождения! В 1939 Генрих Манн, будучи всего на три года старше Шёнберга, посчитал вынужденным извиниться за Ницше.

"Его работа страшна, вместо того, чтобы «унести нас прочь» как это было когда-то, она стала угрожающей... В те дни ... мы радостно верили индивидуалисту, который был таковым до предела, до позиции противника государства, который скорее будет анархистом, чем покорным гражданином Рейха... остается только желать что бы мы нашли путь обратно, к самому человеку." [xxvii]

К 1923 году Шёнберг увидел во фразе Кандинского совершенно другой смысл. Для него *Übermensch* означал уже не художника-нигилиста, а «белокурую бестию» расы господ, новый вид, возникший в «арийской» Германии. Они говорили на разных языках! Шёнберг ответил письмом, которое должно было уязвить Кандинского еще больше. Он упрекал преподавателей и друзей Баухауса, не в антисемитизме, а в снисходительности к антисемитизму. [xxviii] Упомянув о том, как ему пришлось "покинуть место, которое я отыскал, чтобы поработать спокойно, а потом вообще не мог обрести душевный покой, чтобы работать", он, очевидно, говорит об эпизоде в Маттси. Любопытно, встретил ли бы он сочувствие у друга, если бы поделился подробностями? Осмелюсь предположить, что вряд ли — скорее всего, Кандинский ограничился бы успокоительным замечанием о «перегибе» местных властей. К тому же, давайте уж будем честными до конца, разве в нежелании курортных властей принимать еврейских постояльцев было что-то уникальное? Аналогичные ограничения сохранялись в США даже после Катастрофы. Об этом — получивший три «Оскара» фильм Элии Казана «Джентльменское соглашение» (англ. *Gentleman's Agreement*) 1947 года, с Грегори Пеком в роли журналиста Филиппа Грина, получившего задание написать статью об антисемитизме и решившего изучить тему на личном опыте, взяв имя Фила Гринберга. Вывод однозначен — невозможно понять, не пережив.

Аштон подчеркивает, что хотя и бесполезно спрашивать, что бы случилось, если бы Шёнберг все же приехал в Баухаус, о важности личного опыта антисемитизма свидетельствуют и все последующие работы на еврейские темы, и непоколебимая "этика" Шёнберга, которую он ассоциирует с еврейским монотеизмом. Только недавно мы смогли приблизиться к пониманию полной меры «еврейского»

переворота в мироощущении Шёнберга, где свою роль сыграли и личный опыт, и наблюдения — он жил не в башне из слоновой кости. Почему же ему открылось, еще раз напоминая, дело происходило в самом начале 20-х годов, за десять лет до прихода нацистов к власти, за 15 — до Kristallnacht, то, что большинство германских евреев не смогло, отказалось понять? Как вы увидите из дальнейшего, истинное значение нацизма стало понятно Шёнбергу уже в 1923 году — в год провалившегося «Пивного путча» — задолго до публикации «Майн Кампф», задолго до «Кристалльной Ночи», до погромов и Нюрнбергских законов, за 10 лет до прохода Гитлера к власти... Да что нацизм — безупречный этический компас Шёнберга не сумел обмануть и миф коммунизма — кто из западных либералов, идеализировавших «свет, идущий с Востока», сумел увидеть в обеих версиях социализма — национального и наднационального, одну и ту же идею тоталитаризма, враждебную индивидуализму и демократии, враждебную свободе и человеческому достоинству. И этого человека обвиняют в «паранойе», в заикленности на «еврейских комплексах»? И сейчас, уже зная, насколько абсолютно точными оказались предчувствия и оценки Шёнберга, мы благодушно покиваем, «да мол, с кем не бывает, зато талантливы, несомненно». Большое спасибо.

Думаю Шёнберга, подобная снисходительность к его «слабостям» оскорбила бы больше, чем открытая враждебность. Он был очень гордый человек. Конечно, когда он обрушил личное разочарование и гнев на своего старого друга, он, скорее всего, не знал о его мучительном опыте войны и революции, голода и болезней, он не мог знать о потерянном ребенке Кандинских, которые всю свою жизнь держали эту трагедию в тайне. Шёнберг, отчаянно раненый, писал от сердца. Как это ни было трудно для него, Кандинский, несомненно страдавший, имел мудрость хранить молчание. Он был вынужден признать, что счастливые дни Мюнхена прошли навсегда, мир стал чернее чем когда-либо. Потеря ребенка, а теперь потеря старого друга... Да и общая ситуация становилась все хуже. Кандинского вскоре тоже постигнет судьба художников, изгнанных нацистами из Германии. Его полотна, как и картины Фейнингера и других, убраны из музеев, стали экспонатами на Гитлеровской выставке дегенеративного искусства. Он опять стал беглецом, покидая на этот раз столь милую его сердцу Германию. Заметим, что Кандинский не был в числе беженцев — интеллектуалов и художников, евреев и арийцев, оставшихся во Франции до самой смерти в 1944 году. Изгнанный нацистами из немецкого искусства, он не бежит от самих нацистов. В отличие от братьев Манн, Кандинский *мог* жить в условиях нацистской оккупации.

Я не ставил себе целью "улучить" Кандинского в антисемитизме. Во первых, это и так на поверхности. Во вторых, подобное "разоблачение" само по себе мало что меняет в нашем отношении к его творчеству. Понимание языческих корней, славянских или арийских мотивов творчества Кандинского — действительно важно, но, в отличие от произведений, скажем, Гоголя или Вагнера, юдофобии в его картинах «не углядишь» и с самой большой лупой. Но и, по большому счету, произведения Кандинского, Канга, Пушкина, Гоголя, Достоевского, Манна, Мандельштама, Пастернака прекрасны сами по себе, а любить или не любить — неотъемлемое **право** художника, да и любого из нас. Вопрос в другом — к чему привел умеренный антисемитизм Кандинского — и его самого, и тех, на кого он повлиял, тех, кто думал, так же как и он? Это вопрос об ответственности мыслителя, историка, о том, как, на первый взгляд, академические дискуссии, личное интеллектуальное и духовное развитие влияет на других людей, в конечном счете —

на сам ход истории! Эти взгляды не были результатом мгновенного «откровения» или отдельного неприятного случая, они подкреплялись жизненными наблюдениями, мнениями других великих мыслителей: великой идее «арийского сверхчеловека» противостоял заговор цепляющейся за выживание паразитической расы, давно отрезанной от своих собственных культурных корней, не имеющей собственного творческого начала.

Посмотрим, как это происходило. Заслуга формулировки этой точки зрения принадлежит гениальному Рихарду Вагнеру:

"...Еврейскому композитору предоставлено лишь торжественное служение Иегове как единственное музыкальное выражение его народа: синагога — единственный источник, из которого еврей может извлечь понятные ему народные мотивы. Если мы пожелаем представить себе это музыкальное богослужение в его первоначальной чистоте весьма благородным и возвышенным, то тем вернее мы должны будем сознаться, что эта чистота дошла до нас в виде противнейшей мути: в течение тысячелетий здесь не было никакого дальнейшего развития их внутренних жизненных сил, но всё, как и в еврействе вообще, застыло в одном содержании и одной форме. Форма же, никогда не оживляемая возобновлением содержания, делается ветхой, и если ее содержанием являются чувства уже не живые, то она становится бессмысленной. Кому не случалось убедиться в этом при слушании богослужебного пения в собственно народной синагоге? Кем не овладевало противнейшее чувство, смешанное с ужасом и желанием смеяться при слушании этих хрипов, запутывающих чувство и ум, этого запевания фистулой, этой болтовни? Ни одна карикатура не могла бы в более безобразном виде выразить то, что здесь представляется с наивной, но полной строгостью. В последнее время, правда, стало заметно деятельное стремление к реформе, пытающееся восстановить в песнях старинную чистоту: но всё, что в этом направлении может быть сделано со стороны высшей еврейской интеллигенции, всё будет бесплодно. Их реформы не пустят корней в народную массу. И поэтому образованному еврею никогда не удастся найти источник художественного творчества в своем народе. Народ ищет того, чем он мог бы жить; того, что для него было бы поистине настоящим, но не отраженным, не реформированным. А таким настоящим для евреев является только их искаженное прошлое...

«... Для еврея сделаться вместе с нами человеком — значит, прежде всего, перестать быть евреем... Принимайте же — не стеснясь, мы скажем евреям — участие в этой спасительной операции, так как самоуничтожение возродит вас! Тогда мы будем согласны и неразличимы! Но помните, что только это одно может быть вашим спасением от лежащего на вас проклятия, ибо спасение Агасфера — в его гибели. [xxix]

Итак, как видим, речь всего лишь о творчестве, прямых призывов к употреблению ядовитых газов нет, а достоверность цитат из его личной переписки, опровергнута [xxx]. К тому же, мало ли что кто кому говорил — раз мы ставим вопрос о влиянии на других людей, средств влияния могут быть только опубликованные, публично доступные высказывания.

Что же, согласно Википедии, под влиянием идей Вагнера и французского графа Гобино, писателя-романиста, социолога, автора арийской расовой теории [xxxi] сложились взгляды Хьюстона Стюарта Чемберлена («Замечания к Лозн-гину», 1892), «Анализ вагнеровской драмы», 1892), а также в биографии Вагнера (The Life of Wagner, Munich, 1895-1897). Чемберлен осуществил синтез существо-

вавших в течении пангерманизма антисемитских школ с позицией расизма. Через весь его главный труд [xxxii] красной нитью проходят две основные темы: арийцы — как творцы и носители цивилизации, и евреи — как негативная расовая сила, разрушительный и вырождающийся фактор истории. Уильям Ширер в книге «Взлёт и падение Третьего рейха» подчёркивал влияние Чемберлена на расовую доктрину национал-социализма и формирование взглядов Розенберга и Гитлера [xxxiii]. Йозеф Геббельс называл Чемберлена «Отцом нашего духа» [xxxiv]. Евгений Майбурд, проанализировавший «страсти по Вагнеру» пишет:

«Поползновения Альфреда Розенберга, сотворить для немцев языческую религию на основе скандинавских мифов о Вотане и Валгалле, естественно подогревали экстаз нацистов по поводу Вагнера. Зять Козимы, Хьюстон Чемберлен, законченный юдофоб, скомпилировал туманные, противоречивые высказывания Вагнера о «еврейской расе», препарировал, утрировал и написал свою биографию Вагнера и книгу «Основы XIX века». Именно в таком виде получили нацисты «своего Вагнера» и вознесли его на пьедестал» [xxxv]

Майбурд подчеркивает, что иные из антисемитских выступлений Вагнера звучат не как нечто из ряда вон выходящее, а лишь как вариации на тему, которая уже громко обсуждалась вокруг. Винават ли Вагнер, что именно его ядовитая риторика получила академическое выражение в трудах Чемберлена, приобрела черты идеологии у Розенберга и стала программой действий у Гитлера? Винават ли Кандинский в увлечении теософскими и антропософскими сочинениями Рудольфа Штайнера? Повторюсь: Альма Мале-Верфель называет носителей взглядов, озвучиваемых Кандинским, "арийцами". Заметьте, не антисемитами, а арийцами. Для понимания взглядов Кандинского важны и его детские впечатления о еврейской Одессе и большевистско-еврейском Петрограде, и непосредственное участие в идеологических сражениях "евреев" и "арийцев" в период Веймарской республики (см. комментарий к последнему письму Шёнберга). О поисках арийской идентичности Кандинским в восточном, славянском и германском язычестве (например [xxxvi] и [xxxvii]) и его влиянии, например на сербского расового философа Дмитрия Митриновича. [xxxviii] я уже писал в 1-й части.

Как и «героические тевтонские аспекты» в сочинениях Вагнера, языческая мифология Кандинского, выраженная многими его произведениями, созвучны мифологии нацизма. Но можно ли обвинять Кандинского в политической наивности? Да что Кандинский — Гитлер стал воплощением «подлинности» для самого Мартина Хайдеггера, по мнению многих — самого влиятельного философа 20-го века. Лишь грубые факты жизни поставили Манна, Кандинского и многих других влиятельных интеллектуалов в оппозицию нацизму, враждебному не только к евреям — своим конкурентам в борьбе за мировое господство, но и к любым интеллектуалам вообще. Интеллектуалы становились скорее помехой. Пускай катятся куда подальше вместе со своими еврейскими друзьями — если успеют. Став кумиром 'массы' народа, Гитлер уже не нуждался в помощи в деле творения мифов, он сам стал воплощением мифа и этот миф становился реальностью.

Обвинение Вагнера, Кандинского, Манна и многих других искренних и умных мыслителей в откровенной или завуалированной юдофобии [xxxix] мало что меняет. Интересно, почему они так думали. Только ли в личном эмоциональном опыте («одноклассник-еврей задавался», «лавочник-еврей надул», «приходится у них деньги одалживать», «критики-евреи совсем обнаглели» и т.д.) дело? Всего этого достаточно для бытового антисемитизма, который вполне может быть пре-

одолен личным позитивным опытом («одноклассник-еврей всегда давал списывать», «лавочник-еврей никогда не обсчитывал», «всегда помогут, и не только своим»), но не для фундаментальной теории исторического развития. А что остается думать не настолько образованному еврею? Если такие люди так думают — так может это правда? Может быть действительно еврейство — это генетический дефект, наследственная болезнь, а наша хваленая живучесть — сродни неистребимости крыс и тараканов. Справедливость такого взгляда подтверждалась признаниями самих представителей "злосчастной расы", нашедших в себе мужество осудить свою дегенеративную наследственность.

"Еврейская ненависть к себе" — так называется работа Теодора Лессинга вышедшая в свет в 1930 году — за три года до прихода Гитлера к власти. [x] В ней Лессинг попытался дать психологическое объяснение внутренней трагедии еврейства, которую сам испытал на своем веку: как и Шёнберг, в студенческие годы Лессинг перешел в лютеранство, но уже в 1900 г. вернулся к иудаизму. Проанализировав отношение многих деятелей немецкой культуры к своему еврейству, Лессинг пришел к выводу о наличии непрерывного внутреннего конфликта между стремлением повать с еврейством и неспособностью преодолеть его в себе. Сам Лессинг видел преодоление этого экзистенциального конфликта в возрождении еврейской национальной жизни, считая задачей сионизма синтез жизненных принципов, сохраненных еврейским народом со времен Библии, и духовных приобретений в рассеянии. Я остановлюсь на примерах "Еврейской ненависти к себе" как типичных, и каким-то образом связанных с героями моего расследования, в следующей, 3-й части моегоopus. Привожу также оглавление 3, 4 и 5-й частей, подготавливаемых с публикации.

Что же дальше?

Часть 3. Еврейская ненависть к себе

Философ: Отто Вайнингер

Писатели: Верфель, Кафка, Мандельштам

Ученый: Фрейд

Спиноза: эмансипация интеллекта

Мендельсон: эмансипация изгоев

Часть 4. Интеллектуальный антисемитизм

Философы: Кант, Фихте, Гегель

Теолог: Герхард Китель

Гуманист: Томас Манн

Новое время: Мартин Хайдеггер

Часть 5. Альтернатива Шёнберга

Библейский путь

Диалог Моисея и Аарона

Послесловие

Дальнейшее чтение

Как отмечал в начале, я не историк не музыковед. Поэтому рекомендую более серьезное чтение по теме.

1. Юрий Окунев. Вхождение в еврейскую культуру.
2. Марк Райс. Два эссе об Арнольде Шёнберге

3. Марк Райс. Арнольд Шёнберг — певец непокорной мысли
4. Марк Райс, Максим Тюленин. Шёнберг contra Вагнер
5. Артур Штильман «Любите ли вы Вагнера?»
6. Артур Штильман. Письмо Рихарда Штрауса Стефану Цвейгу
7. Артур Штильман. Пророк «новой венской школы» и его опера «Моисей и Аарон»
8. Павел Юхвидин. Шёнберг
9. Павел Юхвидин. Пророк без отечества

Иерусалим. 2010-2015

Примечания

- [i] Акутагава Рюноскэ — Ворота Расеомон
- [ii] Collinwood R. *The Idea of History* (1946). p. xii.
- [iii] Nietzsche *"Beyond Good and Evil"*. ch. i.
- [iv] Carr E. H. *"What is History?"* Pelican Books. 1964.
- [v] www.lucalombardi.net/pdf/Тех%20Lombardi%20Desire.pdf
- [vi] Schoenberg's Letters, selected and ed. Erwin Stein, trans. Eithne Wilkins and Ernst Kaiser (London, 1964).
- [vii] Стайнер А. Дело Мартина Хайдеггера, философа и нациста
- [viii] Weiss, Peg (1986) "Kandinsky and "Old Russia": An Ethnographic Exploration," *Syracuse Scholar* (1979-1991): Vol. 7: Iss. 1, Article 5.
- [ix] ЕЭБЕ/Кант, Иммануил
- [x] Dika Newlin Why Is Schoenberg's Biography So Difficult to Write? *Perspectives of New Music*, Vol. 12, No. 1/2 (1973-1974), pp. 40-42
- [xi] <http://www.thejewishmuseum.org/exhibitions/SchoenbergKandinsky>
- [xii] http://www.schoenberg.at/1_as/bio/biographie_e.htm
- [xiii] Separation — 1923. http://www.schoenberg.at/4_exhibits/asc/Kandinsky/Trennung_e.htm
- [xiv] http://www.schoenberg.at/1_as/bio/biographie_e.htm
- [xv] Malcolm MacDonald. Schoenberg. Oxford University Press. Second Edition. OUP USA MasterMusicians Series. 2008
- [xvi] Alexander L. Ringer Two Assimilation and the Emancipation of Historical Dissonance. In: *Constructive Dissonance: Arnold Schoenberg and the Transformations of Twentieth-Century Culture*. Berkeley: University of California Press. 1997.
- [xvii] *Richard McBee. Return to Sinai. Moses und Aron by Arnold Schoenberg* (2004) http://richardmabee.com/moses_und_aron.htm
- [xviii] David Drew. Der Weg der Verheissung: Weill at the Crossroads. *Tempo*, New Series, No. 208 (Apr., 1999), pp. 33 -50. Cambridge University Press. <http://www.jstor.org/stable/944671>
- [xix] Mark Berry. *Arnold Schoenberg's 'Biblicalway': Ffrom 'die Jakobsleiter' to 'Moses und Aron'*. *Music & Letters*, vol. 89 No. 1, (2007). Oxford University Press
- [xx] The most beautiful girl in Vienna (1879-1901) http://www.alma-mahler.at/engl/almas_life/almas_life.html

- [xxi] David Drew. Der Weg der Verheissung: Weill at the Crossroads. Schoenberg and Der biblische Weg.
- [xxii] Иехуда Векслер. Драма апостазии. <http://7iskusstv.com/2010/Nomer1/Veksler1.php>
- [xxiii] Peg Weiss. Three Evolving Perceptions of Kandinsky and Schoenberg: Toward the Ethnic Roots of the "Outsider" In: Brand, J, and C. Hailey, eds. Constructive Dissonance: Arnold Schoenberg and the Transformations of Twentieth-Century Culture. Berkeley: University of California Press, c1997 1997. <http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft52900620/>
- [xxiv] Dore Ashton No More than an Accident? Critical Inquiry, Vol. 3, No. 2 (Winter, 1976), pp. 235-249. The University of Chicago Press. <http://www.jstor.org/stable/1342887>
- [xxv] Brand, Juliane, and Christopher Hailey, editors. Constructive Dissonance: Arnold Schoenberg and the Transformations of Twentieth-Century Culture. Berkeley: University of California Press, c1997 1997. <http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft52900620/>
- [xxvi] Hans Maria Wingler, The Bauhaus: Weimar, Dessau, Berlin, Chicago, ed. Joseph Stein, trans. Wolfgang Jabs and Basil Gilbert (Cambridge, Mass., 1969), pp. 38-39. Winter 1976 239
- [xxvii] Heinrich Mann, Foreword to Nietzsche (London, 1939), pp. 1-3.
- [xxviii] Dore Ashton No More than an Accident? Critical Inquiry, Vol. 3, No. 2 (Winter, 1976), pp. 235-249. The University of Chicago Press.
- [xxix] Интернет-версия статьи Рихарда Вагнера "Еврейство в музыке"
- [xxx] Евгений Майбурд. Халтурщики всех стран, соединяйтесь!
- [xxxi] Виктор Клемперер. ЛТИ. Язык Третьего рейха.
- [xxxii] Чемберлен Х.С. Основания девятнадцатого столетия / Пер. Е.Б. Колесниковой. В 2 т. Т.1.- Спб.: "Русский мир", 2012.- 688 с.
- [xxxiii] Уильям Ширер. Взлет и падение третьего рейха (Том 1). Москва. Воениздат, 1991 (William Shirer. The Rise And Fall of the Third Reich. London, 1960)
- [xxxiv] Саркисянц М. Английские корни немецкого фашизма
- [xxxv] Евгений Майбурд. Халтурщики всех стран, соединяйтесь!
- [xxxvi] Н.Б. Автономова, *Об этнографических исследованиях Василия Кандинского.*
- [xxxvii] М. Керимова, *Номадийская наследственность* Василия Кандинского.
- [xxxviii] H. Rutherford, C. *General Introduction. Certainly, Future: Selected Writings by Dimitrije Mitrinovic.* East European Monographs 222. Boulder; New York: Columbia UP, 1987. 1-16.
- [xxxix] Термин 'антисемитизм' часто служит началом долгой казуистической дискуссии, — «арабы — тоже семиты», а современные европейские евреи, скорее всего — потомки хазар-порок и т.д.
- [xl] Евгений Беркович. Теодор Лессинг — пророк и жертва



Павел Нерлер
ПОСЛАНЦЫ С ТОГО СВЕТА:
Солагерники Осипа Мандельштама
Публикация вторая¹

Восьмой свидетель: Евгений Крепс
(1967-1968, 1971, около 1989)

8 февраля 1967 года — вскоре после так взволновавшего ее визита Евгения Эмильевича Мандельштама, принесшего вести о дневнике Ольги Ваксель и о надежном свидетеле смерти О.М. — Н.Я. написала Гладкову и попросила его поискать этого свидетеля: *«В Ленинграде живет профессор (медицины) Гревс. Он может уточнить дату Осиной смерти»*². 12 февраля Гладков записал в дневнике: *«Страннейшее письмо от Н.Я. <...> И еще просит разыскать некоего доктора Гревса и узнать о смерти О.Э.»*³

Гладков тут же отозвался и, видимо, запросил дополнительные сведения, так как 17 февраля Н.Я. снова написала ему: *«Дорогой Александр Константинович! Спасибо, что вы так быстро откликнулись. О Гревсе я знаю от Евг. Эм. Он тоже бывший тенишевец и врач. Это всё»*⁴.

Отклик Гладкова на это неизвестен, но 5 марта 1967 года Н.Я. снова пишет ему об этом же человеке, но теперь она уже знает его правильное имя: Евгений Михайлович Крепс, живет в Ленинграде: *«Особенно важно следующее: офиц. дата смерти 27 декабря 1938 год. 1) Крепс вскоре уехал. Умерли О.М. при нем или нет. По легендам он жил еще несколько лет. 2) Умер он в больнице или нет?»*⁵

Реакция и возможные шаги Гладкова во исполнение этой просьбы не запечатлелись в его архиве.

Но известно, что Н.Я. обращалась не к одному Гладкову. 9 февраля она писала своим старым ульяновско-питерским друзьям Иосифу Давидовичу Амусину и Лии Менделевне Глускиной: *«Дорогие Лия и Иосиф! Оказывается, в Ленинграде есть человек, который может уточнить дату смерти О.М. Это профессор Гревс (доктор медицины. У него был брат О.М., но тот не стал разговаривать. (Понятно: брат О.М. — погань). Просьба к вам: узнать, существует ли этот человек и его адрес (и имя отчество). Такую справку легко навести. Если он есть, я приеду на один-два дня»*⁶.

И Амусин, похоже, взялся за это дело. Выяснив (или догадавшись), что Гревс это не кто иной как академик-физиолог Евгений Крепс, он передал эстафетную палочку в очень правильные руки — в «руки» Марка Наумовича Ботвинника (1917-1994), своего подельника и друга: жена Ботвинника, Ирина Павловна Суздальская, была физиологом и работала в институте у Крепса. Так что сведения мужа с Крепсом, как и с работавшим в том же институте Меркуловым, не составляло для нее большого труда.

С Крепсом, кстати, сотрудничал и отец Ботвинника — Наум Рафаилович: до революции частнопрактикующий (из-за еврейских ограничений) врач-офталь-

молог, позднее — хирург в Военно-медицинской академии⁷. Мать — Эмилия Марковна — юрист. Жили на ул. Стремянной 5, кв. 68[8]. После школы Марк поступил сначала в Политехнический, а откуда ушел на истфак университета. Увлечшись курсом Соломона Лурье, твердо решил стать античником.

Был у них античный кружок, и почти все они сели в январе 1938 года по доносу Максима Гилельсона. Его поделчиками были Амосин, Эдельгауз и другие. Уже в 1939 году все они (кроме Гилельсона) вышли по «бериевской амнистии», а Марка даже восстановили на истфаке, он женился на биологе Ирине Павловне Суздальской. Потом началась война, Марк получил белый билет из-за туберкулеза, они с женой эвакуировались из Ленинграда сначала в Томск, но из-за вызовов в МГБ несколько раз переезжали (такая была у него, очевидно, верная тактика уклонений от арестов); в Енисейске у них родились две дочери (в январе 1944 года).

Вернувшись в Ленинград, работал преподавателем латыни в разных учебных заведениях (выбирать в эпоху борьбы с космополитизмом не приходилось) — в женской школе, в медучилище, позже читал курсы по античной истории в пединституте им. Герцена и в лектории Эрмитажа, много переводил (с немецкого, с древних языков), автор популярных книг по античной истории и литературе, как и статей для «Мифологического словаря». Дома у него было много самиздата, приходили люди брать и даже читать на месте, были и негласные обыски.

Как бы то ни было — хлопота шла, но не так быстро растянулась на долгие месяцы. В самом конце 1967 года Ботвинник сел и описал ее Н.Я. Но письмо, видимо, не дошло, иначе бы Н.Я. не писала Амосину 6 января 1968 года: «Милый мой милый Иосиф! <...> Я очень прошу Марка Ботвинника еще раз написать мне то, что он узнал от Кревса. Это моя большая к нему просьба»⁹.

В принстонском архиве Осипа Манделъштама сохранилось, видимо, это повторное письмо М.Н. Ботвинника к Н.Я., написанное 22 января 1968 года¹⁰:

«Дорогая Надежда Яковлевна.

Извините за запоздалые поздравления. Я не писал Вам так долго, ибо бесцеланно занимался несвойственным античнику занятием, как теперь выражаются исторические следопыты. Наконец, получен главный материал и спешу сообщить главное. Подробную запись разговора пришло с Симою Марк<овой> или перескажу. Очень надеюсь повидать Вас в начале февраля в М<оск>ве. Кроме того, что я писал Вам со слов акад<емика> Евгения Михайловича Кревса (не Кревса), что О.М. умер в больничном бараке до наступления больших холодов зимой 38 г., что он был сильно истощен и страдал сердцем, я вчера имел трехчасовую беседу с профессором физиологии Василием Лаврентьевичем Меркуловым, к<ото>рый находился в транзитном пункте Северо-Вост<очного> (Кольмского) испр<авительного> труд<ового> лагеря (с начала 38 по сер<едицу> 39 года. Это офиц<иальное> название пересыльных барачков в предместье Владивостока, подчиненных Кольме. Меркулов этот тот самый биолог М. (агрономом его И. Гр. Эренбург> назвал нарочно, он, кстати, сильно извратил его рассказ — стихи у костра это «для стиля», никаких костров там не было), к<ото>рый в 52 (кажется) году посетил Эренбурга по просьбе, как он утверждает, самого О.М. Самое главное в его рассказе — это дата смерти: 5 или м<ожет> б<ыть> 6 ноября 1938 г. В больничную утепленную палатку он был взят докт<ором> Кузнецовым, считавшим его безнадежным по состоянию сердца, только 27/X, после чего Меркулов получал ежедневные сведения о нем от этого врача. До этого дня они виделись ежедневно, причем М. подробно описывает его одежду, оч<ень> сходно

с Вашими сведениями. Психич<еское> состояние О.Э. не было постоянно таким страшным, как это описывают «очевидцы», пользующиеся рассказами из вторых и третьих рук, а потом писавшие предисловия.

Сомнительным в его рассказе (я с ним не спорил и не возражал) явл<ается> только дата прибытия О.М. во Владивосток (около 15/VI), дата (сентябрь) отравления к Вам письма (сентябрь) с просьбой о посылке, а также рассказ со слов О.Э. о предшествующих событиях. Все это я записал. О.Э. жил до больницы в 11 бараке. Он очень колоритно описал его сожителей, а также друживших с ним москвичей, двое из которых живы в М<оск>ве. Вы можете повидать одного из них (сославшись на Вас<илия> Лавр<ентьевича>). — Виктора Леонидовича Соболева и, записав его рассказ, проверить какие-то сведения М<еркулова>. Телефон Викт<ора> Леон<идовича> Г 504-19 Бутиковский пер. 5 кв. 31, 4 этаж. Второй — это б<ывший> альпинист Михаил Яковлевич. М<ожет> б<ыть>, Соболев знает его адрес. Что касается ак<адемика> Крепса, то он, по словам М<еркулова>, не был близок О.М., мало с ним виделся и едва ли может рассказать что-либо интересное. Кроме того, Ваши опасения о влиянии на него Евг<ения> Эм<ильевича> имеют, по-видимому, веские основания. Сын Евг<ения> Эм<ильевича>¹¹ работает в Ин<ститу>те Крепса. Он задурил голову и М<еркулову>. По словам М<еркулова>, сам Евг<ений> Эм<ильевич> заново женился и живет в М<оск>ве. Надеюсь, что к моему приезду Вы будете иметь от Соболева (он б<ывший> библиотекарь и препод<ователь> балльных танцев) подробную информацию, и я, если хотите, помогу Вам сравнить подробности этих 2-х рассказов. Если же Вы будете в Л<енингра>де, то устройю Вам свидания с М<еркуловым>, а если хотите и с Крепсом. Думаю, однако, что сейчас самое главное отыскать московских владивостокцев. Желаю Вам успеха в этом нелегком деле, а также (Симе здесь об этом сказали, как о решенном вопросе), чтобы к концу года вышел, наконец, том стихов О.М.

Любящий и уважающий Вас Марк Б. 22/1.68 г.»

Спустя три года — 31 августа 1971 года — с Крепсом побеседовал М.С. Леман. Он записал кое-что и о самом Крепсе: арестован 2 мая 1937 году, в августе отправлен на Колыму, в сентябре прибыл на Владивостокскую пересылку, где задержался аж до декабря 1939 года, после чего был отправлен на Колыму, откуда освобожден в марте 1940 года. Столь длительное пребывание в транзитке было связано с двумя обстоятельствами: с тем, что дело Крепса пересматривалось в Москве, и с тем, что он как маститый медик был назначен ответственным за борьбу с цингой в лагере¹².

О Мандельштам Крепс рассказал совсем немного:

«Встреча с Мандельштамом произошла в 1938 г., в теплый период, т.е. весной, летом или осенью. Обратил внимание на интересное лицо. Седой, большие глаза, маленького роста.

В первую же встречу с Мандельштамом Е.М. Крепе пытался завязать с ним беседу. Мандельштам отнесся к Крепсу с подозрением. «Я думал, что получу ключ к нему, когда сказал, что учился в Тенишевском училище. Услышав это, он встрепенулся... — «...У вас есть брат Евгений?» — «Да». — «Я с ним учился в Тенишевском училище, но на разных семестрах»¹³. — «Как ваша фамилия?» — спросил Мандельштам. Я назвал себя, но моя фамилия была ему незнакома.

Дальше... я сделал ошибку, спросив Мандельштама, что ему инкриминируется. Мандельштам сразу замкнулся.

В эту первую встречу поэт произвел на Крепса впечатление человека психически больного. Соседи его подтвердили это, но сказали, что периодами он приходит в себя.

Товарищи его поддерживали: то куском сахару, то хлебом. Он явно был безразличен к еде.

Период наших встреч был коротким. Встреч было мало. С каждой физическое состояние Мандельштама ухудшалось. Не встречая его несколько дней, я спросил у товарищей, где Мандельштам.

“Умер”, — сказали мне»¹⁴

Девятый свидетель: Иван Милютин (1968)¹⁵

1

Осенью 1938 года, по свидетельству Д.М. Маторина, начальником Владивостокского пересыльного лагеря был некто Смык, а комендантом, по свидетельству Е.М. Крепса, — Абрам Ионович Вайсбург¹⁶, сам из бывших ссыльных (по другим сведениям — полковник)¹⁷. Оба оставили по себе добрую память относительной незлобностью.

Распределенного в 11-й барак Мандельштама, как и других новичков, встречал староста. Невольно преувеличивая, Н.Я. писала: «*Старостами барачков, как и повсюду в те годы, назначали уголовников, но не рядовых воров, а тех, кто и на воле был связан с органами. Этот “младший командный состав” лагерей отличался крайней жестокостью, и “пятьдесят восьмая” от них очень страдала, не меньше, чем от настоящего начальства, с которым они, впрочем, соприкасались реже*»¹⁸.

Старостой 11-го барака, согласно В.Л. Меркулову, был артист одесской эстрады, чемпион-четечочник Левка Гарбуз (его сценический псевдоним, возможно, Томчинский¹⁹). Мандельштам он вскоре возненавидел (возможно, за отказ обменять свое кожаное пальто) и преследовал, как мог: переводил на верхние нары, потом снова вниз и т.д. На попытки Меркулова и других урезонить его Гарбуз только всплескивал руками: «*Ну что ты за этого дурака заступаешься?*»

В середине ноября Гарбуз исчез²⁰, и старостой барака стал Петр Федорович Наранович (1903-?) — бывший заведующий СибРОСТА-ТАСС, спецкор «Известий» и председатель радиокомитета в Новосибирске²¹ при секретаре Западно-Сибирского крайкома Роберте Эйхе (1890-1940).

Барак как социум был дважды структурирован. Номинально он был разбит на «роты», к которым приписывалось определенное количество заключенных, а фактически состоял из компактных жилых гнезд нескольких десятков «бригад» по несколько десятков душ в каждой, состав которых складывался нередко еще в эшелонах и вполне демократически — волеизъявлением снизу.

Так, одна из «бригад» 11-го барака состояла человек из 20 стариков и инвалидов: ютилась она поначалу под нарами, выше первого ряда им и по поручням вскарабкаться бы не удалось. Их «старшим» был самый младший по возрасту — 32-летний и единственный здоровый — Иван Корнильевич Милютин. Он родился 23 апреля 1906 года в Ярославле. Инженер-гидравлик, до ареста (26 января 1938 года) он служил в Наро-Фоминском военном гарнизоне инженером. С единствен-

ной сохранившейся долагерной фотографии (год съемки неизвестен) он смотрит на нас — *«совсем молодой и благополучный. С Мандельштамом встречался уже совсем другой человек»*²².

Первый приговор в отношении к Милютину датирован 24 июня 1938 года²³. Во Владивостокский пересыльный лагерь он прибыл незадолго до Мандельштама, жил с ним в одном бараке, о чем написал воспоминания.

В конце ноября или начале декабря 1938 года пароходом «Дальстрой» И.К. Милютин был отправлен на Колыму: молодым и здоровым — место там, а не на пересылке. Освободился он в 1946 году, но 25 июня 1949 года был вновь арестован и отправлен в ссылку на Ангару, в село Богучаны Красноярского края. Здесь, в 1950 году он познакомился с сосланный сюда же Тамарой Павловной Лаговской, полюбил ее и женился на ней.

Милютина реабилитировали 24 апреля 1956 года, когда они проживали уже в Минусинске, откуда на следующий год он — вместе с женой и тещей — переехали в Эстонию, в Таллин. Здесь он и умер 3 октября 1973 года.

2

В 1958 году, по настоятельной просьбе жены, он — единственный из всех солагерников поэта! — записал свои воспоминания о встрече в лагере с О.М.

Еще раз процитирую письмо сына: *«Надо сказать, что Иван Корнильевич Милютин был сломлен Сибирью. Вотличие от своей жены, Тамары Павловны Милютиной, страстной рассказчицы, а впоследствии и мемуаристки, отец, каким я его знал, был замкнутым и молчаливым человеком. Он никогда не рассказывал о сибирских годах, тем более не писал. По ночам отец кричал во сне, и матери приходилось его будить. Только после его смерти я узнал, что из года в год он видел один и тот же сон, как его арестовывают... Я думаю, что возвращение к сибирским воспоминаниям при написании текста о Мандельштаме далось ему нелегко, но жене удалось его уговорить»*.

О дальнейшей судьбе воспоминаний мужа сама Тамара Павловна пишет так: *«Эти воспоминания Соня Спасская сразу же переправила через Ахматову Надежде Яковлевне Мандельштам. В то время, по-видимому, Надежда Яковлевна отовсюду получала сведения о своем муже — и ничему не верила, соответственно своему характеру»*.

В 1989 г. в журнале «Смена» была прекрасная публикация Павла Нерлера — «Дата смерти». В ней даны очень подробные рассуждения Надежды Яковлевны о достоверности сведений Ю. Казарновского, В. Меркулова и Л. (не захотел, чтобы было названо его имя). И обо всех этих драгоценнейших сведениях говорится чуть с недоверием. На три странички Ивана Корнильевича она внимания не обратила. Там ничего не было, что шло бы вразрез с достоверными рассказами других ...

К стихам Осипа Мандельштама у Ивана Корнильевича было особое враждебное отношение. Он ведь был страшный ревнивец: считал, что раз я ему нравлюсь, так же точно я нравлюсь и всем окружающим, и был уверен, что каждый, прочтавший мне стихотворение (почему-то именно Мандельштама) — уже покорил мое сердце. Это очень усложняло нашу жизнь. Однажды он сказал: "Я не настолько глуп, чтобы подозревать тебя в реальной измене, но одна мысль о том, что ты духовно можешь предпочесть другого — непереносима".

Мне хотелось, чтобы Иван Корнильевич Милютин сказал о себе сам. Кажется, это получилось²⁴.

Н.Я. Мандельштам сохранила воспоминания Милютина в своем архиве²⁵, но какого бы то ни было отражения в ее собственных «Воспоминаниях» они и впрямь не нашли. Возможно — из-за критических упреков в адрес О.М. (например, по поводу симуляции О.М. сумасшествия или его контактов с блатными)²⁶. Но, скорее всего, по иной причине. Если дата на записках («Ноябрь-декабрь 1967 г.») означала не что иное как время их получения Н.Я. (написаны они, напомним, были в 1958 году), то к этому сроку первая книга Н.Я. Мандельштам была не только написана, но и передана для публикации на Запад, а во второй, которую она писала, изначально посвятив ее Ахматовой, для возвращения к теме смерти поэта уже не находилось места.

Второй вариант более правдоподобен, но в таком случае «выпадает» одна деталь: сама Ахматова уже никак не могла быть передаточной инстанцией между вдовой Милютина и вдовой Мандельштама.

В 1997 году в Таллинне вышла мемуарная книга Т.П. Милютиной, в которую она включила и странички мужа о Мандельштаме. Список, сохранившийся в мандельштамовском фонде в РГАЛИ, отличается от печатного лишь малосущественными деталями (по-видимому, работа редактора).

Здесь дается по этому списку.

Иван МИЛЮТИН

[О.Э. МАНДЕЛЬШТАМ В ПЕРЕСЫЛЬНОМ ЛАГЕРЕ]

Смолкли удары колес по стыкам, но долго еще в ушах не проходило эхо этого стука. Тело еще не привыкло к движениям после месячного сидения и лежания в запертом товарном вагоне. Ушла на запасной путь длинная змея красных вагонов, с решетками, пулеметами и прожекторами. Две тысячи людей были выстроены в колонну по пять человек, окружены конвоем и собаками, куда-то пошли. Впереди ожидало пространство, окруженное забором, колючей проволокой, вышками. Широкие ворота. На воротах висел какой-то лозунг. Какой — уже ушло из памяти. Началась передача от дорожного конвоя — охране пересыльной зоны. Счет шел по пятеркам: «первая, вторая, третья»... Были какие-то надежды на отдых, на какую-то ясность своего существования. Изнуренные дорогой, голодом и неподвижным сиденьем люди как-то даже приободрились. Но психологическое облегчение не было долговременным: уже в воротах появился молодой человек, объявивший, что дисциплина здесь палочная. И, действительно, в руках у него была палка. Состав поезда влился в одну из зон Владивостокской пересылки.

Стояли какие-то брезентовые палатки и палатки из досок. Сначала отделили «политических» от «урук». Это было большое облегчение. Осталась своя среда. Среда людей, в которой трудно было встретить человека без высшего образования, большого политического прошлого. Перед моими глазами промелькнул знакомый заместитель наркома. Встретил и других, знакомых по газетам. Но тогда ничего не интересовало. Чудовищное унижение поглотило внутри все. Отдельных «контриков» погнали еще в какую-то зону. «Привет огонькам большого города» — насмешливо встречала нас обслуга зоны. В зоне стояли четыре довольно капитальных барака (сарай без окон). Внутри сплошные нары в три яруса.

Почему и как — не буду описывать, так как цель моего рассказа другая, — я оказался в группе пожилых и, я бы сказал, старых людей. Как-то они объединились вокруг меня, хотя мне и было тогда 32 года (1938 год). Собралась группа человек в двадцать. Мы не спрашивали друг друга ни о чем. Биография была каждому

ясна. Преданность гуманным идеям, жертвенность, гражданская война, горение на работе и избения в застенках Сталина. Объединила какая-то похожесть друг на друга, не высказываемая словами. А во мне, очевидно, была еще сила жизни и сила организации, которая и объединила вокруг меня группу стариков. Некоторым было далеко за семьдесят.

Зона для «контриков» уже была заполнена. Наша часть зоны была численностью около двух тысяч. А сколько таких зон — трудно сказать. Бараки переполнены, люди располагались на улице. Строили палатки из одежды и одеял, подкапывались под здание барака и располагались под полом. У меня и моих стариков не было лишней одежды. Отчаяние толкнуло на решительный шаг. Прямо переступая через лежащих на полу людей и находя между телами промежутки, мы валились и засыпали счастливыми, что попали под крышу. Как ни тесно, но нашлось место на полу и нам. Над нами стояло еще три ряда нар с плотно лежащими людьми. Первые ночи не было места и на полу. Садились на край нижнего яруса. Сон сваливал сидящих людей, а лежащие счастливы зло отпихивали падающих. Человечи боролись за жалкое логово, за возможность вытянуться во сне. Но находились и такие, кто скрючивался, принимая самую малогабаритную позу, чтобы дать другому возможность поспать. По людям ползали вши. Дизентерия и тиф освобождали места, занимаемые с радостью измученными людьми. Однажды была устроена и баня. Среди поля стояли души. Раздевались на улице, получали какие-то два укола и шли под душ. Уже было холодновато, и часть людей проходила мимо душей в «чистое отделение». Здесь получали белье. Получил, было, и я, но, увидев ползавших по стиранному белью вшей, взять его отказался. Мне казалось, что собственные вши менее опасны.

В зоне был пригорок. С него была видна деревянная постройка с окнами. Это больница. Невдалеке стояли две печи для сжигания трупов. Трупы несли туда из больницы довольно часто. Это зрелище как-то примелькалось, и мало кто обращал на него внимание. Смерть освободила для нас место на полу и, частично, на нижних нарах. Я так и оставался как бы старшим группы. Моей обязанностью было распределение хлеба, наблюдение за относительным порядком — в нашей маленькой группе.

В бараке содержалось 600 человек во главе со старостой-заключенным. Что это был за человек — не знаю. Но только однажды он мне помог перенести приступ озноба и температуры, положив меня на верхние нары, где было относительно тепло.

Однажды он подвел ко мне человека и просил включить его в мою группу. «Это Мандельштам — писатель с мировым именем». Больше он ничего не сказал, да я и не интересовался. Много было людей с большими именами, и это было совершенно обыденно. Жизнь потекла своим порядком: голодали, бросали в сторону вшей, ждали задачи баланды. Мандельштам куда-то уходил, где-то скитался. Не отказывался составлять для блатарей и «веселые» песни. Никаких разговоров с Мандельштамом я не вел, да и смешно было о чем-то спрашивать, о чем-то говорить, когда унижение достигло крайнего предела. Мне казалось, что Мандельштам симулирует сумасшествие, и это не было мне приятно. Но и к этому относился равнодушно. А я думал: если это спасает — пусть спасается. Но на его вопрос, производит ли он впечатление душевнобольного, я отвечал отрицательно. Так как он сидел ко мне боком, то по профилю лица мне показалось, что его огорчил мой отрицательный ответ. Он как-то сник.

Да, надо еще сказать, что в бараке было несколько действительно умалишенных, на фоне которых Осип выглядел вполне здравомыслящим, а разговоры его со мной были умны. От всяческих уколов Мандельштам отказывался. Боялся физического уничтожения.

Расстался я с Осипом в конце ноября или в начале декабря. Я был отправлен на Колыму. Пошел на это добровольно, так как инвалидам разрешали оставаться. Мандельштам все же был, очевидно, признан инвалидом. На Колымских пересылках я его не встречал.

Основанием моей добровольности было желание убежать куда угодно от вшей, дизентерии и смертей. Теплилась надежда, что на Колыме будет что-то менее безнадежное. Осип решил остаться и, мне кажется, он погиб от обыкновенной вши, самой обыкновенной. А может быть, и от дизентерии — не знаю.

Я сидел в третьем или четвертом ярусе трюмов парохода «Дальстрой», везущего семь тысяч заключенных на еще неизвестные муки. На пароходе Мандельштама не было. Я бы его встретил, так как в уборную на палубу можно было выходить свободно. А меня-то он бы нашел, так как старался держаться нашей группы.

Так и не заговорившие свидетели: Виктор Соболев и Михаил Дадимов²⁷

Письмо Марка Ботвинника вводило в поисковый оборот Н.Я. сразу два новых имени из мандельштамовского окружения на пересылке — Виктора Леонидовича Соболева и Михаила Яковлевича Дадимова. (С обоими, как и с Меркуловым, был знаком и Давид Злобинский, но в 1963 году, когда он написал Эренбургу, Н.Я. была в самом разгаре своей псковской двухлетки, и подобающего контакта между ними, увы, не получилось²⁸).

Однако попытка связаться с ними (точнее, с одним Соболевым, так как об альпинисте Н.Я. ничего не знала) не удалась.

29 января 1968 года, то есть почти сразу же по получении письма от Ботвинника, Н.Я. написала И.Д. Амусину: *«Милый Иосиф! <...> Марк написал очень важные вещи. Я звонила по указанному им телефону, но там старик, который меня к себе не пустил, а обещал приехать в конце апреля (!). Я забыла это написать Марку — скажите ему»²⁹.*

О Соболеве разузнать хоть какие-то детали так и не удалось, а вот о втором — о безымянном альпинисте, чье имя сумел вычислить Г. Суперфин в результате тончайшего розыска в интернете, — кое-что яркое известно.

Михаил Яковлевич Дадимов (16 ноября 1906 г., Севастополь — 17 июля 1978 г., Алма-Ата) — поистине легендарный советский альпинист, путешественник и восходитель с впечатляющим послужным списком, мастер спорта по альпинизму (1934 и 1956).

На Владивостокской пересылке он оказался в 9-м бараке, а Мандельштам — в 11-м. Они общались и, по-видимому, плотно, иначе бы Меркулов не рассказывал об этом его вдове или ее представителям.

Что привело Дадимова во Владивосток?

Как и Мандельштама — любимое дело!

А точнее — дело о «контрреволюционной фашистско-террористической и шпионской организации среди альпинистов» фабриковалось в начале 1938 года под руководством заслуженного мастера спорта по альпинизму и дипломата В. Семеновского³⁰. Первым, кажется, арестовали Виталия Абалакова³¹, а в марте — и Михаила Дадимова³².

Постановление об аресте Дадиомова датировано 4 марта 1938 года, ему были выдвинуты обвинения по статье 58.5 и 58.6.

В 1930 году Дадиомов окончил Химико-технологический институт (где его в 1928 году исключали из ВЛКСМ за выступления в защиту Каменева и Зиновьева), он работал ст. инженером в проектной конторе «Союзпродмашина».

Вместе с 65-летней матерью (Рейзой Хаймовной), двумя братьями и сестрой (Рахилью) он проживал по адресу: Рождественка, 2/5, кв.2. С Лубянки сюда можно и на бензин не тратиться. Но все же потратились, и 9 марта, взяв в понятия дворника, совершили обыск и арестовали 32-летнего... инвалида!

Но почему у этого человека ни одного целого пальца — ни на ногах, ни на руках?

Чтобы ответить, оторвемся от следствия и перенесемся на полтора года назад — в сентябрь 1936 года, в лагерь группы Евгения Абалакова — в так называемую «Самодетельную группу ВЦСПС» ту сыгранную пятерку отважных, тренированных и самонадеянных людей³³, решившихся на отчаянный осенний штурм Хан-Тенгри — высочайшей вершины Тянь-Шаня (6995 м). Собственно, никакого базового лагеря не было — вместо него снежная пещера на высоте 5600 м. Тем не менее кавалерийская атака по западному ребру удалась, и 5 сентября почти обессилевшая пятерка берет эту вершину и оставляет в туре³⁴ соответствующую записку³⁵.

Счастье? Счастье!

Но предстояло еще самое тяжелое — спуск.

Процитируем Павла Захарова:

«Уже через час спуска с вершины, М. Дадиомов и Л. Саладин резко сбрасывают темп движения — начинает давать о себе крайняя усталость. Да и температура воздуха, опустившаяся значительно ниже минус 30°, делает свое дело. Евгений Абалаков посоветовавшись с группой, принимает решение об ускоренном спуске части группы. Лоренц Саладин, Леонид Гутмани Виталий Абалаков, спрямляя путь и сильно рискуя, устремляются вниз, к базовому лагерю. Михаил Дадиомов и страхующий его Евгений Абалаков по мере сил и возможности двигаются вниз по перегруженному снегом склону. Вскоре Дадиомов просит напарника оставить его и спускаться вниз одному(!). После этих слов, Евгений решает на очень рискованный шаг. Негнуцимися пальцами он смотал веревку, перекинул через плечо. Сел на склон, опершись плечом на Дадиомова. Решил вдвоем съехать вниз по кулуару³⁶. Это был, по сути, последний шанс обоим остаться в живых. По такому крутому склону никогда и никто не глиссировал сидя. Ураган бушевал — жутко свистел ветер, крутила поземка, налетал туман. Скорость глиссирования начала нарастать. В летящей мгле было трудно контролировать скорость спуска — из последних сил Евгений налегал на древко ледоруба, тормозил, скреб зубьями кошек по шероховатому льду, согнутые ноги от многочасового напряжения ломило, иногда сводило судорогой. Он ясно представлял, что стоит на мгновение ослабить усилие торможения, и по кулуару вниз все скорее и скорее полетят куварком два тела.

Наконец жуткий спуск закончился. Можно встать, распрямиться, какое счастье — неужели спустились!? Ребята должны быть раньше, но их поблизости нет... На негнуцихся ногах Евгений Абалаков спускается ниже, оглядывается: где-то здесь была пещера... После снегопада и бури — все под пеленой снега, а никакого ориентира... Где же пещера?

Стоять становится все тяжелее и тяжелее... В раздумьи Евгений опустился на рюкзак... Миша лег рядом, поджав руки и колени к груди. Нет мыслей. Стучит пульс и в такт: где — где — где она? Без пещеры — конец!.. Увидев воткнутой в снег ледоруб, начинает приходить мысль — «нужно зондировать, искать». И тут же безвольная мыслишка — «снег глубокий, не найти. Надо ждать ребят — вместе откапаем».... Ветром разогнало туман на склоне — далеко вверх видно — нет никого! Неужели что-то страшное произошло с ними...

К месту, где должна быть пещера они подошли в полной темноте. После долгих поисков, Евгений всё же находит засыпанную снегом пещеру. Но ушедшей ранее тройки восходителей в ней нет...

Подобные трудности спуска испытывала и спускавшаяся внизу тройка восходителей. После того, как Гутман, зацепившись кошкой за камень под снегом, полетел вниз по склону, тройка альпинистов попала в тяжелое состояние. Через 200 метров падения, Гутман неожиданно останавливается, попав в глубокую снежную яму, заполненную сыпучим перемороженным снегом. У него была пробита голова и получено несколько травм, он был без сознания. Лоренц Саладин и Виталий Абалаков получили тяжелые обморожения. Ночь для тройки прошла в ужасных условиях — дно пещеры было залито ледяной водой. Половина следующего дня прошла в попытках спуска Михаила Дудионова, который был совсем плох. Уже через 100 метров пришлось прекратить его спуск — ни у кого не оставалось сил на такую работу. Укутав Дудионова во все теплое, что еще оставалось сухим и, организовав ему страховку, они оставили его на вытоптанной в снегу площадке. Сами снова поднялись в пещеру. В течение ночи Евгений Абалаков неоднократно спускались к нему, чтобы подкормить и проверить надежность его закрепления. В последний день спуска, частично восстановив силы, Гутман начинает двигаться сам. В конце своих страданий они вышли к палаткам базового лагеря. Лагерь был пуст — никого! Злой рок преследовал их уже внизу — они никак не могли выйти к людям и, никто не мог оказать им помощь.

12 сентября 1936 года обессилевшие альпинисты вышли к леднику Иньльчек и сообщили пограничникам о пострадавших. К этому моменту от гангрены умирает Лоренц. Из Алма-Аты в район бедствия был выслан санитарный самолет. Возглавили горноспасательную группу хирург Виктор Зикеев и альпинист Евгений Колокольников. Пожалуй, в истории советского альпинизма это была первая спасательная операция с применением авиации, с участием специалистов гражданской обороны и экстремальной медицины. Помощь пришла вовремя, но «Кровавая гора» — «Кан-Тоо» ещё раз оправдала своё название, оставив на телах молодых альпинистов свои метки на всю их дальнейшую жизнь»³⁷. Лоренц Саладин и вовсе не перенес этого спуска: 12 сентября он умер от гангрены³⁸.

Но ампутированные пальцы правосудию не помеха, конечно. И давления этой высоты никакие арестованные верхолазы уже не в состоянии выдержать: одно за другим они стали сыпать выбитыми из них «разоблачениями».

В целом же их страшная организация ставила перед собой задачу путем сбора и передаче германской разведке шпионских сведений способствовать ускорению интервенции фашистских стран против Советских Союзов с целью свержения советской власти. Все вербовали друг друга, но все были на крючке у альпинистов-иностранцев, с которыми уединялись на маршрутах и вершинах и которые, как оказалось, альпинисты лишь постольку-поскольку. А на самом деле они враги и шпионы, особенно тот покойный швейцарский коммунист: ох, неспроста подарил он В. Абалакову импортный фотоаппарат!

Следствие по делу Дадиомова закончилось 8 мая 1938 года. Приговор: 10 лет ИТЛ. Путевка: на Колыму.

На Владивостокскую транзитку Дадиомов прибыл еще летом 1938 года и оказался в 9-м бараке (3-я рота)³⁹. Едва ли, если только не переболел сыпняком, Дадиомов задержался на пересылке: две его сохранившиеся в деле жалобы, датированные мартом-апрелем 1940 года, отправлены уже из Марининска.

Возможно, что, отбыв там срок, Михаил Яковлевич и перебрался в Казахстан, с которым оказалась связана вся его оставшаяся жизнь. В том числе и альпинистско-спортивная!

Я не оговорился. В 1956 году — через 20 лет после трагедии на Хан-Тенгри, — он снова выполнил нормы мастера спорта СССР по альпинизму (!), а со временем стал заместителем председателя Казахского республиканского клуба альпинистов и руководителем многих казахских альпиниад и других сборов, свой дом в Алма-Ате превратил в ателье альпинистской одежды и снаряжения...

Очень жаль, что вброшенная Меркуловым информационная нигочка, ведущая к з/к Михаилу Дадиомову, оборвалось уже на з/к Викторе Соболеве, библио-текаре и учителе танцев⁴⁰.

Десятый свидетель (второй неопрошенный): доктор Миллер via Владимир Баталин (1969)

Владимир Алексеевич Баталин (отец Всеволод) (1903-1978), врач, филолог и священник. 22 сентября 1933 года он, в этот момент преподаватель русского языка и литературы в топографическом техникуме в Ленинграде, был арестован и 27 декабря того же года приговорен к 5 годам ИТЛ. Срок отбывал на Колыме, работая лагерным фельдшером и учетчиком. Комбинация из повторных арестов и принудительных поселений не выпускала Баталина из ГУЛАГа на протяжении двадцати лет!

Исправительно-трудовые лагеря своеобразно «перевоспитали» Баталина. Под влиянием встреч на Колыме с православными священниками, в особенности с Иоанном Крестьянкиным, Освободившись в 1953 или 1954 году, Баталин отправился... в Печерский монастырь, где принял монашество. А когда в 1955 году на служение в псковский Троицкий собор прибыл И. Крестьянкин, «отец Всеволод» (церковное имя В.А. Баталина) перебрался к нему. Ставрополь, Астрахань, Челябинск — вот станции его последующей церковной карьеры, завершившейся в сане архимандрита. На Урале он вышел за штат: застарелая и недолеченная лагерная пневмония перешла в бронхиальную астму и потребовала совершенно иного климата. С 1972 года и до смерти — отец Всеволод в Ялте, в Крыму⁴¹.

В 1969 году Баталина разыскал М.С. Лесман, записавший его рассказы о Клюеве, Мандельштаме и других. Вот что он рассказал о Мандельштаме — со слов доктора Миллера:

«Осенью 1938 г. я прибыл этапом на пересылку «Вторая речка» в г. Владивостоке⁴². Пересылка кишла кишла всяческим лагерным народом, ждавшим переправы паромом на Колыму.

Там я познакомился с врачом-ленинградцем по фамилии Миллер (имени, к сожалению, не помню, кажется, немец). Доктор Миллер, предлагая мне идти помогать им в амбулаторном обслуживании многочисленных пересыльных больных, сказал (конфиденциально), что в больницах пересылки свирепствует тиф (не помню,

какой) и что текущим летом среди его — Миллера — больных умерли в пересыльной больнице: поэт Осип Мандельштам, писатель Бруно Ясенский и художник Лансере. О Мандельштаме Миллер сказал, что он был пеллагрозник, крайне истощенный, с нарушенной психикой. Умирая, в бреду, читал обрывки своих стихов»⁴³.

Эпистолярные свидетели: Матвей Буравлев и Дмитрий Тетюхин (1971)

И еще одно свидетельство о последних днях Мандельштама — в письме 1971 года бывшего зэка Матвея Андреевича Буравлева (1899 — ?) сестре его покойного друга и тоже бывшего зэка Дмитрия Федоровича Тетюхина (1902 — ?):

«С ним (Тетюхиным. — П.Н.) у нас в жизни были интересные встречи, кому теперь о них рассказать? Например, летом 1938 г. во Владивостоке мы с ним лежали на нижних нарах трехъярусного барака, голодные, курить нечего, и вдруг к нам подходит человек лет 40 и предлагает пачку махорки в обмен на сахар (утром мы с Дмитрием получили арестантский паек на неделю). Сахар был кусковой, человек взял сахар, с недоверием его осмотрел, полизал и вернул обратно, заявив, что сахар не сладкий, и он менять не будет.

Мы были возмущены, но махорки не получили.

Каково же наше было удивление, когда узнали, что этим человеком оказался поэт О. Мандельштам. Потом он нам прочитал свои шедевры: усищи, сапожищи... и такое: «Там за решеткой небо голубое, голубое, как твои глаза, здесь сумрак и гнетущая тяжесть...» Всё это было и теперь рассказать некому»⁴⁴.

Поведение Мандельштама необъяснимо без понимания того, на какой неделе пребывания в лагере, — а, стало быть, стадии физической и психической деградации — находился поэт. Согласно нашей реконструкции, описанный эпизод имел место на шестой неделе (между 17 и 23 ноября 1938 года), когда О.М. очень быстро начал слабеть и сдавать⁴⁵.

Одиннадцатый свидетель (третий неопрошенный): Роман Кривицкий via Игорь Поступальский (1981)

Уже упоминалось, что Мандельштам мог оказаться в эшелонном изоляторе потому, что в вагоне его избил журналист Кривицкий — попутчик и солагерник.

«Свидетельство» Романа Кривицкого — это рассказ Игоря Стефановича Поступальского, записанный мной 23 февраля 1981 года — в день (точнее, в вечер) нашей первой встречи.

Прочитую запись в своем дневнике: *«Визит вечером к Поступальскому — наконец-то, слава богу. Дверь без звонка — открывают на стук или шевеление. Хозяин — бодрый бритоголовый старик (74 года), очень живой. Жизнь «типичная» — 10 лет Колымы. У него 2 мешка писем к нему и 10 мешков вырезок из газет и всяческих библиографий, утверждает, что О.М. — по 20-м годам — весь), стопки книг по дарителям: Мандельштам, Пастернак, Тихонов, Лившиц, Белый, Маяковский и др. Рассказал много интересного о Манд., о Лившице, о Нарбуте, о Брюсове.*

Вот что о Мандельштаме:

— Тюремно-лазерное: обичий следователь Шиваров (отдел лит-ры и искусства), упомянул какую-то еще эпиграмму О.М. («Диктатор в рыжих сапогах») — ?!?

Красавец Кривицкий (брат теперешнего?) хвастался, что бил Мандельштама в вагоне и что видел, как его били и на пересылке»

В списке Бутырской тюрьмы действительно значится Кривицкий Роман Юльевич, 1900 г.р., журналист, осужденный за контрреволюционную деятельность⁴⁶. Еще бы — до ареста он был ответственным секретарем бухаринских «Известий» и, вероятно, знал Мандельштама и до их встречи на вагонных нарах⁴⁷.

На пересылке Кривицкий не задержался и сразу попал на Колыму.

Осенью 1943 года на прииске Беличья, в больнице Севвостлага, где начальницей была «мама черная» — Нина Владимировна Савоева⁴⁸, он, по-видимому, умер от водянки.

На соседней койке лежал Шаламов, запомнивший Кривицкого как опухшего **доходягу**⁴⁹.

Двенадцатый свидетель: Дмитрий Маторин (1991)⁵⁰

«Послушай мои стихи, Митя!..»

РОДИТЕЛИ

«Самый главный очевидец!», — так называл Дмитрия Михайловича Маторина академик Крепс. Оба были знакомы друг с другом еще до своих арестов — вместе ездили в Колтуши к И.П. Павлову играть в городки.

Дмитрий Михайлович родился 27 мая 1911 года в Царском Селе в дворянской семье в Петербурге, в помещении Главного штаба, где служил его отец.

У отца, Михаила Васильевича Маторина (1870-1926), было дворянство личное, полученное за усердие по службе, каковую начал в Петербурге с должности писаря в Генеральном штабе войск гвардии. Со временем стал Главным казначеем и бухгалтером Дворцовых ансамблей и сохранил царскую казну и сдал в банк законного правительства, за что получил почётную грамоту. После революции работал он в губернском финансовом отделе. Умер он в 1926 году от чахотки.

Его мать — Зинаида Николаевна Хвостова (1874-1939) — представительница древнего потомственного дворянского рода Хвостовых. В селе Первитино Тверской губернии было у них родовое поместье, старшие братья и сестры Дмитрия Михайловича там и родились.

После революции она работала в Детском селе воспитательницей в детских колониях, многие годы была надомницей (брала шитьё на фабрике «Большевичка»).

Зинаида Михайловна вспоминала: *«Мама не любила светского образа жизни, была предана семье. Неплохо образована, училась в Тверской гимназии. Хорошо знала французский и немецкий языки. От природы была не глупа, сильна духом, благородна. Она не была религиозной. Всегда была занята чем-то полезным, много читала. Занималась с детьми, следила за их учёным. У нее были хорошие способности к математике. До старших классов помогала Николаю. Не дружила с пустыми женщинами...*

Крепко держала в руках детей. В семье не было хулиганов, пьяниц, лодырей, все трудились... Мы ничего у родителей не требовали, а старались как-то еще помочь, чем могли. У меня нет слов описать все горе в ее жизни, знаю только, что по благородству, терпению, мужеству и порядочности по сравнению с ней у меня никого нет...»⁵¹.

Она была поистине героической матерью и великой труженицей: родить, вырастить и поставить на ноги семерых — четырех сыновей и трех дочерей — не шутка! Все семеро ее детей получили образование, каждый искал — и по-своему находил — свое место в новой жизни.

Но все — или почти все — рухнуло после убийства Кирова в декабре 1934 года. Одного за другим шестерых из семи ее детей выбивали из седел репрессии, — выдержать еще и это было матери уже не под силу

Да она и сама — вместе с зятем Николаем Коккиным (мужем Нины) и внучкой Элеонорой — была выслана в 1937 году из Ленинграда в башкирский Стерлитамак, где и умерла в 1939 году⁵².

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ

Ключевая роль в семейной трагедии Маториных невольно досталась Николаю, старшему сыну, — самому, как одно время казалось, успешному из всех, сделавшему к тридцати годам просто феноменальную административно-научную карьеру.

Николай Михайлович Маторин (1898-1936) родился в Первитино. В 1916 году он окончил с серебряной медалью Царскосельскую Николаевскую гимназию и поступил на Историко-филологический факультет Петроградского университета, но уже в 1917 покинул его, будучи призван на военную службу. В марте 1919 года вступил в РКП(б) и затем в течение нескольких лет был на советской и партийной работе: сначала в Гдове, а с июля 1922 года в Петрограде — в качестве (sic!) секретаря Председателя Петроградского Совета и Председателя Коминтерна Г.Е. Зиновьева. Это обстоятельство впоследствии стало роковым, предопределив дальнейшую судьбу и его самого, и всех остальных Маториных.

Затем он был секретарём губернской комиссии по шефству над деревней, ответственным секретарём Ленинградского Союза рабочих обществ «Смычка города с деревней» и т.д. Хотя Николай не имел даже законченного высшего образования, но, начиная с 1922 года, его стали привлекать к преподаванию общественно-политических дисциплин в различных вузах Петрограда, в частности, в Институте географии. Будучи и впрямь не партийным карьеристом, а серьезным ученым — этнографом, религиоведом и фольклористом, — он занимал самые высокие, академические по рангу, должности, не имея ни высшего образования, ни даже докторской степени. Как специалист по религиозным исследованиям, в 1930 году он был назначен заместителем председателя Комитета по изучению этнического состава СССР (при председателе Н.А. Марре, воззрения которого он во многом разделял). Директорствовал в Музее антропологии и этнографии, а затем в Институте антропологии и этнографии (Кунсткамере), был одним из основателей Музея истории религии и атеизма и главным редактором журнала «Советская этнография».

Но вот 1 декабря 1934 года в Смольном был застрелен Киров. «Рикошеты» от этого выстрела разлетелись во все стороны и заделали очень и очень многих, но наиболее прицельный огонь велся именно по бывшим «зиновьевцам».

29 декабря 1934 года Николая Маторина — «как активного оппозиционера в прошлом, не порвавшего идейных связей с контрреволюционной зиновьевской оппозицией в последние годы» — исключили из членов ВКП(б). Уже 3 января 1935 года он был арестован и 13 февраля 1935 года приговорен к 5 годам ИТЛ. Этапирован был в САЗлаг (Среднеазиатский лагерь) под Ташкентом, в лагпункт в совхозе Малек, где ему было разрешено продолжать заниматься научной работой. 18 февраля 1936 года его этапировали обратно — из Ташкента в Ленинград, поближе к

Москве, где в августе шел суд на Каменевым и Зиновьевым. А 11 октября 1936 года выездная сессия Военной коллегии Верховного суда СССР под председательством В. Ульриха приговорила и его самого к высшей мере наказания. Расстреляли его в тот же день, реабилитировали — 20 марта 1958 года⁵³.

Средняя сестра — Зинаида Маторина (1902-1984 до революции училась в Царскосельской Марининской женской гимназии, где её классной дамой была сводная сестра Н. Гумилёва А.С. Сверчкова; Далее продолжала образование уже по курсу советской школы. В первом браке была замужем за Иваном Александровичем Коккиным. В 1937 году (после ареста мужа, но до его расстрела) была сослана в Казахстан вместе с дочерью Тamarой. Зимой 1942 года арестована и заключена в тюрьму, откуда была выпущена уже в мае 1942 из-за рождения дочери Ирины. В ссылке, в казахстанском Челкаре, вышла замуж за Николая Федотовича Калаушина, такого же ссыльного, как и она сама. Там она работала чертёжницей, секретарём-статистиком и на разных подсобных работах, а после реабилитации — медсестрой, библиотекарем, переводила с французского⁵⁴.

Младшая сестра Нина (1904-1937), член партии, управляющая делами «Ленинщепромсоюза»: арестована 7 сентября 1936 года, приговорена 15 октября 1936 года к 5 годам ИТЛ за «контрреволюционную троцкистскую деятельность», срок отбывала на Соловках. Новый приговор — от 9 октября 1937 года — «вышка», расстрел. Приведен в исполнение 2 ноября 1937 года в Сандармохе в Карелии. Ей было всего 33 года!⁵⁵

Брат Роман (1906-1995) — агроном. Закончил Сельскохозяйственный техникум им. А.А. Сотникова. Арестован как социально-опасный элемент 27 января 1937 года: приговор — 5 лет ИТЛ, но из-за войны «задержался» на Колыме и провел там все 10 лет. На Колыме добывал золото на золотых приисках, разрабатывал торфяные и оловянные рудники, работал статистиком, учётчиком и даже агрономом на огородах пошивочной фабрики в Усть-Утином Магаданской обл. Во второй раз был арестован в июне 1943 года, освобождён 13 ноября 1945 г. После освобождения работал агрономом. В первом браке женат на А.А. Кузьминой (1909-2002), после ареста мужа сосланной в Бузулук Оренбургской области на 8 лет. Во втором — на ссыльнопоселенке Антонине Васильевне Кузнецовой (1924-1981) из села Бартат Большемуртинского района Красноярского края.

Брат Михаил (1909-1984) — родился в Петербурге в годы Гражданской войны и попал в детский дом. Учился в 1-м Ленинградском педагогическом техникуме, затем в Педагогическом институте, до ареста успел закончить 2 курса Ленинградского университета для учителей-историков. С 1927 года — на педагогической работе, специалист по борьбе с детской беспризорностью. Арестован в 1937 году: приговор — 5 лет ИТЛ, из-за войны «задержался» на Колыме и провел там не 5, а все 10 лет. После освобождения работал начальником планового отдела экспедиции, а затем «по зову сердца» вернувшись в свою профессию — стал директором Ягоднинского школы-интерната, переполненного брошенными детьми и беспризорниками. Жену Александру Сергеевну Малий встретил в ссылке⁵⁶.

О Дмитрие еще будет сказано, но все младшие братья Маторины — Роман, Михаил и Дмитрий — прошли один и тот же путь: арест — Шпалерка — транзитка — колымские лагеря...

Из братьев и сестер Маториных избежала ареста только одна Наталья (в замужестве Дергауз, 1900-1973). Ее семью погубил не Сталин, а Гитлер: во время блокады Ленинграда она похоронила мужа и троих детей. Старшая сестра Дмит-

рия, она закончила Екатерининский институт благородных девиц, и тем более удивительно, что в начале 1920-х годов за спасение от банды целого поезда с беспризорниками (отстреливалась с пулемётом!) она была награждена именованным револьвером от Ф.Э. Дзержинского. Вскоре она вышла замуж за С.Е. Дергауза (1894-1942), сражавшегося во время Гражданской войны в 1-й Конной армии⁵⁷. Похоронив мужа и детей, кроме самого старшего сына Константина, с которым была эвакуирована в Казахстан, Наталья Михайловна так и не смогла заставить себя вернуться в старый дом.

Репрессии не миновали жен и мужей репрессированных Маториных. Жену Николая — Лидию Петровну Маторину, члена партии с 1919 года, редактора журнала «Работница и крестьянка», исключили из партии и 28 февраля 1935 года выслали вместе с детьми в Ташкент.

Были арестованы и сосланы: жена Романа — А.А. Кузьмина (восемь лет ссылки в Бузулуке), жена Дмитрия — Т.Г. Румянцева (пять лет в ссылке), муж Нины — Николай Коккин (арестован и выслан в Стерлитамак). А вот мужа Зинаиды — Ивана Александровича Коккина (1900-1937), крупного хозяйственного работника (управляющего институтом «Гипродрев» и уполномоченного по заготовкам треста «Ленлес») — расстреляли: впервые он был арестован 7 сентября 1936 года и 15 октября того же года приговорен к 5 годам ИТЛ, наказание отбывал на Соловках, на лагпункте Анзер; 14 октября 1937 года новый приговор — «вышка»; приведен в исполнение 1 ноября 1937 года в Сандармохе в Карелии.

Все подвергшиеся репрессиям Маторины, как и их мужья и жены, были впоследствии — во второй половине 1950-х гг. — реабилитированы.

ДМИТРИЙ МАТОРИН: АРЕСТ И СЛЕДСТВИЕ

Дмитрий Маторин (1911-2000) — самый младший из братьев — родился 27 мая 1911 года в Петербурге, на Дворцовой площади в здании Генерального штаба. Так как семья сильно разрослась, то переехали жить в Царское Село. Учился в школе, где ярко проявились его спортивные способности. Ещё во время обучения выступал в цирке в качестве гимнаста.

После школы поступил в Физкультурный техникум и после его окончания преподавал физическую культуру в Ленинградском авиатехникуме. К этому у него были незаурядные предпосылки: одаренный от природы и не жалеющий себя на тренировках, он был одним из сильнейших в Ленинграде борцов как классического, так и вольного стиля (в легкой весовой категории), членом городской сборной, чемпионом или призером первенств Ленинграда предарестных 1930-х годов.

А арестовали его 7 февраля 1937 года, ночью, на квартире в Дмитровском переулке. При обыске искали оружие, будто бы переданное старшим братом. Из оружия нашли... стартовый пистолет. Увезли в Большой дом, в тюрьму на Шпалерной, обрезали все пуговицы и ремешки. Шесть часов продержали в «пенале» (стенной шкаф, где можно было только стоять), ноги затекли. А утром зашпихнули в общую камеру — общую для двухсот человек (вместо сорока по норме).

На Шпалерной держали больше года. Сначала предъявили обвинение в групповом терроре, потом, за отсутствием материала, смилоствовали и опустили до соучастия в террор. Следователем неожиданно оказался «свой», детскосельский, мальш — Георгий Ловушкин: когда-то он даже учил Митю крутить на турнике большие обороты «солнце», сам ухаживал за Ниной, старшей сестрой, — даже записки через своего будущего подследственного ей передавал⁵⁸.

Ловушкин зачитал Маторину донос Николая Скрисанова из авиационного техникума: «Старший преподаватель Дмитрий Маторин на занятиях партпроса получал пятерки, но разъяснял нам, что нельзя отбирать у крестьян кур и скотину под одну крышу, и что социализм в этой стане построить трудно».

Из «Шпалерки» Маторина перевезли в «Кресты», где он сидел сначала в одиночке, а потом в малонаселенной камере — всего на 16 человек. Здесь, в «Крестах», в апреле 1938 года и встретились трое братьев — Михаил, Роман и Дмитрий. Как социально-опасные элементы каждый из них, решениями Особого совещания, получил по «пятерке» ИТЛ.

ТРАНЗИТКА

Из «Крестов» повезли в «стольпинском» вагоне в Свердловск — там, на пересыльном пункте скапливалось по несколько тысяч заключенных. Затем отправили во Владивосток в пересыльный лагерь, так называемую Транзитку, что возле станции «Вторая речка».

На Транзитку прибыли в июне 1938 года. И уже через несколько дней старших братьев — Михаила и Романа — погнали на Колыму добывать золото, а самому младшему — Дмитрию — больше года пришлось «пахать» на Транзитке.

Пересыльный лагерь на Второй речке. Жара невероятная, воды нет. Низкие бараки — настоящие клоповники. Но хуже всего беспредельщики-«бытовики»: у каждого нового этапа — несчастные, растерянные люди, не знающие, что их ждет в пересыльном лагере и что после него, — отнимали одежду, еду, табак.

В «общении» с уголовниками нередко вырuchали хорошая физическая подготовка и спортивные навыки. При стычках предпочитал орудовать доской как штыком — это хорошо отрезвляло урок, не привычных к отпору. Но доставалось и чемпиону: однажды проломили голову ведром, другой раз изуродовали руку.

В лагере он пользовался уважением не только хлипких «контриков», но и начальства, которому не раз помогал управляться с урками. Его девиз в лагере: быть человеком и не притворяться. Сила, разум и чистоплотность — на этом он строил всё свое поведение. Он был сначала возчиком при кухне, а потом попал в инженерную бригаду — что-то вроде лагерной «шарашки»; бригада (двенадцать человек) имела свой домик в «китайской» зоне. Возглавлял ее архитектор из Краснодара Алексей Муравьев. Были в ней Н.Н. Аматы — крупнейший инженер, специалист по самолетным приборам, скульптор Блюм, художник Киселев (портретировавший всех вождей), театральный художник Шуко (сын архитектора), учившийся в Англии инженер Фрате, инженер-сантехник Сновидов, двое инженеров-однофамильцев Михайловых. Сам Маторин числился в бригаде чертежником-светокопировальщиком, но фактически был дневальным.

МАНДЕЛЬШТАМ

Каким же, наверное, хлюпиком рядом с Маториным казался — почему казался? Был! — Осип Эмильевич!..

«Познакомился» с ним Маторин так. В лагере были большие трудности с водой: ее привозили, своей не было. Вокруг конторы нередко собирались изможденные жарой люди, там иногда выставляли ведра с водой, но пить без разрешения никому не позволяли. Однажды, когда Маторин был рядом, один из заключенных не выдержал, бросился к ведру и стал жадно глотать воду. Охранники оттащили

его и собирались избить, но Маторин втащил его в коридор конторы. Был он чуть выше среднего роста, в каком-то френчике, худой, с воспаленными, указывающими на психическое расстройство, глазами. От благодарности Осип Мандельштам, — а это был именно он, — все пытался поцеловать руку спасителя.

Маторина он называл по-домашнему: Митей. Говорит: «Приедешь ко мне, я тебе свои книги подарю». Помню, позвал меня как-то: «Послушай мои стихи, Митя! Река Яуза, берега кляузные...»

В другой раз спас его от беды другой узник Транзитки — будущий академик Крепс, имевший на Транзитке не менее ответственную должность: раздатчик хлеба! А дело было так. Принесли хлеб — пайки. Обычно дежурный поворачивается спиной к обитателям барака, берет пайку и кричит: «Кому?» Каждому хочется горбушку или кусочек получше. Вдруг видим — Осип бросается к ящику, хватая пайку и бежит к двери. Накануне у него украли хлеб, и он, голодный решился на такой «подвиг», чуть не стоивший ему жизни. Спасибо Крепсу. Он остановил Мандельштама у самой двери. «ЧП» удалось замять. Крепс хорошо знал Осипа, здесь, в рабочем бараке, они бывали неразлучны, часто беседовали друг с другом. Когда Мандельштам был уже тяжело болен, мы помогали ему как могли. Я приносил ему, то пайку от умершего заключённого, то воды.

На «Транзитке» осенью 1938 года свирепствовал тиф и еще, вспоминает Маторин (тут он, кажется, единственный) какая-то странная лихорадка. Люди болели и умирали десятками. В один из дней мне и ещё одному заключённому приказали отнести «жмурика». Он был накрыт чем-то, торчала голая нога, к ней была привязана деревянная бирка с номером. Это был Мандельштам. У больнички его поджидали «санитары» из блатных, специалисты по золотым коронкам...

Где был погребён Мандельштам, Маторин не знал. Вероятнее всего, на кладбище в бытовой зоне на Второй речке. Там рыли канавы и рядами складывали покойников, засыпая землёй. Записывался только номер ряда и номер бирки.

ОХОТСКОЕ МОРЕ, КОЛЫМА И КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Спустя год из «Транзитки» на Колыму доставили и самого младшего из братьев Маториных. На пароходе «Дальстрой» судьба столкнула его с профессорами-врачами — знаменитым одесским хирургом Кохом и офтальмологом Троишким. В одной из кают им приказали устроить медпункт для обслуживания этапа. Взятый ими в помощники урка в первый же день выпил весь медицинский спирт и валялся в беспамятстве: на образовавшуюся «вакансию» леккома и взяли Маторина.

В трюме находилось сотни заключенных, страдавших расстройством желудка. Для их «удобства» из наспех сколоченные досок, протянутых над морем, были сделаны туалеты. На подходе к Охотскому морю началась бортовая качка, и когда одна, особенно свирепая, волна ударила в борт, эти доски вместе с людьми рухнули в воду. Спасать утопающих никто и не собирался. А у Маторина тогда впервые появилась седина...

По прибытии в Нагаево всех дошвывших погрузили в автомашины и повезли по Магаданской трассе в лагеря на прииски. Маторина сгрузили в Сусумане, где вскоре ему представился шанс поработать на телефонной станции — уезжал вольнонаемный сусуманский телефонист. Сказав, что по физике у него всегда была пятёрка, Маторин предложил телефонисту за протекцию и профобучение все свои накопления — 25 рублей. Тот все устроил, но столь красивой жизни Маторину обломилось всего на полтора месяца: после того, как он соединил абонента не с де-

журным по лагерю, а с начальником, его выставили, и все его «инвестиции» в светлое будущее — «сгорели».

В Сусумане ему поручили наладить физкультурную работу и соорудить на речке Берелех каток. При этом чуть не утонул вергевшийся под ногами мальчишка лет семи — сын начальника управления. То есть он утонул бы, не спаси его Маторин. После этого поступило распоряжение кормить его лишний раз в день с черного хода в местной столовой: Маторин об этом не просил, но от этого не отказался.

БАРНАУЛ И КАНСК

Пять лет ИТЛ истекла в 1942 года, но война почти удвоила этот срок. Лишь после Победы Маторин покинул Колыму и на положенное себе спецпоселение осел на материке, на Алтае. Здесь, в Барнауле, он основал свою школу классической борьбы в Барнауле (1946-1949). Боролся и сам, став, например, чемпионом Сибири и Дальнего Востока 1948 года (турнир проходил в Барнауле).

Будучи, как спецпоселенец, невъездным, он же, как человек независимого характера, нередко пренебрегал своим статусом и выезжал со своими воспитанниками на соревнования и за Урал, и за Байкал. Возможно, это сыграло свою роль при его вторичном аресте и осуждении. Это произошло в Барнауле летом 1949 года.

Отправили Маторина в Красноярский край на лесозаготовки, но и там он устраивал спортивные праздники. В 1951 году его переводят в Канск, где до окончания ссылки в 1954 году он обучал офицеров МВД боевому самбо. Так что, наряду с Барнаулом, городом, где Маторин основал школу борьбы, стал еще и Канск.

Всего в лагерях и ссылках Дмитрий Михайлович Маторин провел семнадцать бесконечных лет!..

ЛЕНИНГРАД

Лишь в 1954 году 43-летний Маторин вернулся в родной город. В 1956 году его реабилитировали.

Он сразу же начал работать по своей «узкой» специальности — тренировать борцов-«классиков». С 1956 по 1971 гг. Работал старшим тренером ДСО «Труд» по классической борьбе, его команды и ученики неоднократно выходили победителями клубных и региональных первенств. Как тренер он подготовил более 50 мастеров спорта СССР, в том числе чемпионов и призеров общесоюзных первенств. В 1960-е годы ему присваивают звания «Заслуженный тренер РСФСР» и «Судья всесоюзной категории», избирают в президиум Федерации классической борьбы Ленинграда. Но он не только практик классической и вольной борьбы, не только тренер: он еще их историк и теоретик!⁵⁹

В 1973 году, будучи уже пенсионером, Д. Маторин пришел в Ленинградский Институт физкультуры им. П.Ф. Лесгафта, где работал мастером спортивных сооружений, а позднее массажистом в медсанчасти.

Там в медсанчасти Дмитрий Михайлович и назначил мне наше первое свидание. Он и в старости был человеком поразительно физической силы. Его молодое рукопожатие, как, впрочем, и его голос, — характерно отрывистый и хриплый, — были его своеобразными визитными карточками.

Дмитрий Михайлович Маторин, мандельштамовский «Митя», умер в Санкт-Петербурге 4 февраля 2000 года — немного не дотянув до 90 лет.

Примечания

¹ См. первую публикацию в предыдущем номере. Фрагменты из раздела «Очевидцы и свидетели» из новой книги Павла Нерлера «"На вершок бы мне синего моря!.." Осип Мандельштам и его солагерники», выходящей в этом году в издательстве «АСТ».

² РГАЛИ. Ф. 2590. Он.1. Д.298. Л. 140.

³ РГАЛИ. Ф. 2590. Он.1. Д.107. Л. 31.

⁴ РГАЛИ. Ф. 2590. Он.1. Д.298. Л. 145-145об.

⁵ РГАЛИ. Ф. 2590. Он.1. Д.298. Л. 94.

⁶ МАА. Ф.8. Он.1. Д.3. Л.8. Письмо без даты, дата по штемпелю на конверте.

⁷ Он умер в 1939 г., когда сын был в лагере.

⁸ По этому адресу было зарегистрировано Общество здоровья евреев, созданное в Петербурге еще прадедом Наумом.

⁹ МАА. Ф.8. Он.1. Д.3. Л. 21.

¹⁰ АМ. Box 3, Folder 102. Doc. 28. Это 6 страниц текста и еще конверт: «Куда: Москва 447, Большая Черемушкинская. Д.50, корп. 1, кв.4; Кому: Мандельштам Н.Я.; Имя и адрес отправителя: [Не указаны]; Штемпели: "Ленинград 23.1.68" и "Москва 26.1.68"»

¹¹ Юрий Евгеньевич Мандельштам (1930-1990).

¹² Эту свою миссию он раскрыл в разговоре с П. Нерлером.

¹³ Тут какая-то неточность. Ни Е.Э. Мандельштам, ни Е.М. Крепс не учились в Тенишевском училище.

¹⁴ Новые свидетельства о последних днях О.Э. Мандельштама / Публ. Н.Г. Князевой. Предисловие П.М. Нерлера // *Жизнь и творчество*. С.50-51.

¹⁵ Благодарю А.И. Милотина, Л.Н. Киселеву, Г.М. Пономареву и Г.Г. Суперфина за разнообразную помощь.

¹⁶ Его заместитель — некто Крюков.

¹⁷ В 1970-е гг. он жил в Ташкенте, где в 1971 г. во время Всесоюзного Физиологического съезда его разыскал академик Е.М. Крепс.

¹⁸ *Мандельштам Н.* Воспоминания // *Собр. Соч.* В 2 т. Т. 1. Екатеринбург, 2014. С. 472.

¹⁹ Ср. примечание у М.С. Лесмана: «*Среди многих опрошенных мною артистов и административных работников Одесской эстрады, деятельность которых на протяжении десятков лет была связана с Одессой, никто не может вспомнить этой фамилии*». Вместе с тем после смерти М.С. Лесмана в его архиве обнаружилась запись: «*Томчинский Лева (он же Гарбуз)*».

²⁰ Возможно, с одним из последних транспортов его отправили на Колыму.

²¹ Петр Федорович Наранович (1903-??) — с 1921 г. в компартии, на партийной или газетной работе в Таре, Омске и Новосибирске. В 1933 г. вышел из доверия и направлен начальником политотдела маслосовхоза Кабинетный в Чулымском районе края. В конце 1936 г. обвинен в связи с контрреволюционером-троцкистом Альтенгаузенем, после чего, как правило, следовали арест и осуждение (сообщено Е. Мамонтовой и С. Красильниковым — по материалам кадрового дела П.Ф. Нарановича в: *Государственный архив Новосибирской области. Ф. П-3. Он. 15. Д. 11845*).

²² Из письма А.И. Милотина, сына И.К. Милотина, П.М. Нерлеру от 9.8.2014.

²³ Был еще и второй — от 25 июня 1949 г. (Справка Военного трибунала Московской области от 26 апреля 1956 г. — сообщено А.И. Милотиным).

- ²⁴ За этими словами следовал, собственно, текст самого Милютинина: [«Вспоминает Иван Корнильевич Милютин...»] (*Милютин*, 1997. С.342-344).
- ²⁵ *РГАЛИ. Ф.1893. Оп.3. Д. 124*. Список рукой Т.П. Милютининой, с пометами: «1967. XI — XII» и «Тамара Павловна Милютинина. Таллин 13, ул. Харку, 2/5».
- ²⁶ Ср.: «По своей бескомпромиссности он безразлично относился к тому, что Мандельштам писал блатным стихом, считал, что он притворяется сумасшедшим» (*Милютин*, 1997. С.341)
- ²⁷ Благодарю К.М. Азадовского, Н.М. Ботвинник, Л.М. Видгофа, П.П. Захарова, С.Б. Кулаеву и Г.Г. Суперфина за разнообразную помощь.
- ²⁸ В 1974 г. о них же он рассказывал Ю. Фрейдину.
- ²⁹ *М.А. Ф.8. Оп.1. Д.3. Л. 15*.
- ³⁰ См. *Корзун Е.* Воспоминания. В сети: http://www.the-ratner-family.com/Korzun_memoirs.htm
- ³¹ [Номер его следственного дела 8155. О деле В. Абалакова см.: *Пустовалый Ю.И.* Расстрельное время (ретро-обзор) // Riskonline. В сети: <http://old.risk.ru/rus/mount/museum/pustovalov/>
- ³² *ГАРФ. Ф. Р-10035. Дело № П-20622*. (Оригинальный номер следственного производства: № 5434).
- ³³ Кроме скульптора Евгения Абалакова и инженера Дадиомова, в нее входили еще конструктор Виталий Абалаков, студент Леонид Гутман и многоопытнейший альпинист-профессионал — швейцарец Лоренц Саладин.
- ³⁴ Искусственный курган из камней, часто имеющей коническую форму: в них, как правило, альпинисты закладывали свои записки.
- ³⁵ Обнаруженную только в 1954 г., то есть спустя 18 лет!
- ³⁶ Сужающаяся ложбина в склоне горы, направленная вниз по линии тока воды.
- ³⁷ *Захаров П.П.* Дадиомов Михаил Яковлевич — легенда советского высотного альпинизма. Сетевой журнал: Mountain.Ru. В сети: http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=6170
- ³⁸ *Steiner R., Zopf E.* Tod am Khan Tengri. Lorenz Saladin, Expeditionsbergsteiger und Fotograf. Zürich: AS Verlag, 2009.
- ³⁹ Адрес известен из сохранившегося в следственном деле Дадиомова обращения сестры Михаила (датировано 27 декабря 1938 года — днем смерти О.М.!).
- ⁴⁰ К слову: дом № 5 в Бутиковском переулке, где в квартире № 31 жил Соболев, тоже не сохранился: на его месте стоит теперь совсем другое здание (сообщено Л. Видгофом).
- ⁴¹ Биографическая канва по: *Белобородов В.* Тернистый путь отца Всеволода // Югра-Старт (Сургут). 2011. № 4. В сети: <http://www.ugra-start.ru/ugra/aprel-2011/213>
- ⁴² В свете обстоятельств смерти О.М. и того, что мы знаем о судьбе самого Баталина, тут налицо явный анахронизм. Вероятней всего встреча с доктором Миллером состоялась весной 1939 г., когда открылась навигация, и Баталин, чей срок закончился предыдущей осенью, но которого наверняка задержали на Колыме, находился на пересылке транзитом на запад (был ли в это время еще свободным человеком или уже нет — мы пока не знаем).
- ⁴³ Новые свидетельства о последних днях О.Э. Мандельштама / Публ. Н.Г. Князевой // *Жизнь и творчество*. С. 51-52.
- ⁴⁴ В конце 1980-х гг. это письмо было передано мне племянником Д.Ф. Тетюхина Валентином Михайловичем Горловым — журналистом и писателем из поселка Грибаново (Б. Грибановка?) Воронежской области. Впервые: *Жизнь и творчество*. С. 46.
- ⁴⁵ См.: *Нерлер*, 2014. С.492-493.
- ⁴⁶ См.: *Нерлер*, 2010. С. 115. В списке Таганской тюрьмы есть еще и однофамилец: Кривичий-Кошевич Илья Абрамович, 1898, 5 лет.

⁴⁷ [47] Его родной брат — очеркист и писатель Александр Юльевич Кривицкий (1910-1986) — был заместителем главного редактора «Нового мира» при главном редакторе К.М. Симонове.

⁴⁸ См. ниже.

⁴⁹ Из письма В.Т. Шаламова Б.Н. Лесняку, 18 января 1962 г. (*Шаламов В.Т.* Собрание сочинений: В 6 т. + т. 7, доп: Т. 7, дополнительный: Рассказы и очерки 1960-1970; Стихотворения; Статьи, эссе, публицистика; Из архива писателя. М.: Книжный Клуб Книговек, 2013. С. 318).

⁵⁰ Очерк составлен на основании собственных записей и сведений, почерпнутых из литературы, приведенной в библиографии. Благодарю за ценные уточнения семью Д.М. Маторина — В.М. Румянцева, его сына, И.Н. Иванову, племянницу, и, в особенности, Е.В. Логвинову, внучатую племянницу.

⁵¹ *Иванова Г.Г.* Из рода Хвостовых. История одной семьи. Калининград-Лихославль, 2003. С.18.

⁵² *Финкельштейн К.* Императорская Николаевская Царскосельская гимназия. Ученики. СПб.,: Изд-во Серебряный век, 2009.С. 234-237.

⁵³ См. подробнее в: *Решетов А.М.* Трагедия личности: Николай Михайлович Маторин // Репрессированные этнографы. Вып. 2. Сост. Д.Д. Тумаркин. М., 2003. С. 147-192.

⁵⁴ *Тамбовкина Т.И.* Челкар (1937-1942). Калининград, 2006.

⁵⁵ Судьба трех ее дочерей была грустной: Таня — пропала без вести, Элеонора — уехала в ссылку в Стерлитамак, Нина — в детском доме.

⁵⁶ Реабилитирован в 1956 году. См.: *Бирюкова Н.* По интернату идёт директор; *Кузнецова Н.* Взрослый друг (Об М.М. Маторине). // На Севере. Альманах. 1963. № 2 С. 135-143.

⁵⁷ Талантливый инженер, он стал крупным специалистом-теплотехником по паровым машинам, затем в качестве профессора преподавал в Технологическом институте и институте Путей сообщения.

⁵⁸ Он даже не удержался и спросил: «А где Нина?». На что получил оглушительный ответ (Нина была уже расстреляна к этому времени!): «Вам лучше знать!».

⁵⁹ В 1995 году он выпустил фотоальбом: Маторин Д.М. Наследие: История классической (греко-римской) и вольной борьбы в Санкт- Петербурге (Петрограде- Ленинграде). 1885-1985. СПб.: Роза мира, 1995. Это издание небольшого формата включает в себя очерк по истории и около 80 уникальных фотографий.



Дмитрий Бобышев
ЧЕЛОВЕК ОТЕКСТ
Трилогия
Книга первая. "Я здесь"

(продолжение. Начало в №12/2014 и сл.)

Друзья-соперники

Придя ко мне с ослепительной Асей, Иосиф, конечно, похвально ей передо мной на бессловесном языке, понятном зверюшкам и птицам, и я испытал укол платонической ревности. Это сообщало нашему приятельству соревновательный оттенок, который, впрочем, и без того присутствовал.

Именно так, соревновательно, но весело он травил меня в одну трудоемкую затею — переводить вместе с испанского, которого не знали ни он, ни я, но зато дело было верное и публикация, по его словам, была гарантирована. Поэт-то был кубинский — Мануэль Наварро Луна, в трескучих стихах воспевающий шхуну «Гранма», на который бородатый Комманданте прибыл на Кубу наводить свой порядок, ну и, конечно, его самого.

Меня смущал пропагандистский характер стихов, но Жозеф убеждал, что «барбудос» — это ничего, даже забавно и вполне приемлемо для двух джентльменов, находящихся в поисках дополнительных заработков. Готовясь к экспедиции, он сам стал запускать бороду, рыжина которой оказалась заметней, чем в волосах на голове. Эдаким барбароссой он укатил в Якутию, а я стал за двоих переводить романтическую чепуху нашего кубинца.

Оттуда (из Якутии, конечно, а не с Кубы) стали приходиться письма. Листки были исписаны самым немислимим почерком: палки и крючки, палки и крючки, которые лишь изредка, да и то случайно, складывались в слова. Смысл их состоял в том, что я могу поступать с нашими переводами как хочу, а он, Иосиф, посылает этого Комманданте подальше.

В досаде на него за потраченные попусту усилия и время я весь ворох бумаг, включая письма, вышвырнул на помойку под аркой во дворе дома № 16 по Тверской улице.

По его возвращении («Забудем, Деметр, этого проклятого Комманданте») мы довольно часто виделись: он тогда писал «Шествие» и, обрушив на меня сначала значительную порцию ритмически насыщенного текста, затем знакомил меня с ходом дела (довольно бурным) поглавно. Замысел предполагал бесконечное течение поэмы, ведь это была, по существу, улица с ее незатихающим шествием прохожих — та самая, видимая с балкона их гостино-спально-столовой, где почти ровень с окнами висел уличный знак для автомобилистов: круговое движение по периметру площади, в центре которой стоял собор Преображенского полка. Три стрелки на знаке жалили в хвост одна другую, замыкая круг и рождая мысли о бес-

конечном. Я заговорил с Жозефом о мистике, предполагая в нём способность вырваться за пределы повторяющейся реальности, и этот ход я угадывал в той тьме, откуда уже появился однажды его чёрный конь. Он слушал, надо признаться, скептически, однако при следующей встрече прочел мне кусок, значительно отличающийся от прочих. В нем появился любовник-оборотень, получеловек-полупицца, весьма странное существо, но до мистического откровения, на которое я надеялся, все-таки не дотягивающее. Правда, его появление преломило ход бесконечной поэмы, перевело её на коду, где, удачно перефразировав цветаевского «Крысолова», поэт закончил, увы, довольно банальным чёртом и не менее банальным признанием, что «существует что-то выше человека». Оставалось только во вступительном слове назвать поэму «гимном баналу», что автор и сделал.

Позднее мне пришлось защищать эту поэму перед Даниилом Граниным, и обстоятельства разговора с ним стоят изложения. Лавры Государственной (бывшей Сталинской) премии украшали седеющие виски и жесткие волосы этого осторожного либерала. Научная интеллигенция видела в нём свой общественный образец, и он старался ему соответствовать. Разумеется, по мере возможности и насколько позволяла обстановка...

В то довольно паршивое время он был председателем Комиссии по работе с молодыми авторами при Союзе писателей.

Однажды он попросил у меня рукописи, чтобы ознакомиться с тем, что я делаю, а затем пригласил домой для разговора — жил он напротив «Ленфильма», на улице братьев Васильевых (теперь, кажется, Малая Монетная), а я тогда — на Максима Горького (Кронверкский проспект), в двух минутах ходьбы проходными дворами. Ещё в прихожей он начал расспрашивать о здоровье, как старика или инвалида. Я удивился такому необычному участию, сослался на лёгкую простуду, обычное дело для жителей Северной Пальмиры, но он продолжал расспрашивать, и мне пришлось рассказать о тяжелом ранении, об операции, и, увидев, что его интерес ко мне катастрофически падает, я смолк, недоумевая.

Боязнь гриппа? Нет. Сочувствие? Нет. Холодное писательское любопытство? И это — нет. Впоследствии Довлатов, которого он таким же образом приглашал и так же расспрашивал, всё мне объяснил. Оказывается, у Гранина было твёрдое убеждение, что писательство может быть успешным только при крепком здоровье, как условия No 1. Что ж, это не лишне и при любом занятии!

Всё же его расспросы расположили к доверительному разговору: ведь и у него научно-техническое образование, и он из него как-то вырвался в литературу...

— У меня только один рецепт: делайте, как я. После ЛЭТИ я работал в «Ленэнерго» и там кое-что написал и наметил свои письменные планы. Потом поступил в аспирантуру и за два года вместо диссертации сочинил книгу. Публикация. Союз писателей. Пока жил на гонорары от первой книги, написал вторую. Премия.

В моей поэме «Опыты» его заинтересовал сбой синтаксиса в строфах о взгляде на пространство извне — «Снаружи, да. Снаружи, нет».

— Что это?

— Это — прием. Голоса в диалоге раздваиваются, получается зеркальная полифония.

— А похоже на теперешние научные идеи. Амбивалентность пространства...

— Все ж это — результат формального приёма. Что не исключает появления второго и третьего смысла...

Помолчал. Потом спросил:

— А что вы думаете о Бродском?
— Очень одаренный автор. Поэт!
— Но ведь его «Шествие» это неудача. Бесформенность...
— Композиция — да, не организована. Но есть и очень сильные стороны.
— Какие?
— Замысел: уличная толпа как шествие персонажей. Некоторые куски отменны. Потом: ритмы и общий разгон показывают его потенциал как поэта.
Мы попрощались. Ни он, ни его Комиссия («по борьбе с молодыми»), как её называли, никогда и ничего не сделали для меня. И — ни для Бродского. Ни хорошего, ни плохого.
Ключие глаза, тонкие губы пассатижами, раздвоенный на конце нос.

Друзья-соперники (продолжение)

Помимо нашей компании, у Иосифа были авторитеты где-то на стороне. Прежде всего, среди геологов, но не «Глеб-гвардии-семеновцев», а других, тех, с кем он связан был по двум с половиной или полутора экспедициям, в которых участвовал. Однажды он пригласил меня на чтение в общежитие «к ребятам из Горного». Долго трамвай наш скрежетал по насквозь пролитературенному городу: сначала по неминуемому Лигейному, затем сворачивая на Белинско-Симеоновскую и с моста через Фонтанку, где когда-то привиделся Блоку припорошенный белым Антихрист (не Андреем ли Белым?), мимо цирка, где у боковых ворот топгались еще не написанные поздним Найманом львы и гимнасты, и — по Садовой мимо Публички с халатно облаченным Крыловым в окне, мимо Гостиного и Апраксина дворов со всегдашними модными лавками, где Натали Гончарова «случайно» встречала царя, а муж её, возможно, рылся в это время в книгах у Смирдина, и, разгоняясь через Сенную, где секли погулявшую налево некрасовскую музу, трамвай замедлял у решетки Юсуповского сада, чтобы свернуть на Майорова (Вознесенский проспект) и выкатить со скрипучим разворотом к Николе Морскому, где будут отпевать Ахматову (а мы с ней еще и не познакомились), где и мне суждено увидеть золотое кладбище на крыше подворья... У школы, где была «Зелёная лампа» братьев Всеволожских, — поворот на наше с Жозефом перекрестье-противоборье, что настанет ещё не сейчас, но уже очень скоро, а пока — мимо Консерватории с Маринкой, через Поцелуев мост с его Морским караулом, за площадь с воткнутым в нее Конно-гвардейским бульваром, на Николаевский, он же — мост лейтенанта Шмидта и, следовательно, имени пастернаковской поэмы, через черно-чугунную, свинцово-серую с мелкой цинковой рябью Неву — на Васильевский остров.

Кто-то туда собрался уже умирать, но пока жив, и мы едем читать стихи — так я, по крайней мере, считаю, составляя в уме программу, подходящую для этих круглых, наделенных своей пайкой правды «ребят из Горного». Жозеф тоже сосредоточен, молчит и как будто волнуется перед встречей. Обогнув портик Горного института со скульптурными группами, трамвай с лязгом и скрежетом движется ещё куда-то внутрь не столь жилого, сколь индустриального района. Вот и приехали. Общага. Но вместо ожидаемого подвала со стульями нас ведут наверх, в одну из комнат вдоль коридора. Четыре койки и стол. Четверо-пятеро слушателей — кто на табуретке, кто прямо на койке. С нами — всего шестеро от силы, не больше. Иосиф читает, читает, читает...

Я всё это уже слышал. Зачем я здесь?

За столом сидит парень, вбирает все хватко. Такие, бывает, пока не возьмется за ум, водят шайки уличных подростков. Всегда назначаются старшими в любой общественной клетке. А в проектных конторах поздней идут по профсоюзной части.

— Ну что ж, толково. Только вот это, как у тебя там? — «Возьми себе на ужин...».

— «Какого-нибудь слабого вина»...

— Вот-вот... «Слабого» — это нехорошо. Точно говорю. Надо покрепче.

Не прощаясь, я покинул компанию. В следующий раз мы с Жозефом увиделись не скоро. Но в стихотворении «Воротись на родину...» появилась поправка: «...Какого-нибудь сладкого вина».

Чего-то Жозеф набрался существенного в своих геологических партиях: думаю — дзен-буддизма, убедительного, как это всегда и бывает, на месте. Но с очередной экспедиции вдруг «отвалил» в самом её начале и задолго до срока вернулся в Питер. Мы снова стали видаться-водиться. Его писания изменились, хотя и не в восточную сторону, а на Запад, — туда его вырулил Дос Пассос, чей «1919» я давалему незадолго до отъезда. Мне так же на прочит были вручены листки его прозы, написанные в сугубо американской манере и плотно, без интервала, напечатанные на отцовском «сундервуде». По объёму — два коротких рассказа: один — внутренний монолог похитителя самолета на аэродроме перед самым угоном, а второй — написанный от третьего лица эпизод ожидания рокового рейса, — Дос Пассос, почти один к одному, только герой мочится не на трухлявый пенёк, а на стенку оранжевейи...

Я мог заметить вслух лишь: «Уж очень Дос Пассос» — и всё, об этой прозе я ни от него, да и ни от кого более не слышал, осталось лишь на запятках сознания чувство опасной раскрутки каких-то событий, намек на рискованные действия, на которые, впрочем, я считал своего молодого друга совсем не способным. Уж больно нервен он был, порой даже со срывами в истерику.

Но в иных случаях показывал недюжинную выдержку. Вдруг звонит:

— Болова приглашает нас послушать Галчинского.

— Константы Ильдефонса? Какими судьбами?

— У ее знакомой польки есть его записи, а вернее — пластинки. Едем?

— Едем, конечно!

По дороге выжижаем досуха, до последней капли юмора все шутки из пушкинского «Годунова» — и гордую полячку, и сцену у фонтана, благо, что и Димитрий... Я здесь! На щеке бородавка, на лбу другая...

А вот и Зофья, Зошка Капушчинска — русые славянские волосы, блёклые глаза, ломаные движения и — очаровательный акцент:

— Бовова! Дзима, Ошя...

И, переспрашивая:

— Пожавуста?

Муж Юра тут же посылается за портвейном: поэты ведь ходят в гости с пустыми руками, зато читают стихи.

Но сейчас мы слушаем: великолепный голос, великолепные стихи, великолепный тон. Это Галчинский читает поэму «Зачарованная дорожка» — элегантно, магически и артикулировано. Вот как надо читать! Нет, вот как надо писать! Это же — колдовство:

*Зачарована дорожка,
Зачарованы дрожкарже,
Зачарованы кон.*

Так, кажется, звучало с польской пластинки... Как это перевести? Именно близость языков становится главным препятствием. «Зачарованная» — не то ударе. «Заколдованная». То же. «Заговоренные дрожки» — так перевел Иосиф. Ближе... Но с авторской интонацией все же некоторый несовпадеж.

Теперь читаем мы, подражая невольно звучанию мастера. Юра опять отправляется за портвейном.

— Дзима, еще! Ошя...

Когда мы вываливаемся в парк, разбитый на площади перед Кировско-Грошским мостом, стоит «зачарованная» белая ночь с розово-серебряными разводами по воздуху, пахнет персидской сиренью, из-за кустов которой блестит неподвижно Нева и чеканится скраденная расстоянием решетка Летнего сада. Гвезд нет, но небо пенкне. Поэты перекрещивают руки и садят Болову на образовавшееся из их запястий сиденье. Счастливая вакханка запрокидывает голову и машет белыми ногами, сбрасывая легкие туфли. Поэты подносят её к центральной клумбе, и она босиком хрустит по сочным стеблям канн. Всеобщая эйфория!

В этот момент из кустов появляется страж:

— Безобразничаете? Ваши документы!

Что делать? Бежать? Нет! Защищаться? Как?! Бродский невозмутимо протягивает стражу... читательский билет в Публичку, причем на чужое имя. И это — о удивление! — срабывает:

— Что ж вы? Казалось бы, работники культуры, а сами...

В ещё пущей эйфории мы пересекаем Неву, вторгаемся, перебравшись по угловой решетке, в запертый Летний сад, там получаем по восторженному поцелую от нашей подвыпившей Евы и решаем, кому её провожать. Она вовсе не протестует, а с интересом смотрит на наши торги. Длинная спичка достается мне, и с Иосифом мы прощаемся. Его молчаливый взгляд говорит: «Счастливцев!» Я провожаю до Невского усталую Болову, читаю на изможденном личике крупными буквами: «Полезет ли целоваться?», — не лезу и возвращаюсь к моей Натахе домой на Тверскую.

Увлечшись Зошкой (бедный инженер Юра!), Иосиф перевел на русский все, что звучало по-польски на пластинке Галчинского и много более того, разгрохал и длинную поэму «Зофья», в которой, если исходить из прежней критической оценки Славинского, «ложного пафоса» поубавилось, но «воды» всё ещё было много. Он стремительно рос, на глазах превращаясь в большого Бродского. Пропадал, появлялся с новыми стихами, звук которых всё же казался мне литературным, но уже по-другому: он был не отработанным материалом чьих-то писаний, а сам становился письменностью высокой пробы.

Кроме переводов, да и то эпизодически добываемых в Москве через Булата (поэзия народов союзных республик) или Давида Самойлова (поэзия славянских народов), печататься нашей компашке нигде не позволялось. К старым поклёпам все время что-то добавлялось. Вот в «Вечерке» появился очередной мутный фельетон, на этот раз с упоминанием Иосифа, — хоть и вскользь, но в очень уж паршивой связи с «делом Шахматова-Уманского» об угоне самолета — верней, не об угоне, а попытке угона, а еще точнее — о намерении. Напутано было сознательно так, чтоб ничего не понять.

— Это опасно. Могут и взять, — предупредил Жозефа. И тут он мне выложил:

— А меня уже и так брали.

— Как?!

— Так. Продержали примерно пять суток во внутренке Большого дома.

— И — что?

— Писал стихи, как Аполлинер, чтоб не спянуть. В день по стишку.

И он действительно прочитал мне несколько необычно для него коротких, с необычно обедненной лексикой стихотворений.

— Ты стал писать лаконичней...

— Чтобы легче запомнить: полдня сочиняешь, полдня повторяешь на память.

Это уже был сигнальный звонок от советской фортуны, знак, воспринимаемый подданными её даже не на слух, а на нюх: сей малый опасен. Каким-то подобным ферментом и я был невидимо опрыскан, и Найман, и Рейн, отчуждение испытывали и мы, но «обе заинтересованные стороны» вели себя так, что до арестов дело не доходило. Более того — всё чаще мы выступали на публике определенным тараном, чему способствовал и алфавит.

Мы с Жозефом оба на «Б», но по вторым буквам я выхожу вперед и потому выступал всегда первым. Если одолеть начальную скованность и не обращать внимания на опаздывающих, то можно сорвать свой аплодисмент даже в этой невыгодной позиции. Но — не в тот раз, когда мы читали в Доме писателя на так называемом «открытом ринге» перед писательской и другой сочувствующей публикой. Людмила Штерн называет эту дату: 10 мая 1962 года, — пусть так. «Открытый ринг» предполагал бойцовское соревнование участников, но вместо этого во время чтения я услышал совсем не спортивные криканья, кваканья, бляканья и почти что даже хрюканья — так выражал свое неприятие моих стихов «собрат по перу» Лев Куклин, тот самый горняк, в чьих стихах, как запомнилось, партия обладала детородно-осеменяющей функцией... Этого поведения председательствующий Николай Браун как будто не замечал. Игнорировал и я эти выпады, довел выступление до конца. Сидел после этого и злился.

Стал читать Бродский — снова хрюканья. Жозеф благородно и негодуя остановился, и тут уже возмутился весь зал. Я рвался растерзать обидчика, меня удерживали. Наконец вспомнил свои обязанности и председатель. Куклин ушел через боковой выход, чтение возобновилось. Иосиф получил разгоряченный успех, Найман был скован и оказался в тени, Рейн докрикивал свои стихи уже уставшему залу...

Имя Бродского стало возникать даже в его отсутствие. Однажды наша былая «технологическая» троица выступала в Театральном институте на Моховой — без него: так уж нас пригласила тамошняя преподавательница литературы. Слушали нас хорошо, мы читали уверенно, на ходу вставляя в программу более рискованные вещи, чем обычно. Закончили.

Звучат аплодисменты. Литераторша поднимается из первого ряда с тремя букетами. В этот момент на эстраду вылезает молодой неизвестный нахал:

— Я прочту своё...

Кто его звал сюда, если мы уже званы? А он читает рифмованную околесицу с сатирическим уклоном и — против Бродского: мол, сидеть тому за одним столиком в кафе «Голубой огонек» с Евтушенкой... Я свищу в два пальца, прерывая самозванца. Выкрикиваю:

— Откуда такое взялось? Евтушенко — официоз и халтура, а Бродский — поэт настоящий!

Хватаю пальто, на ходу одеваюсь на лестнице. Толя следом, за ним — литераторша:

— Простите нас, умоляю!

Суёт нам букеты, мы не берём. За нами спускается Рейн. Однако та литераторша всё же расстаралась и поздней устроила нам, всем четверым, отдельный ве-

чер. В большом зале с подмостками, с которых странно было выступать перед актерами, режиссерами и другими профессионалами сцены. Значит, о манере, о поведении — забудь. Сосредоточься лишь на том, что читаешь. Только это и есть — твоя мысль, искусство, жизнь. Одно стихотворение, другое, третье... Ещё, ещё. Зал — твой. Аплодисменты!

Я спускаюсь со сцены, сажусь рядом с Рейном. Теперь (по праву второй буквы) должен выступать Жозеф. Он медлит и медлит. Выходит, смотрит в зал, схватившись ладонью за подбородок. Отворачивается. Трясётся, давится — то ли от истерического волнения, то ли от смеха. Опять поворачивается в зал, со взрыдом хватая руками лицо, сдавленно хохочет, замирает с ладонью на темени.

— Перестань! Давай читай! — выкрикиваю я с места.

— Не мешай ему! — обрывает меня Рейн.

Его глаза горят, он завороженно и преданно смотрит на сцену, где, теперь уже можно сказать точно, его любимец, его пожизненная ставка, справляется с залом, подчиняет его, еще и не начав читать, заставляет всех забыть о предыдущем. Остается с толпой наедине. И когда наконец готовится начать, зал облегченно разражается аплодисментами.

Дальше — форсированное чтение, возрастающие периоды картавого и носового звука, утомительный строфический разгон по ступеням и — дальше: второе дыхание, незнакомый ландшафт, убийство непонятно кого, непонятно за что, жизнь, смерть, цветы, «Холмь»...

Я написал в некрологе, напечатанном в нью-йоркском «Новом журнале» за No 197: «Ему свойственно было изощрённое чувство формы, законы которой он сам же нарушал неостановимым, завораживающим потоком слов, дважды, трижды, четырёхжды перехлёстывающим через ожидаемый конец, раздвигая таким образом пределы стихотворения и превращая его в поэму. Неизбежная инфляция слов при таком избоблении не только не охлаждала читателей и слушателей, но, наоборот, их привлекала. При живом авторском чтении напор повышающихся интонаций голоса затоплял формы стихотворений и создавал иллюзию невероятного, нечеловеческого вдохновения».

И тут были бурные, несмолкающие... Потом — Найман, который, конечно, не разыгрывал предваряющих сцен, и ему было нелегко. Затем — Рейн.

И — недоуменный осадок: если ты так талантлив, зачем тебе эти сценические уловки, спецэффекты? И ответ: а затем, чтобы отделиться от компании, дело-то ведь не хоровое, а сольное. А как же тогда акмеисты-футуристы, разве все были там шуваль и фуфло, прилипающие к талантам? Нет ведь! А поэгические дружбы — не всё ж это сказки? Да и по делу — совместные выступления, манифесты, сборники, серийные выпуски книг и рецензии? История литературы, наконец? Энциклопедии и словари?

Нет, дело было в постоянной честолюбивой наметке, в нацеленности на золотой и единственный шанс, который компаниям не выдается, — на выигрыш: тройка, семерка, туз...

А пиковую даму не хотите ль?

Поздняя Ахматова

«Это я и прекрасная старая дама», — написал Найман о своём (и — нашем) длительном и благом опыте знакомства, то есть о встречах, разговорах, обмене телеграммами, звонками, стихами и взаимными посвящениями с Анной Андреевной

Ахматовой, не совсем галантно поставив себя в этой строке впереди дамы. Но предположим, что они спускаются по ступеням крыльца комаровской лиффондовой «Будки» или выходят из лифта, который по аналогии можно приравнять к вертикально передвигающейся карете, и тогда все будет по правилам благородного обращения: кавалер впереди дамы. Он и в самом деле познакомился с ней первым из нас — как-то через Эру и Зою Томашевскую, произведя, видимо, на неё впечатление и стихами, и наружностью, напоминавшей облик Модильяни, да и собственным обаянием, которого ему было не занимать.

Его тогдашние рассказы о встречах с Анной Андреевной были немногословны, не касались содержания их разговоров и сводились к восхищенным признаниям, «как они много ему дают». Это сильно отличалось от нередких в нашем кругу рассказов о знаменитостях, коллекции которых насобирали мои друзья, да и у меня кой-какие громкие имена числились уже в заглавнике. Наоборот, Ахматова представлялась тогда анахронизмом, да и была овеяна дымом официальной опалы — но как раз в этом угадывалась возможность встать нам, неизвестным, на одну доску с ней, слишком даже известной, и — не без картинной бравады по отношению «к ним ко всем». Рейн предпринял свои шаги и вскоре позвал меня пойти познакомиться с ней.

Я был убежден, что встреча произойдет по испытанному сценарию «студентов из Ленинграда», как это бывало не раз в Москве, но из студенческого возраста мы уже вышли. К тому же Рейн, очевидно, заранее сговорился и знал обстоятельства: мы зашли в канцелярский магазин, и он купил шпагату и обёрточной бумаги. Затем он уверенно подошел к дому, мимо которого я тысячу раз проходил, никак не ожидая на этой улице вообще ничего примечательного, мы поднялись на второй этаж и Рейн позвонил в дверь.

Открыла сама Ахматова, полная, благообразно седая, и повернув свой неопровержимый профиль, бросила в глубь квартиры (властный голос, нежные модуляции):

— Ханна, здесь молодые люди к нам пришли...

Случай, по которому мы здесь пригодились, был переезд: Ахматова с остатками семьи Пуниных получила квартиру в писательском доме на Петроградской стороне, и по предложению Рейна мы были призваны в помощь для упаковки книг.

Всё это, впрочем, он уже описал, добавлю лишь детали. Помощь от нас была невелика, да и Ахматова не торопила. Наоборот, чуть ли не каждая книга, снимаемая с полок, сопровождалась каким-либо комментарием: многие были с автографами, пастернаковские — с обширными надписями. Два этнографических оттиска, сброшюрованные в простой картон, вызвали у неё особые, даже горделивые пояснения: то были научные статьи ее сына Льва Николаевича Гумилева.

Наша работа по упаковке совсем замедлилась, а короткие замечания, наоборот, переросли в разговор о литературе. Ахматова не удивилась, узнав, что мы оба пишем стихи, и предложила перейти в смежную малую комнату — видимо, её обиталище.

— Читайте.

Мы прочитали по стихотворению.

— Ещё.

Это уже звучало косвенным признанием, и действительно, после прослушивания она объявила, что «стихи состоялись», но «надо писать короче».

— А Блок считал, что идеальный объем стихотворения — от 24 до 28 строчек, — выпалил вдруг я и заметил на себе предостерегающий взгляд Рейна.

От него-то я и узнал об таком мнении Блока, но, вероятно, как многое другое, это было одним из вымыслов моего друга. Что теперь скажет Ахматова?

— Блок... Хотите, я расскажу вам, как у меня НЕ БЫЛО романа с Блоком?..

И она рассказала сначала о том, как после их общего выступления перед студентами молодой распорядитель, вместо того чтобы просто отпустить их вдвоём на извозчике, оказывал им почести и развозил в авто по домам. А затем — о случайной встрече на железнодорожной станции и его быстром вопросе: «Вы едете одна?»

— Бог знает, что было у него в уме. А сам он ехал тогда с матерью, я узнала об этом из его «Дневника». Вот и все. Эти догадки о нашем романе — не что иное, как «народные чаяния».

Два малых эпизода, многим теперь известные благодаря мемуарной книге Наймана, создавали ингересный многослойный эффект, в особенности вместе с её стихотворением «Я пришла к поэту в гости...» Иронически отрицая роман, всем контекстом тем не менее она давала понять о его возможности, направляла воображение на живую игру взглядов, движений губ и дыхания двух молодых знаменитостей. Я был в восхищении от её рассказа, будто сам побывал там, ну хотя бы в роли того незадачливого студенческого распорядителя. Кроме того, шутки шутками, а тема «Ахматова и народ» возникала сама собой, как ремарка из «Бориса Годунова»: «Пушкин идет, окруженный народом», и с той же, якобы иронической, целью. Слова её мерялись не стилем разговора (никаких пустяков), а крупностью мышления.

— Как маршал Гинденбург говорил: «Я знаю моих русских», так и я скажу: «Я знаю моих читателей».

Это она пояснила свою догадку о том, что мы оказались не читателями, а поэтами... Узнав, что я живу поблизости на Тверской, а вырос и жил на Таврической, она опять заговорила:

— Рядом с Вячеслав-ивановской башней? А ведь именно там Николай Степанович познакомил меня с Осипом Эмильевичем...

— А как это было?

— На балконе или, скорее, на смотровой площадке в уровень с крышей. На неё можно было пройти через лестницу, что Осип и сделал. Он стоял, вцепившись в перила так, что косточки пальцев побелели.

— А вы?

— А мы с Николаем Степановичем гордились своей спортивностью и вскарабкались туда из окна.

Как обитатель Таврической улицы, я это представил живо до головокружения. Но пора было и по домам. На прощанье мы оба галантно поцеловали ей руку.

— Заходите ещё.

Так началось наше знакомство. Ближе к концу лета позвонил Толя, весело произнес:

— Анна Андреевна тебя ждёт сегодня вечером. Косвенный повод — новоселье.

Писательский дом на Петроградской, сталинской постройки. Открыла Аня Каминская, тогда казалось: вылитая Ахматова в молодости...

— Акума вас ждет.

В прихожей мелькнула Ирина Николаевна, из двери высунулся, как бы слегка кривляясь, её муж Роман Альбертович, актер и чтец. Кто есть кто в этой мгновенной мизансцене, мне в двух словах объяснил Найман, он уже здесь был свой. Да и я мигом почувствовал себя запросто, увидев с Ахматовой светящегося

от удовольствия Бродского и Рейна, отпускающего по своему обыкновению остроги — гулко и весьма дерзко. Ахматова была оживлена и довольна, мы ей определенно нравились.

Её вытянутая комната, в сущности, была немногим больше, чем на Коннице, и от тесноты её спасало лишь почти полное отсутствие мебели: высокая кровать с рисунком Модильяни над ней, столик, несколько стульев да итальянский резной поставец-креденца у дальней стенки — вот и все, что в ней находилось.

— Анатолий Генрихович, там, в креденце, есть «Тысяча и одна ночь». Передайте ее мне.

Арабские сказки?! Как это понимать? Через минуту разъяснилось: издательский макет книги с пустыми страницами — чей-то подарок и идеальная записная книжка! Оттуда было прочитано краткое воспоминание о знакомстве с Модильяни, рассказ явно не полный, но с запоминающимися деталями — например, с раскиданными по полу мастерской розами. «Как хорошо, что я принёс ей именно эти цветы!» — мелькнуло в уме.

О рисунке было замечено отдельно, что их была целая серия — числом до двадцати. Хранились они в Царском Селе, но пропали.

— Как? Когда?

— Не знаю... Должно быть, их скурили красноармейцы на папиросы.

Мне ещё тогда показалось странным: уж наверняка солдаты предпочли бы для самокруток что-нибудь помягче, чем рисовальная бумага, — газету, например. Лишь много, много лет позже, целую вечность спустя, я узнал о сенсационном обнаружении коллекции доктора Поля Александра, врача, лечившего Модильяни. Не хотелось верить в подлинность рисунков, глаза отказывались их признать, ум искал уловок — не может, мол, профессиональный художник использовать, например, пунктирную линию для изображения нагой женской груди. Нет, оказывается, может! И — да, это все-таки она. И — несомненно, у нее был роман с Амедео, — даже в отрывке из воспоминаний такое предположение естественно возникает. «Ходила ль ты к нему или не ходила?» — как вопрошает в пародийном стихотворении Владимир Соловьев. Она сама и отвечает: «Ходила!»

Что тут скажешь: было от чего её мужу сбежать в Африку и разряжать ружья в невинных носорогов! Было от чего лишать девственности своих учениц в сугробах Летнего сада. Но более того — сенсация плодит другую, рождает в смелых умах новые предположения. Наталья Лянда, например, в «Ангеле с печальным лицом», которого она мне преподнесла в Нью-Йорке «с благодарностью за желание прочесть эту книгу», проследживает развитие женского образа с лицом Ахматовой в рисунках и даже скульптурах Моди. Сперва она, одетая, возлежит на диване, подобно той на изначальном рисунке у неё над кроватью, затем, обнажённая, лежит ничком, прижимаясь к бумажному листу грудью и животом, но потом принимает более свободные «модильяниевские» позы, садится, воздев руки — пусть для того лишь, чтобы груди приподнялись, но эта поза нравится молодому мастеру, который просит её встать кариатидой, и тут уже она сама, отбросив робость, показывает свои излюбленные «цирковые трюки» — танцует... Сгибаясь, кладет ладони на пальцы прямых ног и, на оборот, выгнувшись, касается ступнями затылка... Будучи обнажённой перед изображающим её и, конечно же, влюблённым художником — впоследствии признанным знатоком женского тела! Скандал — мировой, литературно-художественный и притом какой дерзкий! Что по сравнению с ним последующие выходки имажинистов или футуристов: есенинские цилиндры и маяковские желтые кофты? Детский лепет!

Когда я листал эту плохо сброшюрованную книгу, листы из неё выпали и иллюстрации задвигались, образуя эффект единого действия, как в мультфильме. Нос — то с горбиной, то без, глаза с восточным разрезом, это понятно, это «от бабушки-татарки» плюс макияж, грудь — широкими пиалами, лёгкие в предплечьях руки, удлинённая талия и, может быть, чуть коротковатые ноги: иногда художник льстит ей, иногда и утрирует. И везде чёлка, но ведь это — парижская мода тех времен и, возможно, не более того...

А — вот что более: африканская скульптура, в которую превращается наша нагая своевольница, и тоже с парижской чёлкой. Но и это еще не всё: кой-чего необычного «надыбал» издатель филаделфийского альманаха «Побережье» Игорь (Иза) Михалевич-Каплан и рассказал об этом, естественно, на страницах своего издания. Ахматова, возможно, позировала натурщицей и для другого парижского скульптора русско-еврейско-литовского происхождения, Жака Липшица, и тоже — обнажённой! Во всяком случае, кубистическая фигура, представляющая оголенную девушку-рыбачку, в профиль являет несомненное сходство с Ахматовой. Техника кубизма, конечно, не способствует портретному узнаванию, но зато стимулирует воображение. Исследователь и его консультант смогли увидеть даже зашифрованный автопортрет ваятеля в торсе этой фигуры: таким необычным (или ироническим) намеком Липшиц вписывает свою скульптуру в традиционную тему «Художник и его модель».

И ещё одно совпадение: как раз теперь, когда я пишу эти страницы, в нашем Шампанском (ну, хорошо, — Шампейнском) Художественном музее, который был основан богачом Краннертом, открылась выставка Жака Липшица. Среди его докубистических работ бросается в глаза средних размеров, но монументальное бронзовое изваяние: обнажённая женщина с двумя газелями. Вытянутые пропорции тела, разведённые в стороны руки, гордая посадка головы, профиль... нет, не с горбиной, а без, но удлинённый разрез глаз и даже чёлка, — всё повторяет тот же образ. Газели воспринимаются как комплименты её красе. Тут — не кубизм, натура хорошо проработана, с чувственным вниманием вылеплены груди, сосцы и выпуклый лобок восточной пастушки — это особенно заметно в гипсовой модели. Да что мне, примстилось?

Как это ни странно звучит, на выставке оказалось возможным поговорить с самим скульптором, давно умершим. Я набирал на компьютерной клавиатуре вопрос, а на мониторе возникал седой мастер и проигрывалась та часть его давнишнего телеинтервью, которая соответствовала ключевым словам моего вопроса.

Я спросил, кто позировал для его «Женщины с газелями». Усмехнувшись, он ответил, что главным образом газель из парижского зоопарка. И — «одна знакомая натурщица».

Была ли ему знакома русская поэтесса Анна Ахматова? Он уклонился от ответа, сказав, что в их семье русские стихи писала его жена Берта Липшиц, урожденная Китроссер. И, как ему кажется, довольно прилично...

Тогда я поставил вопрос иначе: где он познакомился с Ахматовой — в Петербурге или Париже? И тут он с увлечением заговорил о Петербурге, куда ездил с хлопотами о наследстве в начале десятых годов, с восторгом — об Эрмитаже, где проводил всё свободное время, о встречах с тогдашней художественной молодёжью... То есть теоретически они могли встретиться уже там, но и в Париже — тоже.

На этой выставке молчаливо присутствовал ещё один мертвец, имевший прямое отношение к вопросу, — Амедео Модильяни — в виде посмертной маски,

снятой с него Липшицем. Вернее, так: маску пытались снять двое неумелых поклонников бедного Моды. Забыли, наверно, смазать кожу покойника, маска не отделялась от лица. Все-таки отодрали со всем, что к ней прилипло, она раскрошилась. Плача от всего этого трагического безобразия, Липшиц восстановил, реконструировал гипсовый облик погибшего друга с истовой нежностью: покатый и успокоенный лоб, глаза под смежёнными веками как будто бодрствуют, рот приоткрыт. Но когда смотришь на него в профиль, губы смыкаются, как бы заканчивая трудную фразу. Какую? Мёртвые молчат крепко.

Роман в стихах

А живые тогда, у Ахматовой, читали стихи. И не по алфавиту, а: Бродский, я, Рейн. Найман, оказывается, чуть ранее знакомил её с отрывками из своей поэмы «Исчезновение», о которой я и не слышал. Ахматова молча, кивками, одобряла и уже не советовала «писать короче» даже после протяженных полупоэм Иосифа.

Зато в ответ читала она сама — и притом, наряду с большим, но не очень ещё отдаленным, самое недавнее. Это было внезапно мощно, могуче... Время, и не только личное, а и собирательно-историческое, казалось у нее выгнутым напряженной дугой, светящейся разноцветно, как радуга. Полноса его не вмещались в пределы одной жизни, а её поэзия их вмещала. Несмотря на всю свежесть, лапидарность и пристальность ранней лирики, в ней всё ж попадались и пажы, и «сероглазые короли», и если не пастушки, то, по крайней мере, рыбачки, то есть атрибуты времени, отступившего на две, на три эпохи от нас. А в последних стихах были мы сами, ещё и взятые навыворот, с опережением стилиа, с забегом, может быть, в будущее тысячелетье. Наполненность смыслом создавала какую-то неподъёмность, плотность её языка, делала его похожим на звёздное вещество, состоящее из спрессованных ядер. «В Кремле не надо жить. Преображенец прав...» — кто может так крупно высказываться — Ахматова? Царица Авдотья? Вот именно — «Анна всея Русь», как её назвала Цветаева.

Заговорили о Марине Ивановне: «Поэма горы», «Поэма конца», «Крысолов» — это вершины. А читали ли мы «Поэму воздуха» о полете Линдберга над океаном? Вот, возьмите и почитайте, верните с комментариями. Мой комментарий вернулся к ней на следующей неделе вместе с машинописью: стиль разрежённый, верхний, с легко разлетающимся на частицы смыслом, противоположный ахматовскому, но и не ставший абсурдом Хлебникова или обэриутов.

— Что ж... И Мандельштам говорил о себе: «Я антицветаевец».

К теме она возвращалась потом многократно. В дверь заглянула Аня:

— Акума! Там все готово.

Перешли в кухню, которая служила и столовой. Стол был сервирован тарелками, рюмками, стояли цветы, хлеб, винегрет. По чьему-то хотению появилась и водка. Выпили по рюмке на новом месте. И так стало благодарно-хорошо, как никогда ни до, ни после. Казалось: вся жизнь впереди, вся дружба, — и у нас четверых, и у седой председательницы нашей скромной оргии. Да что там жизнь — вечность!

Как написал Найман в своей «Палинодии» (что, собственно, и означает возврат к прошлому):

Всё будет хорошо, всё будет хорошо...

Да, «всё будет хорошо» — в былом! Вот бы магически заткать, оуклить и замумифицировать эти мгновения, но они, увы, тикают, такают и утекают... Но что нам делать «с ужасом, который»... А, пусть его на самотек!

И — что ж? Еще несколько лет все казалось, что ничего в нашей жизни, кроме новых стихов и разговоров о них, не происходит. Пусть их не публикуют, но вот ведь Ахматова, которую саму не очень-то печатают, стихи эти одобряет. Веселила мысль, что в стране, где уровень престижа измеряется тем, «кто с кем пьёт», я вот пью водку с Ахматовой. Тешил и контраст: «все вы» (подразумевалось идеологическое начальство) пошло и подло издевались над ней, лишали даже продовольственных карточек, а мы ей дарим розы, признательность и любовь. Да, именно любовь, да, к ней самой, но и к неким «трём апельсинам», то есть к тому проявлению её естества, которое делало, можно сказать, гениальные стихи и толстую большую старуху, улыбающуюся полумесяцем губ, нераздельными.

Нет, ни Ахматова в роли «старика Державина» или Назыма Хикмета, ни мы в роли коллективного Пушкина не подошли б идеально друг другу, но я думаю, что как мы — в ней, так и она нуждалась в нас, и ей по-своему нужно было точить о молодой слух или хотя бы поверять им свой новый стиль, преодолевающий на этот раз акмеизм. Вдобавок она испытывала на нас воздействие большой формы, поэмы, над которой работала и вынужденно бросала вызов прежде всего себе самой как мастерице фрагментов, деталей и психологических миниатюр, так же как и другим поэтам, мастерам жанра: горы, конца, воздуха, моста лейтенанта Шмидта, 1905-го года и даже — бывалого и неунывающего солдата Тёркина.

Однажды я приехал к ней в Комарово на день рожденья раньше других гостей — время, впрочем, не назначалось, да и гостям приглашения не выслали, — приезжали, кто помнил и когда хотел, и она вдруг спросила, не читал ли я последний вариант её поэмы. Выяснив, что я не читал ни одного, она решила:

— Так я прочитаю её вам сама.

— Единственному слушателю?! За эту честь буду вам исключительно благодарен...

— Это я должна вас благодарить. Все уже прочитали её в ранних списках и отмечают теперь лишь отличие от предыдущего. А мне нужно цельное впечатление.

И на меня обвалились все шереметевские дворцы, — не думаю, чтобы эту поэму кто-либо был способен воспринять разом на слух... Я был ошеломлен крупностью образов, угадываемых не сразу и лишь частями, к тому же произнесенных ее «*urbi et orbi*» голосом, да не всё я и слышал, отвлекаясь и думая, не повредит ли ей эта громадность физически, онемел после чтения, смог высказать лишь что-то наподобие следующего:

— Это же — Страшный суд! Я, конечно, имею в виду не сам Судный день, а его изображения...

В этот момент извне зазвучали голоса, заглянул Толя, который, оказывается, всё это время был на даче, сообщил, что приехал Илья Авербах с торгом, они этот торг уже делят, и не хотим ли мы присоединиться? Мы захотели.

Акмеизм, можно сказать, скроенный по контурам ранней Ахматовой, никак не годился для неё поздней. Музыка — и блоковская, и та, которую она слышала сама, требовала широкой ритмической поступи, так удачно найденной и усовершенствованной ею для поэмы. То же и образы, и смыслы — их крупность раскрылилась бы по акмеистическим фрагментам, а в поэме авторская воля собирала их в пучок, сжимала в символы, даже эмблемы, наподобие герба на Шереметевском доме.

Поздней я спорил с Кушнером: он считал «Поэму без героя» отречением от — чуть ли не предательством — акмеизма. Я бурно возражал против законсервированности внутри каких-либо художественных принципов, приводил в пример воронежского Мандельштама, семимильно шагавшего к футуризму, но дело было не в том, что поэт, в общем-то, иных измерений не принимал новую, позднюю Ахматову, со временем раздражаясь всё больше и больше. Дело в том, что она не приняла его, поставив крепкую четверку по любимому предмету, а он метил в отличники.

Кружок наш не разрастался, и это придавало ему свойство избранности. Порой меня охватывала эйфория, хотелось дерзить. Хотелось добавить ещё трех, и всемером (намек на великолепие нашей четверки), паля в воздух из пистолетов, угнать в честь Ахматовой электропоезд, нагруженный печатным серебром. Хотелось роскошно отягчить корзину роз неизвестно откуда взявшийся мотороллер и привезти их в лиффондовскую «Будку». Хотелось объяснить в любви и получить от неё в ответ стихотворное посвящение, причём не только себе, но и каждому из поэтов.

Я преподнёс ей стихи, и они справедливо были расценены как мадригал. Были и розы, за которыми я поехал на Кузнечный рынок и выбрал у эстонки пять свежайших раскрытых бутонов разных форм и разной степени алости, смочил платок водой из их родного ведра и, укутав стебли, отвёз букет в Комарово. Это был её день рождения 1963 года, был с ней кто-то ещё из пунинских домочадцев. Барон Арнс, обтёртый шершавыми жерновами Гулага, обучил меня неожиданно элегантному умению ставить розы:

— Ножницами обрежьте им стебли — непременно под водой, как в этом тазу, например... Подержите немного — и в вазу!

Розы зааделали на письменном столе чётко и свежо, как манифест акмеизма. Но одна из них уже тогда вознамерилась перецвести остальных и стать символической «Пятой розой», стихотворением, открывшим короткий цикл ахматовских посвящений, написанным в манере, как я считаю, маньеризма — в трудном, обманном, как сам этот цветок, стиле!

Стал слышаться диалог. Некоторые из её стихов или, по крайней мере, отдельные образы начали казаться обращёнными напрямую ко мне, даже смущали прямоотой, но зато следующие строки уводили от этой уверенности прочь, заставляли усомниться, а какие-нибудь детали — например, дата или включение стихотворения в цикл с явно иным адресатом — отрицали уже всё.

Нет, не приближение и отталкивание, не игра в отношения, а полифонический прием, объединяющий «тогда» и «сейчас», предлагающий им зазвучать вместе! При таком гармоническом условии посетитель из настоящего, войдя в перспективы тогдашнего, становился сам ничуть не менее чем «гостем из будущего». То же и с чужим голосом в виде цитаты или эпиграфа, вводимых в текст, то есть своего рода обручением, даже контрактом, который подписуется сторонами, — разве это не многоголосие, не Бах, не Вивальди, не Ахматова «Поэмы без героя»?

Я подписал такой контракт, когда она вынула черную тетрадь с уже имеющейся там «Пятой розой», в которой между названием и первой строчкой было оставлено ровно столько пространства, чтобы поместить туда строчки из моего мадригала:

*Бог — это Бах, а царь под ним — Моцарт,
а вам — улыбкой ангельской мерцать.*

И — подписаться. Впрочем, имя моё там уже было проставлено.

Не желая пересластить эту фугу, я выбрал для неё другой эпитаф, который, впрочем, не устроил обе стороны. И он исчез в последующих переделках. А имя осталось, верней — инициалы.

Правда, на время исчезли и они. Академик Жирмунский, с которым я лишь однажды бегло увиделся, когда он выходил от Ахматовой, выкинул моё имя при публикации 1971 года в «Литературке». Я долго колебался, прежде чем убедил себя следовать простейшей формуле: «Что было — то было», и написал письмо в газету, которое было передано публикатору. И — вовремя! В результате мои инициалы были восстановлены в вышедшем тогда «синемундирном» томе Ахматовой, а в комментариях того же Жирмунского они расшифровывались полностью, и я удовлетворился: «Ленинградский поэт, работает на телевидении, преподнёс А. А. пять роз». Правда, близости зияла кошмарнейшая ошибка благородного академика: комментируя строчку «А в Опгиной мне больше не бывать», он объявил вдруг, что там Достоевский встречался со святым Серафимом Саровским, что была полнейшая и позорная чушь. Но зато моя тогдашняя телевизионность проскальзывала вполне сносно-реалистически, а портрет руки в белом манжете и с пятью розами для Ахматовой выглядел весьма элегантно.

Помимо символизма, «Пятая роза» несла ещё одну примету многоголосой реальности, а именно запись обстоятельств её написания: «Нач. 3 августа (полдень), под «Венгерский дивертимент» Шуберта. Оконч. 3 сентября 1963. Будка». Я долго упускал это из внимания — наверное, потому, что дивертимент Шуберта хоть и слышал прежде, но не помнил, а саму ссылку на него считал тут излишней. И — напрасно!

Жизнь, две жизни спустя его вдруг заиграли по радио, которое у меня настроено на университетскую станцию, передающую непрерывно классическую музыку. Прозрачная и счастливая тема зазвучала в моем арендуемом Скворечнике, выходящем окнами в кроны орехов и кленов, — переливалась, длилась, заканчивалась и тут же возрождалась в новой, столь же чистой, опять и опять возникающей музыкальной фразе.

Пятая роза!

Любовь в двух письмах и телеграмме

Я бывал у Ахматовой и виделся с ней значительно реже, чем мог бы, чем хотел и, вероятно, чем она этого хотела, — меня охватывало и захлестывало чувствами. Целая их свора, лишь оттенками отличавшихся от восхищения, мешала мне ступить прямо, держаться просто, не говорить глупостей, наконец... Я налагал на себя требования и не мог явиться к ней просто так, а явившись, обсуждать пустяки или слухи, да и её манера выдерживать паузы плюс, увы, некоторая глуховатость давали собеседнику задачу говорить чеканно и звучно, а это в свою очередь требовало афористического мышления. Иными словами, получалось, что с неоконченным стихотворением к ней не придёшь, а когда его кончишь, она оказывалась либо на даче, либо в Москве, а то и в больнице.

Что ж, в Комарово съездить не сложно, да и в Москве я, случалось, оказывался одновременно с ней. Останавливался я обычно на Соколе у своей «двоуродной мамы» Тали, когда-то научившей меня грамоте, и я припоминаю, как, явившись однажды, услышал трепет в её вопросе:

— Тебе могла звонить Анна Ахматова?

— Да, конечно. А что она говорила?

— Оставила номер, просила звонить.

И я звонил и, услышав «Приезжайте сейчас», ехал и шел на Большую Ордынку, 17, кв. 13, где сначала сидел в гостевой клетушке (кровать, стол, стул) и с глазу на глаз переговаривался с Государыней слов на равных, как фаворит или заговорщик, курил в форточку, читал своё привезённое, слушал её вспомненное или заново сочинённое. Затем «высокие договаривающиеся стороны» переходили в гостиную-столовую, и там мелькали известные персонажи.

Там она представила меня Марии Сергеевне Петровых, «мастерице виноватых взоров», предварительно рассказав о ней как о тайной любви Мандельштама, как о равнодуховной поэтессе и трагическом существе, скомканном и сломанном в обстоятельствах мандельштамовского ареста. Стихотворение Петровых «Назначь мне свиданье на этом свете» я и так уже годами твердил наизусть — по ещё тому, празднично запомнившемуся, «Дню поэзии» 1956 года.

Виделись мы с ней и на Беговой у, кажется, Бутырского вала, где Ахматова, по её рассказу, позвонила в дверь Марии Сергеевны, но отказывалась войти, пока не заставила ту отыскать прятаный-перепрятанный архив со стихами и письмами.

В тот раз архив уже не пришлось разыскивать, и Мария Сергеевна прочитала лёгким и как бы шарящим по памяти голосом стихи об осине, трепещущей и без ветра:

*Там сходит дерево с ума
при полной тишине.
Не более, чем я сама,
оно понятно мне.*

Заключительная строфа делала их автопортретом, проступающим сквозь черты дерева, и это наводило на мысль о лиственных и ветвистых самохарактеристиках поэтов. Я написал стихотворный портрет ольхи и задумывался, кто же Ахматова — ива? Шиповник? Нет, она была рощей, парком, Царским Селом. В её отсутствие желание видеться с ней становилось сильнее. Можно было написать ей письмо, но до смешного малая причина долго удерживала меня: как правильно — «я скучаю по Вам» или «по Вас». И почему-то, по какой-то суеверной догадке, никак нельзя было написать «без Вас». Наконец, я додумался обойти это препятствие: «Никакие «соскучился» и «скучаю» не выражают и доли Вашего отсутствия». Дальнейшее в том письме — всё чувства, целая их толпа: желание и невозможность её видеть, чувство чего-то чрезмерного, громадного или же бесконечного, ею вызываемое, неизбежного, может быть, даже фатального, чувство благодарности за «Пятую розу» и в особенности за ту строку, где «дело вовсе не в любви». И наконец, чувство «живой тишины» в её отношении ко мне. Даже странно: на четырёх страницах — ни единой мысли, а они, кажется, водились в моей голове... Отметила это и адресатка, сделав запись, скорее всего ироническую, где-то в своем дневнике: «Поблагодарить Дмитрия Васильевича за телеграмму и чувства». Была ещё и телеграмма.

Она сама и ввела телеграф в обиход наших общений: встретиться, вспомнить о ком-то третьем с приятелью — например, о Марии Сергеевне Петровых, и отправить ей из-под «комаровских сосен» (на соснах она настаивала) привет без точек и запятых, но с единою подписью «Ахматова Бобышев». Вот и я к новому — кажется, 1964 году послал на Ордынку «Ардовым для Анны Андреевны» следующее:

ДОРОГАЯ АННА АНДРЕЕВНА ЖЕЛАЮ ВАМ В НОВОМ ГОДУ РАДОСТИ И ЗДОРОВЬЯ ЖДУ ВАШЕГО ВОЗВРАЩЕНИЯ ЖИВУ ПОД КОМАРОВСКИМИ СОСНАМИ ПОМНЯ О ВАС С ЛЮБОВЬЮ ВАШ БОБЫШЕВ.

И ещё одно письмо, которое я послал ей при известии о болезни, было, наверное, одним из последних, ею полученных, и я никак не думал, что оно сохранится. Нет, оно нашлось в её бумагах:

«Дорогая Анна Андреевна!

Эти слова и привет, конечно, не смогут помочь Вашему здоровью, но я шлю их, чтобы дать Вам знать, что люблю Вас и сочувствую в Вашей болезни. Пусть у Вас хватит сил справиться с ней поскорее.

Я достал «Бег времени» и очень был обрадован тем, что под обложкой книги оказались изображены знаки Зодиака: хорошо, что они начинаются до стихов и продолжаются после. Это совпадает с тем, как я представляю Вашу поэзию, проходящую в ряду тех же высоких образов: Рыбы, Стрелец, Анно Домини, Реквием, Поэма, Пролог, Телец, Козерог...

Надеюсь, что Вам придутся по душе стихи, которые я посылаю в этом письме.

С нетерпением жду Вас в Ленинграде.

Дмитрий Бобышев».

Во всех трех посланиях повторяется слово «любовь», есть оно и в моём мадригале, и в её «Пятой розе»... Как тут не встрепетнуться и не насторожиться чуткому слуху? Что ж, я не скрываю и признаю это чувство: оно было искренним и, безусловно, платоническим. Вот какой разговор получился у меня много, много позднее с Ольгой Кучкиной, напечатавшей его запись сначала в «Комсомольской правде» (частично), а затем и в своей книге «Время Ч».

— ...А Мандельштам был в неё влюблен?

— Она говорила, что, кажется, да. Во всяком случае, одно время они встречались очень часто, ходили на концерты, и однажды Ахматову это озаботило: не слишком ли часто? Мандельштам почувствовал, обиделся и пропал на долгое время. Они встретились опять, когда он был женат, и она подружилась с Надеждой Яковлевной. Они обе оказались в Ташкенте во время эвакуации и особенно сблизились. Когда я расспрашивал Ахматову о Мандельштаме, она в конце концов сказала: надо мне познакомить вас с его вдовой, вы не подумайте, что это какая-то старуха, это настоящая вдова поэта. И по её рекомендации я поехал к Надежде Яковлевне, которая жила тогда в Пскове.

— Послушайте, но вот она на фотографиях очень некрасивая — а в жизни какая?

— Она была страшна и в жизни, особенно когда злилась, а злилась она часто, её реакции были острые, слова — колючие, едкие. Она мрачно смотрела на жизнь, на литературу: конечно, она думала, что вряд ли явится дар, равный дару погибшего мужа.

— А всё-таки мелькало что-то прежде, что привлекло к ней Мандельштама?

— Я видел фотографию того времени, где изображена худенькая и действительно прелестная женщина. Не красавица, но в эту женщину можно было влюбиться. К тому же она была умна и остра на язык. Её первая книга воспоминаний — это по темпераменту да и по жанру — книга пощечин. Она и начинается с пощечины Алексею Толстому. А дальше раздаётся по мордам всем преуспевающим чиновникам от литературы. И — справедливо, поскольку эти хлесткие характеристики имели отсчётом гибель Мандельштама, трагическую и мученическую...

— А Анна Андреевна? Какая она была по характеру? Величественная, простая — какая?

— Она была и величественная, и простая, но никогда не мелочная. Добрая — и в то же время могла быть очень насмешливой. Её остроумие — великолепное, блестящее, в некоторых случаях убийственное. Вот она рассказывала, как лежала после третьего инфаркта в больнице на Васильевском острове в тяжёлом состоянии, к ней не было доступа. Но правдами и неправдами к ней пробился молодой московский поэт с претенциозным псевдонимом — можно его называть, можно нет, поскольку как поэт он никому не известен. Он пробрался с единственной целью — узнать мнение Ахматовой, кто первый поэт: Цветаева, Мандельштам или Пастернак. Отметим в скобках бестактность молодого человека, который не включил в этот список её саму. Ахматова нашла в себе силы ответить следующее: все они звёзды первой величины, и не нужно превращать их в чучела наподобие подушек или диванных валиков, чтобы этими валиками избивать друг друга. Впоследствии я не раз вспоминал эти «диванные валики» и как они используются для выяснения литературных репутаций...

— А в ней было то, что поймал Модильяни, или это уже был другой человек?

— В ней была определенная грация, но неподвижная, медленная. Она была красива и в 70 лет.

— Вы это, как молодой человек, чувствовали?

— Чувствовал. После её смерти об этом же меня спрашивала Надежда Яковлевна Мандельштам. Она говорила, что после семидесяти лет женщины часто теряют реальное представление о себе и что такова была Анна Андреевна. И когда я спросил, в чём же это проявлялось, заявив, что сам я замечал только её могучий ум, остроумие и всё возраставшую поэтическую силу, она сказала: ну, например, Анна Андреевна считала, что в неё влюбляются и после семидесяти. Я возразил: но это правда! Она спросила: вот вы были влюблены в неё? Я сказал: да, я был влюблён в неё. Тогда она «сразила» меня вопросом: а вы желали её как женщину — ведь именно к этому всё и сводится? Я ответил: но это же не единственное проявление любви, взять описание влюблённости у греческой Сапфо — она говорит о волнении, расширении зрачков, о холодном дрожании пальцев — это всё было... Но, естественно, дистанция, включая и возрастную, была такова, что о подобном нецеломудренном отношении не стоило и фантазировать.

Иные чувства

А что же моя Наталья? Действительно, как-то мало я помню её рядом с собой в дружеских коловращениях, именуемых теперь ёмким, хоть, увы, приклатненным словечком «тусовка». В доме Толи и Эры на улице «Правды», в доме Жени и Гали на Рубинштейна, вполне отчетливо воспринимавшимися как литературные дома (слово «салоны» ругательно использовал только Горбовский), Натальей не восхищались, как мне хотелось, а в «нашем» доме на Тверской сборища были редкостью — топорщилась тёща, в особенности после выступления Бродского, когда он впервые опробовал свою силовую, агрессивно-роковую (от рок-н-ролла) манеру читать. Приходилось иметь в виду и то, что технически наша квартира была коммунальной: третью комнату в ней занимала машинистка из Смольного, молчаливая, из пухлых шаров состоящая тетёха, которую навещал седоусый, но ещё добрый молодец, на ком когда-то, должно быть, ладно сидела бескозырка со словом «Варяг».

Два-три гостя максимум, беседа за крепким кофе из джезвы или за бутылкой именно «слабого», а не «сладкого» вина были идеальной формой общения у нас, но все же часто я уходил из дому один.

Физически я хранил ей опрятную верность, но эмоционально порой возвращался опустошенным, и она ревновала, пробовала меня проверять. Должно быть, обсуждала всё с матерью. Вдруг, когда я собрался к Ахматовой, стала настаивать на поездке к ней вместе, а прежде — никогда. Пришлось мне звонить снова, уточнять. Анна Андреевна ответила неожиданно весело: «С женой? Вот и прекрасно!», то есть с той стороны ситуация прочиталась совершенно узнаваемо: «С ревнивой женой? Вот и прекрасно!»

Я записал эту дату — 18 марта 1962 года, в этот день к Ахматовой должна была приехать из Тарусы Надежда Яковлевна, и я с моей стихотворной вариацией на тему мандельштамовского «Волка» намеревался быть ей представленным. Но она не приехала, предупредив телеграммой о болезни и операции.

Наталья молчала, а мы говорили, конечно, о Мандельштаме, о, как мы думали, скором издании его в Большой серии Библиотеки поэта. Этот многострадальный «синемундирный» том в действительности ещё годы и годы претерпевал отлагательства и отмены, внутреннюю борьбу составителя Н.И. Харджиева и правонаследницы Н.Я. Мандельштам, да что там борьбу — войну, в которой потеряли все стороны, но тогда казалось, что издание вот-вот состоится.

— По-видимому, это получится хорошая книга. Выйдет и полный Мандельштам, — уверяла Ахматова. — Когда он умер, я сказала: «Теперь с Осипом всё будет благополучно».

Этот мрачный парадокс напоминал мне о существовании литературного дела, в которое я уже настолько глубоко ввязался, что сам рассуждал в накануне прочитанном ей стихотворении памяти Мандельштама:

*Ты живи ещё. И я когда-то думал,
любовь не понимая, не щадя:
— Я живи ещё. В груди моей угрюмой
свисает ветвь осеннего дождя.*

Крыловский журнал так ведь и назывался: «Почта духов», а мы тогда говорили о призраках, как о живых, да чуть ли не с ними самими, — существовала даже переписка с их миром, о ней я и заговорил:

— Рейн мне сообщил, что письма, вам обещанные, находятся у одного букиниста. Но лицо, которое их передало, поставило два условия. Первое: никому не открывать его имени...

— Так. «Пожелало остаться неизвестным»...

— Да. И второе: ни в коем случае не допускать делать фотокопии. Мне кажется, эта таинственность имеет какой-то оттенок уголовщины.

— Так оно и есть. Я знаю это лицо. Это лицо — вор. ВОР. А письма написаны Николаем Степановичем ко мне. Они остались на хранении у одного, казавшегося надежным, молодого человека, который был потом убит на войне. А бумаги присвоила его жена, то есть попросту украла, так как они принадлежат мне. Цена им — миллион. Там всё, всё... Все письма мне от Николая с фронта... Его африканский дневник. Портрет в военной форме с Георгием.

Это был рассказ о до сих пор ещё скандально известном рудаковском архиве, якобы или действительно пропавшем, причем размеры пропаж и вновь найденных документов так и остаются во многом неясными и сейчас. Даже в «Мемуарах» Э.Г. Гер-

пштейн, которая была доверенным лицом обеих сторон: как Ахматовой и Мандельштамов, так и Л.С. Финкельштейн-Рудаковой, вдовы того самого офицера, убитого на войне, всё подёрнуто туманом на сей счет. Вырисовывается отчётливо лишь одна общая черта всех посредников и временных держателей этого собрания литературных документов: держали они их не столько бережно, сколько крепко и цепко, как держат банковские купюры. И в точности как это бывает с деньгами, что-то прилипало к рукам.

— Но это же возмутительно! Можно, наконец, явиться туда, на эту самую Колокольную улицу, и потребовать всё вернуть. Если вы нас уполномочите...

— И не думайте затевать ничего подобного. Она всё сожжёт. Уже что-то сгорело...

— А много ли там материалов?

— Уйма. И к ним я, можно сказать, сама отвезла ещё целые санки.

Что сгорело, того не вернуть, — рукописи могут отлично гореть, искуриваться на сигарки, выкидываться на помойку, но и отлично умеют разыскиваться впоследствии, — скорей всего, в ожидаемых, чем в неожиданных местах. Вор или нет, скупщик краденого или коллекционер, разница невелика, даже между наследниками не разобрать, кто законный, а кто узурпатор, — все тащут к себе, утаивают, выжидают и в конце концов получают их разменный эквивалент. И только авторы, наподобие пастернаковской рябины из «Доктора», — дают, и дают, и дают свои красновато-ржавые гроздья произведений. А самим — кому пуля, кому лагерь, а кому-то достаточно и Постановления...

Приведу краткую справку Нины Ивановны Поповой, директора Ахматовского музея в Фонганном доме от 2 декабря 2001 г.

О рудаковском архиве знаю немного: в этом году от Н.Г. Князевой, вдовы М.С. Лесмана, приобрели рукописи Н.С. Гумилева, видимо, те самые, которые ему продала вдова Рудакова (сама или через посредников, но это только мое предположение). Сам Лесман никогда об этом не говорил.

А вот выдержки из справки Натальи Ивановны Крайневой, хранительницы Рукописного отдела Русской национальной библиотеки — бывшей «Публички» (8 декабря того же года):

На сегодняшний день многое в истории рудаковского архива остается неизвестным... Я думаю, «гумилевско-ахматовская» часть архива Рудакова либо действительно пропала (во время войны или же во время недолгосрочного ареста Л.С. Финкельштейн), либо в 50-е — 60-е годы была ею продана, причём не целиком, а по частям. Об архиве Харджиева — не знаю... Вот, в общих чертах, что мне известно об интересующем Вас архиве, то есть — ничего не известно!

Харджиева я видел лишь однажды, когда был у Ахматовой в Комарове. Не лис, но ёж даже внешне, он вошел и сразу же заговорил прямо с ней, не глядя на меня и явно так, чтобы я не понял:

— Те материалы, о которых шла речь при встрече с известным вам лицом, могут быть разысканы через некоторое время...

Я вопросительно взглянул на неё, она меня отпустила:

— Возвращайтесь через полчаса.

Я побродил по сосняку, подумывая, не уехать ли вовсе. Неожиданно наткнулся на красивую Лену Кумпан, теперь уже глеб-семеновскую жену, зашёл к ним в соседнюю дачу и заговорился на час. Когда я вернулся к Ахматовой, Харджиева не было. Но клубление мелких корыстей вокруг архива продолжало её беспокоить.

Был у меня случай познакомиться и с М.С. Лесманом — фигурой, неизбежно возникающей за всеми этими тайнами, но это было уже поздней. Он тогда, хотя и частично, отбросил конспирацию собирателя и решил познакомить публику с некоторыми из своих сокровищ. В Доме писателя была устроена выставка редкостей из его коллекции, и на открытии он сделал доклад. Редкости впечатляли, доклад был продуманно обесшвеченным: ни одного указания на источники и способы приобретений, не было и никаких точных оценок.

Он был смуглый, пожилой, ухоженный, но как-то не броско, а добротнo, как настоящий богач. Спросил, нет ли у меня каких-либо ахматовских материалов для него. Нет, ничего сенсационного, просто несколько самых простых надписей, дорогих мне как память. Право же, и показывать нечего. Кажется тень разочарования пробежала по его лицу: он ведь выражал интерес и предлагал познакомиться поближе, а я уклонился...

Но настоящие сокровища (и то — все ли?) оказались описаны в вышедшем уже после его смерти толсто набитом томе «Книг и рукописей в собрании М.С. Лесмана» — среди них и большая порция рудаковского архива, который терялся в самоцветах автографов, раритетов и рукописей. Если ему и была действительно «цена — миллион» (неизвестно, в каком исчислении), то цена всей коллекции возрастала, наверное, до миллиарда, выраженного в условных тяжелозвонких единицах.

А в тот раз, когда мы были у Ахматовой с Натальей, она прочитала «Комаровские кроки», действительно набросок, но конец бил прямо в сердце и наповал — кистью бузины от Марины... набросок был мощно оснащён эпитафиями, и это делало его монументальным, как манифест: «Нас четверо». Их имена мне виделись написанными на облаках, на истории литературы, на каталожных карточках библиотек. Мучаясь даже не своим, а кружковым тщеславием, я помешал воображаемый прожектор позади наших спин и видел так же воздушно и нашу четверку, гипотетически возникающую «где-то там». То, что роднило нас с ними, — это кривая начинающаяся слава при полном отсутствии публикаций. Имена изредка появлялись в газетах только в клеветническом контексте, в последний раз упомянут был Бродский.

Ахматова попросила передать ему, чтобы тот был осторожен и устроился на работу:

— Молодёжь сейчас рассматривают под увеличительным стеклом.

Но она не скрывала, что общность у тех четверых не была безусловной при их жизни. «Нас четверо» — ведь это было сказано ею только что, сейчас — может быть, даже глядя на нас.

— Пастернак, например, совершенно не читал Мандельштама. Осип Эмильевич говорил мне, что Пастернак не знает из него ни строчки. И это было так. Сам Осип Эмильевич утверждал, что он — антишветаец. А я впервые увидела Марину только после её возвращения. Это сейчас всё можно объединять.

Она показала и подарила мне листки — два письма ей от Цветаевой, перепечатанные на машинке с пропусками французских вкраплений. Услышанные лишь однажды, вкрапления улетели из моей головы. Так, с пропусками, эти тексты у меня и оставались...

Заговорили о последних днях Цветаевой.

— Приезд её сюда был ужасен и противоестествен. Она же знала, что не напишет здесь ни строчки. Мне показывали её последние, написанные перед приездом стихи. Я не понимаю, как может женщина, которая знала страдание, написать такое... А страдания она по-настоящему узнала только здесь.

— Самоубийцей, должно быть, становятся гораздо раньше, задолго до совершения...

— Её дочь Ариадна Сергеевна винит во всём Асеева. Она считает его чуть ли не убийцей. Конечно, и он хорош... Как бы вам понравилось, если бы вам написали: «Угрозами самоубийства Вы меня не запугаете». Но Асеев был не один. Ведь в Чистополе был и Пастернак.

— Почему ж он ничего для неё не мог сделать?

— Почему? Ну, Борис — поэт, лирик... Он капризен. Он говорил мне: «Я не могу видеть Марину. У неё глаза — как у Андрея Белого»... А ещё раньше он говорил: «Я вижу вас чаще, чем Марину, хотя вы — петербурженка, а она живёт в Москве». Я знала сына Марины, я его видела позднее в Ташкенте и даже устраивала ему прописку у нас в домохозяйстве. Это был красивый юноша, синеглазый, с оплятым цветом лица, но обычный парижский мальчишка. Это он погубил Марину. Она его страшно любила, а к дочери была равнодушна, хотя та, видиг Бог, порядочная женщина. В Елабуге он выпрашивал у Марины костюмы. Наверное, на продажу: носить тогда было жарко — август... Я помню, как в Ташкенте он исчез вместе с домовою книгой, был пойман и арестован.

— Но потом он был взят на войну и убит!

— Да, что-то ужасное с ним случилось под Сталинградом. Я говорю «что-то», потому что не знаю...

Заговорили о Гумилёве.

— Это — непрочитанный поэт. Поэт, которого ещё предстоит открыть России. Многие его стихи остаются современны, а экзотика — это только оболочка.

— У него сейчас множество поклонников — и, как ни странно, среди литературного начальства, но не только. Я знаю, например, бешеного почитателя Гумилёва.

— Если бы они раньше прислали ему хоть одно письмо! Ведь он писал в полнейшем молчании критиков. Он не дожил до своей славы двух дней. Потом оказалась, что у него уже была школа, — вся южная Россия писала под Гумилёва...

Ахматова показала сборник И. Анненского «Кипарисовый ларец», собранный и изданный Гумилёвым в Париже в 1908 году. Экземпляр был специально отпечатан для неё, с нежнейшей надписью на заглавном листе от издателя и жениха.

— Как он у меня уцелел после трёх обысков?

— А могу я узнать, когда был последний?

— В 1949 году.

К моменту разговора прошло уже два года со дня смерти Пастернака, но его роман, премия, травля, пересуды и споры обо всём этом продолжали существовать как сегодняшняя новость. Я только что прочитал два мелко напечатанных томика на тонкой и прочной бумаге, идеально карманного размера. Тамиздат. Впечатления ещё не устоялись, однако то, что критиковали другие, мне казалось достоинствами романа. Но Ахматова заговорила на этот раз не о литературе, а о самой судьбе автора, причем очень резко:

— Борис сошел с ума со своим романом, — он от всего отрёкся. Он говорил мне: «Какая чушь, что я писал стихи».

— Да, когда мы были у него с Рейном, он называл свои ранние стихи «алхимией». А роман — главным и настоящим делом.

— Вот видите! Я поняла тогда, что этот роман его погубит. Так и случилось.

— Но он получил признание на Западе, премию...

— Там с этим романом потешились и бросили, как они всегда делают. Когда Борис умирал, он уже впал в то состояние, откуда не возвращаются, но его как-то

оживили. Он упрекнул: «Зачем вы это делаете? Там так хорошо...» А потом, перед самой смертью, он сказал: «Я всю жизнь боролся с пошлостью. Но пошлость победила — и здесь, и там...»

Неожиданно Ахматова добавила:

— А пошлость не победила. Она не может победить гения. Как и её, впрочем, победить невозможно. Она существовала во все времена, так же как и будет существовать всегда. Я бы сравнила «Доктора Живаго» с гоголевскими «Избранными местами из переписки». Когда Гоголь написал «Мёртвые души», от него ждали, что теперь он скажет всю правду. И он решил: если они хотят правды, так лучше я скажу её напрямик. Это его и погубило. То же и с Пастернаком.

— Я нахожу, что это связано с зависимостью от читателя. Как-то вы говорили, что знаете своих читателей наподобие маршала Гинденбурга, «знающего своих русских»...

— Да, когда я пишу, я помню о читателе.

— Но стоит ли его искать?

— Конечно, нет. Он сам найдет вас.

Заговорили о пастернаковской «Вакханалии», я ею восхищался, особенно концом. Но Ахматовой активно не нравились «печи перегрева» и вообще «всё это». Она рассказала, как была однажды на таком банкете.

— Я была после первого инфаркта и из всего обилия на столе могла есть только лук, а пить только «Боржоми». Я пришла поздно и села в конце стола. Слева от меня был мальчик Андрюша, архитектор, обожающий мастера, а справа ещё один молодой человек. Когда я съела весь лук со стола и выпила весь «Боржоми», я поднялась. А мальчишки, которые после третьей рюмки шатались, как тростник под ветром, взяли меня провожать. Уже на лестнице не они меня, а я их держала. Впереди была Ордынка, освещённая огнями, и поодаль — милиционер. Ну, думаю, спросит у меня докуменгты. Ага. Ахматова. С пьяными мальчишками. «Чему она может научить нашу молодежь?» — вспомнились слова из известного доклада. Но в этот момент у меня нашелся спаситель. Чья-то сильная рука отшвырнула мальчишек так, что они покатались на тротуар и остались лежать там до Страшного суда. А спаситель проводил меня до дому, любезно и остроумно беседуя, как мы сегодня, о Гоголе. Это был Святослав Рихтер.

В сущности, мы занимались литературными сплетнями, вовлекая в них и, таким образом, оживляя мертвых наряду с живыми. Кроме любви, ничего интереснее, чем это занятие, на свете не существует. Не потому ли «дело было не любви»?

Анна Андреевна вышла проводить нас в прихожую.

— Вы ведь живете на Песках? На Коннице?

— Нет, рядом. На Тверской.

— Я очень люблю Пески. Я хожу гулять к Смольному собору. Вы замечали, что он от вас убегает? Вы к нему подходите, а он удаляется...

— Да, он ушывает вбок. Там действительно есть какой-то фокус с расположением улиц.

Довольные этим общим городским наблюдением, мы с Натальей возвращались — если не на ахматовские Пески, то в свой Смольнинский район.

(продолжение следует)



Борис Тененбаум

БРАК ПО РАСЧЕТУ, В КОТОРОМ ОКАЗАЛСЯ ИЗЪЯН

Глава из новой книги "Израильские войны"

I

Жаботинского в исторической литературе нередко именуют "...полковником английской армии...". Логика тут простая — уж если человек создал для Англии полк, то, естественно, он по меньшей мере полковник?

Но нет, на самом деле все было много скромнее...

Во-первых, "еврейский полк" полком никогда не был — он состоял из пяти британских батальонов, нумерованных с 38-го и по 42-й, которые формировались один за другим, и в Палестину из этих пяти попали только три: 38-й, 39-й и 40-й.

Жаботинский служил в 38-м.

Во-вторых, батальон по штатному расписанию, действовавшему в 1917-1918, состоял из нескольких рот, обозначаемых не номерами, а буквами латинского алфавита: "А", "В", "С", "D" и "Е".

В роте могло быть 200-250 человек, и она, в свою очередь, делилась на взводы, в каждом из которых состояло 50-60 солдат, и стрелковый батальон, таким образом, состоял примерно из 20 взводов.

Вот одним из таких взводов Жаботинский и командовал.

Его к этому времени произвели в лейтенанты — как сам он говорил, "...с каким-то хитрым обходом неписанной английской Конституции...". Вообще-то давать офицерские права иностранцу можно было только во вспомогательных частях — скажем, Иосифу Трумпельдору на время его службы в отряде погонщиков мулов был дан чин капитана.

Но в регулярных полках английской армии делать это было нельзя — а 38-й батальон королевских фузилеров был частью регулярной, и Жаботинский с его лейтенантским чином оказывался удивительным отступлением от обычного порядка.

Командовавший батальоном подполковник Паттерсон говорил Жаботинскому, что отступление это проживет недолго:

"...Было только два исключения — вы и кайзер Вильгельм — и Вильгельма уже выкинули...".

Он любил подразнить своего подчиненного — они дружили еще с конца 1914, времени формирования "Zion Mule Corps", и Паттерсон вообще-то хотел оставить свежее испеченного лейтенанта при штабе батальона.

Но тот настоял на должности командира взвода, и в этом качестве отправился на позиции в долине Иордана. Активных боевых действий на этом участке не велось, но батальон понес серьезные потери — места там были болотистые, и малярия солдат буквально косила.

Надо сказать, что 38-й был единственным "белым" батальон, назначенным на службу в эти гиблые места. обычно туда посылали колониальные части, солдаты которых были привычнее ко всякого рода тропическим болезням.

Но Алленби, командующий английскими войсками в Палестине, сделал для евреев исключение. Так они там и стояли — вплоть до того момента, когда на центральном участке палестинского фронта был нанесен удар по турецким позициям.

Фронт рухнул, английские войска двинулись на север, в направлении на Дамаск — и 38-й батальон тоже принял участие в преследовании разбитого противника.

В обязанности лейтенанта Жаботинского входило пресечение мародерства — местные бедуины шарили по брошенным турецким окопам, охотно прирезали раненых, и тащили все, что только могли найти — особенно оружие.

Одного такого мародера поймали с поличным — он грузил на своего ослика патроны.

За это полагался расстрел на месте — но, как пишет Жаботинский, он "...так и не стал настоящим офицером...". Поэтому бедуина не расстрелял, а велел дать по шее и отпустить — но в результате батальону достался трофейный ослик.

Его надо было как-то назвать — и эта проблема вызвала споры среди личного состава.

После серьезного обсуждения решение нашлось: в 38-м батальоне по штатному списку значилось 64 рядовых с одинаковой фамилией — Коган — и различали их не по фамилиям, а еще и по именам. А имена эти начинались на все буквы латинского алфавита, с одним-единственным исключением: не было никого с именем на "Икс" — "Х".

Ослика нарекли "Коган-Икс".

II

Жаботинский до Первой Мировой Войны немало поездил по свету, работал в Турции корреспондентом крупной российской газеты, жил какое-то время в Константинополе — и пришел к выводу:

"...там, где правит турок, не растет трава...".

Отсюда и его решение — во что бы то ни стало создать "еврейский легион", который придет в Палестину вместе с англичанами, и "Старая-Новая-Страна" вырастет в Святой Земле "...за гранью дружеских штыков...", среди которых будут и еврейские.

То же чувство разделяло и все еврейское население Палестины — по выражению Жаботинского, англичан ожидали так, как бедная невеста-бесприданница ожидает жениха, который вот-вот придет к ней во всей своей славе.

От англичан ожидали многого.

Британская Империя к 1918 была крупнейшим государственным образованием из всех, когда-либо существовавших на земле. Колонизация Индии была в свое время начата даже не Англией как таковой, а сугубо частным объединением торговцев — так называемой Ост-Индской Компанией.

Компанию, конечно, в первую очередь интересовала торговля, то есть обмен индийских товаров на английские — но требовался и законный порядок на территориях, примыкавших к ее факториям. И оказалось, что установление такого порядка — тоже важный продукт.

Английские владения в конечном счете распространились на всю Индию, и уж про них никак нельзя было сказать, что в них не растет трава.

Колониальные власти, например, стали строить общеиндийскую систему железных дорог, и при этом капитал на строительство нашелся в самой Индии. Люди доставали глубоко припрятанные монеты и покупали на них английские облигации, потому что они ценились дороже золота — были столь же надежны, да еще в придачу и приносили вкладчикам хорошие годовые проценты.

Такая практика внушала надежды.

За четыре года войны — с 1914 по 1918 — число евреев, живущих в Палестине, сократилось с примерно 90 тысяч человек чуть ли не вдвое. Сказать точнее было бы трудно — очень уж неточна была турецкая статистика. Но то, что грабеж со стороны турецких властей был повсеместным, могли засвидетельствовать все, кто его пережил.

Жители села Дгания спаслись только тем, что в их домах квартировали летчики из приданной турецкой армии немецкой авиационной части. Конечно, пришлось жить в хлебах, вместе со своими коровами — зато Дганию не сожгли.

И вот турецкая власть окончилась — на смену ей пришла власть английская.

А Англия была богата, могущественна, накопила колоссальный опыт успешного правления в колониях — и теперь, после получения долгожданной Хартии, евреи Палестины ожидали от нее избавления и помощи.

Ну, действительность оказалась не столь розовой.

III

Некие трещинки в отношениях с англичанами Жаботинский увидел еще тогда, когда 38-й батальон кормил малярийных комаров в долине Иордана — как-то вдруг оказалось, что его часть собираются слить в одно соединение с другим батальоном, набранным в Вест-Индии. Джон Паттерсон запротестовал — по его мнению, это предложение нарушало предварительные договоренности. К тому же в Египте, главной базе английских войск в Палестине, уже располагался 39-й батальон, набранный в основном из таких же российских евреев-добровольцев, только что солдаты 39-го батальона прибыли из Америки.

Ожидалось прибытие еще одного такого же батальона, 40-го — и тогда ставилось возможным собрать все три батальона в одну так называемую "Еврейскую Бригаду".

Вопрос был представлен на рассмотрение командующего английскими войсками на Ближнем Востоке, генерала Алленби. Генерал его одобрил — даже в письменной форме — после чего дело было положено под сукно, и ничего не случилось.

Жаботинский, при всей скромности своего офицерского чина, был все-таки чем-то большим, чем обычный лейтенант — и он начал писать всем влиятельным людям в Лондоне, с которыми был знаком. Но ничего не помогло — "Еврейскую Бригаду" так и не создали. А подполковник Джон Паттерсон, командовавший еще "Zion Mule Corps", к концу 1918, после всех испытаний военного времени, так и остался в том же чине подполковника, с которым начал свою деятельность по созданию "Еврейского легиона".

Жаботинский находил это большой несправедливостью — но в военном министерстве Великобритании мнение сверхштатного лейтенанта 38-го батальона королевских фузелеров проигнорировали.

А в сентябре 1919 лейтенант Жаботинский был уволен из армии. Основанием послужила докладная записка, составленная в штабе генерала Алленби, в ко-

торой — на основе его нескрываемой критики действий командования — лейтенанта обвиняли в большевизме.

Он, правда, об этом не узнал. В нарушение обычных норм, требовавших предъявлять офицеру любое обвинение, задевающего его честь, докладную Жаботинскому так и не показали. Лейтенант, возведенный в офицерский чин с обходом всех правил, был точно так же и уволен. Из рядов британской армии его выкинули "...как кайзера Вильгельма...".

Подполковник Паттерсон оказался прав.

IV

Дело с отчислением Жаботинского, собственно, сводилось не столько к нему самому, сколько к спешному расформированию всего "Еврейского Легиона". В штабе генерала Алленби полагали, что нужды в нем больше нет — война с Турцией уже подошла к концу. Да и сохранение в составе армии батальонов, личный состав которых имеет "...выраженные политические взгляды...", было нежелательно — армии нужна дисциплина.

Так что напрасно Жаботинский настаивал на сохранении какой-то части батальонов в качестве "...еврейских сил поддержания порядка..." — ему было сказано, что поддержание порядка не его забота, этим займутся английские военные власти.

Еще большее разочарование ожидало евреев Палестины, отправивших в Иерусалим делегацию.

Ожидания их были высоки — в свое время, в рамках "угандийского проекта", англичане обещали Герцлю разрешение на иммиграцию миллиона евреев, по квоте до ста тысяч в год, и при этом с назначением в новой колонии еврейского губернатора для управления внутренними делами поселенцев.

Сейчас же, в конце 1918, о широкой иммиграции и о самоуправлении и речи не было.

Вместо этого депутатов сухо известили о том, что вплоть до полного урегулирования и "...разграничения зон оккупации союзников..." делами Палестины будет заниматься военная администрация, а гражданские функции будут осуществляться местными органами управления, составленными пропорционально численности населения всех общин Палестины.

Поскольку на примерно 50-60 тысяч евреев в стране к этому времени имелось около полумиллиона арабов, то единственным советом, переданным в еврейское управление, был отдел еврейского образования.

А вот полицию начали формировать на основе "...пропорционального представительства..." — что с точки зрения евреев выглядело катастрофой.

Но к концу 1919 года Англии было совсем не до них.

Декларация Бальфура за какие-то пару лет успела устареть, интересы Империи сместились в сторону от Палестины, надо было обулаивать не столько ее, сколько весь массив завоеванных территорий, вплоть до Багдада.

И вообще, палестинские евреи, в отличие от палестинских арабов, англичан раздражали.

Жаботинский говорил впоследствии, что если бы в качестве еврейских делегатов были избраны хасиды — с пейсами, в халатах и странных шляпах — они имели бы больший успех.

Английские офицеры и колониальные чиновники привыкли к экзотическим туземцам.

Как-то на интуитивном уровне понималось, что они хитрят, норовят обмануть, держат камень за пазухой — а то и нож — и что верить им нельзя.

Но контролировать — можно.

А тут приходят какие-то люди — в пиджаках, говорящие на европейских языках — и претендуют на равенство. В глазах англичан это делало их уже не "...забавными туземцами...", а "...наглými иностранцами...".

И результаты такого отношения не заставили себя ждать.

V

Петр Моисеевич Рутенберг был человеком бурных страстей. Он родился в городке Ромны, Полтавской губернии, отец его был купцом 2-й гильдии, семья располагала достаточными средствами, и юный Петя Рутенберг сумел поступить в Петербургский Политехнический Институт. В принципе мог бы вести спокойную обеспеченную жизнь. Но нет — увлекся идеями народничества, в качестве духовных наставников рассматривал людей вроде Желябова или Веры Фигнер, был членом партии эсеров, водил знакомство с Каляевым, и так далее...-

В общем, избежал каторги, или чего похуже, только тем, что уехал за границу.

А когда Петр Моисеевич влюбился, то ради супруги отрекся от веры отцов, и перешел в православие. А через несколько лет раскаялся в этом, и вернулся в иудаизм, приняв ритуальное наказание — 39 ударов нешуточных плетью.

И шрамами, оставшимися после покаяния, он гордился.

И вот сейчас, в апреле 1920 года, Рутенберг, дрожа от ярости, кричал военному губернатору Иерусалима, что в нескольких сотнях метров от его резиденции идет самый настоящий погром — и не мог докричаться.

А рядом с Рутенбергом стоял бледный Владимир Жаботинский, и на очень корректном английском языке, свистящим от ненависти голосом говорил то же самое.

Рональд Сторрс, военный губернатор Иерусалима, выразил обоим своим собеседникам полное понимание.

Он сказал, что меры уже принимаются, что расположенные неподалеку от Иерусалима воинские части вот-вот начнут интенсивное патрулирование, и что им будет содействовать местная полиция, хорошо знающая улицы, и что все будет хорошо, и что главное — избежать насилия.

В это самое время так называемый "Старый Город" Иерусалима был заполнен возбужденными толпами арабов, с криками "Смерть евреям!" и "Правительство с нами!" громились еврейские лавки и синагоги — а полиция, набранная из мусульман, не только не вмешивалась, но, случалось, и помогала.

В новом городе, за еврейскую самооборону которого отвечал Жаботинский, его людям удалось отбиться, до Тель-Авива — еврейского пригорода Яффы, за самооборону которого отвечал Рутенберг — погромщики не добрались. Но, тем не менее, губернатор, в желании избежать любых возможных осложнений, попросил и Жаботинского и Рутенберга сдать свои револьверы.

Их использование могло привести к "...бесплезному насилию...".

VI

6-го апреля 1920 года в Иерусалиме прошли аресты тех, кто "...участвовал в беспорядках..." — и арабов, и евреев. Обыски прошли в квартирах и служебных помещениях всего сионистского руководства, включая даже дом доктора Вейцмана. В здании, использованном как штаб самообороны, обнаружили пару винтовок и 3 револьвера, в связи с чем арестовали 19 человек.

На следующий день Жаботинский явился в комендатуру и заявил, что арестованных следует отпустить, что за хранение оружия отвечает только он, как командир самообороны, а все остальные только выполняли его приказы.

Он был задержан — но отпускать остальных и не подумали.

После короткого следствия состоялся суд. В качестве судей выступали британские офицеры, но наказание присуждалось по турецким законам о мятеже. Рональд Сторрс был вызван в суд в качестве свидетеля, и дал в отношении Жаботинского самые благоприятные показания — например, сообщил суду, что лично конфисковал у обвиняемого револьвер и тот сдал его без сопротивления.

Сторрс вообще был человек вежливый и толковый — арабист, образованный, прекрасно знающий дело дипломат и администратор, служил в Египте при британском посольстве, где ведал связями английских властей с арабскими нотаблями.

Его должность так и называлась — "Восточный Секретарь".

Ну, и в силу своего опыта и высокой компетенции Рональд Сторрс получил временный чин полковника и назначение на пост военного губернатора Иерусалима. Как он сам говорил — с долей положенной иронии, но не без гордости — "...первого со времен Понтия Пилата..."

В штабе генерала Алленби губернатора Сторрса очень ценили — и тот факт, что "...беспорядки..." все-таки случились, и что в ходе их в Иерусалиме случились насилия и убийства, в вину ему не поставили.

Туземные волнения — вещь столь же неприятная, и столь же неизбежная, как дурная погода.

Ну, и военный суд в целом отнесся к обвиняемым снисходительно, и наказал их по минимуму — тремя годами заключения. Исключение было сделано только для главаря и зачинщика, Владимира Жаботинского.

Он получил 15 лет каторжных работ, с последующей высылкой из страны.

VII

Приговор в силу таки не вступил. Еврейские организации в Англии глубоко возмущались по поводу "...очевидной несправедливости...", британская пресса в целом выразила недоумение по поводу "...непонятной жестокости...", в обществе заговорили, что "...негоже преследовать еврейского Гарибальди...", да и в военном министерстве показалось, что негоже слать на каторгу человека, с которым в том же министерстве важные люди совсем недавно сидели за одним столом.

Помогло и то обстоятельство, что в декабре 1919 Жаботинскому вручили орден.

Официально он назывался пышно — "Most Excellent Order of the British Empire" — "Превосходнейший Орден Британской Империи", неофициально сокращался просто до "Ордена Британской Империи", и был самым младшим из британских орденов, присуждаемых за доблесть, но тем не менее, сажать в тюрьму кавалера Ордена Британской Империи было очень некрасиво.

Поэтому, когда летом 1920 военную администрацию Палестины сменила администрация гражданская, то едва ли не первым делом она провела полную амнистию. Все осужденные за апрельские беспорядки без разбора их прегрешений были помилованы и освобождены.

Жаботинский, собственно, протестовал — он требовал не помилования, а оправдания, и говорил, что нельзя ставить на одну доску погромщиков и тех, кто защищался от погрома — но его не слушали даже в еврейской среде.

На вновь назначенного Верховного Комиссара Палестины, сэра Герберта Сэмюэла, возлагались огромные надежды. Как-никак, он и сам был евреем, сторонником сионизма, и даже личным другом доктора Вейцмана...

Уж он-то несомненно поможет?

Но нет, как оказалось — не помог. Сэр Герберт действительно был чиновником высокого ранга, и действительно симпатизировал делу сионизма — но служил он вовсе не еврейской общине Палестины, а Британской Империи, и служил ей верой и правдой.

А интересы Империи все больше и больше сдвигались в сторону от Палестины, потому что французы выгнали из Дамаска клиента Англии, эмира Фейсала, и прикончили провозглашенное им было "Королевство Сирия", и пришлось устраивать его в новосозданном "Королевстве Ирак", а его брата, эмира Абдаллу, решили разместить в специально созданной для него Трансиордании, отрезав для этого кусок на востоке британской Палестины.

Такие резкие изменения имели последствия — "...английская поддержка евреев..." стала выглядеть сомнительной — и в мае 1921 года, через два месяца после создания Трансиордании, погромы пошли полосой — сначала в Яффо, а потом и по всей территории Британской Палестины, и счет убитых уже шел не на единицы, а на дюжины.

Арабы требовали отмены Декларации Бальфура.

VIII

Летом 1922 года была опубликована так называемая Белая Книга (по-английски — White Paper). Это, собственно, был отчет министра колоний, Уинстона Черчилля, о действиях британского правительства, представленный Парламенту.

И в отчете разъяснялось, как именно смотрит правительство Его Величества на Декларацию Бальфура в настоящий момент.

Правительство подтверждало свою решимость поддерживать этот документ, но вместе с тем заявляло, что "...превращение Палестины в еврейскую страну в такой мере, в какой Англия является английской, невозможно...", и что вообще Декларация Бальфура вовсе не провозглашает Палестину еврейским национальным очагом, а просто способствует созданию такого очага в тех местах территории Палестины, где это окажется возможным.

Из этого положения самым естественным образом вытекала необходимость ограничения еврейской иммиграции таким образом, чтобы "...число прибывших устанавливалось с учетом экономической емкости страны в каждый данный момент...".

Ну, а трудную задачу этого учета правительство Его Величества, так уж и быть, соглашалось взвалить на себя.

Белая Книга Черчилля вызвала в Исполнительный Комитете Сионистской организации яростные споры. Жаботинский настаивал на том, что этот документ

нарушает дух и букву Декларации Бальфура, но большинство в конце концов пошло за доктором Вейцманом. Тот стоял за сохранение сотрудничества с Англией — не потому, что ему нравилась проводимая ей политика, а потому, что он не видел другого выхода.

Дело кончилось тем, что Белую Книгу отвергли арабы — они посчитали сделанные им уступки недостаточными.

Это, в свою очередь, существенно повлияло на позицию руководителей еврейской общины Палестины.

Их взгляды сильно расходились друг с другом, но в одном отношении они согласились целиком и полностью: в вопросах обеспечения безопасности английские власти не помогут, а помешают.

Полагаться можно только на себя.

Кое-что в этом отношении уже было сделано — в июне 1920 года была сформирована так называемая "Хагана" — "Оборона". Создание этой организации оказалось горькой необходимостью: поселение Тель-Хай на севере страны было полностью разрушено, а восемь его защитников, включая Иосифа Трумпельдора, убиты — и стало понятно, что спорадических усилий по самообороне недостаточно, нужна организационная основа.

"Хагана" ей и стала, и занялась своим хлопотным и многоплановым делом — обучать людей и запасать оружие. И, конечно же, делать это следовало втайне, исходя из того, что Англия перестала быть другом.

И могла оказаться врагом.



Владимир Фрумкин
«ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
С «МОЛЧАНИЕМ», или —
ПЕРЕФРАЗИРУЯ КОРЖАВИНА —
БАЛЛАДА ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ
НЕДОКОРМЕ*

Коммунистический режим был утопией, Исхитрившейся сделать саму свою утопичность источником бесконечного долголетия. Реальности трудно бороться с ирреальностью, разуму трудно спорить с абсурдом.

Ален Безансон

И отправился я в Белые Столбы...
Александр Галич. «Право на отдых».

1.

В один из своих наездов из Питера в Москву я отправился в Белые Столбы. Но не для того, чтобы взглянуть на прославленную Галичем психушку, где «шизофреники вяжут веники, а параноики рисуют нолики» (она, как я узнал сравнительно недавно, вовсе и не там находится, а километрах в сорока на юго-запад от Белых Столбов, возле станции Столбовая). Я поехал в другое советское учреждение, несравнимо более высокое и значительное, но которое посторонний человек, скажем, какой-нибудь англичанин или француз, мог бы за просто принять за дурдом. Ибо была в нём какая-то странность, ирреальность, нечто шизоидно-параноидальное. Хотя и носило оно название солидное, монументальное, отливавшее державной бронзой:



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИЛЬМОФОНД
СССР

По слухам, там хранились едва ли не все шедевры мирового кино. Точнее говоря, не хранились, а бдительно охранялись, потому как простому советскому человеку их почему-то видеть не полагалось.

* Наум Коржавин «Памяти Герцена (или Баллада об историческом недосыпе)».



Копия Постановления Совета Министров

Специальное Постановление Совета Министров № 3698-1510с, снабжённое грифом «Секретно» и подписью Председателя Совета Министров Союза ССР И. Сталина, предписывало, в частности,

в) в IV квартале 1948 г. восстановить наружное ограждение фильмохранилища.

4. Включить в перечень особо важных объектов промышленности Государственный фильмофонд Министерства кинематографии СССР. Обязать Министерство внутренних дел СССР (т. Круглова) принять под охрану войск Министерства внутренних дел Государственный фильмофонд. Увеличить численность войск Министерства внутренних дел СССР по охране особо важных объектов промышленности и железных дорог на 35 человек.

Обязать Министерство кинематографии СССР (т. Большакова), по согласованию с Министерством внутренних дел СССР, обеспечить Государственный фильмофонд, передаваемый под охрану войск Министерства внутренних дел СССР, техническими средствами охраны (ограждение, освещение, связь, сигнализация) и предоставить необходимые служебно-бытовые помещения для размещения войсковой охраны.

Все эти меры предосторожности предназначались для защиты «особо важного объекта» от народа, то есть от «хозяев страны» (согласно официальной таблице о рангах). Другое дело — «слуги народа», большое начальство: ему запрещенные к показу ленты регулярно доставлялись в специальные просмотровые залы. До нас же добиралась ничтожная доля этих богатств — фильмы, которые так или иначе подтверждали то, что нам неустанно втемняла власть: Запад — не сахар, капитализм разъедает противоречия и пороки, люди там одиноки и глубоко несчастны. На такие картины (типа «Этот безумный, безумный, безумный мир», «Чайки умирают в гавани», «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?», «12 разгневанных мужчин») государство, кряхтя, выкладывало драгоценную конвертируемую валюту. Всё остальное беззастенчиво воровалось — тайно, незаметно копировалось во время просмотров в Москве, куда наивные западные киношники привозили свои фильмы на предмет продажи.



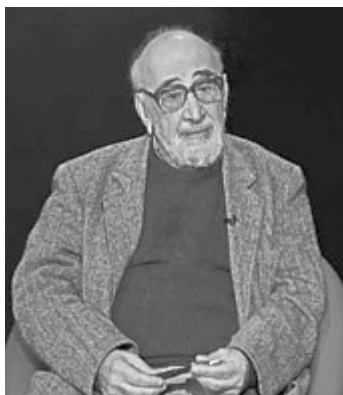
С Любой Бергер в Оберлине, штат Огайо, 1975 г.

Поездка моя была чистой воды авантюрой, в которую меня втянула моя московская коллега и друг Люба Бергер, Люся, как её все называли. Улыбнувшись и распахнув свои необыкновенные, будто нарисованные кистью импрессиониста серо-зелёные глаза, она предложила мне бросить все дела и провести день в Белых Столбах. С ней и Игорем Голомштоком.

— Наш НИИ выдал нам официальную бумагу с печатью. И со списком фильмов, которые нам ну просто позарез необходимо посмотреть для научной работы. Поехали с нами! Бергмана и Антониони увидишь!

— А я-то тут причем? — удивился я. — Меня и на порог не пустят!

— А-а, чего-нибудь придумаем. Игорь поможет, он умный. Давай, решайся! Завтра в девять, Павелецкий вокзал, возле пригородных касс.



Игорь Голомшток

И я решился. Ну, не пустят, так хоть с Игорем Голомштоком познакомлюсь. Я был наслышан о нем: историк искусства, друг и соавтор Андрея Синявского. Наотрез отказался дать показания по делу Синявского-Даниэля, за что схлопотал шесть месяцев исправительно-трудовых работ (их потом заменили крупным штрафом).

Приезжаю на вокзал. Люся с Игорем уже там. Знакомимся. Игорь бросает на меня оценивающий взгляд.

— Значит, так. Вы — наш переводчик с итальянского. Начальству скажем, что в Бергмане разберемся сами, шведский худо-бедно понимаем, а вот «Приключения» Антониони без толмача нам не осилить, зря время потеряем. Едем?

— И что — начальство тут же вам поверит? Без вещественных доказательств? А ну как попросят меня бумагу предъявить? Или поговорить по-итальянски?

Определённого ответа Игорь не дал, — могут поверить, а могут и проверить, — но добавил, что попробовать стоит. «Он прав», — подумал я. И купил билет.

2.

В дороге разговор вертелся вокруг привычных интеллигентских тем. Новинки самиздата и тамиздата. Обыски, аресты. Письма протеста: кто подписал, кто уклонился... Игорь говорил обо всём спокойно и трезво, ничему не удивляясь и ничем не возмущаясь. Разгадку его сдержанности я обнаружил через много лет в его мемуаре «Воспоминания старого пессимиста». В отличие от меня, Игорь избежал индоктринации, с юных лет придерживался спасительного, здорового скептицизма:



Обложка книги И. Голомштока

«Я не был ни ленинцем, ни сталинистом, я не верил ни в социализм с человеческим лицом, ни в демократию как в панацею от всех социальных зол и несправедливостей мира сего, я не был очарован политизированным демократическим движением, не верил в оттепель 1960-х и в перестройку 1980-х, понимая, что в России всё и всегда возвращается на круги своя. Я не разочаровывался, потому что мой пессимизм оберегал меня от очарований».

Прочитав это, я понял, почему Игорь так рано покинул СССР. Уехав в 1972-м, он оказался, так сказать, на два года умнее меня... В эмиграции он написал и издал

на нескольких языках «Тоталитарное искусство» — подлинно научное, тщательно документированное исследование об искусстве СССР, нацистской Германии и фашистской Италии. Там есть ссылка на мою статью о том, как обменивались «песнями о главном» два тоталитарных монстра — гитлеровская Германия и сталинская Россия. Интересно, опознал ли Игорь в авторе статьи Люсиного друга, питерского музыковеда? Вспомнил ли Павелецкий вокзал и всю эту причудливую, авантюрную историю с Белыми Столбами?..

Разговор в электричке я поддерживал вяло: мешала мысль об инсценировке, в которой мне предстояло уподобиться Остапу Бендеру и нагло прикинуться тем, кем я отродясь не был. На всякий случай, под стук колёс, стал заготовливать комбинации из итальянских музыкальных терминов типа *adagio sostenuto una quasi fantasia... allegro ma non troppo, poco a poco accelerando da capo al fine...* В слабой надежде, что проверяющий их не знает и подумает, что сказанное имеет хоть какой-нибудь смысл...

Из того, что говорилось моими спутниками, мне почему-то яснее всего запомнился рассказ Люси о жующей корове из какого-то современного западного фильма: жует она себе и жует, морда — на весь экран, кадр этот длится и длится — и вы начинаете ощущать беспокойство, смутное предчувствие беды...

— Правда, похоже на приём *ostinato* в музыке? Игорь, по-итальянски *ostinato* — упрямый, упорный. Володя как переводчик подтвердит... Так вот, современные композиторы прибегают к нему гораздо чаще, чем их предшественники. И в более заострённом виде: мотив, фраза или ритмическая фигура прямо-таки вдалбливаются в наш мозг. А режиссёры авангардного кино используют «зрительное остинато» — типа той самой застрявшей на экране жующей коровьей морды. И там, и там — «психическая атака», верное средство усилить эмоциональное напряжение...

Обнаруживать сходные черты и приёмы в разных видах новейшего искусства было любимым Люсиным занятием. Увлёклась этим настолько, что освоила две специальности, музыковеда и искусствоведа, а недавно и киноведением занялась...



«Остров сокровищ»: в хранилище Госфильмофонда

Пути от станции к зданию Госфильмофонда не помню совершенно: глазеть по сторонам и запоминать не давало приближение ответственного момента... Была ли там ограда, возведённая по распоряжению товарища Сталина? Или её к тому времени снесли? Был ли контрольно-пропускной пункт с охранником? Пожалуй, нет, потому что в здание меня впустили, ничего не спросив. Повезёт ли мне дальше — зависело от чиновника, в кабинете которого скрылись Люся с Игорем, оставив меня в предбаннике. Вышли они оттуда минут через десять, и, судя по их лицам, с

благой вестью. Разрешение получено! Без предъявления документов, без демонстрации моего безупречного итальянского...

Что это было? Обычное, всепроникающее русско-советское разгильдяйство? Или то, что моих поручителей, которые здесь уже бывали, держали за вполне приличных людей, на жульничество не способных?

3.

Нас завели в скромного вида комнату и погасили свет. На небольшом экране вспыхнула крупная надпись:

L'AVVENTURA

и начался фильм, который советские критики, увидевшие премьеру «Приключения» на Каннском фестивале 1960 года, дружно обругали интеллектуальной порнографией, а западные провозгласили новым словом в киноискусстве. Хотя мне и хотелось понять, что это за зверь такой — «интеллектуальная порнография», и чем она отличается от порнографии vulgaris, я был больше занят другим: почти бесплодными попытками понять, о чём говорят герои фильма... Особенно — Клаудия, подруга бесследно исчезнувшей на необитаемом острове Анны. Она сразу же попала в фокус моего внимания, заполонив его почти безраздельно. Иначе и быть не могло: Клаудию играла несравненная Моника Витти, которая влюбила в себя миллионы советских мужчин, посмотревших фильмы «Затмение» и «Не промахнись, Ассунта!»...



Моника Витти в «Приключении»

После Антониони мы смотрели Бергмана. Игорь и Люся заказали несколько его фильмов, более коротких, чем растянувшаяся на два с половиной часа лента Антониони. Один из них нам не выдали. «О «Молчании» забудьте, — сказал подателям письма-ходатайства заведующий коллекцией. — Я его знаю, как свои пять пальцев: проштудировал для своей научной работы «Изображение секса в зарубежном кино». Так вот, «Молчание» — это уже нечто запредельное. И опасное: может нанести зрителю непоправимую травму — эстетическую и моральную. Так что, извините. Не могу. Как говорится, «кина не будет»...



Кадр из фильма «Молчание»

Уже в эмиграции узнал я, что Главного Хранителя Сокровищ звали Владимир Юрьевич Дмитриев. Умер он недавно, в 2013 году. Коллеги его ценили и уважали. Правда, «многие на него обижались, когда он не выдавал пленки. Но все его отказы, даже казавшиеся чистым самодурством — «Не хочу и не дам!» — были обоснованы. Обоснованы интересами коллекции, которую он сохранял и расширял».



Владимир Дмитриев

Мы не обиделись. Мы были вне себя. Печётся, мерзавец, о нашей нравственности, о чистоте нашей этики-эстетики, а сам, как Скупой рыцарь, — один, без свидетелей, — вождленно созерцает свои сокровища! Для научной работы материал собирает? Заглянул сейчас в интернет: никаких научных работ о сексе в кино за В.Ю. Дмитриевым не числится. То ли соврал он нам про своё исследование, то ли бросил эту затею.

4.

А «Молчание» я всё-таки посмотрел — ещё до отъезда из СССР. С помощью финнов и эстонцев. Случилось это так. В самом начале 1973 года я оказался в Таллине, куда незадолго до этого поехал Галич — отдохнуть от столичной суеты и мстительного литературного начальства. Перед отъездом Александр Аркадьевич и жена его Ангелина Николаевна предложили мне присоединиться на недельку к ним: пообщаться, побродить по старому Таллину, а ещё — познакомиться с Вла-

димиром Максимовым: «Не пожалее! Володя — очень незаурядная личность. Он там засел в гостинице и пишет новый роман».

Один из вечеров мы провели в уютном частном доме, где Галичу устроили домашний концерт для эстонских литераторов и интеллектуалов. Слушали опального московского барда с глубоким вниманием, принимали тепло, угощали щедро. Галич светился радостью, прямо-таки купался в успехе. А между тем в соседней комнате по телевизору шло... «Молчание» Бергмана. Показывало его финское телевидение, сигналы которого хозяева дома ухитрились ловить при помощи какой-то специально сконструированной хитрой антенны. И как только Галич брал time out, чтобы принять очередную рюмку и перевести дыхание, я бежал к телевизору, подогреваемый страшилками Дмитриева и приговором советских критиков, обнаруживших в ленте Бергмана «философию человеконенавистничества и латентный фашизм» (?!).

Увы. Ни очень уж откровенных сексуальных сцен я там не нашёл, ни ненависти к человечеству, ни этого, как его? — латентного фашизма. Может быть, потому, что смотрел урывками, да и картинка на экране была очень уж нечёткой...

Не прошло и двух лет, как я, оказавшись в Америке и начав работать в колледже Оберлин, увидел «Молчание» на нормальном киноэкране. Фильм показали на кампусе в серии шедевров мирового кино. Она проводилась ежегодно, и это было прекрасно! Я смог посмотреть многое из того, что тщательно скрывалось от меня и моих сограждан родной советской властью. А параллельно — пытался наверстать упущенное, заполнить зияющие лакуны в других сферах: в музыке, поэзии и прозе, философии, живописи...

Только вырвавшись за пределы советского зазеркалья и прожив на Западе немалое количество лет, я осознал, насколько серьёзны и долговременны последствия той жалкой духовной диеты, на которой долгие 70 лет держала своих подданных большевистская власть. Ревниво оберегая нас от постижения проклинаемых на всех углах «общечеловеческих ценностей», преподнося нам лишь крохи мировой культуры, государство выпестовало странное архаичное общество, оказавшееся органически не способным к модернизации, не сумевшее принять ценности, накопленные европейской цивилизацией. Оно твёрдо убеждено в том, что окружающий мир враждебен и бездуховен, что европейская толерантность есть не что иное как всеядность, разложение и маразм, а свобода и демократия — химера и миф, их нет нигде и, даст Бог, никогда не будет в России. Предел его мечтаний — стабильность и порядок. «Встав с колен» с помощью нового вождя, оно переименовало своего бывшего мучителя и палача в «эффективного менеджера» и принялось восстанавливать сооружённый им в середине прошлого века «железный занавес».

Расставшись с идеологией коммунизма, страна неудержимо погружается в ирреальность и абсурд, порождённые иной мессианской утопией, абсолютно нелепой в XXI веке — мечтой о «Третьем Риме», о Великой Империи, перед которой расступаются и трепещут другие народы и государства...

5.

«Мудрая культурная политика партии» частенько проявлялась в формах, казавшихся нелепыми даже мне, непростительно долго верившему в истинность марксистской доктрины. Так и стоят перед глазами мизансцены, будто заимствованные из театра абсурда. В 1948 году нам, студентам Ленинградской консерватории, перестали выдавать в библиотеке ноты (а в кабинете звукозаписи — плёнки) сочи-

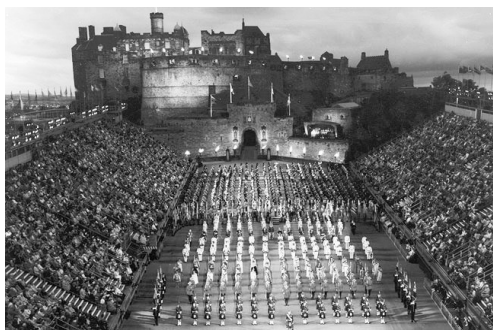
нений Шостаковича, Прокофьева, Хачатуряна, Мясковского и других классиков советской музыки, осужденных в Постановлении Политбюро ЦК КПСС об опере «Великая дружба» В. Мурадели.

К счастью, были у нас Никодимыч — Анатолий Никодимович Дмитриев, музыковед-теоретик, который умел играть с листа всё, что стояло на попире, вплоть до сложнейших оркестровых партитур. То ли беспечен был наш учитель, то ли бесстрашен, но он приносил в класс взятые в библиотеке запрещённые ноты (преподавателям их выдавали в виде исключения), прикрывал поплотнее дверь, и из под его ладных пухловатых, но удивительно ловких ладоней лились звуки, которых нам не полагалось слышать ни при каком раскладе.

Не знаю, кто ввел у нас эти запреты. Возможно, что с перепугу — наш ректор Павел Алексеевич Серебряков. По собственному почину, без нажима сверху. Ведь уволил же он, недолго думая, «ангинородного формалиста» Шостаковича, приезжавшего из Москвы заниматься с композиторами-аспирантами.

...1965 год, конец августа. Я включён в группу композиторов и музыковедов, отправляющихся в Эдинбург на международный музыкально-театральный фестиваль. Это мой первый в жизни выезд за рубеж. К тому же — в капстрану! Без предварительной пробной обкатки в стране социалистического лагеря!

Фестиваль открылся на огромном стадионе грандиозным и красочным музыкальным представлением: перед тысячами зрителей один за другим продефилировали, демонстрируя своё мастерство и экзотическую экипировку, военные оркестры всех стран Британского содружества. Великолепное, эффектное, многообещающее начало! Но продолжения оно не получило. Утром следующего дня нас посадили в роскошный туристический автобус и повезли осматривать Глазго. Оповестив, что в Эдинбург мы уже не вернёмся. Фестиваль, ради которого была устроена 9-дневная поездка, пройдёт без нас!



Королевский военный оркестр в финале Эдинбургского фестиваля

Оказалось, что руководители группы знали об этом заранее. Тур был спланирован так, чтобы львиная доля нашего времени ушла на туризм, и ноль времени — на посещение фестивальных концертов. Для чего? Чтобы уберечь нас от растлевающего воздействия современной западной музыки. От опасных формалистических извращений. От соблазна вырваться за расставленные партией красные флажки соцреализма. Идиотизм ситуации был очевиден всем, но открыто взбунтовались только шестеро. Среди бунтовщиков запомнил только умную и симпатичную молодую музыковедшу из Тбилиси Нану Кавтарадзе.

Поднятый нами скандал увенчался успехом. Вечером того же дня нас доставили — в том же огромном автобусе — обратно в Эдинбург и провели в элегантный концертный зал. Не сбылись наши ожидания. Никакой крамолы не услышали мы в тот вечер. Филармонический оркестр сыграл одно-единственное сочинение композитора XX века — симфонию американца Уолтера Пистона (не помню, которую из восьми). Умеренный модернизм. Солидная композиторская техника, яркая оркестровка при не очень ярком тематизме. Зря рвались, зря затеяли эту бурю в стакане воды.

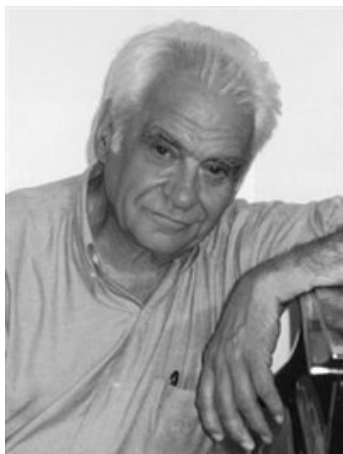
С улыбкой вспоминаю этот наш детский, щенячий протест. И с благодарностью — тех, кто так или иначе помогал мне вплоть до отъезда вкусить от запретного плода — услышать, увидеть, прочесть то, что тщательно скрывалось от граждан страны Советов, включая нас, «бойцов идеологического фронта». Никогда, мычача, игравшего для нас объявленные вне закона клавиры и партитуры. Галича, протавившего меня на закрытый просмотр новой французско-итальянско-американской кинокомедии Витторио Де Сика «Семь раз женщина» с блистательной Ширли Маклейн в заглавной роли.

Фильм показали в Доме творчества кинематографистов в Репино под Ленинградом. Я тогда жил неподалёку, в Доме творчества композиторов, что на границе Репино и Комарово. Там мы и встретились с Александром Аркадьевичем вскоре после нашего знакомства на полуофициальной конференции бардов, устроенной под Петушками в мае 1967 года.

Не забываются — после стольких-то лет! — и все те, кто снабжали меня самиздатом и тамиздатом, записями джазовой музыки и песен французских шансонье. Те, кто ввели меня в два замечательных ленинградских дома, где хранились шедевры русских художников начала XX века, не выставившихся в советских музеях...

Одному из моих друзей стоило бы поставить памятник. Или хотя бы мемориальную доску установить у входа в Московскую консерваторию, где он работал в последние годы жизни. За то, что исполнил 13-ю симфонию Шостаковича, наплевав на наложенный на неё запрет. И как исполнил! В отвергнутой властями оригинальной редакции стихотворения Евтушенко «Бабий Яр», которое легло в основу 1-й части.

Сагу о том, как это ему удалось, Виталий Катаев изложил в заметках «Умирают в России страхи», опубликованных в парижской «Русской мысли». Витя, бывший фронтовик-миномётчик, ставший после войны скрипачом и дирижёром, приехал в 1959 году из Москвы в Ленинград учиться в аспирантуре у замечательного дирижёра и педагога Николая Семёновича Рабиновича. Тогда и началась наша дружба с ним, а потом и с его женой Люсей Бергер. Через несколько лет, уже будучи главным дирижёром и художественным руководителем Государственного симфонического оркестра Белоруссии, он приехал в Ленинград, чтобы поделиться радостью со своим учителем, друзьями, коллегами: 13-я симфония Шостаковича дважды прозвучала в Минске в



Виталий Катаев

первоначальном варианте. И была восторженно принята публикой. Дмитрий Дмитриевич приехал на репетиции, присутствовал на концерте...

Глубоко прав французский историк и политолог Ален Безансон: разуму трудно спорить с абсурдом. Обаятельный, общительный и смешливый Витя Катаев, неожиданно для многих, вступил с абсурдом в прямой и открытый спор. И одержал победу.



Владимир Бабицкий

КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА

В РАЗЛИЧНЫХ СОПРОВОЖДЕНИЯХ

Будучи женатым на профессиональной пианистке, я стал свидетелем и участником нескольких 'музыкальных' историй, которые вызывают неизменный живой интерес у всех наших знакомых, людей разных национальностей и профессий, единодушно рекомендовавших мне их опубликовать.

Скрипка и немножко нервно

Марш "Прощание славянки с инородцем".
Виктор Шендерович

Когда мы поженились, Элла была ещё студенткой, заканчивающей Гнесинский институт по классу фортепиано под руководством профессора Теодора Давидовича Гутмана. Один из её друзей-однокурсников, скрипач Эммануил Борок, жил недалеко от нас в том же новом жилом районе «Давыдково», расположенном вблизи легендарной сталинской дачи, известной в литературе как «Кунцевская дача», на которой и завершился жизненный путь диктатора.

В 60-х годах на месте бывшей деревни Давыдково, расположенной недалеко от дачи, началось массовое жилищное строительство. Многие москвичи переселились туда во вновь отстроенные кооперативные и государственные дома-пятиэтажки. Интересно, что в новом районе было всего две улицы: Славянский бульвар и Давыдковская. Наши дома располагались на Давыдковской, что служило предметом постоянных шуток в компании.

Ещё до знакомства с Моней, как его называли друзья, Элла рассказывала мне о его большом музыкальном даровании, позволившем ему уже в студенческом возрасте выиграть главные призы на Всероссийском и Всесоюзном конкурсах молодых скрипачей.

Элла объяснила, что он учится в Институте у замечательного педагога Михаила Абрамовича Гарлицкого, автора известной школы для юных скрипачей «Шаг за шагом», который хотя и не имел официального звания профессора, был хорошо известен и высоко уважаем в профессиональных кругах как ведущий специалист.

Вскоре наше знакомство состоялось. Моня оказался обаятельным и умным человеком с хорошим чувством юмора, располагающими манерами и мягким низким голосом со слегка угадывавшимся не московским произношением. Он приехал в 14 лет учиться в Гнесинскую школу для музыкально-одарённых детей из Риги, где прошёл хорошую начальную скрипичную подготовку. Его мать рано умерла, и отец с дочерью, Мониной сестрой, по-прежнему, проживали там.

Мы быстро подружились и часто прогуливались по Давыдково, обсуждая многочисленные музыкальные и не музыкальные события, встречали вместе различные праздники, помогали решать друг другу возникавшие бытовые проблемы.

Мне очень импонировала его удивительная трезвость суждений, не искажённых гримасами советского воспитания. Природный ум и прозападная рижская атмосфера, а также ранняя самостоятельная жизнь сформировали в нём человека, сильно отличавшегося от постоянно рефлекслирующих молодых московских интеллигентов. Это был уверенный, твёрдо стоящий на ногах профессионал, хорошо ориентирующийся в музыке и в жизни.

Моя жил в небольшой двухкомнатной квартире со своей женой Зиной, тоже скрипачкой из Гнесинского института, и их недавно родившимся сыном, Мариком. Им постоянно помогала Зинина мама — Рахиль Львовна, энергичная и умная женщина, у которой было ещё четверо взрослых сыновей.

Меня поражала его решительность, целеустремлённость и, особенно, многочисленные рабочие навыки, не свойственные моим прежним знакомым-музыкантам. Его умелые руки были хорошо приспособлены к любому труду.

Однажды, он продемонстрировал мне сооружённый им в новой квартире деревянный шкаф, затем самостоятельно и качественно отциклевал и покрыл лаком полы. На наших посиделках он готовил собственноручно оригинальные вкусные блюда.

Вскоре в нашей семье тоже появился ребенок, и мы часто прогуливали детей вместе. С большими трудностями мне удалось добиться расширения жилплощади, и мы с Эллой и сыном переехали в том же Давыдково в трёхкомнатную квартиру, расположенную в новом многоэтажном кооперативном доме на Славянском бульваре. «Вывались из черты оседлости», — шутил я.

Элла сообщила мне с гордостью за своего одноклассника, что по окончании Института Моне предложили место в оркестре Большого театра, что считалось очень почётным для молодых музыкантов и к тому же, по советским меркам, прилично оплачивалось. Зина нашла место в оркестре Театра имени Ермоловой.

По прошествии некоторого времени в его суждениях начала проскальзывать неудовлетворённость работой в Большом театре.

— Понимаешь, мне хочется играть симфоническую музыку, а этот оркестр заиклен на сопровождении оперной и балетной музыки для увеселения иностранцев, — объяснил он мне. — Я хочу попробовать пройти прослушивание к Кириллу Петровичу Кондрашину, в оркестр Московской филармонии.

Вскоре Мона сообщил нам, что прослушивание прошло очень удачно, и Кирилл Петрович предложил ему место помощника концертмейстера. В оркестре он сотрудничал с известными скрипачами Валентином Жуком и Виктором Ямпольским. Мы начали посещать концерты оркестра в Большом зале Московской консерватории, гордясь его присутствием за первым пультом.

Переход в оркестр Московской филармонии и работа с Кондрашиным явно принесли Моне музыкальное удовлетворение. Такая преданность музыке мне очень в нём импонировала.

Два личных события внесли диссонанс в эту гармоничную творческую жизнь. У Мони обнаружили камни в почках, причинявшие ему боли.

Дополнительное беспокойство было связано с решением его отца и сестры эмигрировать в Израиль, куда они вскоре переехали. Дипломатические отношения Советского Союза с Израилем были в то время разорваны, и Моне приходилось довольствоваться скудными сведениями о судьбе родных.

Однако музыкальная и творческая жизнь успешно продолжалась. Оркестр сотрудничал с выдающимися исполнителями и дирижёрами. Многие советские композиторы доверяли оркестру свои первые исполнения. Оркестр начал готовиться к гастролям в ФРГ.

Вот как Мона описал автору это критическое в его жизни событие:

— Для одобрения на поездку надо было пройти через несколько комиссий, и в финале 'выездной комитет ЦК КПСС' за закрытыми дверями рассматривал кандидатуры и выносил приговор.

— Я прошёл через все предварительные инстанции. К концу нашей последней перед поездкой репетиции в дверь заглянул инспектор оркестра и всем своим видом показал, что у него для Кондрашина есть важная информация.

— Кондрашин продолжал репетицию и через несколько минут после её окончания сказал мне напряжённым тоном: «Подождите, не уходите».

— Вскоре он позвал меня в артистическую. Я поднялся по лестнице, которая до сих пор сохранилась в моей памяти как шествие восторга. Много раз я стоял здесь в очереди, чтобы получить автограф или просто пожать руку великому музыканту, покорившему сердце.

— Сейчас меня сопровождали другие эмоции. Я уже знал, чего ожидать и был готов к этому.

Кирилл Петрович встретил меня. Было видно, что он с трудом сдерживает гнев: «Мне очень жаль вам сообщить, что вам в поездке отказано. Я нажал на все кнопки, потянул все струны, но в эту инстанцию мне хода нет. Не волнуйтесь, я вас отстою. Не делайте скороспелых выводов и не принимайте решений на эмоциональной основе. Не уезжайте, вам там счастья не найти. Тот мир не для вас!»

— Если я и сделаю какие-то выводы, то не по этому инциденту, — пообещал Мона.

Оркестр уехал, и мы, сидя у нас на кухне или гуляя по Давыдково, обсуждали ситуацию.

— Как можно было лишить музыканта простой возможности играть, — внутренне негодовал я, стараясь, однако, его всячески ободрить. Мона держался удивительно спокойно.

— Понимаешь, — объяснял он, — оркестру не нужен невыездной помощник концертмейстера, поэтому рано или поздно я потеряю эту работу и вряд ли найду здесь после этого что-то достойное. Мне надо отсюда уезжать.

Эмиграция в то время казалась нам обоим переходом в какую-то полную профессиональную неизвестность.

И как ты планируешь строить там свою жизнь? — спросил я.

— Мне кажется, что я смогу прочно сидеть в каком-либо западном оркестре. А если и это не получится, буду зарабатывать на жизнь, обучая детей игре на скрипке по Гарлицкому. Это уникальная система.

Незадолго до своей ранней смерти Михаил Абрамович Гарлицкий оставил Моне рукопись написанного им скрипичного учебного пособия.

Вскоре после возвращения Кирилла Петровича Кондрашина с гастролей двое ведущих музыкантов его оркестра Эммануил Борок и Виктор Ямпольский ин-

формировали его о своём намерении эмигрировать в Израиль. Оркестру и главному дирижёру грозили большие неприятности, и Кирилл Петрович нашёл умное решение. Он подал заявление об уходе.

Оркестр имел высокую международную известность и приносил стране изрядные валютные поступления. Вместо осуждения министр культуры Е.А. Фурцева и другие руководители принялись убеждать Кондрашина продолжить работу с оркестром. (Как известно, в декабре 1978 года после очередного концерта в Голландии, Кирилл Петрович Кондрашин принял решение не возвращаться в СССР.)

По заведённому регламенту коллектив проголосовал за отстранение Борока и Ямпольского от работы, а через месяц они были уволены. Наступили мучительно тянувшиеся ожидания разрешения на выезд.

Сроки таких ожиданий были неопределённые, нужно было поддерживать семью, и Моня устроился в ансамбль «Мадригал», руководимый популярным композитором и клавесинистом, Андреем Михайловичем Волконским.

Рождённый в Женеве в семье потомка древнего дворянского рода, ведущего свое происхождение еще от легендарных Рюриковичей, и привезенный в Советскую Россию в 14 лет, князь Андрей Михайлович Волконский так и не смог воспринять лживость и лицемерие советской системы, оказав, тем не менее, сильное влияние на музыкальную жизнь страны.

Как-то придя к нам домой, Моня рассказал мне, что Андрей Михайлович попросил его найти ему какую-либо одинокую еврейскую женщину, собирающуюся эмигрировать, для фиктивного брака, который поможет ему уехать из страны. Как истинный аристократ все расходы за переезд обоих он, конечно, брал на себя.

Кажется, именно Моня удалось это осуществить, и в 1973 году Андрей Михайлович выехал на постоянное место жительства в государство Израиль, доехав, естественно, только до Швейцарии.

Я помню, как мы смеялись с Моней, заполняя для него бумаги в ОВИР, утверждавшие примерно следующее: «Я, Андрей Михайлович Волконский, прошу разрешения на выезд с моей женой... на постоянное место жительства в государство Израиль для воссоединения с моими родственниками...».

Я острит: «Моня, а что мы будем делать, когда в Израиль потянутся наследники российского престола — Романовы?»

Моня считал, что с фамилией Романов в ОВИРЕ будет проще, чем с фамилией Волконский. Она не так заметна. Главное, чтобы у них не было формы секретности, или на худой конец была хорошая государственная жилая площадь, переходившая, как известно, неучтённым образом, организациям, разрешающим отъезд. Освобождающаяся жилплощадь и личные карьеры интересовали чиновников больше, чем высокие родословные отъезжающих или, вообще, какие-либо их исторические корни, равно как и национальное достояние.

Вскоре Моня получил разрешение на выезд. По договорённости с женой, он решил сначала поехать один.

Прощались как будто навсегда. К тому времени я защитил докторскую диссертацию, и во избежание осложнений на моей работе договорились, что вся информация для меня будет передаваться письмами его семье на вымышленное имя приятеля.

Начали поступать письма, и Рахиль Львовна или Зина держали нас в курсе событий. А события развивались исключительно благоприятно.

Присмотревшись к израильской музыкальной жизни, Мона сообщил, что его заинтересовали два коллектива высокого уровня: филармонический оркестр под управлением Зубина Мета и камерный оркестр под руководством Гари Бертини.

Явившись на репетицию камерного оркестра и оценив его звучание, Мона подошёл к Бертини и представившись сказал, что хотел бы играть в этом оркестре.

— Дайте ему скрипку, пусть сыграет, — предложил Бертини.

Взяв чью-то скрипку, Мона начал играть. После краткого прослушивания, Бертини вскочил со своего места и начал аплодировать.

Он сообщил Моне, что по своему уровню, он должен быть концертмейстером этого оркестра, и ему сразу был предложен контракт на пять лет.

Главные проблемы были решены, и Мона вскоре начал гастролировать с оркестром в качестве его концертмейстера. Окончательно устроившись, он пригласил Зину присоединиться к нему вместе с сыном. По неизвестным нам причинам Зина начала просить Моню попробовать устроиться в США.

В результате, бросив через год камерный оркестр, Мона отправился в Бостон, имея, как он писал, всего лишь скрипку и пару джинсов.

Последующее развитие событий напоминало страницы самых дешёвых романов об 'американском успехе', однако всё это происходило наяву. Мона сообщил, что объявлен конкурс на совмещённую позицию помощника концертмейстера Бостонского симфонического оркестра и концертмейстера Бостонского оркестра популярной музыки, состоящих фактически из одних и тех же музыкантов и руководимых тем же дирижёром, знаменитым Сэйджи Озавой. Конкурс должен был состоять из шеституров и в нём собирались принять участие 35 ведущих музыкантов из Америки и Канады.

— Мне нечего терять, — писал он, — и я попробую тоже попытать счастья.

Через какое-то время пришло новое письмо:

— Ребята, я выиграл этот конкурс! Пытаюсь спросить у коллег, какая будет зарплата, а они говорят, что концертмейстер Бостонского оркестра не должен думать о деньгах. У него будет столько, сколько ему надо.

В следующем письме Мона сообщил, что 'воротилы' города Бостона пригласили его на торжественный обед, устроенный в его честь. В заключение обеда один из гостей — владелец недвижимости в Нью-Йорке попросил его принять в дар от него скрипку. Даритель хотел лишь Мониного разрешения установить на инструменте золотую пластинку с дарственной надписью.

Теперь уже ничего не мешало счастливому воссоединению семьи, и Зина с Мариком отправились в Бостон, а Рахиль Львовна, вернув квартиру кооперативу, уехала жить ближе к одному из своих сыновей. В освободившуюся квартиру переехала с другого этажа их знакомая.

Блестящее развитие событий было неожиданно прервано телефонным звонком в нашей Давыдковской квартире. Был поздний вечер, и мы сидели втроем с моей сестрой Валею, приехавшей к нам в гости из центра Москвы. Сын уже спал в своей комнате.

Элла взяла трубку. Звонила наша общая приятельница, Дия Вершинина, из теперь уже бывшего 'Мониного' дома. Рыдая, она сообщила, что только что полу-

чила звонок от своей знакомой, въехавшей в квартиру Мони и Зины. Та рассказала, что ей позвонил какой-то иностранец, и, сильно коверкая русские слова, попросил к телефону Рахиль Львовну. Приятельница ответила, что она переехала. Он попросил дать ему новый телефон Рахили Львовны, чтобы передать ей важную новость.

— Её зятю, Эммануилу Бороку, — сказал он, — сделали в Бостоне срочную операцию на почке, и он умер на операционном столе.

Ошеломлённая приятельница дала ему новый телефон Рахили Львовны.

Элла разрыдалась, у меня стучало в висках. Я почему-то сразу представил себе, что произойдёт, когда эта чудовищная новость будет сообщена Рахили Львовне.

Моя сестра, опытный врач-клинист, начала растерянно размышлять:

— Что-то странно. Операция по удалению камней в почках — стандартная. Даже в самом худшем случае, когда почку удаляют, это не представляет жизненной опасности.

Я не мог отвязаться от навязчивого представления о надвигающейся угрозе убийственного звонка. Время приближалось к полуночи. Схватив трубку и ещё плохо соображая, что я буду говорить, я набрал номер Рахили Львовны.

В трубке услышал её обычный бодрый голос. Значит, он ещё не звонил и у нас есть, по крайней мере, время до утра.

Всё ещё пребывая в шоке, я начал импровизировать.

— Рахиль Львовна, я завтра собираюсь посетить предприятие вашего сына (Веня работал в 'почтовом ящике'), и мне хотелось бы с ним предварительно проконсультироваться. Дайте, пожалуйста, его телефон.

Она продиктовала номер. Перебросившись ещё парой малозначащих фраз, я извинился и быстро закончил разговор под предлогом необходимости звонить Вене, пока он ещё не спит.

Веню я, конечно, разбудил и рассказал о случившемся.

— Это, наверное, провокация, — реагировал он.

— Моя сестра-врач тоже сомневается, но сейчас надо в первую очередь обезопасить вашу маму от этого звонка.

Спросонья, Веня ещё реагировал замедленно.

— А что можно сделать?

— У вас на предприятии знают об отъезде вашей сестры в Америку?

— Да, конечно.

— Тогда срочно поезжайте на Главпочтамт, он работает круглосуточно, соединитесь с Бостоном и проясните ситуацию, а потом подготовьте маму. Теперь уже поздно, и до утра он явно не позвонит.

— Да, но я даже не знаю их телефон в Бостоне.

— Сейчас позвоню Рахили Львовне и попробую выяснить номер телефона.

Ждите моего звонка, — прервал я.

Снова набирая номер телефона Рахили Львовны, я прокомментировал предстоящий ночной разговор своим растерянным женщинам:

— Пусть я буду выглядеть в её глазах идиотом, но, по крайней мере, попробую спасти ей жизнь.

Всегда доброжелательная Рахиль Львовна сделала вид, что не удивилась моему позднему повторному звонку.

— Рахиль Львовна, Элла сейчас напомнила мне. Володя Спиваков собирается в Бостон, и он просил узнать у вас номер Мониного телефона, — импровизировал я.

Я забыл, что имею дело с еврейской мамой.

— Но я бы очень хотела им кое-что передать. Попросите, пожалуйста, Володю захватить ко мне перед отъездом, и я ему всё подробно сообщу.

— Хорошо, Элла ему передаст, — пообещал я, растерянно.

На мой повторный звонок Венья сразу взял трубку. Он уже был в полной форме.

— Венья, с номером телефона в Бостоне ничего не получилось. Давайте не терять время. В конце концов, Бостонский симфонический оркестр в Бостоне один. Попросите американскую телефонистку соединить вас с дирекцией или каким-либо секретарём оркестра. Мы уже всё равно сегодня спать не будем. Звоните нам в любое время.

В пять утра раздался телефонный звонок. В трубке был торжествующий голос Вени:

— Володя, Mister Borok is OK! — процитировал он реакцию секретаря оркестра, с которой его довольно быстро связали. — Сейчас я уже у мамы. Она всё знает и благодарит всех вас.

Подлость учинённой провокации не давала мне покоя. Поэтому явившись утром на работу в Институт, я тут же отправился к моему хорошему знакомому, бывшему фронтовику, который многое разъяснил мне в хитросплетениях нашей непростой жизни. Я рассказал ему ночную историю.

— Типичная работа управления КГБ по дезинформации, — прокомментировал он. — Вашей Рахили Львовне они звонить и не собирались. Им надо было посеять неблагоприятные слухи о результатах эмиграции среди соседей именно там, откуда люди уехали.

Разъяснение поставило всё на свои места, но как-то легче не стало.

Эммануил Борок продолжил свою блистательную карьеру в Америке. После одиннадцати лет работы в Бостонском оркестре, он получил место первого концертмейстера в симфоническом оркестре Далласа, совмещая эту деятельность с профессорскими позициями в различных университетах Техаса и выступая по всему миру.



Эммануил Борок — первые снимки из Бостона, 1974 год



С Менухиным на репетиции двойного концерта Баха



С Виктором Ямпольским в рекламе к созданию дуэта New World Duo

Как-то, спустя несколько лет после описанных событий, мне позвонила моя сестра:

— Ты помнишь, у нас в больнице работал блестящий хирург-уролог, который уехал в Израиль. Мне рассказали, что он недавно погиб там в автомобильной катастрофе.

Я рассмеялся: «Валя, ты что, забыла Мониноу историю?»

— Ты думаешь это тот же случай?

— Не сомневаюсь! Тот же почерк.

Догадка потом подтвердилась. Жизнь учит даже таких простаков как мы.

Читатели Портала могут получить дополнительную информацию об этом талантливом музыканте из ранее опубликованных здесь источников:

1. Артур Шильман, Эммануил Борок. *О жизни под звуки скрипки, Семь искусств* 7(54) 2014 <http://7iskusstv.com/2014/Nomer7/Vorok1.php>

2. Евгений Беркович. Сосед по Давыдкову. Блоги "Семи искусств" <http://blogs.7iskusstv.com/?p=38244>

Бетховен из Америки и борщ из «России»

И я хлебнул из чаши славы,
прильнув губами жадно к ней;
не знаю слаще я отравы
и нет наркотика сильней.

Игорь Губерман

Пока дойдёшь до чаши славы,
Напьёшься всяческой отравы.

В.Б.

В период, о котором пойдёт речь, Элла работала в Москве, в Институте имени Гнесиных, концертмейстером в классе виолончели.

В 1984 году она поехала в Белград аккомпанировать аспиранту Гнесинского института, Игорю Кириченко, на Международном конкурсе виолончелистов. Председателем жюри конкурса был известный французский виолончелист, Андре Наварра. Советский Союз представлял в жюри Даниил Борисович Шафран, который уже знал Эллу по ее участиям во Всероссийском и Всесоюзном конкурсах виолончелистов, где она получила дипломы за лучший аккомпанемент.

После исполнения с Игорем сонаты Брамса номер два, фа-мажор, Элла заметила, что Наварра оживился и, наклонившись к Шафрану, что-то с ним обсудил. По окончании прослушивания, они оба подошли к ней. Даниил Борисович представил Эллу знаменитому маэстро, и Наварра пригласил её аккомпанировать ему во время его планировавшихся гастролей в Москве.

Это было необыкновенно почётное предложение, и Элла приехала домой в Москву, окрылённая предстоящим содружеством с выдающимся музыкантом.

В Москве шла подготовка к VIII-ому Международному конкурсу имени П.И. Чайковского 1986 года, и Даниил Борисович, как председатель жюри конкурса виолончелистов, предложил Элле аккомпанировать участникам и первой выбрать себе трёх солистов из сформировавшегося списка конкурсантов.

Основываясь на представленных документах, Элла отобрала для себя трёх музыкантов, заинтересовавших её своими биографиями. Остальные участники были распределены среди других аккомпаниаторов.

Приготовления к конкурсу шли уже полным ходом, когда вдруг, в конце апреля 1986 года произошло событие, изменившее ход мировой истории — Чернобыльская катастрофа. Зловеще расплывавшиеся по миру радиоактивные облака, усиливающие своё вредоносное воздействие всеобщей паникой и неумными попытками советских властей скрывать или исказить объективные последствия аварии, оказали влияние на всю мировую деятельность.

Не избежали ущерба и международные музыкальные события, особенно связанные с Советским Союзом. Организаторам предстоящего конкурса в Москве начали поступать отказы от заявивших себя участников. Естественно, что среди первых отказавшихся были наиболее продвинутые музыканты, победители других конкурсов, не пожелавшие дополнительного риска, при уже успешно складывавшейся карьере. Среди них оказались все отобранные Эллой музыканты.

— Ну вот, теперь я могу расслабиться и наслаждаться прослушиванием музыкантов из зала, — прокомментировала Элла события даже с некоторым облегчением.

Стало известно и об отмене гастролей Андре Наварра, по-видимому, по причине ухудшения здоровья (в 1988 году знаменитый маэстро ушёл из жизни).

Семейная жизнь вернулась в устоявшееся спокойное русло.

В субботу утром, накануне официального открытия конкурса Чайковского, мы собирались поехать за город, в наш недавно купленный крестьянский дом, когда раздался телефонный звонок. Звонил Даниил Борисович Шафран. Он попросил Элла аккомпанировать неожиданно приехавшему американскому виолончелисту, желающему принять участие в конкурсе. В силу безотлагательности ситуации нужно было срочно найти класс для репетиций и встретиться с этим музыкантом.

Через знакомых диспетчеров Элла быстро заказала по телефону класс в Гнесинском институте и сообщила адрес позвонившей вскоре переводчице, представившей к этому американцу. В результате я поехал за город один, а Элла отправилась на встречу, захватив необходимые ноты.

Вернувшись в Москву на следующий день, я поинтересовался её впечатлением.

— Репетиции фактически не было, рассказала Элла. — Когда я появилась, он попросил меня аккомпанировать ему сонату Бетховена номер три, ля-мажор. Я начала играть, он сделал на виолончели пум-пум, сказал: «Всё в порядке!» и мы распрощались. Его зовут Джон, фамилию я не запомнила. В документах, которые я посмотрела, о нём сообщались только малозначащие биографические сведения.

— Ну, что можно ожидать от человека, случайно появившегося в последний момент?! — убедительно заключила она.

Конкурс начался, и Элла начала готовиться к выступлению в первом туре, когда опять позвонил Даниил Борисович и попросил её аккомпанировать ещё одному неожиданно появившемуся музыканту китайского происхождения, живущему в Швейцарии.

Его документы производили хорошее впечатление: он уже выиграл один международный конкурс и имел успешную карьеру в Европе. Вскоре он позвонил сам и договорился о репетиции.

— Ликвидация музыкальных последствий Чернобыльской аварии началась, — пошутил я.

Однако я явно поторопился с выводами. Настоящие музыкальные драмы только завязывались.

На следующий день раздался неожиданный угрюмый телефонный звонок. Звонила переводчица Джона. Она сообщила, что обед некоторых участников конкурса накануне, в гостинице «Россия», где они проживали, закончился тяжёлым коллективным отравлением из-за съеденного борща. Некоторых музыкантов на скорой помощи увезли в больницы, а Джон наотрез отказался ехать в больницу, несмотря на тяжёлое состояние, и сказал, что предпочитает умереть в гостинице, а не в больнице.

Она была совершенно растеряна и пыталась спасти его всеми известными ей средствами. Мы начали лихорадочно собирать среди знакомых медицинские советы, относящиеся к лечению отравлений, и перезванивать в гостиницу.

Беда, однако, не приходит одна. Вскоре позвонил швейцарский виолончелист сообщить об отмене назначенной репетиции. Он рассказал, что открывая пальцем бутылку с коллой (открывалки, по-видимому, вблизи не оказалось), он повредил палец и пока играть не сможет.

Теперь наша квартира превратилась в тяжело загруженный телефонный узел отделения скорой помощи. Звонили поочередно: Даниил Борисович, интересовавшийся состоянием обоих музыкантов и их возможностью выступить в постепенно завершающемся первом туре конкурса, переводчица, энергично откачивавшая отравленного Джона, и швейцарец, систематически информировавший нас о степени распухания его повреждённого пальца.

Через несколько дней он уведомил, наконец, что палец распух до таких размеров, что он вынужден покинуть Москву ввиду полной бесперспективности скорого выздоровления, и вежливо попрощался. В силу такого развития событий его фамилия в памяти не сохранилась.

Звонок Шафрана был не более обнадеживающим. Он сообщил, что первый тур заканчивается через пару дней, и если Джон не выступит в эти дни, он будет исключён из состава участников.

Мы известили об этом переводчицу, и вскоре она перезвонила, сказав, что Джон ещё очень плох, но всё-таки намерен попробовать выступить.

К сожалению, на этот момент я должен был уехать из Москвы на научную конференцию в Белград и узнал подробности последующих событий уже по возвращении через несколько дней.

Элла рассказала, что появившись в последний день прослушивания участников первого тура в зале Чайковского, где соревновались виолончелисты, Джон вручил ей за кулисами виолончель, которую она должна была держать наготове, и отправился в туалет, попросив стукнуть ему в дверь, когда объявят их выступление.

Стараясь не уронить дорогой инструмент, Элла, волнуясь, ожидала тревожного развития событий. Наконец, их выступление объявили, Джон по условленному стуку, появился бледный из туалета, взял инструмент и, хлопнув не менее бледную Эллу по плечу, сказал уверенно: «Let us go!».

— Я целиком сосредоточилась на исполнении и плохо осознавала происходящее вокруг, — продолжала Элла. — Соната Бетховена была сыграна, как будто, без зацепок, и мы выскочили за кулисы. Джон опять оставил мне виолончель и ринулся в туалет, а я медленно начала двигаться с его инструментом вглубь закулисного пространства.

— Неожиданно, меня догнал Миша Хомицер, входившей в состав международного жюри.

Элла была с ним хорошо знакома.

— Элочка, где Вы его нашли?! — возбуждённо заговорил он.

— Ещё не совсем придя в себя, Элла была ошарашена, не зная, что ответить.

— Он же самый лучший! Только скажите ему, что все темпы в сонате Бетховена были замедлены. Он может выиграть это соревнование, — заключил Хомицер, поспешив назад к членам жюри.

Заинтригованный всеми этими новостями, я с нетерпением ожидал их выступления во втором туре. Во время репетиции Элла сообщила Джону неофициальный комментарий жюри по поводу исполнения сонаты. В ответ он прочитал детальную лекцию об этом исполнении, цитируя по памяти исторические документы, включая письма Бетховена. Казалось, он знал всё об этой сонате и никакие советы ему не требовались.

На выступление во втором туре мы приехали в зал Чайковского заблаговременно и прошли за кулисы, где Элла познакомила меня с Джоном. Мы обменялись вежливыми репликами. В наэлектризованной атмосфере предстоящего выступления не хотелось отвлекать его разговорами.

Какой-то американский корреспондент с висевшим на шее регистрационным удостоверением отозвал Джона. Они сели недалеко от меня в удобные кресла, и начали беседовать. Я с интересом прислушался к американскому произношению, не часто звучащему в моём окружении.

— Джон, Вы такой известный музыкант. Зачем Вы приехали на этот конкурс? — услышал я.

— Ну, знаете, мне уже 27 лет, и это мой последний шанс, которым я решил воспользоваться. Конкурс ведь проводится раз в четыре года и существует возрастной предел для участия — 30 лет.

Их беседа продолжалась, а мне уже не терпелось узнать неожиданно приоткрывшиеся подробности. Когда они закончили разговор и корреспондент распрощался и ушёл, я подошёл к Джону.

— Джон, а где вы играете в Америке?

— С весны этого года я концертмейстер виолончелей (principal cellist — В.Б.) в Чикагском симфоническом оркестре, а до этого играл год в Метрополитен Опера и три года концертмейстером в симфоническом оркестре Цинциннати.

Это было невероятно. В 27 лет концертмейстер одного из лучших оркестров мира! Почти все величайшие мировые дирижёры выступали и записывались с этим оркестром. В то время им руководил легендарный Георг Шолти (Georg Solti).

— Чикагский, это который среди 'Big Five' (так называют пять самых выдающихся оркестров США — В.Б.) уточнил я для полной уверенности?

— Да, этот.

Теперь стало ясно, почему у организаторов не имелось информации о сольной деятельности Джона Шарпа.

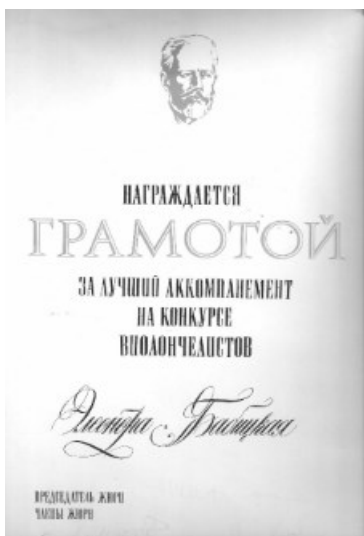
Для того чтобы сохранить душевное равновесие Эллы, я предусмотрительно решил придержать эту информацию до окончания их успешного выступления во втором туре. Комментарий Хомищера и на этот раз был столь же восторженным.

По результатам трёх туров, Джону Шарпу присудили третью премию и бронзовую медаль, а Элле наградили грамотой за лучший аккомпанемент на конкурсе виолончелистов.

Джон остался недоволен решением жюри и даже не явился за своими наградами на торжественное закрытие.

На заключительном концерте лауреатов, в Большом зале московской консерватории, они исполнили сонату Бетховена, сохранив первоначальные темпы и

удостоившись в конце овации зала. Концерт транслировался по радио и телевидению. Фирма «Мелодия» выпустила пластинку с записями выступлений лауреатов.



Грамота VIII-ого Международного конкурса имени П.И. Чайковского, 1986 год.



Концерт лауреатов VIII-го Международного конкурса имени П.И. Чайковского в Большом зале московской консерватории: Джон Шарп и Елеонора Бабицкая, 1986 год.

В настоящее время Джон Шарп по-прежнему возглавляет виолончельную группу Чикагского симфонического оркестра, являясь одновременно профессором Roosevelt University (Чикаго). Интересно, появилось ли у него за это время желание ещё раз попробовать борщ?!

Элла продолжила свою концертмейстерскую деятельность в Европе, многократно участвуя в мастер-классах Даниила Борисовича Шафрана и других известных

музыкантов в различных городах Италии, Германии, Франции и совмещая это с постоянной концертмейстерской работой в Великобритании, где мы проживаем.

Бывшие студенты и аспиранты, которым она аккомпанировала в институте, разъехались по всему миру. Игорь Кириченко, завоевав несколько почетных международных музыкальных наград, уже много лет выступает в составе известного парижского квартета 'Elysee'.

Приготавливаемые Эллой борщи с честью выдерживают европейские испытания.



Артур Штильман

КОЛЛЕГИ МОЕГО ОТЦА

Из глав, не вошедших в книгу воспоминаний о Москве

Читая роман Елены Минкиной "Эффект Ребиндера", случайно наткнулся на знакомое имя — Григорий Семёнович Гамбург — многолетний коллега моего отца, дирижёр, композитор, альтист, бывший член оркестра Большого театра, бывший альтист квартета имени Вильома, да и вообще человек известный среди музыкантов Москвы. Откуда автор романа могла узнать это имя, автор — немусыкант? Но вот, имя попало в роман, и сразу же у меня снова вызвало в памяти всю историю жизни в Москве — в который раз! Я думал, что полностью расстался с этой темой, выпустив в 2014 году книгу в московском издательстве "Аграф" — "Москва, годы страха, годы надежд." В первом варианте она называлась проще — "Москва, в которой мы жили" и почти вся была опубликована здесь, на сайте в "Заметках по еврейской истории" в разных его журналах.

И вот опять вновь прочитанный роман вызвал в памяти самый мрачный период нашей жизни в Москве — с 1950-го по 1953-й, когда моего отца уволили из оркестра Кинематографии в сентябре 1950-го года. Правда, он был единственным дирижёром, состоявшим в штате оркестра. Остальные работали вне штата — как приглашённые. Так повелось ещё со времён войны, когда отец вернулся из Фрунзе в марте 1942 года и сразу был зачислен в штат Студии документальных фильмов и оркестра Кинематографии.

В оркестре в ту пору работали многие оставшиеся в Москве музыканты из разных оркестров и театров, включая Большой театр.

Записи к фильмам начинались поздно, так как необходимое напряжение электросети могло обеспечить относительно качественную запись лишь начиная с 8-и или 9-и вечера, а иногда и после 10-и. То есть когда заводы делали ночной перерыв (не все, конечно). Таким образом проходила работа студии и оркестра. Фронтальные кинооператоры (они же были, как правило, и режиссёрами своих документальных фильмов или сюжетов для "Новостей дня" — киножурнала, доставлявшегося даже во фронтные части Красной Армии, находившиеся тогда очень близко от Москвы) выезжали на съёмки на фронт. Приезжая обратно (часто не всем везло возвратиться...), привозили свой материал, он быстро проявлялся, монтировался и был готов к озвучиванию с диктором и сопровождающей музыкой. Диктором был, как правило, Леонид Хмара, работавший всю войну на этой студии в Лиховом переулке. Иногда бывало, что монтировали голос или "живого" Левитана, но это уже после 1943 года. Левитан был старым приятелем отца, ещё со времён его работы на московском Радио в начале 1930-х годов, дирижировавшего тогда передачами для детей, и некоторыми другими. Я помню, как мы обедали по "талонам", полагавшимся моему отцу и Левитану в ЦДРИ как раз в начале лета 1943 года. Помню, что отец мой тогда отметил, что Левитан порядком моложе его — ему в то время было 27 лет (Википедия даёт его возраст на два года старше). Но всё это прелюдия к

рассказу о двух коллегах отца, связанными с его жизнью в Москве, которая могла бы и окончиться там же уже в начале 1950-х и, как это не покажется странным, именно не без "помощи" его старых коллег, с одним из которых он начинал свою работу в кинематографии на заре звукового кино в СССР. Вот, что вспоминал о них известный московский музыкант — солист Большого Симфонического оркестра Радио БСО, флейтист и дирижёр Наум Зайдель:

"В классе Григория Семеновича (Гамбурга — А.Ш.) мы играли Квинтет для духовых инструментов и ф-но Римского-Корсакова. В основном, он дирижировал в Оркестре Кинематографии, записывая музыку для художественных фильмов. Г.С. Гамбург тепло рекомендовал меня в оркестр. Работа была очень интересной. Высокопрофессиональный оркестр, огромный по составу мог разделиться и работать на двух киностудиях, например, на Мосфильме и студии документальных фильмов, одновременно. Кроме Григория Гамбурга постоянно дирижировали Арнольд Савельевич Ройтман и Давид Семёнович Штильман. Эти имена можно прочитать и сегодня в главных титрах советских фильмов 1950 годов (на российском телеканале «Наше кино» А.Ш.). Оркестр записывал музыку, специально написанную для художественных фильмов киностудии «Мосфильм» и других киностудий страны. Особенно запомнился мне требовательный, с «собачьим слухом» дирижер Арнольд Савельевич Ройтман. Среди многих других фильмов, он с оркестром в 1955 году озвучил немой художественный фильм «Пышка» (1934) по одноименной новелле Ги де Мопассана. В «Пышке» Фаина Георгиевна Раневская сыграла свою первую роль в кино (главную роль играла Татьяна Окуневская. А.Ш.). Музыка написал композитор Михаил Чулаки. «Пышка» — первая режиссерская работа Михаила Ромма — один из моих любимых фильмов."

Вот текст в Википедии о профессоре Гамбурге:

Григорий (Герман) Семёнович Гамбург (22 октября (9 октября) 1900, Варшава, Российская империя — 28 октября 1967, Москва, СССР) — советский дирижёр, композитор, альтист, скрипач. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1965).

Окончил Тбилисскую консерваторию по классу композиции у Николая Черепнина и скрипку у В. Р. Вильшау, а также — Московскую консерваторию по классам дирижирования у Николая Малько, композиции у Николая Мяковского и скрипки у Бориса Сибора.

В 1924 - 1930 — участник государственного квартета им. Страдивариуса в качестве альтиста. С 1928 по 1941 преподавал там же на отделении камерного ансамбля, удостоился в 1939-м году звания профессора.

С 1931 по 1962 — главный дирижёр оркестра кинематографии (тогда — Оркестр управления по производству фильмов), записал музыку ко многим фильмам (см. фильмографию). Г.С. Гамбург никогда этой позиции не занимал! Её занимали в разное время Д.С. Блок, А.М. Пазовский, А.В. Гаук, Газиз Дугашев, В.Н. Васильев, Э.Л. Хачатурян. (А.Ш.);



Профессор Григорий Семёнович Гамбург/1898-1967/

В 1945 -1954 гг. преподавал в Институте военных дирижеров. Профессор Музыкально-педагогического института им. Гнесиных (1954).

Скончался в Москве 28 октября 1967 года.

Вот то, что я знал со слов моего отца и по рассказам мне самого Григория Семёновича:

Родился в 1898 году в **Баку** в семье состоятельного дантиста. Начальное музыкальное образование получил там же в Баку. В Московской Консерватории учился у Сибора и Мостраса, как скрипач и как дирижёр у Константина Сараджева. Всё это он рассказывал мне лично, и в его словах можно было не сомневаться ещё и потому, что они подтверждались часто посещавшим нас его другом детства Валентином Николаевичем Котовским, также родившимся в Баку.

С началом Войны Консерватория эвакуировалась в город Пензу, но Гамбург по каким-то причинам остался в Москве. Я помню в Свердловске его жену Рахиль Соломоновну и дочь Нору, как-то пришедших к нам вместе с кем-то ещё. У жены Гамбурга началось тогда серьёзное нервно-психическое расстройство, и меня предупредила мама, чтобы я ни в коем случае не засмеялся, если Рахиль Соломоновна вдруг скажет что-нибудь несуразное. Это случалось во время их визита не раз, но я помнил предупреждение мамы и держал себя в руках. Мне кажется, что они вернулись в Москву только в начале 1944 года. Причин такого, сравнительно позднего их возвращения я тогда не знал.

Когда же мы возвратились домой из Фрунзе в ноябре 1942 года, то вскоре отец рассказал нам с мамой довольно неприятную историю, происшедшую буквально в первые недели после его приезда в Москву, ещё в марте того же года.

Дело было в том, что в нашей квартире не было отопления, так как зимой 1941 года вся отопительная система в нашем 3-м подъезде (секции) дома № 16 на Большой Калужской вышла из строя из-за морозов и отсутствия персонала в ко-

тельной. Тогда не было теплоцентралей, и каждый дом имел свою отопительную систему на один, или два дома. Словом, мой отец ночевал на студии в маленькой комнате, где днём работали монтажницы фильмов. Некоторое время он ночевал у брата мамы недалеко от площади Маяковского, и тут как-то Григорий Семёнович по-приятельски предложил ему переночевать у него на 3-й Миусской в его квартире, где он жил один. Отец воспользовался приглашением, пришёл после работы, вечером: выпили принесённой им водкой, закусили. Кое-как устроились на ночлег, укрывшись одним одеялом — больше в доме ничего не было, а холодно было здорово даже в ведомственном доме Союза композиторов.

На следующее утро отец пришёл на студию в Лихов переулок, и директор студии рассказал ему, что утром его посетил Г.С. Гамбург и буквально устроил скандал — почему у него так мало работы, а вот Штильман "не вылезает из студии"? Директор, по его словам, ответил, что таковы требования режиссёров и занятость определяется именно требованиями режиссёров, так как дирижёр в то время не только руководил оркестром для записи музыки, но и подбирал нотный материал с музыкой различных композиторов для определённых фильмов и разных художественных задач. Разговор принимал неприятное направление, и директор студии заметил, что он не волен советовать режиссёрам кого именно приглашать для определённых фильмов — дирижёров, диктора, или музыкального оформителя-композитора.

Этот инцидент был очень тревожным симптомом для уже довольно старой дружбы. Ещё работая главным дирижёром Московского Госцирка с 1937 по 1941 год, мой отец имел возможность заказать музыку Г.С. Гамбургу для ряда вновь ставившихся номеров новой цирковой программы. Композитор получил тогда за свою работу весьма приличные по тем временам деньги — более 7 тысяч рублей. Он и его жена пригласили моих родителей после той премьеры к себе в гости и устроили прекрасный банкет в честь такого события.

Никто бы не мог предугадать ничего подобного, происшедшего буквально через несколько недель, после начала работы моего отца на Студии после его возвращения в Москву. Причиной этого, вероятнее всего была самая простая зависть. Хотя, казалось бы — какая может быть зависть у профессора Консерватории, композитора, уважаемого московского музыканта? Но факт оставался фактом и, как показало будущее — оказался не случайным и не последним в череде многолетних взаимоотношений.

После войны Григория Семёновича в Консерватории на работе не восстановили. Тогда не восстановили ряд педагогов, как ни странно, именно оставшихся в Москве. Например, не желали восстановить профессора класса виолончели Марка Ильича Ямпольского. Только через несколько лет его удалось восстановить ценой огромных усилий. Антисемитская компания началась в армии после лета 1943 года и начала разворачиваться сразу после войны. В Консерватории это было очень заметно.

Гамбург, как и Арнольд Савельевич Ройтман, не был в штате оркестра Кинематографии, но оба достаточно много работали в озвучивании фильмов с рядом композиторов. Поэтому, несмотря на то, что они не были в штате, во время развернувшейся компании по борьбе с "космополитизмом" в 1948 году всем трём дирижёрам был вынесен "строгий выговор" за использование "безыдейной" музыки западных композиторов в фильмах, требующих серьёзного идеологического подхода. Весной 1949 года всем трём выговор неожиданно сняли.



Афиша из болгарского журнала "Кино и фото" за 1946 год, с рекламой фильма "Болгария" по сценарию Ильи Эренбурга. В нижнем ряду слева направо: диктор Л. Хмара, дирижёр А. Ройтман, болгарский композитор Святослав Обретенев, мой отец Давид Шпильман и болгарский кинооператор.

И всё же Гамбург и Ройтман были менее уязвимы, так как оба не были в штате оркестра Кинематографии. Ройтман был в штате Большого театра. Бывший скрипач оркестра театра, учился дирижированию буквально "на ходу" когда работал с моим отцом на московском Радио ещё в начале 30-х годов, в Большом театре он занимал официально должность дирижёра сценично-духового оркестра и ассистента дирижёра. Иногда ему давали продирижировать "Севильским цирюльником" Россини в Филиале Большого театра, иногда, когда заболел Юрий Файер, его приглашали продирижировать балетным спектаклем "Дон Кихот" Минкуса. "Спектакль "Севильский цирюльник" я слышал в его исполнении с моей мамой — папа, как всегда был занят записью музыки к какому-то фильму на Студии в Лиховом переулке, а мы смогли пойти на спектакль Большого театра. Певцы тогда пели первоклассные, Розину исполнила, конечно, певица-сопрано, а не колоратурное меццо, как это принято в Италии и в других театрах мира, но впечатление от спектакля было отличное. Мне только показалось, что в финале 1-го Акта Ройтман несколько убыстрял темпы, то есть, как говорят музыканты "загонял". Я рассказал об этом отцу и он, оказалось, знал об этой особенности своего друга Арнольда, которого мы дома только так и называли. Ройтман обладал невероятными способностями: ещё будучи скрипачом, умел читать ноты с листа, даже если незнакомый текст ему ставили на пульт вверх "ногами". Кроме того, как справедливо отметил

Наум Зейдель, он также обладал утончённым дирижёрским слухом. Здесь нужно немного объяснить читателю, что означает термин "абсолютный слух" и абсолютный "дирижёрский слух". Большинство любителей музыки полагает, что "абсолютный слух" предполагает способность человека запоминать на слух музыкальное произведение и воспроизводить его, например на рояле. Но это совсем не так.

При приёме детей в специальные музыкальные школы, слух определяется весьма просто: ребёнка просят спеть какой-нибудь знакомый напев, мелодию, или песню. Затем могут сыграть на рояле короткое мелодическое построение и попросить повторить это голосом. Если ребёнок (да и взрослый человек) способен повторить голосом *интонационно чисто* данную мелодию, то его слух считается достаточно хорошим для начала его обучения. Если при попытке повторить голосом мелодию или песню не удаётся держать строй, то есть чистую интонацию и правильные, точные интервалы между нотами, то такой слух не считается достаточно подходящим для занятий музыкой. Но здесь существует много градаций. Действительно абсолютный слух необходим для обучения детей на струнных инструментах — скрипке, виолончели или альте и контрабасе. Абсолютный слух совершенно необходим также и при обучении игре на духовых инструментах. Иными словами на инструментах с *нефиксированными нотами*, в отличие от фортепиано, где нотный звукоряд уже готов и исполнителю нужно только научиться читать ноты и правильно их брать на клавиатуре. На первый взгляд это просто. Но для настоящей мастерской игры на фортепиано также необходим абсолютный слух. Этого требует извлечение из инструмента огромного количества градаций тембров и гармонических сочетаний, придающих звуку ту, или иную окраску. А есть ещё и педаль! Так что кажущаяся "простота" обучения игре на рояле по сравнению с обучением на струнных или духовых действительно лишь кажущаяся. Во многих отношениях она сложнее и труднее, так как на рояле нет тех возможностей изменения тембра, вибрации, а порой и небольшого изменения звуковысотности нот, которые придатют особую окраску мелодии в исполнении на скрипке, флейте или кларнете, подержанном гармонией аккордов аккомпанемента.

Вот Наум Зейдель назвал слух Арнольда Ройтмана "собачьим". Не знаю, был он собачьим или кошачьим, но правда, что слух дирижёра должен существенно отличаться даже от абсолютного слуха солиста струнника или духовика. Дирижёр должен слышать в сонме тембров все голоса оркестровой ткани и особенно "не строящие" голоса духовых внутри аккордов. Каждому дирижёру природа отпустила такой дирижёрский слух? Увы, далеко не каждому. Ну, а как например, дирижёр, не обладающий абсолютным дирижёрским слухом может выйти из положения? Если он *слышит*, что аккорд звучит не чисто, но какой именно голос звучит не чисто он не может сказать даже самому себе?

Такой дирижёр может быть вполне сведущим профессионалом и выходит из положения он довольно простым способом: он просит играть каждый голос аккорда по очереди все инструменты, участвовавшие в данный момент в исполнении данного аккорда. В конце концов он найдёт в "стоге сена" искомую иголку! Любой найдёт! Фокус в том, чтобы *услышать*, а не найти! Легенды говорили, что великий Густав Малер обладал "абсолютным дирижёрским слухом" — он мог на слух определить, какой именно скрипач на последнем пульте вторых скрипок играл той, или иной аппликатурой, на той или иной струне и в определённой позиции на своём инструменте. Это, конечно уникальное явление в истории музыки и музыкального исполнительства.

Другим важнейшим компонентом способности дирижёра управлять большим оркестром является ритм. Вот тут коллегу моего отца и многолетнего приятеля подстерегали большие опасности — ему всегда казалось, что оркестр всё время отстаёт от заданного им ритма — отстаёт от него, отстаёт от солистов — если они имелись в данный момент. Это качество и не дало возможности А.С. Ройтману выдвинуться в постоянные ведущие дирижёры Большого театра.

Как уже говорилось, иногда ему приходилось заменять постоянных дирижёров балета и даже самого Ю.Ф. Файера. Как-то я помню утренний звонок Арнольда Савельевича отцу где-то в году 48-49-м. Он рассказал, что накануне внезапно заболел Файер и его вызвали продирижировать балетом Минкуса "Дон Кихот" с самой Майсей Плисецкой в главной роли Китри. Наутро ему позвонил Файер и спросил, как прошёл спектакль? Ройтман ответил, что, кажется, всё было благополучно. "А точнее? К вам кто-нибудь заходил после спектакля?" — спросил Юрий Фёдорович. "Нет, никто", — был ответ. "Вы знаете, Арнольд, мне ночью звонила Майя и говорила, что ей было очень неудобно во многих местах, вариациях и в её фуэте. Я понимаю, что вы не имели с ней репетиций, ни с оркестром, ни под рояль. Но у нас такая жизнь, что иногда приходится так сразу играть соло, дирижировать, танцевать. Это театр! Ну, вы сами всё это знаете. Так что, жаль, но Майе было неудобно". Арнольд был очень расстроен и, как можно понять, то была не его вина — действительно без всякой репетиции с примой балериной сразу выйти дирижировать спектаклем — это в какой-то мере была и театральная "подстава". Но что было делать? Возможно, что только он и был свободен в тот вечер, другие уже были заняты текущими репетициями, и после самого Файера, с которым любая балерина чувствовал себя на сцене, как "ребёнок в люльке", после Файера, знавшего всех балетных артистов, буквально каждый их вздох на сцене, любое время и детали исполнения ими самых сложных технических вариаций, после него ни один дирижёр не мог идти в сравнение с этим прославленным мастером балета. Таких дирижёров балета в мире было и есть очень немного.

Однако, вернусь к работе в кино. После войны отец вместе с Ройтманом делали вдвоём музыкальное оформление для очень многих фильмов — они совместно подбирали к ним музыку, и дирижировали по очереди, чтобы каждый получил свою равную долю. Работали они быстро и режиссёры были очень довольны работой их "тандема". Но, конечно, часто они работали и порознь. Начиналась работа над фильмом с просмотра отснятого материала — в присутствии режиссёра, который излагал предположительный, ещё не написанный текст, а также свою концепцию материала, настроения данного эпизода, чтобы дирижёр и он же музыкальный оформитель имел представление о замысле режиссёра и характере необходимой музыки для этих целей.

Как-то отца пригласил сделать фильм один известный режиссёр-документалист. Отец начал работу над фильмом, уже подобрал музыку для большинства эпизодов и вскоре должны были начаться записи в студии с оркестром. Незадолго до этого режиссёр фильма встретил моего отца и спросил его: "Вы, оказывается, собираетесь работать совместно с Ройтманом?" "Нет, — ответил мой отец, — я об этом ничего не знаю". "Но Ройтман мне вообще предложил свои услуги, хотя я ему сказал, что вы уже начали работать над фильмом и мне неудобно теперь приглашать его". На следующий день мой отец позвонил Ройтману. Он сказал ему следующее: "Арнольд! Всё же должна быть хоть какая-то этика! Вы знали, что режиссёр начал работать со мной, и теперь начинаете договариваться с ним о *своей* работе

над фильмом?!". "Ах, Давид!" — ответил Арнольд вполне искренне. И тут он произнёс бессмертную, по моему мнению, фразу: "Где деньги — там нет этики!" Это было в своём роде великолепно — так точно сформулировать жизненное кредо!

Мы иногда вместе с Ройтманом ездили в Серебряный бор, или в Химки. В 1948 году мой отец и Г.С. Гамбург получили машины "Москвич" по ходатайству Комитета Кинематографии (Тогда, кажется, это было ещё Министерство Кинематографии). В том же году мой отец получил водительские права, и это давало возможность делать иногда такие выезды. С Г.С. Гамбургом мы вместе за город почти никогда не выезжали, хотя иногда ездили с ним по городу по каким-то общим делам. Помню, что с Гамбургом было всегда очень интересно, он был человеком большой и разносторонней культуры. С Ройтманом мне было откровенно скучно и неинтересно. Кроме разговоров о бемолях и дизях, а также о модуляциях, никакие иные темы его не интересовали.

Так жизнь и шла до самого сентября 1950 года, когда моего отца всё-таки "вычистили" из кинематографии. Как уже говорилось, он был единственным штатным дирижёром. Но может быть и пронесло бы, если бы... Но увы, это тоже история, хотя и история одной семьи, а в истории, как известно сослагательного наклонения не бывает.

С конца 1949-го началась уже настоящая чистка везде и всюду — гнали евреев заведующих кафедрами, лабораториями, директоров исследовательских медицинских институтов — словом это помнят все, кто тогда был в достаточно сознательном возрасте.

В Комитете Кинематографии начали собирать "материал" на моего отца. Началось всё как будто с небольшого недоразумения. Директором оркестра Кинематографии был тогда бывший администратор Хачек Енохович Хачатурян. Никакого отношения к семейству композиторов он не имел. Просто однофамилец. Как-то он попросил отца одолжить ему 800 рублей. Через месяцев шесть-семь отец напомнил ему о долге и Хачатурян отнёсся к этому напоминанию с явной досадой и раздражением. Почему отец рассказал об этом Г.С. Гамбургу — я не понимал ни тогда, ни теперь. Григорий Семёнович, сказал, что отец ни в коем случае не должен был напоминать ему о долге, а просто подарить ему эти деньги и дал понять, что сам это делает уже давно. На это мой отец произнёс возмущённую тираду о том, что он человек честный, денег не ворует и совершенно не обязан давать взятки директору просто потому, что тот их желает получить. Он сказал, что платит за работу домашним работникам, автомеханикам или шоферам, помогающим в обслуживании машины, но дарить деньги он не будет никогда, так как никогда взяток никому не давал. Это было абсолютной правдой. Правдой было и то, что его коллеги не придерживались этих моральных правил, а как раз следовали правилу Ройтмана — "Где деньги — там нет этики". Вероятно, обстоятельства заставляли их делать такие "вложения" — это обеспечивало их появление на студиях Мосфильма и Ленфильма. Вообще говоря, жизнь так устроена во всём мире, что "взятко-взятатели" имеют особый нюх на потенциальных "взятко-дателей". При одном взгляде на моего отца любому было ясно, что к взятко-дателям он не принадлежит, и следовательно, ничего от него ждать не приходится.

Кроме того Ройтман купил кооперативную квартиру в строившемся доме Большого театра на улице Горького, метрах в ста от Пушкинской площади. Квартира его стоила 120 тысяч рублей — сумма по тем временам — середины-конца 40-х годов — заоблачная, но и квартира была 4-х комнатная, с двумя туалетами и ванной. Зарплата его в Большом театре немногим превышала 2 тысячи рублей, так

что даже его месячные взносы за квартиру никак не могли выплачиваться из скромной зарплаты дирижёра сценно-духового оркестра Большого театра. Долгие годы Ройтман жил с семьёй в коммунальной квартире с тремя соседями в доме производственных мастерских Большого театра на ул. Станиславского. Всему можно найти объяснение, оправдание. Но началась новая волна охоты на "космополитов", то есть вычистка евреев из всех более или менее заметных мест. Хачек Хачатурян решил воспользоваться случаем и преподать моему отцу "предметный жизненный урок".

В конце сентября отец возвратился из отпуска, пришёл в дирекцию оркестра, чтобы узнать о расписании работ на октябрь, а вместо этого ему секретарь предложила расписаться в ознакомлении с приказом зам. министра Кинематографии В. Переславцева, гласящего следующее: "За создание нездоровой атмосферы между дирижёрами Гамбургом, Ройтманом и Штильманом освободить от работы дирижёра Д.С. Штильмана с 30 сентября 1950 года". Мой отец знал, что создана какая-то странная комиссия, "расследовавшая" работу оркестра Кинематографии, куда вызывали Гамбурга и Ройтмана. Когда отец спросил Г.С. Гамбурга о чём шла речь во время длительного собеседования с председательницей комиссии некоей Петерсон, Григорий Семёнович сказал, что он не имеет права ничего говорить и рассказывать. Арнольд Ройтман сказал следующее: "Да так... ерунда всё это. О чём спрашивали? Да ни о чём! Непонятно вообще о чём всё это и зачем?" "Но вы же там были целый час, как вы сказали. Неужели за час ничего серьёзного не было сказано?" — продолжал спрашивать мой отец. "Да нет... Ерунда всё это. Ничего..." "Всё это было ещё в августе, а теперь стало ясно, что это и было подготовкой для издания приказа об увольнении. Отец всё же пошёл в министерство и ему дали почитать показания его "друзей-коллег". Григорий Семёнович сказал буквально следующее:

"Д.С. Штильман — это такой человек, который пойдёт ради денег на любое преступление". Большая и буйная фантазия оказалась у старого, многолетнего приятеля отца, да к тому же профессора!

Арнольд Ройтман сказал, что "Штильмана вообще плохо и мало знает и сказать о нём ничего не может". Теперь вспоминается роман Войновича "Претендент на престол" — вторая часть "Необыкновенных приключений солдата Ивана Чонкина", где похожая ситуация возникла между старыми друзьями-партийцами. "Ведь мы старые друзья и воевали вместе в гражданскую! Ты же меня знаешь!" "Знаю, но поверхностно! Где мы общались? Ну, на рыбалке, а какие там разговоры? ... Знаю, но поверхностно". Но теперь это мы читаем в романе, а тогда это было в реальной жизни. Да, вылететь с работы тогда было просто, но устроиться где бы то ни было — практически совершенно невозможно.

Прежде всего, была продана единственно ценная вещь — наша машина «Москвич». Эти деньги дали нам возможность жить около восьми месяцев. Но что дальше? Мама пошла в ВТО (Всероссийское театральное общество) и восстановилась в членстве этой организации. После чего она попросила найти для неё любую работу. Всё что могло предложить ВТО — это надомная работа в производственном комбинате по изготовлению сеток-вуалей для театральных мастерских.

Мама получила в мастерских раму, нитки и нитрокраску, с помощью которой она наносила точки на каждом квадрате натянутых на раму ниток. Нитрокраска в небольшом количестве наливалась в маленькую бумажную воронку, наносилась одной каплей на нитки, быстро высыхала, и сетка срезалась с рамы ножницами, после чего процесс начинался сначала. Платили за каждую сетку несколько копеек. Не разгибая спины, работая по многу часов в день, мама не могла выработать за

месяц более 400 рублей. От этой работы у неё начался хронический кашель, так как работа с нитрокраской без защитной маски была, естественно, вредной для дыхательных путей.

Первым моему отцу протянул руку помощи дирижёр Виктор Сергеевич Смирнов, старый друг ещё с начала 30-х годов. Он добился разрешения для отца провести живую передачу — почти часовую программу — с оркестром Народных инструментов всесоюзного Радио, которым он тогда руководил. Разрешение было дано, но без упоминания в передаче имени дирижёра. Это было совершенно неважно в тех обстоятельствах. За эту передачу отец получил порядка пятисот рублей, что было самым главным в те дни.

Помог и другой добрый друг — писать анонимные «внутренние рецензии» о музыкальном оформлении научно-популярных фильмов. И это стало возможным лишь благодаря тому, что музыкальным оформлением фильмов на студии Научно-популярных фильмов заведовал старый приятель отца Иван Герасимович Гусев, бывший когда-то исключительно одарённым солистом-виолончелистом. Гусев происходил из старинной дворянской семьи, уцелевшей каким-то чудом в огне революций. К сожалению, Иван Герасимович, или, как его все звали, «Ванечка», страдал распространённым, увы, российским недугом — алкоголизмом. В остальном это был добрейший, интеллигентнейший и порядочный человек.

За каждый такой анонимный «опус» отец получал 200 рублей. Иногда была возможность сделать 3-4 таких «обзора». В общем, доход на семью никак не достигал 1000 рублей в месяц. Но благодарения Гусева на этом не кончились. Так как объём работ на «Научпопе», как кратко называли эту студию, по каким-то причинам возрос, то работы у Гусева стало столько, что он один справиться уже не мог. Одним словом, он нелегально приглашал отца делать с ним пополам музыкальное оформление к фильмам с помощью записанных ранее оркестровых фонограмм, что было практикой в этой студии уже несколько лет. При огромных познаниях моего отца в области музыки, подходящей для кино, сделать музыкальное оформление для любого фильма не представляло для него большого труда. И.Г. Гусев стал действительно нашим ангелом-хранителем в тот самый трудный период жизни. Конечно, хорошо, что никто не выдал «Ванечку», несомненно делавшего всё это нелегально на свой страх и риск, за что он мог довольно серьёзно поплатиться. Так продолжалось *одиннадцать месяцев*, пока другой наш ангел-хранитель — профессор Григорий Арнольдович Столяров — не предпринял очень важных шагов в устройстве на работу моего отца в сентябре 1951 года в Институт военных дирижёров в качестве старшего преподавателя.

В то время это было настоящим чудом! Людей продолжали гнать с работы, и устроиться куда-либо не было никакой возможности. Отец много раз ходил в Комитет по делам искусств в разные отделы с просьбой о работе. В отделе музыкальных театров была вакансия дирижёра в театре оперетты в Сталинграде, но узнав фамилию отца, там сказали, что вакансия уже занята. Так было и в других местах — всё было хорошо до выяснения его фамилии...

В день очередного отказа в работе мой отец в коридоре Комитета по делам искусств неожиданно встретил Юрия Сергеевича Юрского. Это была их первая встреча со времени нашего общего житья в гостинице «Большой Урал» в Свердловске в 1941 году. Тот, как видно, уже знал о положении отца и потому повёл себя весьма сдержанно, если не сказать, что вообще был раздосадован этой встречей. Юрий Сергеевич работал теперь в одном из отделов, ведавших «художественной частью» работы театров. Жена Юрия Сергеевича, и, стало быть, мать будущего знаменитого ак-

тёра Сергея Юрского, была еврейкой. Может быть, поэтому он был так сдержанно отчуждён? Хотя, наверное, это было бы слишком благородным объяснением.

На вопрос отца, как дела, Юрий Сергеевич ответил, глядя в сторону, что неплохо. Отец ему сказал, что у него дела обстоят как раз исключительно плохо, и вот только что пришёл отказ от его кандидатуры на пост дирижёра Театра оперетты в Сталинграде. Отец, конечно, был накалён после очередного отказа и от столь холодно-безучастного поведения бывшего своего приятеля, и, не удержавшись, сказал: «Ну, что ж Юра, желаю тебе успехов в борьбе с такими, как я!» Юрский ни слова не говоря, развернулся в обратную сторону и проследовал в свой кабинет. Больше они никогда не встречались.

Но всё это было даже не самым страшным. В те времена очень часто вскоре за изгнанием с работы следовало самое страшное, что могло произойти в "царстве свободы трудящихся всех стран" — арест. Вот это столь часто следовало тогда одно за другим, что мы жили в ежедневном страхе — а что если Хачек Хачатуриян напишет новую "характеристику" — теперь уже на арест? Разве можно было быть уверенным после всего происшедшего в том, что бывшие коллеги не сыграют и тут своей роли, предназначенной им где-то в других местах и учреждениях?

Оглядываясь назад, только теперь понимаешь, что это самое страшное как раз не входило в планы ни Хачека Хачатурияна, ни его бывших коллег. Почему? По одной простой причине. Если бы это, не дай Б-г произошло, то в поле зрения сразу бы попали как коллеги, так и директор. За ним водились некоторые грешки в виде финансовых нарушений: вскоре после войны оркестр получил по репарации из Германии огромное количество нотного материала, который был не учтён, не каталогизирован, чем воспользовался Х. Хачатуриян и совершенно беззастенчиво начал продавать ноты из библиотеки в разные города и разным учреждениям за наличный расчёт. Это было нарушением правил финансовой дисциплины. Мой отец говорил об этом в своё время Хачатурияну и предупреждал его о возможных неприятностях в будущем. Одним словом, Хачатуриян счёл за лучшее моего отца не направлять на арест. Естественно, что и профессор Г.С. Гамбург, человек очень умный и весьма недурной психолог, также ясно представлял себе, что бы он сам сделал на месте арестованного — первым делом "заложил" бы всех своих коллег! Так и получилось, что арест моего отца в тот момент был никому не выгоден, а может быть именно Г.С. Гамбурга даже и сам повлиял на Хачека Хачатурияна с целью удержания его от дальнейших радикальных шагов. Одним словом — самого страшного, к великому нашему счастью — не произошло!

А пока Новый, "счастливый" 1951 год нас пригласил к себе домой встретить Арнольд Роймтан в его роскошную, невероятную для Москвы новую квартиру, в которую он вселился всего около года назад со своей семьёй — женой и сыном.

Мои родители как-то исхитрились купить бутылку шампанского, что при наших делах пробивало существенную брешь в ежедневном бюджете. Но не приходило же в гости с пустыми руками?! Итак, где-то около половины одиннадцатого вечера мы прибыли в квартиру, кажется, на пятом этаже нового дома Большого

театра на улице Горького. Там уже сидели на диване и вокруг небольшого кофейного столика виолончелист Исаак Маркович Буравский — концертмейстер виолончелей оркестра Большого театра и ещё полгода назад, то есть примерно в одно время с моим отцом. Мне тут же вспомнилась совсем курьёзная история: нашего соседа по дому на Большой Калужской, профессора Ерусалимского, тоже выгнали из МИДа, но вскоре он получил... Сталинскую премию за книгу по истории дипломатии! Это было совершенно поразительно даже на фоне тех дней и событий. Профессор продолжал преподавать в высшей дипломатической школе, труд его оценили, а из МИДа всё-таки уволили!

Вскоре я вспомнил — где я видел Белу Гейгера. Он был добрым знакомым семьи Давида Ойстраха и сидел вместе с папой, мамой и другим другом семьи Ойстрахов — Ильёй Борисовичем Швейцером — года полтора назад в Большом зале Консерватории, когда Игорь Ойстрах впервые исполнил с оркестром Консерватории Концерт для скрипки с оркестром Бетховена. Тогда Бела был в сером мундире МИДовского служащего. Теперь он был в простом костюме. Вдруг погас свет и Исаак Маркович Буравский, окончив свой традиционный рассказ о том, как он играл концерт в госпитале в 1915 году в присутствии великого князя (какого — я не помню), покинул квартиру Ройтмана, предпочтя, вероятно, без света сидеть в своей квартире. Но свет дали где-то без пятнадцати минут 12. Наша хозяйка — жена Арнольда Ройтмана принесла "плетёнку" — нечто вроде небольшой корзинки — с пирожками из Елисейского магазина и поставила её на кофейный столик вместе со стаканами для шампанского. Наша бутылка пришлась очень кстати! Не знаю, предполагалось ли что-нибудь в присутствии Буравского, но мы уже были гостями явно не того сорта, которых следовало принимать в традиционном московском стиле. Бела Гейгер с женой это тоже поняли и в начале первого они начали собираться и уходить, а мы ушли вскоре вслед за ними. Всё получилось почти, как у Чехова: "Принесли русское шампанское... Гости выпили и разошлись..." (А.П. Чехов. "Водень". 1884 год).

По дороге домой я сказал родителям, что никогда больше в этой квартире не буду ни при каких обстоятельствах! Если зовут в гости, то гостей следует принять, как гостей, а такие номера... Родители были со мной согласны, и мы были довольны, когда без особых проблем с помощью двух трамваев в начале второго ночи добрались до дома.

В июне 1951-го года, наш добрый друг Григорий Арнольдович Столяров договорился со своим бывшим учеником, а теперь начальником всех военных оркестров Советского Союза генералом И.В. Петровым о приёме отца на предмет разговора о работе в любом возможном месте в качестве дирижёра. Иван Васильевич Петров знал отца давно — много раз они встречались во время звукозаписей к фильмам о праздничных парадах на Красной площади, или в других фильмах, связанных с военной тематикой. Он принял отца в своём кабинете в Наркомате обороны на Знаменке в точно назначенное время. Был он в высшей степени любезен и участлив. Он сказал тогда буквально следующее:

«Давид Семёнович! Вы ведь знаете о негласной установке ЦК в отношении лиц еврейской национальности? Есть вакантное место в Институте военных дирижёров, но... Но, если я пойду к своему начальству с вашими документами, то пер-

вым вылечу из кабинета я, а за мной ваши документы. Но если Григорию Арнольдovichу удастся договориться на месте, в самом институте, и они пришлют мне заявку с вашей фамилией — то тогда документы поступят ко мне и я их, конечно, подпишу. Если план удастся, то всё будет в порядке и вы будете работать. Передайте всё это, пожалуйста Григорию Арнольдовичу». Отцу оставалось только поблагодарить Петрова за добрые слова, но надежд на осуществление этого плана у него было мало. Однако Столярову удалось уговорить начальника Института, и бумага легла на стол Петрова. Он, как и обещал, немедленно её подписал. Наконец-то с сентября 1951 года отец снова будет работать! В это было трудно поверить. И трудно передать, как все мы были счастливы!

Теперь уже можно было как-то продержаться до сентября. Самое ведь главное в той атмосфере было не только 1275 рублей в месяц — ставка старшего преподавателя Института военных дирижёров, самым главным была справка о месте работы! Домоуправление требовало её каждый год, и теперь можно было не бояться, что милиция начнёт углублённо интересоваться, почему такой-то нигде постоянно не работает? Ведь за милицией стояло гораздо более грозное ведомство.

Как было прекрасно всем нам убедиться в том, что мир не без добрых людей, наших искренних друзей, да и вообще порядочных людей! С таким настроением было гораздо легче держаться в бодром состоянии духа, дававшим мне возможность не сбавлять темпа в моих усилиях на новом этапе работы под руководством профессора Цыганова. Но до того времени — сентября 1951 года должно было пройти ещё мучительно долгое время бесцельных поисков работы моим отцом.

Так мы дотянули до весны 1953-го года, когда отец снова написал письмо с просьбой о восстановлении на работе в кинематографии на имя В.Ф. Рязанова — второго заместителя министра Кинематографии И.Г. Большакова.

Оттепель всё же была очень капризной и изменчивой. В конце апреля мой отец получил уведомление, как и все его штатские коллеги — преподаватели Института военных дирижёров — о том, что по окончании учебного года, в середине мая все они увольняются из штата преподавателей по приказу Министерства обороны о сокращении штатов Института. Снова возник кошмар безработицы, которую мы пережили в течение 11 месяцев — с октября 1950 года по сентябрь 1951-го — после увольнения отца с работы дирижёра оркестра Кинематографии. Периодически он писал письма с просьбой о пересмотре дела заместителям председателя Комитета по кинематографии Переславцеву и Рязанову. Каждый раз Переславцев, бывший кинооператор, работавший в прошлом даже с Эйзенштейном, налагал свои резолюции с отказом от пересмотра с видимым удовольствием. Другой заместитель — первый заместитель Большакова Рязанов — слыл приличным человеком. Отец написал ему новое письмо с просьбой о восстановлении на работе ещё в середине апреля.

И снова произошло чудесное совпадение — в начале мая, через несколько дней после уведомления об увольнении из Института, отцу позвонила секретарь Рязанова и сказала следующее: «Василий Фёдорович просит вас прийти к нему на приём в следующий вторник в два часа дня». Новость была совершенно ошеломляющей! Но ещё больше ошеломил приём, оказанный Рязановым моему отцу, который, как и полагалось члену партии, был готов каяться в несовершенных им грехах. Рязанов не дал ему даже начать свою речь. Он сказал следующее: «Давид Семёнович! Вы прекрасный работник. Мы это знаем. Забудьте обо всём, что тогда произошло! *Вы должны вернуться на работу с гордо поднятой головой!* Вы ни в

чём не были виноваты! Было такое время... Я желаю вам успехов в вашей работе». Рязанов осведомился у отца, удобно ли ему начинать работу с 1-го июня? В чём получил немедленный ответ, что, конечно, вполне удобно. Мы не могли поверить в это чудо! **«Вы должны вернуться на работу с гордо поднятой головой!»** Вот это-то и было самым невероятным!

Теперь уже можно было верить в то, что это действительная оттепель! Это известие было для моей семьи самым замечательным подарком, а для меня дополнительным стимулом в подготовке к новым, трудным испытаниям — поступлению в Консерваторию. В начале июня родители как-то сумели (денег на это почти не было) подарить мне гоночный велосипед — подарок к окончанию школы. Теперь я на своем «транспорте» объезжал в разных концах Москвы своих друзей и знакомых. Можно было ненадолго отвлечься от предстоящих новых испытаний. Велосипед стал символом нашего возвращения к нормальной жизни. В мои исполнившиеся 18 лет жизнь и будущее казались прекрасными!

Мой отец вернулся на студию в Лиховом переулке для начала просто посмотреть и послушать запись музыки к фильму. Дело было в середине мая. По иронии судьбы дирижировал в тот вечер Г.С. Гамбург. Он увидел отца в аппаратной звукозаписи и спросил концертмейстера оркестра: "А что тут делает Штильман?" — "Он возвращается на работу!" — ответил концертмейстер. Наверное, это было шоком для Григория Семёновича. Но он довёл работу до конца. Вскоре он встретился на студии с отцом и приветствовал его, как будто ничего и никогда не происходило. Отец повёл себя таким же образом. Нужно сказать, что Гамбург начал звонить нам домой, и старался восстановить старый контакт, который существовал между ними до 1950-го года. Григорий Семёнович стал посещать даже мои выступления в Консерватории на вечерах класса Цыганова или кафедры А.И. Ямпольского. Всегда потом звонил и говорил подолгу со мной, излагая свои безусловно интересные и ценные для меня соображения относительно интерпретации того или иного произведения, стиля, тонкостей деталей исполнения. Для меня это было приятно и полезно, и я ценил его расположение ко мне. Даже когда я заболел потом два месяца находился в Крыму в туберкулёзном санатории, Григорий Семёнович писал мне письма туда, поддерживая мой дух и сообщая много интересного из истории собственной жизни. Через год — в мае 1956-го — он также подробно обсуждал со мной первые выступления забываемых гастролей Исаака Стерна.

Где-то в середине 50-х у Григория Семёновича случился первый инфаркт. Он довольно скоро от него оправился и как только врачи разрешили ему снова работать, я помню, что мой отец пригласил его на свою запись музыки к какому-то фильму и в первый раз после болезни предложил Григорию Семёновичу продирижировать для записи небольшим эпизодом. Григорий Семёнович очень оценил этот дружеский жест моего отца и прислал открытку со словами благодарности за столь дружеское участие. Довольно скоро он начал работать. Мы иногда встречались в "Большево", в Доме творчества кинематографистов, где Григорий Семёнович любил отдыхать. В 1967 году он летом отдыхал там, и мы часто общались во время моего недельного пребывания там после приезда из месячной поездки по ГДР. Я не мог тогда предположить, что его не станет уже в октябре того же года. Он вполне хорошо себя чувствовал после последнего инфаркта, но как видно, коварная болезнь притаилась, но не отступила.

Я был на его похоронах в Институте им. Гнесиных. Скрипач Марк Затуловский, пианист Йохелес и виолончелист Власов играли Трио Чайковского "Памяти великого артиста". Отец работал и на похороны попасть не смог. При всей неоднозначности многолетних отношений Гамбурга с моим отцом, в тот день закрылась какая-то важная страница в нашей жизни.

Здоровье А.С. Ройтмана в начале 1960-х тоже оставляло желать лучшего. Он постоянно плохо себя чувствовал, и врачи при тогдашней технике диагностики не могли поставить правильного диагноза его заболевания. Вероятнее всего у него тогда начал развиваться рассеянный склероз. Это не было болезнью Альцгеймера, память ему служила отлично, но он очень уставал, не мог долго концентрироваться и дирижирование из удовольствия становилось для него большой проблемой.

Летом 1960-го после окончания Консерватории я провёл две недели в Болшево, когда там находился и Ройтман. Он был рад, что встретил меня и мог рассказывать о своих успехах, о которых ему там не с кем было поделиться. Только недавно вышел фильм И.А. Пырьева "Белые ночи" по Достоевскому, музыкальное оформление к которому сделал Ройтман. Он говорил мне: "Понимаешь, фильм этот сам по себе — ничего особенного, ну просто ничего, и только *моя музыка* (в фильме была использована музыка Глазунова, Рахманинова, Р. Штрауса и др. композиторов — А.Ш.) сделала из него нечто значительное!" Он смотрел на меня ясными глазами, и я не вполне был уверен — серьёзно он это говорит, или шутит? Но нет — он был в этом уверен совершенно серьёзно! Я терпеливо выслушивал его, но стремился поскорее присоединиться к своей компании — очень милой молодой паре — дочери известного кинооператора Михаила Ошуркова Ирине и её мужу, с которыми я с удовольствием проводил в Болшево своё время. Оба были интеллигентными и остроумными людьми, и общение с ними доставляло мне большое удовольствие.

1965-м году А.С. Ройтман и Г.С. Гамбург были представлены Союзом композиторов, а именно его киносекцией, специальным ходатайством за подписями нескольких композиторов в Комитет по делам Кинематографии о присвоении им звания Заслуженных деятелей искусств РСФСР. В том же году оба они получили это звание, о чём мой отец узнал, как говорится "из газет". Оба хранили это в величайшей тайне от него, что конечно, обидело моего отца. Он считал, что не заслужил у них такого отношения. Он, вместе с Гамбургом начинал свою деятельность на заре звукового кинематографа в СССР, а Ройтман начал свою работу в кино примерно с 1944 года.

Конечно, все эти звания отражают лишь тщетность человеческих усилий — Г.С. Гамбург ушёл из жизни через два года после получения этого звания, а Арнольд Ройтман в конце 50-х начал тяжело болеть, что привело его к концу в 1971 году. Последние года три он уже не мог работать.

Мой отец получил это звание в 1972 году, и, как ему сообщил председатель Комитета по Кинематографии в то время — не помню его фамилии — "Вы давно заслужили этот диплом и звание, но были люди, которые тормозили это дело не один год". Кто — он не уточнял. Отец проработал с этим званием до своего отъезда

к нам в Нью-Йорк — до конца 1981 года. Он оставил свой диплом, которым очень дорожил, жене своего брата, которая уезжая в 1988-м году в Америку оставила все документы и фотографии своей домработнице, выкинувшей всё на помойку. Что и свидетельствует о тщетности человеческих усилий в стремлении к знакам отличия. Конечно нужно было оставлять ценные для себя вещи *надёжным людям*. Наши венгерские друзья забрали из Москвы его ордена: советский "Знак почёта" и болгарский "Крест за гражданские заслуги" за фильм "Болгария", выпущенный в 1946 году. Он никогда не простил жене брата такое отношение к дорожному для него документу, но сделанного не вернёшь...



Антон Зверев

ПРАВИЛА ТВОРЧЕСКОГО БЕСПОРЯДКА, ИЛИ «ОРЛЕНОК»: ЭКСПЕРИМЕНТЫ СО СВОБОДОЙ

От редакции. «Правила творческого беспорядка, или «Орленок»: эксперименты со свободой». Так назвал Антон Зверев книгу, в которой педагогика «Орленка» раскрывается через впервые публикуемые документы из глубоких госархивов и воспоминания бывших пионеров и вожатых лагеря, многие из которых выросли в своей области науки/искусства в звезды мировой величины. И, подобно космонавту Александру Сереброву или композитору Александре Пахмутовой, вспоминают о встрече с орлятским коммунарским братством шестидесятых-семидесятых годов как об одном из самых значительных событий в своей жизни. И это не преувеличение, нет. Впрочем, слушаем Антона Зверева.

«Коммунарский (орлятский) образ жизни» — понятие, вписанное в новую «Российскую педагогическую энциклопедию».

Кто не знает, напомним: и педагогика сотрудничества (одноименный манифест учителей-новаторов, 1986 г.) тоже родом из «Орленка». Много всего наизобретали вожатые, учителя и дети сообща — коллективных творческих дел (КТД), традиций, ярких праздников. Все это вместе и стало *образом* их совершенно новой, небывалой жизни.

«Товарищ, живи для улыбки товарища!» — опережая детские вопросы, говорили пионерам воспитатели. Главная заповедь орлят.

Это не про педагогику, читатель, вслушайтесь. Это про жизнь: «...живи!».

Было (до коммунаров): учись, трудись, готовься (и далее по тексту). Нам обещали: о, сколько всего будет, но потом. А тут вдруг с порога, без предисловий — товарищ, живи! И чтобы люди рядом улыбались.

В одной этой фразе целая Библия, в пяти словах — и вера, и дорога, и причина, и награда, и главное — цель. Ради чего? Да просто для улыбки, для счастья друг друга. Идеологическая переключка «нового пионерского сигнала» из «Орленка» с христианской заповедью бьет в глаза.

Но на этом парадоксы не кончаются. Самой улыбчивой педагогике — ныне она проживает в ВДЦ «Орленок» — этим летом исполнится 55, но удивительное дело. Дети по-прежнему не желают его покидать. Так же поют, обнявшись в кругу, «Звездапад», а их вожатые традиционно держат в руках пустые эмалированные ведра для сбора горячих детских слез, скрывая собственные под солнцезащитными очками.

Значит, работает. Годы идут, многие лета, и уже не разберешь, глядя назад: то ли она при Брежневе с Хрущевым, то ли Брежнев с Хрущевым при ней. Мало того, кочует влед за пионерами по глобусу. В Хельсинки, скажем, посеяла практику внешкольных социальных проектов из серии «Подари себя людям», а японцам

приглянулась своей технологией обучения персонала в ходе самоуправляемой игры — коллективного творческого дела (КТД).



Так прощались, покидая лагерь, орлята 1960-х.

В канун юбилея самое время вспомнить, с чего начиналась эта чудо-педагогика. Или, вернее, прекрасная детская жизнь, похожая на педагогику высшего класса.

Первая демократия — детская!

«Почему на свете нет завода,
Где бы делалась свобода?»
Иосиф Бродский

Первое демократическое общество в нашей стране было действительно построено детьми. Оказывается, именно в «Орленке», детском лагере ЦК ВЛКСМ близ Туапсе, изобрели «открытый микрофон» — один из символов сегодняшней российской демократии. Его действительно придумали орлята. И служил он изначально детям. Вот что удивительно!

Это произошло задолго до начала эры гласности, в самый разгар 1960х «Слово имеет каждый». «А что думают ребята? Пожалуйста, микрофон открыт». «Есть мысль: оставим море на неделю, поможем совхозу убрать урожай?». Так принимали важные решения на общем сборе лагеря. Отцы и дети не боялись, а вели открытый диалог друг с другом — жизнь кипела.

Все «командиры дня» в отрядах ежедневно (или раз в три дня) переизбирались, отчитавшись о проделанной работе у вечернего коистра. Принцип «Сегодня лидер, завтра — подчиненный» открывал вполне реальные возможности для мирной, мягкой дебиюкратизации, причем отнюдь не только детской жизни.

В результате именно ребята в красных галстуках впервые покусились на, страшно сказать... По сути дела, затевалась реорганизация бюрократического аппарата развитого социалистического государства — *снизу*.

Аппарат управления не сокращали и не перетряхивали — просто собирали каждый вечер заново. Всего за пять-десять от силы минут отряд во время огонька говорил спасибо ДК (дежурному командиру дня сегодняшнего) и выбирал следующего — на завтра. Рутинный, рабочий процесс. Они и сами не поняли, похоже, как далеко он может зайти...



Ф.Я. Шапиро (1927-1985) — выдающийся педагог, бессменный вдохновитель и организатор ленинградской Фрунзенской коммуны.

Сердцем и нервом нового жизнеустройства стала коммунарская система, завезенная сюда из Ленинграда учениками Игоря Петровича Иванова и Фаины Яковлевны Шапиро Виктором Маловым, Ириной Леоновой и выпускницей «Снежной республики» (г. Новосибирск) Любовью Балашковой.

Главное не работа, а забота

Олег Семенович Газман (один из многих ярких педагогов, стоявших у истоков орлятского педагогического феномена) перечисляет в одной из работ «знаки отличия» этой идеологии от остальных, традиционных воспитательных доктрин. Итак, оказывается, что:

«...главное — не работа, а забота. Забота о человеке, близком и далеком.

...природа детства и природа взрослого общества — совместимы. Личия общих интересов — это не столько развлечения и праздники, сколько самоанализ и раскованность в творчестве.

...педагог — это не лицедей, не спикер, не все знающий наставник, а старший товарищ по игре и творчеству, идейный не по должности, а по душе.

...самая демократическая форма общения — круг.

...бывает собрание не только детей, но и общее собрание детей и взрослых (общий сбор), где все важно для всех и где все равны, но не едины, потому что каждый ребенок — личность и имеет право на особое мнение, с которым он и уходит с собрания...»

Однако вот, пожалуй, самый сильный козырь Иванова и его сподвижников. Эта методика понятна даже детям, ибо с ними обща изобретается, пишет Олег Семенович: «Дети осваивают ее лучше и быстрее взрослых, и прекрасно учат новых педагогов новой азбуке». [1]

Другой вопрос: исчерпывается ли педагогика «Орленка» (а затем и другого детища Олега Газмана — лагеря Академии педагогических наук СССР «Маяк» под Москвой) сугубо коммунарскими изобретениями?

Олег Семенович отвечает отрицательно. «Нельзя нас сравнивать с коммуной — у нас совершенно разные условия. На сбор в коммуне едут только те, кто разделяет коммунарские взгляды. Мы же, как государственное учреждение, работаем со всеми. В коммуне никогда никого не волновал ни режим, ни чистота. А мы убиваемся на уборке палат, кроватей. В коммуне — только старшие подростки, там никогда не было и отрядов по сорок человек. Создать атмосферу в таком отряде, будь ты хоть семи пядей во лбу, невозможно. И, наконец, в коммуне никогда не было комиссий. Хотим мы этого или нет, но мы работаем на них, хотя, может быть, подчас и в ущерб логике нормального развития воспитательного процесса...»

Это «Маяк». Но, очевидно, и в «Орленке» так же строго спрашивалось за гигиенический режим, «наглядную косметику» и ритуалы, жесткий производственный порядок и распределение путевок.

Получается, что коммунарская идея в принципе могла и обойти «Орленок» стороной. Совсем не просто было совместить традиции свободы с требованиями госучреждения, тем более такого специфического как ЦК ВЛКСМ...

— Это была творческая лаборатория с открытой дверью, — вспоминает жена Олега Газмана, Нелли Григорьевна. — Всякий был вхож, мог обсуждать, участвовать и был желанным. Работа шла практически без перерыва, днями и ночами; двигались интуитивно, очень дипломатично, медленно, без книжек и письменных руководств. Вдобавок надо было совместить опыт коммуны с богатейшим багажом сибирских педагогов из «Снежной республики» Стяла Анатольевича Шмакова, со всевозможными трактовками тех же идей в Москве, Челябинске, Днепропетровске, Липецке...

В ходе отбора и скрещения лучших идей, целых педагогических культур, их испытания на практике, на свет рождалось совершенно новое явление — орлятский образ жизни. Его поэтическим и музыкальным воплощением стал «Звездопад» Александры Пахмутовой и Николая Добронравова, созданный на гребне творческой активности «Орленка» в 1965 году.



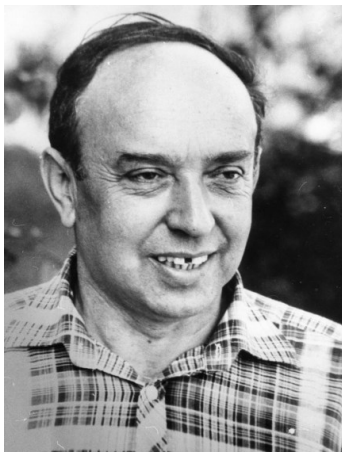
Александра Пахмутова и Николай Добронравов в гостях у орлят. А вместе с ними: дирижер Виктор Попов, музыкант Владимир Модель, руководители лагеря Алина Дебольская и Олег Газман. 1964 г.

Воспитание на чистом воздухе свободы долгое время удавалось организовать только для избранных детей.

Все помнят: Эмиль у Руссо был ужасно свободный, но, увы, единственный воспитанник.

Правда, уже в Яснополянской школе «полной свободы от воспитания» учились с полсотни крестьянских детей (почти вдвое больше, чем в Царскосельском Пушкинском Лицее). Наверное, сегодня и в великолепной «Саммерхилл-скул» под Лондоном вряд ли наберется больше нескольких десятков творческих, открытых миру сорванцов.

Трудное дело, дерзкий идеал. Пожалуй, сколько себя помнит человечество, ни у кого пока не получалось совместить на практике свободу с воспитанием — в таком масштабе, на такой высокой планке ценностей («Живи для улыбки товарища») и с таким явственным успехом, как это случилось в «Орленке».



О.С. Газман: «Все остается людям!». Снимок 1989 года.

Через него прошли десятки тысяч воспитателей, учителей, ребят всех возрастов. Открытия «Орленка» незаметно растворились в мире, получили постоянный пропуск на телеэкран (орлятская кольцовка песен, суд над общественным злом, турнир эрудитов — как говорится, все уже было в «Орленке», только названия новые). На них ссылаются, цитируют не только в диссертациях и книгах, но и в самой настоящей практике: в столичной «Школе самоопределения» Александра Тубельского, в лицее под Геленджиком Михаила Щетинина, в школе у опытного педагога-коммунара, члена-корреспондента РАО Владимира Караковского. Недавно в Краснодаре насчитали около десятка школ, работающих в традициях «Орленка» и Коммуны юных фрунзенцев.

— Изумительное было время. Детская выдумка плескалась через край: самый обычный день мигом мог превратиться в сказку, — вспоминает педагог дружины «Стремительная» (ныне ведущий научный сотрудник ИСМО РАО) Валерия Николаевна Пименова. — Утром кого-то из наших детей озарило, тут же идею затвердили у начальства. «Погоди, — Газман задумался. — Но как это назвать? «День мечты и фантазии» — правильно? Ну-ка, давай покрутим варианты... Нравится этот? Дерзайте!». А к вечеру лагерь ходил ходуном. Ветхие простыни (завхоз не возражал) пошли на паруса. Ткани сшивали, утюжили, красили, строили палубу, мачту. Утром проснулись и обомлели: на линейке вырос фантастический фрегат и паруса (конечно, алые) вздыхали на ветру! Это дыхание большой мечты дети везли потом с собой по городам, по жизни, сохраняли навсегда. На нем держалась наша воспитательная вера...



Вожатский отряд дружины «Солнечная» в образе лейб-гусаров. 1965 (?) г.

Александр Андреевич Фомин, спортивный тренер (ныне преподаватель Липецкого государственного педагогического университета): «В бухте среди скал и пенного прибоя (у дружины «Солнечной») я попросил сделать командную вышку, а с нее руководил морской зарядкой. Но сначала пионеры подплывали к вышке и сдавали мне рапорт. Упражнения в воде перемежались шуткой, познавательными новостями. Под конец командовал: «За мной, ребята!». И «Солнечный» плыл в новый день, в свете нежной орлятской зари. Разве можно забыть?..»



Вечерний диск Солнца над орлятским пирсом. В те годы, провожая его, лагерь на минуту замирал, пела орлятская труба (вместо сигнала на отбой, который был отменен)

Склеивая души и миры

Вольное творчество не напоказ, эксперименты пионеров со свободой очень неохотно, как известно, поддаются строгому анализу науки. Неслучайно лучшие работы о свободной практике «Орленка» тяготеют к жанру публицистики, художественной прозы. Тем не менее научный вклад первостроителя и первоиспытателя этой системы Олега Семеновича Газмана (1936-1996) в эту копилку абсолютно самоценен.

— Он сделал для России более чем много, — говорит один из идеологов школы имени А. Горчакова в Павловске (под Петербургом) — духовного двойника Александровского Лицея, профессор СПбГУ Елена Казакова. Елена Ивановна

знала труды Олега Газмана, а лично — не успела, увы, познакомиться. — В российской культуре, частью которой становится и педагогика, есть три бессмертные легенды. О Царскосельском лицее, Республике ШКИД и о Коммуне юных фрунзенцев вместе с «Орлёнком» 1960-х годов. Что там было правдой, что мечтой, не знаю. Но это был чистейший свет, который до сих пор струится в воздухе. Частью коммуны стал для меня Олег Семенович. Традиция моделирования коллективной творческой деятельности, концепция педагогической поддержки, методика и методология орлятской педагогической школы, — всё это взял на вооружение и наш Лицей...

Олег Семенович дважды вдохнул жизнь в лагерь «Орленок». Первый раз в 1963-1966 гг., меняя, либо подолгу совмещая первые посты в Управлении лагерем, орлятской школе, у штурвала ключевых дружин.

Второй раз — в июле 1989 года. Вновь в «Орленке». Лишь под занавес самой, наверно, тяжелой в его жизни смены «Сотрудничество». Она проходила в жесточайшей битве старой и новой воспитательных доктрин. Но как их (а на самом деле: нас друг с другом) примирить? Крупных руководителей и рядовых бойцов Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина, уже практически готовой к самороспуску. В том числе комиссаров в красных галстуках, которые гордо выносили на линейку знамя с аббревиатурой чуть ли не «КГБ СССР». Всех этих замечательных, крайне растерянных людей, приехавших сюда по разнарядкам из еще восточных обкомов партии, которые почти скандировали во время одной из дискуссий: «Как же вы можете обсуждать ихние общечеловеческие ценности, а не наши, пролетарские?!». Школьников, их вожатых, комсомольских активистов, либеральных радикалов из столицы, ленинградских коммунаров...

Впрочем, для Олега Газмана вся эта разношерстная компания была прежде всего вернейшим отражением сложившейся реальности, а значит, признаком богатства сбора, полем разнообразия, с которым он умел работать, как никто. И потому твердо держал в своих руках эту ревущую с утра до вечера стихию... абсолютной демократии и плюрализма. Назревал конфликт. Но Газманего не боялся — терпеливо ждал. Он говорил: конфликт идет от жизни, а не от людей. Нет, это сама жизнь его подкинула стране. Люди сами с собой не могут разобраться, со своим педагогическим менталитетом. Вот почему так важно дать возможность каждому что-то преодолеть в себе и дорасти до внутреннего самоопределения.

И больше всего его интересовало мнение детей. А что думают ребята?

— После трагического в его жизни 1966-го и вплоть до переломного в судьбе «Орленка» 1989 года, то есть 20 с лишним лет Олег Семенович старательно отшучивался, так сказать, от наших приглашений, — вспоминает советник генерального директора ВДЦ «Орленок» Сергей Панченко. — Ссылался на занятость. Возможно, просто не хотел увидеть здесь руины, жалкие обломки легендарной воспитательной системы. Увы, пришел момент, и вслед за нами, штатными сотрудниками, он все увидел. К лету 1989 года постоянный коллектив почти распался — денег не платили, дети практически не заезжали. Многие корпуса погасли, онемели — глядя на них, на сердце холодело. Другие дружины приоткрыли беженцев из Спитака и Ленинка — двух городов пораженных землетрясением. Что дальше? Мы были в отчаянии. И тут, когда казалось: все, пути отрезаны, можно спокойно вещи паковать — будто свалился с неба, из другой реальности. Жадно, как это было ему свойственно, схватился за работу и, по сути, начал все сначала, с белого листа.

Первоначально, как рассказывают, Газман готовил для сбора концепцию «Лидер». Не активист, а лидер собственной жизни [iii]. Но интенсивное общение с

детьми и взрослыми, дискуссии в школе вожатых, которые вел сам, внесли поправки в этот план. «Вы в состоянии сотрудничать с детьми», — сказал Газман вожатым лагеря на самом близком и понятном людям языке — языке поступков. Сделал вывод: без идеологии сотрудничества будущего у «Орленка» нет.

Затем, или одновременно, точно так же поступил со сбором. Шаг за шагом перевербовал его участников, перетянул на сторону демократической системы ценностей, гуманных убеждений, нравственного измерения себя и своего призвания. Скажете: так не бывает, чудеса!

Конечно, чудеса. Обыкновенные. Как же без них?

«Только тогда в «Орленке», глядя на Олега, поняла, какими медленными, крошечными, изнуряюще тяжелыми шагами движется вперед эта наука педагогика, — вспоминает другой человек команды Газмана, Клара Мухаметовна Лекманова. — Здесь безраздельно царствует рутина, она сковывает мысль: вместо идей снуют одни обертки и слова, слова, слова, которые покрывают все и вся и накрывают школу с головой, как волны дно морское. А у него была эта мучительная, адова работа — продираясь в джунглях риторических вопросов и ответов, все-таки идти, вести людей сквозь косность, пошлость, мифы, страхи, трафареты. Помню минуту кульминации — зловещего затишья перед бурей. Мы сидим и ощущаем буквально физически ступок враждебности, которая того гляди обрушится на зал, ударит по сердцам и унесет с собой последние ростки какого-то согласия, взаимопонимания. Вышел Олег и начал говорить. Никто, увы, не помнит, что же он сказал. Наверное, такую музыку на ноты не положишь. Но в итоге цель была достигнута — сердца смягчились, тучи пронеслись, небо расчистилось».

Он победил. Какой ценой — можно попробовать себе представить. Рядом были друзья — врач-анестезиолог Андрей Лекманов, Клара Лекманова, мастер из мастеров педагогической поддержки, журналисты Нелли Логинова и Валерий Хилтунен, команда профессионалов и единомышленников из Института педагогической поддержки РАО, Вера Бедерханова, Сталь Шмаков, Александр Тубельский, Симон Соловейчик.

Счастье.

Смертельно усталый, на грани инфаркта (именно этот момент уловил на знаменитом снимке — в клетчатой расстегнутой рубашке — липецкий фотомастер Александр Козин), распинаемый за «самодеятельность» высокопоставленными кураторами из Госкомобразования СССР и ЦК ВЛКСМ, он все-таки праздновал победу. Впрочем, по-другому быть и не могло и не бывало. Вместе с ним пятьсот еще вчера непримиримых оппонентов пели, обнявшись в орлятском кругу: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!».

«П о с т а н о в л е н и е

Совета Министров РСФСР от 27 марта 1959 года

г. Москва

«О строительстве в Краснодарском крае пионерского лагеря»

Совет Министров постановляет:

Построить в 1959-1962 гг. в районе поселка Новомихайловка, Туапсинского района, Краснодарского края пионерский лагерь с вводом в эксплуатацию первой очереди в 1960 году.

Присвоить пионерскому лагерю наименование «О Р Л Е Н О К».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МИНИСТРОВ РСФСР

Д. ПОЛЯНСКИЙ».

Коммунарский образ жизни

24 марта 1959 года (смотрите: ровно за три дня до выхода совминовского постановления!) ребята-ленинградцы, объявившие себя впоследствии Коммуной юных фрунзенцев, образовали один общий круг. Сели в кружок так, что встретились глазами.

Оказывается, это очень важно — научиться читать лица тех, кто тебе дорог. В классе — не получается, там людей строят (в смысле: сажают) в затылок. Глаз не видно!

«Чтобы понять другого, достаточно просто смотреть на него, без всяких стеснений, как это делают дети», — пишут американские психологи.

Абсолютно незнакомым людям (добровольцам) авторы этой гипотезы предлагали сесть напротив и смотреть, просто смотреть в глаза друг другу.

Что же выяснилось? Ровно на 15-й минуте (не позднее) между испытуемыми возникла обоюдная симпатия и непреодолимое желание поговорить.

Действительно, сенсация. Тонны томов на всех возможных языках написаны учеными об искусстве слышать, видеть, понимать друг друга, а тут пожалуйста: люди всего лишь встретились глазами — что-то зажглось внутри, что-то включилось и... Сколько всего началось!

Это был первый шаг навстречу новой, необычной педагогике. По Иванову^[14]. Со своей оценкой (откровенный разговор= самооценка), «самобранкой творческих дел» и полным участием каждого в изобретении жизни.

Вместе с Ивановым с коммунарками работала Фаина Яковлевна Шапиро (или Ф.Я., как называли ее за глаза сами ребята). Методист Фрунзенского дома пионеров в Ленинграде, она организовала там же Школу пионерского актива. Вот отсюда все и началось. Коммунары выехали на весенний сбор, потом на летний, потом на осенний.

Развернули операции: РС — «ребятам села», РД — «ребятам двора», напросились на работу в один из самых далеких — и самых отсталых районов Ленинградской области — Ефимовский. Жили в дырявых палатках, спали в самодельных спальниках, питались кое-как, работали по семь-восемь часов в день. «Это было как на фронте», — вспоминают ветераны КЮФа.

Коммунарские республики-отряды «Балтика», «Кавказ», «Алтай», «Урал», «Волга», «Днепр» свои палатки разбивали подле деревень, разбросанных на десятки километров друг от друга. Каждой такой республикой управляли сами старшеклассники — вожатый (ему лет четырнадцать-шестнадцать), дежурный командир (сегодня вся власть — его), «штурманы» — командиры отрядов. В лагере новоселов из шести «республик» юмор — главный церемониймейстер. Мостик через канаву называется «Смотри не провались», столовая — «Замок старой харчевни».

«...Старую избу мыли все мотрядом. Открывается детский сад «Светлячок». Игрушки привезли из Ленинграда. Сначала малыши шли недоверчиво, потом бежали к своим «воспитателям» с утра пораньше,

наперегонки. Девочки читали им книжки, готовили к школе. Это называлось — операция «Цветы жизни». (Из статьи «Коммуна, год пятый» в «Комсомольской правде», автор — С. Николаев.)



1961 год, «комаринная страна» Ефимия под Ленинградом. Во время летних и любых каникул коммунары высаживали трудовые десанты в самые труднодоступные поселки региона.

Что тут не так? Где политическая близорукость? Дети пошли в народ — пропальвают свеклу, опекают сельских малышей, заботятся о стариках. Кажется, коммунары пока ни на миллиметр не отступили от политики родной КПСС.

Как бы не так!

Тут была явная попытка противопоставить «новых неформалов» пионерам. Но коммуна (мы об этом говорили в свое время с авторами «Комсомолки», причем не единожды) это не антипод и никакая не альтернатива пионерству, а всего лишь воплощение новых подходов к развитию того, что уже было создано», — убеждена Любовь Кузминична Балясная, в ту пору председатель Центрального Совета Всесоюзной пионерской организации имени Ленина.

Стало быть, вот он, политический заказ. Пусть коммунары остаются и творят на радость людям, но с одним условием: не перечеркивая «наших пионерских достижений», то есть, не примеривая на себя мундир локомотива революции. Следуя этой линии, Москва в 1962 году выделяет по инициативе журналиста «Комсомольской правды» Симона Соловейчика первые пятьдесят путевок в черноморский солнечный «Орленок». Для самых неумных, целеустремленных, энергичных (судя по их письмам в «Комсомолку»), искренних друзей коммуны со всего СССР.

«В поселке орлином», «Колыбель коммунарской методики», «Умная сказка орлят», «Лагерь «Романтиков»... Перебираю полустертые от времени газетные заметки.

«История России знает несколько революций. И в начале, и в конце XX столетия человеческая кровь становилась главным аргументом в политической борьбе. Но была иная, поистине нежная революция, не отмеченная в календарях. Она несла любовь, а не вражду. Она изменила наше общество, потому что её совершали дети. Она освободила десятки тысяч человек и научила их уважать чужое мнение, каким бы оно ни было. Эта революция началась весной 1959 года, но продолжается и сейчас», — годы спустя напишет один из «орлятских революционеров» поколения семидесятников Роман Синельников.

Но все это будет потом. А пока 50 ребят со всей страны из коммунарских клубов едут на Кавказ.

Семеро восьмиклассников из питерского КЮФа (Витя Рабкин, Саша Прутт, Мила Сазонова и их друзья) будут в дружине «Солнечная» создавать большой от-

ряд по этой самой коммунарской технологии. К тому же строить его им придется из «воспитанников» старше себя — из 9-11-классников. Такого ни в их жизни, ни в истории коммуны еще не бывало. И хотя в общих чертах они наметили некий план действий, ясности от этого прибавилось не слишком.

«Мы для них явно не авторитеты. Совсем взрослые ребята, смотрят на нас свысока: «И это, мол, наши вожатые?» — записала, наблюдая за попутчиками, в своем профессиональном дневнике 19 июля 1962 года педагог-коммунар из Ленинграда Ирина Михайловна Леонова.

А паровозик мчал их между тем, петляя среди гор, к новым урокам, неизвестным берегам и небывалым переменам.

Три дня, которые перевернули лагерь

Следующим утром поезд «Москва — Адлер» вынырнул из последнего гранитного тоннеля под горой и вместе с первыми лучами солнца оказался в Туапсе.

Новая запись в дневнике И.М. Леоновой.

«**20.07.1962 г.** Раннее утро, эвакуабаза лагеря «Орленок» в центре Туапсе. Под открытым небом в садике на раскладушках сладко спят новоприбывшие. Интересуюсь: «Коммунары есть? Откуда?» Сонно откликаются: «Из Курска, с Белебея (то есть из Башкирии)...» Самая многочисленная группа — киевляне. В общем, худо-бедно познакомились.

В автобусе выучиваем «Барабанщика». Сейчас это спасительное средство — песня. Ох! Да, это не в коммуне: девочки тянут нестройно, мальчишки вообще не поют. Страшное дело. Ладно, перемелется...».

Проходит еще день, читаем новую страницу дневника:

«**22.07.1962 г.** Кажется, началось. На общем сборе бурно обсуждали, для чего мы, собственно, сюда приехали и кто такие коммунары. Все понятно: рядом море, все эти красоты, искусства и роскошь южной флоры — трудно настроить себя на рабочий лад. Ребята очень разные и далеко не всем по сердцу предложение пожертвовать своим каникулярным отдыхом ради какого-то там, пусть и прекрасного Дела. Долгий шумный спор, за ним — единоедушное решение:

1. Быть коммунаром — это значит: жить с отдачей, быть полезным людям.

2. С этой минуты станем называть себя (каждый отряд) «Отрядом клуба юных коммунаров» и считать всякого жителя лагеря «Солнечный» не загорающим курортником, а полномочным представителем своих школьных дружин на Первом летнем сборе юных коммунаров.

В общем, кажется, будет интересно. Делимся на отряды, вскоре появляются названия — «Братство», «Свобода», «Груд»... Ленинградцы растворяются по «точкам интереса» и отряды (чувствуется влияние наших «внедренных агентов») тут же отправляются в разведку нужных дел. В столовой отказала хлеборезка, душевые надо привести в порядок, с ближайшим совхозом договориться об уборке урожая помидоров, бахчевых, а в городке обслуживающего персонала обустроить детскую площадку.

О проделанной работе временные командиры каждый день докладывают на вечернем сборе-огоньке. Ура! У нас появилось чудесное место для orderly костра. Маленькая ровная полянка в зарослях орешника на склоне горы. Днем здесь обыкновенно, но вечером... Крошечный огонек — всего два-три сухих сучка неторопливо потрескивающих — едва освещает лица и голые коленки ребят и девчат. Они тесно сидят на старых удобных корягах. Великая вещь гитара. Витя Малов перебирает струны, мы чуть слышно запеваем, дети — с интересом слушают. Хор голосов крепчает, отдается эхом над горой. Чувство такое, что мелодия протягивается ниточкой по кругу к каждому. И как-то удивительно спокойно делается, хорошо. Но перейти к серьезным разговорам пока трудно, да и рановато. Завтра открытие смены плюс наше дежурство по лагерю. Вернее, нам его доверили, дежурство, в самый первый день Первого сбора коммунаров! Будет не просто оправдать такой аванс, но дело есть — значит, осилим, справимся, не подведем.

23.07.1962 г. Смену открыли, но какой ценой! Ребята валяются с ног. При этом настроение великолепное. Отряд постепенно складывается. О нас уже заговорили в лагере. Особенно довольны повара. Обыкновенный школьный общепит вдруг обернулся празднеством — с цветами, музыкой, сюрпризами. И вот вечерняя линейка: за отличное дежурство отряд заработал благодарность руководства (гром оваций, счастливые лица дежурных). И все-таки главное, что к делу подошли с улыбкой, с выдумкой. В столовой по стене протянули нравоучительно-задиристый плакат: «Есть, чтобы жить! А не жить, чтобы есть!» Конкурс грязнень даже не объявляли, просто положили милейшую Хрюшку на стол до крайности смущенных «победителей».

На огоньке перед отбоем говорили почти все, пассивных не было. По косточкам разобрали весь день. Несмотря на усталость, долго пели под гитару.

«И все-таки отряду страшно не хватает своего девиза», — шепнул мне Сашка Прутт, спускаясь по крутому склону после огонька к палаточному лагерю. Да, надо думать над девизом. Завтра соберемся обменяться предложениями.

(...) Перебрали все известные нам изречения великих. Остановились на словах В. Чалова: «Мы победим, иначе быть не может!» И вдогонку эхом дружно восклицаем, как в коммуне: «Наша цель — счастье людей».

26.07.1962 г. «Зачем мы здесь, зачем приехали сюда?» — вновь закипели споры на полуночных отрядных огоньках. В нашем отряде тоже революция.

— Мы должны освоить самый ценный опыт коммунарских клубов, — говорят одни.

— Нельзя работать только по заданиям из «Комсомолки», — сердятся другие.

— Мы не владеем технологией изобретения жизни по-коммунарски, — сетуют третьи.

Следуя пожеланиям, сегодня, не откладывая, объявили методические мастерские. Темы: «Коллективная организаторская деятельность. Разведка дела. План. Дело. Обсуждение дела». Вижу: в руках появились записные книжки, жадно ловят драгоценный материал.

Ребята спорят, думают, учатся друг у друга, ну а мы у них. Счастье. Оказывается, его может быть много, очень много!»



Встреча в «Орленке» стала судьбоносной и для них. Слева направо: С. Соловейчик, А. Прутт, Ф. Шапиро, И. Леонова, А. Зуев, О. Газман. 1963 г.

Юрий Гагарин: «К орлятам? ПОЕХАЛИ!»

Погода в Сочи, где в ноябре 1964 года отдыхал (вместе с товарищами по отряду космонавтов) Юрий Гагарин, меньше всего напоминала бархат, будь то осенний или даже зимний. Сутками напролет с неба лило, а график «отдыха» расписан по минутам: интервью, пресс-конференции, официальные приемы, встречи с трудовыми коллективами. Среди других — давно обещанная пионерам из «Орленка» встреча с Юрием Алексеевичем в г. Сочи, куда орлята как раз собирались на экскурсию. (К слову, экскурсии по черноморским городам были всегдашней отличительной изюминкой «Орленка».)

Вышло, однако, по-иному. Незадолго до намеченной поездки в горах выпал снег, трассу на перевалах затянуло льдом. Выезжать из лагеря стало опасно. Дату экскурсии несколько раз переносили, но циклон не отступал. Так продолжалось дней десять, представители «Орленка» ежедневно связывались с Сочи, сообщая об очередной задержке по метеоусловиям, ну а наутро пионерские врачи снова не выпускали водителей в рейс.

Дети не находили себе места — встреча на грани срыва!!!

И вдруг звонок из Сочи: «Здравствуйте, это Гагарин. Завтра. В Туапсе. Везу с собой друзей!».

Брючный костюм, легкий осенний плащ, низко надвинутая фетровая шляпа с лентой. Первый космонавт Земли прибыл в «Орленку» на обычном «ПАЗике» — желтом орлятском автобусе с табличкой «Осторожно: дети».

Мокрый осенний снег, переходящий в дождь, бил в лобовые стекла. Ехали без охраны, проблесковых маячков, почетного кортежа мотоциклов. Всю дорогу пели песни под гитару педагога-коммунара Виктора Абрамовича Малова (будущего художественного руководителя Краснодарской краевой филармонии).

Дети тем временем, скрываясь от субтропического дождя, в полной готовности ждали Гагарина на палубе дружины «Звездная». И вдруг — клаксоны, взрыв оркестра, громогласные «Ура!»

«День тот скорее походил на ночь: ливень хлестал по голой набережной, море штормило, но в сердцах сияло солнце, — уверяет очевидец тех событий, ветеран «Орленка» Бронислава Федоровна Ядревская. — Так отражался на нас свет гагаринской улыбки».



Всю дорогу космонавты пели под гитару Виктора Малова (на снимке — крайний слева).



Ю.А. Гагарин и А.Ф. Дебольская. 21 ноября 1964 г., «Орленок».

Алиса Федоровна Дебольская, руководившая тогда «Орленком», вспоминает: *«Именно в тот день вечером поездом я возвращалась из Москвы, с какого-то очередного крупного комсомольского мероприятия. Ехала также через Туапсе, но несколько позднее космонавтов — Юрий Алексеевич со товарищи опередили меня часа на полтора. Водитель служебного автомобиля встретил, как обычно, на перроне: «Так и так, — говорит, — Алиса Федоровна, только вы не волнуйтесь. В общем, в лагере...» — и называет имена наших гостей.*

Что говорить? Потеря речи!

Прыгаем в машину. Взгляд машинально застывает на автомобильном зеркальце, где во всем блеске отражается мое спортивное (на многих наших общих фотографиях вместе с Гагариным оно, к сожалению, увековечено) орлятское трико и шапка пыжиком. Светский наряд, ничего не скажешь. Ну, думаю, теперь одна надежда — на водителя. «Заскочим, умоляю его, в Лунный городок. Дайте мне пять минут накинуть на себя что-нибудь приличное». А он: «У нас нет ни минуточки, Алиса Федоровна, нас ждут. Едем в Приемный корпус — сразу (где и проходила встреча с космонавтами — в самом просторном тогда здании «Орленка»), а там можете думать обо мне что хотите, воля ваша».

Смех и грех.

Импровизированная пресс-конференция в Приемном корпусе шла уже полным ходом. Я осмотрелась в поиске свободного местечка, но куда там. Люди свисали отовсюду гроздьями. Плюс фантастическая тишина — можно оглохнуть. Кто-то узнал и благородно усадил вместо себя на первый ряд. Незабываемые, ослепительные вспышки счастья из орлятского фотоальбома той поры...

Время, однако, поджимало — в тот же вечер космонавтам предстояло возвращаться в Сочи. Дети, конечно, отпустить героев не хотели. Жадно ловили каждое слово, жест, улыбку. Но, увы, даже и эти минуты уникального общения были изрядно подпорчены одним неприятным обстоятельством. Прямо передо мной маячил рыжий незнакомец с кинокамерой и фотоаппаратом. «Леши, фотокорреспондент», — так он представится чуть позже. И даже шаловливо подмигнет: знай, мол, наших! Ну а пока, на протяжении всей встречи Леша постоянно вскакивал, гремел своей аппаратурой, заслонял от нас главных героев. Ужя на него и шикала и цикала, а Леши хоть бы хны. Крепкий такой орешек, всех он удивил.

Помню душевные слова Гагарина об «уникальном пятнышке на карте» и его призыв беречь «орлятский Звездный городок» (так ласково назвал «Орленку» — маленькой копией того, подмосковного «космического лагеря»).

PS. Ровно четыре месяца спустя, 18 марта 1966 года, первые полосы газет взорвались аршинной новостью: «Человек в открытом космосе!». За 12 минут «Алмаз-2» (таким был позывной Алексей Архиповича Леонова) пролетел в космосе от Сочи (NB!) до Красноярска. Снова работал фотоаппарат и стрекотала кинокамера упрямого рыжего «Леши, фотокорреспондента». Но теперь — на околоземной орбите.

PPS. За ту, очевидно, несогласованную с начальством, «сомнительную» поездку майору Гагарину сильно досталось. Слово — генералу Н.П. Каманину, главному наставнику космонавтов (в ранге помощника Главнокомандующего ВВС), автору книги «Скрытый космос».

«22 ноября (на следующий день после свидания с орлятами — Ред.) я собрал всех космонавтов, отдохавших в Сочи, и потребовал строгого соблюдения режима отдыха. Гагарин резко сократил свои сомнительные встречи и стал больше уделять внимания жене». (Из дневника Николая Каманина, опубликованного в книге «Скрытый космос».)

В зеркале прессы

«В «Орленке» Юрий Гагарин рассказал о последних космических исследованиях и закончил свою речь неожиданно:

— А ведь недалеко, друзья, тот день, когда человек выйдет из корабля в открытый космос! Может быть, даже здесь, среди нас, находится этот человек...

И подмигнул Алексею Леонову. Но юные пионеры, разумеется, приняли такое смелое заявление на свой счет. Конечно же, это именно им в будущем предстоит познакомиться с космосом поближе! Раз уж об этом сказал сам Юрий Гагарин». (*Газета «Вольная Кубань», 12 апреля 2006 года.*)

«Мы так удивились, этого никто не планировал, — вспоминает одна из работниц столовой «Орленка». — И на приготовление праздничного стола не оставалось времени. Тогда мы сварили пельмени, а я из дома принесла квашеную капусту с клюквой».

На десерт был торт. Кулинар хотел разрезать сладкое перед Гагариным, но его отгеснила охрана — обслуге не положено. Космонавт, заметив это, попросил повара подойти, уделил ему внимание, а потом усадил рядом с собой для общей фотографии». (*«Комсомольская правда», 24 сентября 2009 года*)

Впервые отрывки из книги Антона Зверева «Правила творческого беспорядка» были опубликованы в №№ 49-51 2014 г. «Учительской газеты».

Примечания

[i] «Проблемы развития коммунарской педагогики», 1987 г.

[ii] В феврале-марте мы проводим сбор учителей и ребят в «Орленке» — хотим выявить острейшие проблемы школы. Это будет объединительный съезд всех, кто причастен к коммунарству, — заявил он в интервью «Учительской газете» 22 ноября 1988 г. — Одна из задач сбора — создание школьного клуба, его устава, содержания и форм деятельности».

[iii] Игорь Петрович Иванов (1923-1992), главный идеолог Фрунзенской коммуны. Действительный член Академии педагогических наук СССР (1989), профессор ЛГПИ имени Герцена.



Дарья Ярош

ПОЛЫННЫЙ АЛЬБОМ

1.

Каждый раз уходить из
города
детства, сложившим
тебя, как
карточный домик
складывает
сдавленный отечеством
лейтенант,
на своём первом
новогоднем корпоративе
сдирающий водкой
горгань,
как ты — сдираешь
старый овал сургуча
со своих рук и своего
сердца;

каждый раз уходить
из города,
память которого —
щёлочь,
разъевшая горло
и спину —
потому как если иметь
за собой хоть что-то,
то нести
на себе,
считая до одного — вначале
позднее — до ста,
умирать в половину
роста,
как крепкая немка,
сдавившая в бёдрах
Христа.

каждый раз уходить из города,
замешивать словно тесто
свои шаги
на чужих грунтах,
чужой речи,
каждый раз,

не вернувшись,
опускать веки,
ловить онемевшим
нёбом
горелый сахар,
запечатавшим
моё сердце,
как сбитого
воробья ...

Господи,
разожми же свою
ладонь.
Отпусти меня.

2.

На моих губах
короста шёпота,
непреренно
душистый
август
в яблонях,
словно в порохе —
стоит лишь
щёлкнуть «Cricket»
и воздух жиреет кострищем,
плюясь сахаром яблок
и цветочной пылью
воспоминаний.

[один говорит —
наше детство
это сломанный телеграф —
— каждый день
сомнамбула голосов,
впиганная в его
сплав.
наше детство —
— говорит другой —
газеты тридцатых годов,
уложенные
словно в смолу
в иссохшие стены
домов.
я говорю —
— наше детство —
первомайские транспаранты,
приказ собирать войска,

и сладкие яблоки августа
в чернеющей пустоте
надсада...]

каждая ночь
зацелована
до крови,
каждая ночь
расцветает
яблонями...
губы мои
покрыты коростой
шёпота
в нём три слова,
ты знаешь их,
но сказать
значит сдаться.

гунн внутри
— умирает...
но не сдаётся.

идёт декабрь.

3.

Сумрак впитает
её ладони,
их влажный
речной запах,
их теплоту,
целующую тебя
при каждом вашем
рукопожатии,
истаявшем
в твоём
тугом сиротстве,
в забродившем
губами её
тучном хромом
Арбате.

останется лишь
твоя память,
останется блёклая
твоя память —

останется лямка
от платья,

упавшая Ей
на плечо.

4.

Женщины,
завернувшиеся
в социалистические знамёна,
пропитанные дымом
вокзалов
и тяжестью
майских ливней,
размывающих дамбы
как джинсовую пыль
будничных революций,
разлетевшихся
трещинами площадей,
и мальчишечьей бегогнёй,
разрывающей перестук
чётки
в голосе женщин,
греющих руки
на теле клиентов,
женщин,
завернувшихся
в социалистические знамёна,
набухшие
чёрной смолой
горящего
мая,
испаряющегося
как гангрена
сквозь кожу,
прижжённую медью
раскалённых
на солнце
эполет,
сорванных
с плеч
будничных
революций.

5.

Когда
душистые сопки
разгораются
можжевельником,
когда земля

поднимается к небу
травянистым
паром,
вместе с моим
дыханием,
уходящим
из тела,
уходящим из
лёгких
сколотым
гипсовым
шаром

я стою
на перегоне
под Малой
Вишерой

воздух
горчит
сосновой смолой,
стекающей
в землю

и твоё имя
поднимается
к небу

вместе
с этой
землёй.

6.

Неужели
все мои слова
всего лишь опись
юного криминалиста,
проходящего практику
на захарканном кровью
с сигаретной смолой
линолеуме,
в трапедии тесной
бетонной прихожей
от сального, старого
запаха которой
желудок подпирает
горло

неужели,
вся моя память—
порванный целлофан
и остатки порошка
под моими ногами,
церемониально
обглоданные
каждое [сучье] утро
сухим и белым языком
проститутки,
так и не надевшей
те стринги,
что ты привёз ей
из последней поездки
в Ригу.

Неужели,
всё моё сердце—
это кусок битума,
наваренный
на соку
из загустевшей крови
в роговице глаза,
потускневшей
от частых
чартерных рейсов
и обещаний
не писать ей больше
ни строчки

[хребет, залитый мазутом
её ночных исповедей,
хребет, стянутый
её волосами,
впиганными в растрёпанную
китайскую резинку,
хребет — плотина,
сдерживающий её
слёзы и на удивление
мясистую память...]

неужели,
неужели,
неужели ...
— небо трепыхается
словно в
эпилептическом припадке,
словно надрывающийся

надпочечник,
выталкивающий
то ли молебен,
то ли сорокоустье,
то ли просто
завядшую в мозжечке
фотокарточку
той,
которой обещал
не писать больше
ни строчки.

[но так и не сдержал
обещания].

7.

На столе — цветы, тяжёлые, с уже переспелым ароматом, пионы
тёмные, словно жжёный сахар, словно копать,
словно чернозём, просыпавшийся на скатерти,
такой же переспелый и душистый, сладкий и тяжёлый.
словно налитый бутон пиона, лежит письмо.
похоронка лежит.

она нетронута уже 2 года,
а на столе — цветы, все пионы стоят, пышные и тяжёлые,
торжественные и вечные, ни сбросившие ни одного листка.
засахаренные с кровью и горечью,
с моей памятью и моей любовью.

а под вязким воздухом,
где-то на юго-запад
и ещё 5 шагов правее,
земля просела.
промытая... чистая...
как твоё тело,

лежащее в этой земле.

8.

минуя мотели и дождливые блокпосты,
процеживая жизнь
караванами автобусных рейсов,
плывущих сквозь
триумфальные арки и
пригородные супермаркеты,

греясь в кассах пригородного
сообщения,
пытаешься вспомнить
все знакомые имена,
теряя последние
религиозные
и политические убеждения.

готовясь к зиме,
обрастая ночлежками
в больницах
и залах
джазовых филармоний,
город,
в который ты держишь своё
направление,
наполняется теплотой
от проезжих
фур,
везущих таможенный конфискат
и горячих женщин
на боковых
сидениях.

[псы падают
на сливные люки,
проститутки крепче
жмутся к водителям
фур,
торговцы таможенным конфискатом
сплетают свои лозунги
в церковные хоралы,
защищающие их продажи
и место на местном
рынке,
все чуют зиму,
и вода
обнажает своих утопленников,
поднимаясь в каналах,
как поднимается
память
и топиг город,
как топиг
она одна]

минуя улицы и
брошенные
на окраинах

автомобили,
сквозь забродившие
яблоки и блеклые постеры
из старых порно- журналов,
ты тоже встречаешь
эту черную зиму
и
ментовские куртки
набухают кровью
сквозь мутные стекла
уличных автозаков,
как набухают
в ноябре могилы
во время
первого снега,
терзающего
твою память

[минуя
заброшенные стадионы
и теплотрассы,
дорожные билборды
с мертвой
литературой,
грей свою кровь
сквозь коллекторы,
обнажая вены
как обнажают стройки
суть
архитектуры]

чеки и банковские переводы
в вест юниор,
жидкий кофе,
смерть в телефонном
справочнике,
это дхарма
зимы,
пережив которую
ты переживаешь
собственную жизнь,
вспоминая
все имена

в кассах
пригородного
сообщения.

9.

Апрельский воздух — сжиженный и тяжелый,
надрывающий легкие — прелой землей
и отсыревшей эмалью заводских проходных,
и дождливых электродов;
вязнущих — среди пыльных и — томных скверов,
провалившихся — вместе со старыми нардами
и их дымной — мужской — памятью
в тусклую, рыхлую зелень
боярышников и тополей...

И где-то — по улице ниже
— речной вокзал
стоит —
на чёрно — густой воде
такой черной, что слышится,
как зовут.

И ты увидишь их всех,
стоящих под ней.

Сын спустит на воду кораблик
И в ряби седой воды
Ты увидишь дома,
Заражающие едким
Желтым свечением
Воздух вокруг

В один
Из апрельских
Дней.

10.

спи,
черные липы
впигают душную землю
вместе с твоей памятью,
заросшей цветами
алкоголизма,
с их бутонами,
набухшими
рыхлой узбекской
речью,
раздавленной на
языке,
вяжущей горло
рябиной —

её ягоды
пахнут
тяжелой
миндальной кровью
желтых густых
наречий,

от них лопаются провода
международной связи,
не выдерживая их голоса,
затопленные памятью,
затопленные сердцебиением

спи,
пока оно впитывается в твою кожу
прожекторами автовокзалов
летней сливовой ночью,
дыша твоей сморщенной кровью,
разложившейся от духоты
ипряного алкоголя.

спи,
пока оно кусает тебе затылок
своими наречиями,
вырывая из него
воспоминания,

вырывая из тебя
стук твоего
сердца.

11.

Так заканчивалась эта ночь:
Между стен городского morgа
И пункта выдачи молока.

Женщины выходили из рабочих цехов,
Унося с собой тепло от подстанций,
Запах пряного плова и горького табака
На городские площади,
Расцветающие Шанхаем палаточных городков
И утренним радио,
Доносящимся из подвалов
Заброшенного дома культуры;

Бездомные несли к его ступеням
Черное серебро и германские магнитофоны,

Как несут подаяние,
Воспевая тех женщин,
Что дарили им свой горький табак,
как воспевают святую
Равноапостольную Елену,
Слабыми голосами;

Да, так заканчивалась
Эта ночь,

Медные головы вождей в серебрянке
Дышали на витражи,
И лифтерки твоего дома
Переполнялись чайной пылью
В долгие летние смены,
И магнитофоны играли
Симфонию
псалмов.

Воздух в старых кварталах всегда чуть сладковатый и рыхлый, приходится вдыхать его кусками, проглатывать его горлом, вместе с запахом разошедшихся фотоальбомов и разбухших польских сервантов, что заминированы письмами и не проявленной киноплёнкой с городских фестивалей и усталых свадеб. Резные козырьки над подъездами провисают хрустящей эмалью и нацарапанными посланиями с того света, оседающими глянец рябой коросты на почтамтские сумки и пыльные бутылки из-под кагора.

Мне хотелось бы проходить всю жизнь через этот мутный полумрак просевших лестниц и яблоневых дворов, через арки заброшенных ипподромов и теплостанций, вдыхая отсыревшую криминальную хронику прошлогодних газет и пряный кухонный газ, утекающий через раскрытые окна первых этажей, в густую, летнюю ночь. Голос обмяк бы, осыпаясь в горле цветами алкоголизма и тяжелой фонетикой провинциальной речи, падающей в темноту речных вокзалов, размывающей дамбу и срывающей водостоки, покрывающей темную воду кровью и недосказанностью.

Бродяги, падающие на колени сквозь душный липовый воздух городских окраин, греют свои скомканные плечи и спины о горячие стены заводов и женских монастырей, впитывая в свою прелую кожу запах черного хлеба и перечных коньяков, выдыхая свои прошлые имена, как молитвы.

Бродяги из ниоткуда, с сердцами, раскрытыми, как перезревшие сливы, налитые речным воздухом и синевой горящего мая, смешанные с землей на подошвах детских сандалий, затопившие своей миндальной кровью страницы туристических справочников.

Эти старые провинциальные города, играющие латинский джаз в церковных заброшенных храмах, со следами губной помады вместо фресок и прохладной акустикой.

Города, с блошиными рынками, словно надорванным сердцем, переполненным и поддельными паспортами и черными колбами болгарских розовых масел.

Старые кварталы, тяжелые и хромые, как старые друзья, выпавшие из уличной драки, с рваными жилами телеграфных столбов, с навсегда остановившимся дыханием в будках междугородней связи.

Все, что нас связывало — наши общие знакомые.

Их расцарапанные под козырьком послания с того света — все, что связало нас навсегда.

Длинный двор, многоэтажки, возведенные в перестройку и скомканные ломанной вереницей балконов.

Тяжелый утренний воздух, шумные тополя, тускло мерцающие запыленной листвою. Березовые аллеи, асфальт, разошедшийся трещинами, из которых сочатся молодые листья мать-и-мачехи, набухшие ночной сыростью и ленивыми диалогами пьяниц, вязнущих в улице и исчезающими в липком паре, поднимающемся от канализационных люков.

Телеграфные провода, провисают в утренней дымке.

К ладоням липнет целлофан, сорванный с сигаретной пачки. Слюна наполняется смолистой горечью, слепляющей и без того тугие легкие, отяжелевшие от духоты. Высокое прозрачное небо. Низкий потолок лестничной клетки, пропитанный никотиновой кислотой. Память, пропитанная нашим последним разговором:

— как?

— обещали выписать на следующей неделе.

— я могу тебя встретить.

— ты не сможешь.

Горячая обшивка автобуса, стершийся сальный велюр на сидениях, плотные горчичные занавески, стянутые на медной проволоке в сгусток мутного желтого света. Рыхлый цветочный бутон, зажатый между коленями, неудобный мобильник, вытalkingующий гудки.

— а на самом деле?

Давно рассказанные шутки на жестких стульях приемного отделения — оборванные — всегда в одном и том же месте — на этот раз каким-то прощальным ржанием, еле сдерживающим набухшее от слез горло. Бесконечное объятие, танцующее на матовом больничном кафеле. Немое обещание не оборачиваться. Онемевшие шаги, судорогой проваливающиеся к выходу. Черный вечер. Плечи, опрокинутые в сырой бетон дорожного ограждения, хребет, скомканный в рыданиях.

— я не знаю, как на самом деле.

Горчичные занавески вздрагивают мятым пятном. В салоне пахнет знакомым дегтем и духами

"Красная Москва". На сидения падают хриплые обрывки радиоэфира:

"...А если нет, мне будет очень больно,

И я, наверное, с ума сойду от слез,

Когда тебя внесут на двор наш школьный

Всю в белом из бинтов, и хризантем, и роз.

Когда тебя внесут на двор наш школьный
Всю в белом из бингов, и хризантем, и роз..."

Горло сдавливается консервной банкой.

Пыльные ограды. Лицо твоей матери, набитое на просевшей в землю шпиге. Ваше сходство.

Ваша внезапная близость, такая понятная и чистая.
Такая неумолимо жестокая близость.

Рыхлый цветочный бутон сливается с землей.

Я сливаюсь со своей памятью, поднимающейся вместе с дымом к потолку лестничной клетки, пропитанной никотиновой кислотой всех моих неустанных к тебе разговоров.

Слушал ли я церковные хоралы или кончал на застиранных простынях пригодных мотелей, я всегда видел только свои собственные воспоминания, слепящие ресницы густыми бликами автостанций, охраняемых спящими икарусами, что каждую ночь отдают свое тепло паломникам и бродягам. Я изучал бутылки в ночном минимаркете, слышал отголоски религиозных служб, чей колокольный звон разлетался по всему кварталу, вырывая из сна стариков и диких собак, я закрывал глаза и неизменно видел замыленные снимки своего прошлого. Они проплывали под веками линией рук моей матери, длинным спуском к воде, залитым солнцем; они плыли раскаленным воздухом над пастбищем черных рынков и гастролирующих оркестров, покрывших собой давно покинутый мною город, и я, надорванный, иступленный очередными потерями, женщиной, которую так и не встретил, хотя встречал уже множество раз; я выходил в улицу, оседая сбитым дыханием на киоски и бензобаки пригородной автостанции.

Проходя сквозь ночную площадь, усыпанную окурками и хлебными крошками, обжигаясь горячим дыханием спящих рядом икарусов, я перебирал слайды своей памяти, памяти, способной защитить меня от собственной жизни.

Памяти, опровергающей мою смерть и мою жизнь.

2010-2014.



Генрих Тумаринсон

ТРУДНЕЕ ВСЕГО

Страшно

А какой он, лес дремучий?
Очень тёмный и могучий,
Непролазные чащобы.
Страшно стало вам?
Ещё бы!

Там сидит на дубе
Леший,
На ночлег повыше влезший,
Там кикимора
Хохочет
И к нему подняться
Хочет.

Там спешат
На шабаш ведьмы
И волнуются:
— Успеть бы...

Из лесной речушки
Быстрой,
Из водицы ледяной
Пучеглазый, мускулистый
Вылезает водяной.

Люди в этот лес не ходят,
Звери там с опаской бродят,
И в тревожной тишине
Реют птицы в вышине.

Ниже птиц — оврагов кручи,
Выше птиц — чернеют тучи...
Не ходите, не ходите,
Не ходите в лес дремучий!

Помирились

Если Мурзик огорчится,
То готов я поручиться —
Он печально заурчит:
Это Мурзик так ворчит.

Я с кошачьего на русский
Перевел его упреки.
Он сказал: «Не понимаю».
Он сказал: «Обидно мне.
Почему сегодня утром.
Убегая на уроки,
Ты не крикнул:
—Здравствуй, Мурзик!
Не погладил по спине?»

Я ему ответил:
—Мурзик,
Признаю, что провинился,
Обещаю,
Что в дальнейшем
Так не буду поступать.
И сказал довольный Мурзик:
— Хорошо,
Что извинился,
Хорошо,
Что дружим дальше.
А теперь
Меня погладь.

Яблоко

Аппетитное
И пригожее,
Краснощекое,
Белокожее,

Когда ешь,
Хрустишь.
Скоро кончится...
Когда съешь —
Грустишь:
Снова хочется.

Осень

Размышляет грустно
Еж:
— Почему
Такая дрожь?

Ну и холод!
Просто жуть.
Неужели простужусь?

Что-то мне
Неможется...
Нужно
Больше съежиться.

Воробей

Голубь зря глаза таращит —
Неминуема беда.
Воробьишка лихо стащит
Корм у голубя всегда.

Это и не удивительно:
Пусть он голубя слабей,
Но летает
Изумительно
И пикирует
Стремительно
Шустрый малый —
Воробей.

Надоело

Объясняет кукле
Маша,
Сообщает папе
Маша,
Заявляет маме
Маша:
— В детский сад я не пойду!

Маша знает —
Будет каша,
Как обычно,
Будет каша,
И никто не съест
За Машу
Эту кашу
В детсаду.

Цель

Если даже
На цыпочки встать,
Все равно
До звонка не достать.
Значит, нужно
Как можно быстрее
Подрастать,
Подрастать,
Подрастать.

Сыр

О сыре
Знают все на свете,
Сыр любят
Взрослые и дети.

И у лисиц, и у ворон
Давно
В большом почете он.

А если
Говорить про дырки,
Пусть
Будет каждому ясней,
Что это —
Явные придирки:
Сыр с дырками
Еще вкусней.

Толстяк

Толстяк
В жару
Тулуп надел
И в нём
Гулять отправился.
Он за день
Очень похудел,
А за ночь
Вновь поправился.

Свой вес
Уменьшить не сумел
Толстяк,
Который ночью ел.

И можно
Через дырки в сыре
Узнать,
Что новенького в мире.

Черепаша

По темному лесу
Ползет черепаха.
Ползет черепаха
Без всякого страха.

Умеет справляться
С дорогой любовью,
И домик уютный
Все время с собою.

Неспешны прогулки ее
И походы,
Живет она счастливо
Долгие годы.

Действительно нету
Причин для испуга,
Когда ее панцирь
Прочней, чем кольчуга.

Ничего не подела- ешь

Не боялась Маша
Мошек,
И теперь она —
В горошек.

Мошки любят
Детвору
Даже
В самую жару.

Некуда деваться —
Надо одеваться!

Иголка с ниткой

Иголке,
Маленькой и прыткой,
Необходима
Дружба с ниткой.

И нитка
Тянется к подружке.
Ей очень скучно
На катушке.

Не могут друг без друга
Жить,
Не могут друг без друга
Шить.

Про овечек

Приходит рано
Тётя Настя,
И говорит овечкам:
— Здравствуйте!

Овечки,
Тихие толстушки, —
Они как дети
Для пастушки.

Оберегает
Тетя Настя
Их от болезней
И ненастья.

У тети Насти
Для овечек
Есть много
Ласковых словечек.

Услышав их,
Овечки блеют,
Чуть-чуть дрожат
Хвосты овечьи...
Жаль, что овечки
Не умеют
Благодарить по-человечьи.

Страшная буква

Я с этой буквой
Все время борюсь.
Ее выговаривать
Очень боюсь.

А больше я вам
Ничего не скажу.
Я жлюсь
И язык
Жа жубами
Держу.

Про зяблика

Время зимних непогод.
Присмирел лесной народ —
Ждет,
Когда мороз ослабнет...
Зяблик никогда не зябнет,
Зяблик песенки поет.

Полюбите эту пгичку —
Красногрудую красу.
Пусть у вас
Войдет в привычку
Слушать зяблика в лесу.

Мечта

У меня
Есть в кармане подкова.
Я нашел ее.
Что тут такого?

Объяснила
Мне бабушка:
— Это
Добрый знак
И везенья примета.

А теперь
Есть мечта у меня:
Хорошо бы
Найти и коня.

Вот я какой!

Я хохочу,
Когда хочу,
Любого
Перехохочу.

Люблю я с детства
Хохотать,
И мне
Никак не перестать.

Брат говорит:
— Иди к врачу!
Он сердится,
Я хохочу.

Я не болтун
И не молчун,
А просто —
Хохохочун.

Опасный рейс

Шла по морю яхта,
С волнами боролась
И вдруг затонула —
На риф напоролась.

Хозяин лишился
Красавицы-яхты...
Он плыл не по карте,
А с бухты-барахты.

Бессильны бинокли,
Не выручат вахты,
Когда отплываешь
На полных парах ты
Из бухты Барахты.

Мандарин

Папа дал мне
Мандарин.
Я не съем его один,

Диме, Роме
И Любаше,
Тиме, Томе
И Наташе
И моей сестрёнке
Ольке —
Всем
Достанется
По дольке.

Труднее всего

Антон — первоклассник.
Однажды его
Спросили: «Что в жизни
Труднее всего?»

Почти на минуту
Задумался он,
Но прямо и честно
Ответил Антон:

— Труднее всего
Просыпаться.
Глаза не хотят
Разлипаться.

За грибами

Белый гриб — он самый лучший.
Если вправду я — везучий,
Значит, я его найду,

А противная поганка —
Та все время на виду.

Целый день хожу в лесу,
Еле сам себя несусь,
Неужели где-то рядом
Прячет гриб свою красу?

Я нашел его, ура!
Я искал его с утра.
Наклонюсь сейчас к нему
И за ножку обниму,
Прежде чем в корзинку спрятать
Гордо к небу подниму.

А противную поганку
Я в корзинку не возьму.



Мишель Де́за

ПРИЧИНЫ ТАЮТ

Эйнштейн и Дарвин не очень любили
неуютность Дискретного Мира.
их Бог, непрерывно и честно,
соблюдает (его-же) законы.
Но прав Маккиавели:
Принц выше его-же закона;
вспомните случай Иова.
Бог — психопат: непредвидим,
случаен и беспричинен.
Причинность шкало-зависима:
тает в малости квантов или
громкости Долгого Времени.

Глубокое Долгое Время
рождает высшие причины
по уровням результатов
всё более редких событий.
Далёкие/редкие выживания
особей-путешественников
важнее обычного рассеяния.
Вирус “добрее” со временем
и входит в геном хозяина.
Бипеды с лучшими лёгкими,
динозавры овладели сушей.
Но Астероид Великий
опрокинул скрижали отбора:
динозавры-нептицы исчезли,
из норок выползли мы -
живое второго сорта.
А визиты звёзд
и вспышки сверхновых
стирают низшие каузальности.

Секс — как танец геномов —
есть у бактерий и вирусов.
Горизонтальным трансфером,
а не дисциплиной мейоза,
взметнулись хляби Живого.
Кислород — как яд удвоения,
фотосинтез, эукариоты
возникли в редчайших —

раз в миллиард лет —
судьбоносных встречах бактерий,
а не по “отбору лучшего”.

В пропастях Больших Чисел,
в океане Случайного,
в тоху-боху Бесформия -
сверкают жёсткие структуры,
ясные лики значения:
рокот ритма причинности
в судорогах понимания.
И каждое зёрнышко сущего
влечёт вереницы зеркал,
поколения смыслов:
ударами осознания
через строй наблюдателей.

Как луч фонаря в ночи
лепит скульптуры из тьмы,
мы создаём рельеф
наделяя факты значением.
Внимание вырезает узоры
лазером понимания,
выжигает лик соответствия,
полупричинность мира
из массы безотносительного.
Скользя по шкале осознания
в бездну немислимой точности,
компактности и конкретики:
от тумана к алмазам,
от галактики в атомы.

В трижды пустом пространстве
сеём цепочки причинностей:
известить других о себе
и себя о своём агенсу.
Суеверия и знания едины,
скрывая смысл Пустоты:
тайну безотносительности.
Каузальность — только иллюзия,
в мире господствует случай.

Ночные средние хищники
смогли добывать падаль
в хитрых ловушках-ямах.
Это развилось по эволюции:
всего за 20 000 поколений
дошли до квантовой физики.
Чем не бизонья плоть теорем?

В ловушках теорий
умерщвляем незнакомое,
добиваем усталое.
За мишурой одежды,
слов, представлений —
Голая Обезьяна
щерится, беспощадная.

Живые, т.е. вне равновесия,
умеют только расширяться,
но тянутся к равновесию.
Уже ключевые хищники, мы
добавили к грудам органики
другие ресурсы, включая знание.
Неизлечима зараза Знанием,
безвозвратна дорога к Истине,
неутолима жажда Причинности.

Тора явилась нагая
дождём из буковок
чёрного пламени.
О, как больно в глазах!
Шалью из трёх ошибок -
разве в значке над буквой -
укутали пламя Истины.
Стекает Нерастворимая
по лестницам понимания
в каменный Сад Толкований.

Явления созданы мемами:
в рою беспорядочных встреч
знаков, значений и смыслов
рождались объекты Реальности,
осыпаясь падшими ангелами,
наказанными вновь прожить,
заслужить возврат в Небытие.

Продираясь на дне сквозь
груды разбитых сосудов -
одичавших с потерей функции
исходных Сил Разделения;
из бездны бентоса
через “снежинки моря” -
выделения, умирания -
от уютной плотности Зла
к невесомости Света,
надо всплывать медленно.

Щемящая точность пилполя
порождает чудовищ логики:
Тьма — не отсутствие света,
а творение по умолчанию
до её названия Ночью.
Мессия придёт досрочно,
не в год 6000, а в субботу,
соблюдённую всеми
ИЛИ НИКЕМ.

Теорему, факт, наблюдение
обобщай, пока упрощается.
Непонятное руби на случаи.
Сложность — эстетика знания,
да и его экономика
заменяет его исходные
этику и мотивацию.
По кратчайшей дороге
идём к безвопросности
по влажной густой траве.

Даже в моменты эврики -
осознав сдвиг парадигмы,
но ещё не почувяв выгоды -
мозг цепенеет в ужасе:
зверушка боится света.
Мы живём в восприятиях
как червячки в яблоках.
Реальность удобно съедобна,
пережёванная иллюзиями,
в расфасовке лже-времени
лже-пространства личности.
Какие там братья по разуму,
понять бы соседа по лестнице.

Бесконечна война со Спартой.
Всё полезное — туалеты,
оружие, пропаганду —
влечение чистить улей
(фашизм) абсорбирует.
Ну, чуть с опозданием.
На малых зазорах времени
и ревности двух фашизмов
держатся все демократии.
Фашизм быстр в эволюции,
как малые вирусы РНК,
сладок душе большинства:
страх общих врагов слабее
надежды делить добычу.

Мы — тоже не случайность,
чёрные лебеди статистики,
мутации на всякий случай.
Надолго грядущая ночь,
но только-выжить нетрудно:
держишься у костров памяти.

Интернет возродил Поэзию Брани -
праматерь всех языков:
гейзеры горькой ненависти
бьют со строк комментариев.
Клеймят "Рашкины подтриоты"
"жопулизм" Обаме и "украи"
"либерастов" и жидо-чего-то-там.
Но это тоже культура
и мета-мораль Поэзии:
создание мемов, мечта о чистом,
какой-то мутант любви.

Как и при встречах звёзд,
между съесть и не съесть ближнего
есть частичные поглощения:
в материи — как при сексе,
во времени — паразитизм.

Если недолог век микроба,
то у макроба жизнь сложна:
пустые хлопоты секса,
восстания раковых клеток,
много врагов, старение,
ненужная сложность мира.

Что есть личность,
союз нерушимый клеток?
Но восемь недель обновляют
всю материю тела.
А в ускоренном времени
даже полная жизнь —
случайная вспышка материи.
Как скользит смысл организма
в расщеплении метаморфоза,
в химерах и агрегатах амёб?

Вызывающе обнажённая
наглая тайна Живого
ещё не приручена Биологией.
Организмы, голобионты,
племена-ли, виды-ли, гены —
кто субъект Эволюции?

Может ли, “хочет” ли Эволюция,
как динозавров, покинуть нас,
ради чего-то нового?
Не так уж мы совершенны:
геном переполнен обломками
смертельных схваток с микробами.

Осознание своей смертности
мы топим в надеждах
на вечность страны и вида.
Но осознав все высшие смертности,
как силы найти чтоб жить?
Не проси, не надейся, не бойся...

От Кембрийского взрыва жизни
идёт моя родословная
через Пермское вымирание,
Астероид и Интернет.
Я выполнил долг размножения:
четвертинки — 13 внуков
унесут семена генома
в непостижимость Будущего.

Люди, как и термиты,
создали касты профессий:
полезные сдвиги личности.
У нас, у воинов Знания,
абстракция суть оружие,
троп и лопата мысли.
В Литературе-же это ново:
пугает, чешет и злит.
Но языку, включая Поэзию,
придётся освоить нашествие
наших связок и терминов.

Выбор из двух радостей
свободнее чем двух зол.
Свобода — это надежда,
а не детали выбора.

Сравнимое, но ОЧЕНЬ
большое и долгое,
кажется бессмертным,
внимательным Богом:
замыканием постижимого,
смыслом сферы присутствия.

Когда Жизнь металась,
в кислородном угаре,

наливаясь метаболизмом,
туда и обратно — на сушу
и в многоклеточность...
Встреча на пожирание
трёх блуждающих клеток
скользнула в чудо слияния:
общую клетку с ядром:
первый интеллигент,
химера-эукариот,
два шага до человека.

Скалы, вода, CO₂...
Градиенты протонов
в термальных ветрах
легко создали живое.
Эукариот к Ингернету —
тоже недолгий путь.
Великим прыжком и чудом
стали сами эукариоты:
сильные и громадные, они
потянулись к сложности.
Редкие зёрна мудрости -
ищите таких в космосе.

Геологически недавно
ушли все “другие люди”.
Геологически скоро уйдут
шимпанзе, гориллы, оранги.
Убрали себе подобных и
продолжили уточнение (войнами)
кто ж и впрямь владеет Землёй.
Без соперников и свидетелей
встретим милых братьев по разуму.

Конструктор ad hoc, эволюция
неоптимальна, слепа и бездумна,
без памяти, плана, изящества.
Наши геном и сознание
полны устаревших деталей.
Не несмотря на это, а в этом
Наши высшие чувства.

Бессмысленность мира —
не повод отчаяться.
Клетка — не заперта,
остров — необитаем;
на свои опиоиды —
страха, воли и радости —
строится вся избушка.

Наука как танец дервишей,
как сладость регрессии:
услышать шепот абстракций
и жить с ними как в таборе.
Я вижу лица понятий,
их страсти и отношения.
Общение с ними и есть наука.
И мир стал уютней:
ками за каждым камнем
подругой в каждом порту.
Первобытное суеверие
очистило накипь в душе
от вяло-текущей мерзости
обычной и взрослой жизни.

Строгим рисунком по мягкому
скользит мой контакт с миром.
Кисло-сладким ручьём ущелья
между Страхом и Восхищением.
Боль восприятия в сладость измерить,
на сушу Поэзии с моря Науки.

Старый самец человека,
крадусь по оврагам улиц,
верный законам физики,
гражданству Антропоцена,
с тем же колчаном желаний.
В сладости догорания,
очиститься от добычи
раздачей вещей и знаний
и мезтью — добром за добро -
близким людям и птицам.
И на пустой желудок,
опустошив колчан и карманы,
эмигрировать вон из жизни.

Строгим рисунком по мягкому
скользит мой контакт с миром.
Кисло-сладким ручьём ущелья
между Страхом и Восхищением.
Боль восприятия в сладость измерить,
на сушу Поэзии с моря Науки.



Марианна Гончарова

В ОЖИДАНИИ КОНЦА СВЕТА

В последнее время количество предполагаемых дат так называемого конца света резко возросло. Особенно много их приходится на первые два десятилетия нового века.

Википедия.
(Свободная энциклопедия)

Август, две тысячи... надцатого года

22.00. Я надела пижаму с тремя медведями,

уселась на кровати, поджав колени под подбородок, и стала ждать. Дальше следовало бы написать что-то пафосное, например: часы пробили полночь. Но часы у нас не бьют. Это мы их бьем. То случайно, то намеренно, в отместку за утренний звон. Время, ради его же экономии, мы сейчас чаще всего узнаем на своих телефонах. Это неправильно, но все так делают. Короче, я села и стала ждать, когда же, наконец, затрубят архангелы.

Конец света на эту казалось бы обычную летнюю ночь день назначил сначала Нострадамус, потом Ванга, потом позвонила Степашкина Евдокия и торжественно объявила:

— Ну вот и все, я ж тебе говорила, а вот и все теперь. — Степашкину Евдокию вдохновенно несло. — Уже! Вот-вот! Да как расколется земля! Да как запыляет все кругом! Да как хлынут дожди огненные! — верещала она.

— Ты что, Степашкина Евдокия, погоди надсаживаться, погоди радоваться, у меня же дети, — стала умолять я, как будто от Степашкиной теперь зависело, запыляет или не запыляет, хлынут или не хлынут — ты что же такое говоришь?!

— А это уж как назначено! — торжествуяще прицелкнула языком Степашкина Евдокия, — кто может и не заметит, а кому мироздание по шеям-то и надает! — казалось она даже угрожающе мотает кому-то крепко сжатым кулаком, — ну лана, я пошла. И отключилась. Нет, ну нормально? Она пошла. Как будто ей еще три чемодана собирать. На тот свет.

А вечером позвонила мама и тревожным тоном сообщила, что о конце света легко и деликатно пошутили все телевизионные каналы.

Нострадамуса я никогда не знала, поэтому не очень-то ему и доверяла. Нет, ну мало ли, что именно он имел в виду в этих своих катренах. Расшифровывать и читать их не брался только ленивый. И каждый толковал их по-своему, как ему выгодно.

Степашкину же Евдокию я знала очень хорошо и именно поэтому ей не верила. Но тот факт, что вся эта честная компания вдруг спохватилась в один день — и Нострадамус, и Степашкина, и Ванга, и телевидение, и мама... Я испугалась.

Ну что, меня спрашивали, когда уже ты начнешь. Что ты пишешь в свои пухлые блокноты все время. Что ты сидишь отрешенная с застывшим стеклянным взглядом. Садись уже к компьютеру. Сколько можно — топали на меня друзья, мои домашние, сурово супил брови, как кто-то где-то сказал, мой *заставляющий* редактор. А я им всем говорила, я бы уже и начала бы, но у меня нет первой фразы. Литой первой фразы. Я так не могу. Мне надо оттолкнуться и потом — ийээх! А не от чего. Мне надо первое предложение. Это как вдохнуть. Это как первый взмах дирижерской палочки. Это как... Дочка предложила: «Все смешалось в доме Облонских...» Мама моя перебила внучку: такое уже было у *кого-то* и предложила: «Конец света, о котором так долго говорили большевики...» Мы все стали перебивать друг друга, у нас в семье это очень принято, у нас у всех южный темперамент, и прелесть наших разговоров именно в том, что мы говорим одновременно и, как правило, не слышим друг друга. Но тут неожиданно мы все засмеялись, а сынок мой смысленный сказал:

— Ну ладно, все — тихо!.. Давай, мам, записывай. Вот тебе первая фраза: «Еще ничего не случилось...» Как?

— И все? — возмутилась я. Вот от этого вот, такого никакого отталкиваться?

— Да. Ты что забыла? Это же песенка из кинофильма «Питер Пен» «Еще ничего не случилось». Пока ничего не случилось. Но всякое разное страшное может случиться. И думать об этом, и помнить об этом пора научиться, давно нам пора научиться... Ну там дальше вроде про галстук. Мол, подумаешь, галстук... А потом там, «земля накренилась, она покачнулась, и птицы, и птицы летать перестали, и стали равнины кривыми местами...»

— Да-да, — перебила брата Лина, — там еще про то, что у рыб выросли ноги, они выбрались на сушу и стали кусать всех. И заканчивается эта песенка из кинофильма «Питер Пен», что все круглое стало еще круглее и на небе появилось три или даже четыре Млечных пути.

— Ну там и про разное другое. И каждый видит свое, — перебил сестру Даня: — вот например, летит астероид. Скучно в космосе. Темно. Одиноко. Ни звука, ни света, ни запаха... Такое в чистом виде «ничего». И вдруг — а что это? — опа! Голубая планета наша, красавица. Нарядная: там — огоньки, там — какое-то движение, там — яркие пятна — плантации тюльпанов пахнут арбузами, зеленые и коричневые квадратики — поля, музыка, ароматы духов, ванили. А если ближе подлететь, вон семья сидит вокруг стола, говорят все, перебивают друг друга, котлеты куриные едят с цветной капустой и картофельным пюре... Ииии...

— Стоп! — перебила я Даню, — Стоп! Замолчи немедленно. Потому что, как сказал Мальгрим, дерзкий и циничный маг из «Тридцать первого июня» Пристли: «Все, что создано нашим воображением, должно где-то существовать».

Ох, не надо было Даньке так говорить! Песни-песнями, шутки-шутками, а ведь как раз именно сегодня по версии Нострадамуса и его последователей, включая суровую убежденную Степашкину Евдокию, где-то в космосе гигантский астероид уже примеривается как бы поточней врезаться в маленькую планету нашу матушку...

22.37. Где-то в умной книге я прочла,

как раньше, еще до власти советов врач земский или просто какой-нибудь доктор, толстенький, уютный, усатый, сняв пенсне, мягко положи свою чистую, практически, стерильную лапочку на колено пациенту, сообщал:

— Ну что ж, скажу начистоту. Завершайте ваши земные дела, батенька. Крепитесь и уповайте. Вам осталось...

И говорил, сколько осталось.

А тут, сейчас, как успеть завершить мои земные дела? Времени-то совсем не осталось. А у меня же этих дел полно! Полно!

— Айяаааай, — сокрушалась я, и это итог моей жизни? Никаких достижений, побед, никаких преодолений, ни наград, ни титулов не имеющая, всего-то восемь медалей. И то, не мои, а моей собаки. Айяаааааа...

Я, заполошная, как юная неопытная курица, думала, что мне бы сейчас собрать всю свою семью, своих друзей, обхватить руками, прижать к себе и спасти от страшного и неизбежного. Паника — мое привычное состояние — не заставила себя долго ждать, она закипела, мягко стукнула в затылок, забродила по телу, отдалась бурей в желудке и заколотилась бешено в районе сердца.

Муж ненаглядный мой спал легким безмятежным сном набегавшегося, наигравшегося ребенка. Вот молодец. Он был спокоен и уверен, что во-первых, это все неправда и блажь, во-вторых, если вдруг что, он в меня верил — я-то не растежусь и все организую. Спи-спи, сынок, муж мой, спи давай.

Мы с мужем в детстве были внешне очень похожи. Правда, моя свекровь считает, что ее сынок был гораздо красивее. Ну так ей видней. Тем более, я носила очки. Поэтому бабушке моего мужа я вообще не нравилась. Она говорила: «Не наравыца она мне. Худая, хлеба не ест, окуляры носит».

Очки — это в моей юности был очень серьезный недостаток. Например, как шесть пальцев или заячья губа. О, если бы бабушка моего мужа еще знала, что я амбидекстр, то есть переученный, но все-таки левша, что бы с ней было. Запретили бы бедному Аркашечке на Марьяшечке да жениться. И осталась бы Марьяшечка одна одишенька, как блиночка в поле пустом и покошенном. Оп! Тут же возразила бы моя подруга Лена, а чо это Марьяшечка осталась бы одна одишенька. Это еще не факт! А может, как раз Аркашечка остался бы один одишенек да как блиночка в поле пустом да покошенном. Тем более с такими высокими требованиями своих родственников к будущей невесте.

Однажды был случай в селе Котелево. Я там подрабатывала в филиале музыкальной школы преподавателем фортепиано. Это вообще ужас был какой-то. И как мне мама разрешила, не представляю. Когда я ей сообщила, что устроилась на работу в музыкальную школу, и не в городе, а в селе, она только руками развела. Нет, ну правда — куда-куда, а в музыкальную школу я бы пошла работать — как она думала — в последнюю очередь. С музыкой у меня были свои, очень интимные и, по сути, криминальные отношения. Я ее истязала и мучила. Ноты для меня ничего не значили вообще. Мне, близорукой, копать в нотах было очень трудно и неохота. В связи с чем у меня была тактика. Я просила свою учительницу сыграть произведение раз, другой. Потом еще и еще раз. И потом нагло, но старательно подбирала его дома на слух. А бывало, что и в иной, более удобной для меня, тональности. И на выпускном экзамене мою хитрость заметила только одна учительница. Остальные заплотировали и поставили «пять». И она, Лариса Степановна Журавлева, тоже, конечно, поставила «пять». Во-первых, потому что я, хотя и схулиганила, но очень вирту-

озно, как она сказала моей маме, а во-вторых, потому что на уроках сольфеджио я легко писала музыкальные диктанты для всего класса слету.

И вот я стала подрабатывать в сельском филиале музыкальной школе. Моя дочка удивлялась, как это? И учиться, и работать. А что же было делать. Хорошая тушь для ресниц стоила половину моей стипендии. Красивая сумка — три моих стипендии. Одежда — о, у спекулянтки Мавры Анисимовны, гуляющей с детской коляской, полной товара, рядом с нашим университетом, можно было купить все, что хочешь. И я должна была подрабатывать, потому что хотелось носить хорошее, нарядное и качественное. А просто так, в магазине, чтоб подешевле, этого не было.

Ко мне на уроки музыки приходили девочки с ужасными руками и ногтями. Практически, с когтями. Я учила их приводить руки в порядок. Многие ученицы и их родители были уверены, что это блажь. Потом, когда наступало время платить за уроки, родители этих железнолапых девочек вдруг задумывались: а не слишком ли велика цена за то, что их ребенок переставал помогать им в огороде, ссылаясь на очкастую девчонку, которая внушала, что руки надо беречь и держать в чистоте. В первый же месяц работы я потеряла половину набранного класса. И не только из-за борьбы за красоту рук, но и из-за главного несоответствия цена-товар, поскольку за первый месяц девочки так и не научились играть любимую песню родителей «Я люблю тебя до слез...» Правда, одна моя воспитанница, дочка учительницы и председателя колхоза, все-таки выучилась, окончила музучилище, потом консерваторию и вернулась обратно на родину, где теперь ведет в том самом селе занятия хора. Стоило ли для этого учиться в консерватории, не знаю. А может и стоило. Во всяком случае делом своим она увлечена, значит все не напрасно...

Так вот, в то время когда я, нелегитимно пропуская пары в университете, стучала карандашиком в такт этюдам Черни в исполнении одной из оставшихся со мной учениц, примчалась секретарша директора филиала и, выпучив глаза, страстно зашептала мне в ухо, что две равноуважаемых семьи села Котелево расторгли договоренность о свадьбе только потому, что невеста... вдруг! при всех надела... вечером... очки! чтобы смотреть телевизор. Во, дремучий был народ! И я тогда догадалась, почему меня так жалели в этом селе и всегда уступали в автобусе место. Даже древние столетние старушки говорили мне, сидай, бидна дытынка, сидай. Хоть я и отказывалась. Все объяснялось просто — я была худая и в очках. В окулярах...

Недавно нашла старую черно-белую фотографию: солнце, каникулы, я в ситцевом платье. Стрижка — квадратик над ушами со съехавшим бантом. Стою под старой сливой-венгеркой, насунив брови, думаю серьезные мысли. Самые серьезные мысли, как я теперь понимаю, были у меня именно в том возрасте — восемь-десять лет. И сколько открытий. Чудных! Да.

— Играем «Барыня прислала сто рублеееей!!!», — зовут подружки. Под окнами нашего одноэтажного четырехквартирного дома они уже выстроили целый город для кукол. А я не могу — мне за фортепиано, еще сорок минут. Еще целых сорок минут! Но зато у меня на попигре книга «Остров сокровищ». Пальцы автоматически ковыряют клавиатуру, гоняя туда-сюда какую-нибудь гамму, а глаза читают, читают.

Наконец, выбегаю — ура!

Мой дед работал на Одесской фабрике игрушек. У меня были редкие настольные игры, в которые мы играли с подругами. А еще дед подарил мне то, без чего, по мнению многих дедушек и бабушек того поколения, не может вырасти хорошая дедушкина внучка: у меня были серсо, такой обруч с палочкой, и даже крикет. К серсо и крикету дедушка выслал мне, специально заказанные у портнихи, клетчатую юбочку и белые гольфы с помпонами. Я так и не научилась бросать и ловить серсо, а в коробке с крикетом не было инструкции, как в него играть. Тогда я читала «Алису в стране чудес», и ее игра в крикет с помощью фламинго вообще меня запутала окончательно. И постепенно воротаца постерялись, молоточки стянули соседские мальчишки для своих игр. А мы прыгали через скакалку, играли в классики и в «штандер-стоп».

Моя мама как-то рассказала мне, как после окончания школы не поступила в МГУ и работала в каком-то очень глухом дальнем селе на краю света. Два раза в неделю туда ходила грузовая машина, которая возила рабочих. Все рабочие сидели, а мама стояла. Но часто мама на эту машину не успевала, и ей приходилось идти восемь километров пешком через пустынные поля к сахарному заводу, откуда шла машина до Черновцов. И вот хозяйка, добрая женщина, у которой мама снимала угол, давала ей перед уходом спички и свечу на тот случай, если вдруг мама, идя зимой через поле, встретит волка. Потому что там действительно водились волки. Помню, мама рассказывала мне эту историю по дороге из школы домой.

— И что? Встретился волк?!

— Нет, — спокойно ответила мама.

— Жаааль, — задумчиво протянула я, любительница приключений, уже додумывая сюжет, как мама зажгла свечу и ну этой свечкой волка пугать.

При этом, слушать маму было не страшно, а интересно — потому что мама же — вот она, держит меня за руку, мы вместе дружно шагаем домой, значит, ничего с ней не случилось.

Вечером я пересказала эту историю своей младшей сестренке, но уже в красочных деталях, добавив завывания ветра в поле, крик ночной птицы, скрип по снегу чьих-то шагов и ярко описала нашу маму, которая осторожно по-партизански крадется через поле и держит наготове спички. Я дошла до кульминации рассказа и хотела поведать сестре, как наша героическая мама на всякий случай достала спички и... Но тут мне напомнили, что пока не поздно, надо садиться за инструмент. Ну чтобы вечером соседи не обижались. Я села к фортепиано. Обычно во время моих занятий сестре Тане запрещали ко мне приставать. Но она все же просочилась в комнату, полезла ко мне в лицо своим душистым румяным личиком и шепотом на ухо осторожно спросила:

— И что? Что потом?

— Что?! — не понимая, о чем она, спросила я.

— Ну, встретила тогда мама волка?

— Аааа... Да, конечно — бросила я через плечо, озабочено шурясь наклонившись к пуштуру моего пианино, глядявываясь в ноты — Встретила... Дааа...

— И что?! Зажгла мама свечку?! — уже со слезой в голосе громче спросила сестра Таня.

— Да-да, зажгла — рассеянно, не глядя на сестру, продолжала я копаться в новой пьесе из «Детского альбома» Чайковского.

— И что? Испугался?

— Кто?

— Волк! — Танька произнесла страшное слово одними губами как вдохнула: — влк!

— Не-а. Не испугался.

Танькины шоколадные огромные глазщици наполнились слезами,

— А потом?

— По-тооом... Значит, потооом... волк выскочиийил и... — бормотала я, уткнувшись носом в ноты, разбирая аппликатуру.

— И... и шдээээ? — сквозь набухший от слез нос провыла Танька, — и шдээээ!?

— Что-что... Напал! — я взяла первый аккорд — И ам! — про-гло-тил.

— Мэээээээээмааааа!!! — с яростным ревом Танька побежала ябедничать родителям на кухню.

Так вот там, в том селе, откуда мама совершала свои на самом деле небезопасные пешие ночные походы к автобусной станции, в школе на перемене она предложила как-то детям поиграть в штандер. Дети переглянулись и стали так смеяться, что некоторые повалились прямо в траву на школьном дворе. Они заливались долго, повторяя «штандер!», успокаивались, а потом — «штандер» ооой! — снова покатывались.

Вообще-то смех — такое инопланетное состояние, абсолютно индивидуальное. Поэтому причины этой удивительной реакции мама долго не знала. Потом только выяснилось, что так звали сельсоветовскую крепкую норовистую конягу, верхом на которой председатель сельсовета объезжал село. Она терпеть не могла запах самогона, и если председатель был во хмелю, брыкалась, выдирая копытами дерн, лягалась, возмущенно ржала, наконец выбрасывала седока в канаву и уди-рала. Но к вечеру дисциплинировано становилась около сельсоветовского крыльца, кося на всех лукавым глазом. Штандер.

А мы в нашем чудесном зеленом большом дворе, где было полно детей, весело и с удовольствием играли в штандер чуть ли не каждый день. Чаще с соседскими девочками — сестрами Мирой и Раей. Их папа шутил «Мире-мир, Рае-рай»

Мирочка. Нежно любимая моя подружка. Семья Векслеров. Дядя Миша, наш божественный преподаватель словесности, ходил между рядами парт и наизусть читал стихи и прозу, прижимая тонкие пальцы к вискам. Его мучили ужасные мигрени. Когда мы во время игры начинали шуметь, он, неподвижно сидящий в своей спальне, говорил негромко: «Д-д-еесети...» И мы замолкали.

Однажды я заболела гриппом. И мама спрашивала, чего бы ты хотела. И я сказала, что мне хочется газированную воду «Ситро» и почитать. Ситро мне было нельзя, но папа сбежал в гастроном и принес, а Мирочка пошла в библиотеку, в нашу любимую уютную детскую библиотеку, с четырьмя ступеньками и деревянной верандой, на которой можно было чай пить, и просто стоять любоваться летним днем, или сидеть в кресле под кружевным белым зонтиком. Но никто не пил и не любовался, почему-то. Так вот, Мирочка пошла в библиотеку, где сидели наши библиотекарши-старушки с узкими острыми плечиками, покрытыми шальями в любое время года. И, понимая мое нетерпение, вернулась быстро и принесла мне пять книг. И все пять были интересными, потому что наши с Мирочкой вкусы совпадали абсолютно. Она принесла книги, присела на стул в соседней комнате и разговаривала со мной через двери — ее ко мне не подпустили, чтобы она не заразилась гриппом.

Я лежала и читала, читала, читала. А когда уставала читать, рассматривала альбомы с репродукциями — у нас их было множество. Картины малых голланд-

цев, Неера, например, где были изображены люди в забавной одежде и обуви; кто-то просто гулял по набережной, кто-то по замерзшей реке катил на смешных коньках. Я сочиняла им судьбы, детей, будущее, придумывала, кто куда идет, кто с кем знаком, даже давала им имена из любимой книжки «Серебряные коньки».

Кстати, когда в первый раз войдя в Домский собор, я, мастер спонтанных реакций, как написал обо мне один журналист, воскликнула, прижав руки к груди: «Голландия. Настоящая Голландия!» А Саша Шапошников, который ездил вместе со мной на студенческую конференцию в Ригу, хмыкнул, стыдливо посмотрел по сторонам и прошептал мне в ухо: «Это Латвия, Гончарова. Латвия»

А у меня была прямая ассоциация: орган — праздник святого Николаса — дети Ханс и Гретель — Голландия. Да.

Там, к слову, в гостинице Рижского университета, в гостинице для преподавателей и аспирантов ночью меня укусил клоп. Укусил — мягко сказано... Он откусил от меня кусок лица. А наутро нас снимала молодежная программа рижского телевидения. Эти ребята, такие стильные все, тонкие, скользкие, длинноволосые, страшно веселились, но сочувствовали и глядя на мою угрюмую распухшую рожу, наверняка думали, что ночью я отбивалась от подвыпившего ухажера. Но старались снимать меня с другой, не покалеченной прибалтийским клопом, стороны.

Ну да ладно. И вот я в детстве болела — прекрасное время — читала, думала, рассматривала картинки. А иногда, заскучав, я укладывалась с видом «ничего не мило» и принималась тяжело вздыхать, и мама выдавала мне старинную жестяную коробку с нашими «сокровищами»... Оооо!.. Пуговицы, бусины, пряжки, какие-то странные предметы, про которые я не знала, для чего они. Со все этим богатством можно было играть часами.

Когда мне надоедало лежать, и когда никого не было дома, я садилась к фортепьяно, играла новомодные песенки, которые запрещала мне подбирать моя учительница музыки. А потом просто смотрела в окно. Напротив жила еще одна моя подруга Люда Попова, нежная, прозрачная, но как ни странно, очень спортивная девочка. Она тоже часто болела, и мы переговаривались из окна в окно знаками, телефонов у нас тогда не было.

Люда после окончания школы поступила в институт в красивом городе Каменец-Подольске, центр которого украшала уникальная старинная крепость. Люда нормально училась и ее, такую подвижную, легкую, тут же стали звать в волейбольную команду института. И как-то во время тренировки по волейболу она вдруг присела от боли в животе. Она даже не зашла в общежитие, сразу поехала автобусом домой, к маме с папой. Она еле выдержала этот двухчасовой переезд. Еще долго шла с автостанции домой. На второй этаж в свою квартиру она уже не смогла подняться. Ее мама выбежала в магазин случайно на ступеньках у входа обнаружила Люду, почти без сознания от боли. Через полгода Люда умерла от почечной недостаточности.

Вот странно, Люда в последний месяц своей жизни лежала в двухместной палате в нашей больнице. А в соседней такой же маленькой — на двоих — палате умирал Юра Назарко. Люде еще не было восемнадцати. Юре еще не было девятнадцати. У Юры была неизлечимая, самая страшная болезнь — саркома. И началась с банального ушиба колена. На тренировке опять же по волейболу. Эти дети не знали друг друга. Но в ночь, когда Юра умер, Люда увидела сон. Она рассказала

маме, что ей приснился жених, красивый, в костюме. Он пришел к ней в палату и весело позвал Люду за собой, умолял, просил, пойдём со мной. Упрекал, ну что ты лежишь, пойдём... И Люда согласилась. Почему же не согласиться, такой милый интеллигентный парень. Она умерла спустя неделю. Мой папа посадил на ее могиле елочку. Эта елка сейчас такая высокая, такая пышная. Поздней осенью с нее падают шишки. Вокруг того места полно шишек. И полно белок.

Самая близкая подруга Люды Поповой, тоже Люда по фамилии Мартынова, выйдя замуж за моего шурина, стала моей близкой родственницей. И мы с Людой Мартыновой и сейчас часто вспоминаем Люду Попову.

Она вообще очень хорошая, эта Люда Мартынова. Они, эти двое, Мартынова и Попова, ходили по городу симпатичные, не-раз-лей-вода, воллейболистки, тонконогие, тощие, забавные. Одна Люда белокожая, с пшеничными волосами. Вторая — смуглая с роскошной шевелюрой цвета воронова крыла. Я, догнав их, кричала вслед: «Люуууды!» и «люды» на улице, то есть, люди по-украински, пугались и не понимали, чего это девочка несется и надрывается, и зовет людей, и кто ее обидел, и что делать, и как помочь. А я догнала Люду и Люду и мы весело топали вместе. И я, шагая между ними, всегда задумывала желание. Для себя и для них, для Люд. Для себя — пятерку по физике и чтобы контрольную по биологии отменили, Людке Мартыновой — чтобы мама купила ткань на платье, а Людке Поповой — чтобы подарили джинсы. Мы шли мимо старого парка имени Пушкина, мимо кинотеатра. Мы задерживались у Дворца бракосочетаний поглазеть на невест... И каждая из нас думала, вот я буду — ого, какая невеста, лучше всех!

Мы с Людой Мартыновой печалились, что Люда Попова ушла в другой мир, ничего не узнавшая и не познавшая. И влюбиться даже не успела, и ничего не успела. Как так случилось, как так произошло. И однажды мы стали перечислять, что важного должно было в ее жизни случиться, обязательно случиться, отчего несправедливость ее ухода казалась нам еще более очевидной. Любовь. Ребенок. Рассвет у моря. Ощущение весны, когда ты беременная. Это удивительное очень яркое состояние. Когда женщина беременная, она все воспринимает в два раза сильнее, впечатления ярче. И весеннее небо, и яркая нежная зелень, и почки сирени, и запах мокрой земли. И потом много еще чего. Путешествия. Подарки на Новый Год и Рождество. Или летняя томная жара, когда преломляется перед глазами и плавится воздух, а в наших с Людой старых тихих домах, построенных на века еще австрийцами, гладкие дощатые полы и дремотная успокоительная прохлада. И еще — самолеты. Люда Попова ведь никогда не летала на самолете. Это неведомое и удивительное. Тяжеленный болид разбегается и взлетает. Мало того, летит. Держится в воздухе. Прекрасное ощущение, я считаю, несмотря на то, что я ужасно боюсь летать и весь полет практически сама, одна единственная во всем салоне, держу самолет в воздухе за ручки своего кресла, одна! по доброй воле и безвозмездно. А остальные спят, едят, выпивают. И никто не знает, как я в это время тружусь ради нашего общего благополучия. Моя бы воля, я бы стояла за спиной у летчика и давала указания: Вперед смотри! Не отвлекайся! Снизь скорость! Не оглядывайся! Не разговаривай! Какой тебе кофе?! За штурвал держись.

Когда мы ездили в машине, особенно на дальние расстояния и я вот так же начинала руководить, мой муж замолкал, ехал сначала молча, только скрипел зубами, потом не выдерживал, выезжал на обочину, останавливал машину, обходил ее, открывал дверь с моей стороны и говорил: — Выходи, женщина! Иди, садись за руль! Веди машину! Если ты такая грамотная. А я рядом посижу, покомандую!

Но я не об этом. Вот самолет, когда он прорезает облака и вдруг появляется солнце, а внизу остается унылая грязная пена. А рядом с тобой яркое легнее синее небо. Вот это Люда Попова обязательно должна была увидеть. Но не увидела.

Когда я пришла к ней, к Люде Поповой, в гости впервые, она завела меня в дальнюю комнату, захламленную, не жилую — они только въехали в ту квартиру и не разобрали рухлядь, оставшуюся от предыдущих хозяев — Люда завела меня в ту комнату и сказала, сейчас я тебе покажу *что-то*... И откуда-то, долго шуриша упаковочной бумагой, вдруг достала чудную, очень тяжелую темно-синюю коробку. Мы смахнули с нее пыль и открыли ее. Это был старый патефон. Люда поставила на диск толстую черную пластинку, накрутила ручку, потом бережно опустила на пластинку иглу — сухой шорох, томительный долгий проигрыш, такой красивый и... Как же мне хотелось тогда, чтобы эта музыка звучала и звучала:

Когда утро рассыпает золото,
Когда ветер напевает молодое,
Как хорошо вдвоем с тобою там,
Где ждет нас море синее, широкий простор.

Когда вечер затушает линии,
Когда тени затаңцуют синие,
Как хорошо вдвоем с тобою там,
Где небо видит линии черных гор.

Мне легко с тобой, подруга родная моя.
Мне легко и жизни радуюсь я тогда,
Как мальчик.

Когда вечер затушает линии,
Когда тени затаңцуют синие,
Как хорошо вдвоем с тобою там,
Где небо видит линии черных гор.

Мне так полюбилась эта слащавая песенка с единственной в Людином доме пластинки, что я просила маму купить мне такую же. И хотя у нас в доме уже был большой проигрыватель и горы пластинок на разных языках, магия этой удивительной мелодии — южной, пряной, томной — она очаровала меня, да и сейчас не оставляет равнодушной. Тогда я даже решила ее петь на приемном экзамене в музыкальную школу. Но рассудительная Мирочка резонно заявила, что эта песня не подходит, потому что там: «Мне легко и жизни радуюсь я тогда как мальчик»... А ты же не мальчик, ты — девочка, — убеждала меня Мирочка. А песню «Взвейтесь кострами» тоже нельзя, потому что ты еще не пионерка. А что же мне петь? — растерялась я? Ну, что-нибудь свое, любимое, привычное, домашнее какое-то — сказала Мирочка. Она для меня была авторитет — она уже была аж во втором классе музыкальной школы и знала, что именно надо петь, чтобы тебя туда приняли. И я, тощая с битыми коленками, вышла на сцену набычилась, и хорошим сочным басом спела как, велела Мирочка, свое, привычное, домашнее. «*Он га-ва-ришил мне. Будьтма! Ееееею... Жизнь сладить мне. Вечной любовью. Вечным блаженством...*» Приемная комиссия смеялась. Потом я хлопала ладошками в заданном экзаменатором ритме и пропела все необходимые звуки. Я еще хотела спеть

из Травяты волшебное и непонятное и от этого еще более привлекательное: «Прас-тииге, вы навеки асчасти мечтанья. Я гибну, как роза ат бури дыханья». Члены экзаменационной комиссии разрешили спеть первую фразу, зафыркали и отпустили. Меня приняли в музыкальную школу.

Я даже расстроилась, что мне не дали спеть до конца Виолетту, и потом я уже отрывалась дома — показывая, как трудно мне дался экзамен в музыкальную школу и как я хлопала, повторяла звуки и главное — пела.

Какая тишина, какая ужасная тишина. Ни шороха, ни писка.

Закрyla ли я двери на ключ... А вообще, какая уже разница — закрыла, не закрыла... Все теряет значение. Ключ. Сколько ключей мы потеряли за двадцать лет жизни в нашем доме. Только один хранится тщательно. Не нам принадлежащий.

Когда мы только начали строить этот наш дом, когда разбивали старый, крохкий от частых наводнений фундамент (дом-то стоит у реки), сын Данька вдруг нашел огромный ключ. С резной головкой и полустертым клеймом с латинскими буквами. Видимо, ключ принадлежал владельцам разрушенного в свое время большой водой дома. Он, этот удивительный ключ, хранится сейчас у нас в шкапулке в книжном шкафу. Правильно это или неправильно, но мы храним его для того, чтобы бывшие владельцы этого ключа или, может быть, их потомки, смогли вернуться в свой дом — дом — в широком, очень широком понятии этого слова.

Наш маленький городок, которому уже около 600 лет, издавна был еврейским местечком. Как и откуда сюда, в Бессарабию попали евреи, неизвестно. Кто-то из стариков говорил, что они пришли из Европы, откуда-то из Испании, когда на евреев там начались гонения. Уходя из родных мест, часто в спешке собирая самое необходимое, они обязательно брали с собой ключ от входной двери своего дома. От какого дома хранится у нас ключ, завернутый в холст, так и не довелось нам узнать. И я, помню, даже хотела дать объявление в интернете, написать куда-нибудь, сообщить, успокоить, что мы, жители нового дома у реки Ракитнянки, построенного на месте старого, австрийского особняка, на обрыве, недалеко от старинного горбатого моста, нашли ключ. Откликнитесь — хотела я написать — владельцы старинного испанского, по всей видимости, ключа, и будьте уверены — он есть, он в безопасности. Вы можете забрать свою реликвию и обрести то, что он для вас символизирует. Но кому уже писать, кто прочтет? Конец света же! Или нет? Или я просто дура?

— Ээй... — тихо позвала я мужа и легонько потрясла за плечо, — ээй! Ты что, спишь? Ведь конец света, что же ты спишь?

— Ммм? — резко отозвался из своей глубины муж, — А?!

— Вот скажи мне, я — дура?

— Дура. Дура. Спи.

Дуууура. Да. Конец света, а я такая дура. Ключ не отдала. Думала, еще есть время, на мой век хватит. А вот и не хватило. Теперь все — не успела.

Когда сюда пришли румынские фашисты, всех евреев нашего городка собрали в одном месте, на сборном пункте, как объявляли тут же появившиеся полицаи из местных. Всех отвели в рощу у реки Прут, отобрали взятые с собой вещи и расстреляли. А кто не подчинился и не пришел на сборный пункт, тех искали в городе, приходили прямо домой...

Неожиданно к удивлению жителей нашего городка, где все друг друга знали, появились осведомители из местных. Они помогали, с готовностью указывали дома, где жили еврейские семьи и родные тех, кто воевал на стороне Советской Армии.

Со мной иногда происходит одна странность. Я вдруг понимаю, осознаю, что это, о чем я лохматая и растерянная, тупо глядя в темноту, в данный момент думаю, это не далекая история, которую мы формально изучали на уроках в школе, а что это касается лично меня и совсем рядом. Что это происходило недавно, вчера, происходило с людьми, жившими здесь, в этом маленьком квартале у реки Ракитнянки, недалеко от старинного горбатого моста, людьми, которые еще могли бы встретиться мне на улицах, и что я и есть часть всех этих событий и моя собственная жизнь — просто продолжение этой истории...

Вот Бояны. Такое живописное село по соседству. Мы ездим через это село в Черновцы и обратно. Ездим и ездим. Пять минут на машине. Красивое, богатое село. Люди трудолюбивые, старательные. Дома-дворцы. Лужайки. Бассейны. Большие торгово-развлекательные центры. Ничем не удивишь. Европа, практически. И вдруг однажды сын мой, тогда еще маленький, задал неожиданный вопрос, мама, а где здесь каменный солдат? почему в этом селе, как в других, нет памятника погибшим на войне односельчанам?

Так ведь принято было. Памятник. На нем список. Чтобы девятого мая придти, положить цветы... Чтобы почетный караул. Чтобы ветеранам было где собраться, вспомнить, помянуть. Чтобы дети, внуки знали историю семьи...

И вдруг в селе Бояны такого памятника не оказалось. В таких случаях я ничего не оставляю на потом. Если мне непонятно, я обязательно спрошу. Что я буду гадать, правильно? Словом, я сразу заехала в сельсовет и спросила прямо, где памятник.

Оказалось страшное — село, такое мирное, цветущее, где мы часто бываем в развлекательном центре или в пиццерии или на ипподроме — я же говорила, что село очень богатое — это знакомое своими дорогами, местами и людьми село воевало на стороне фашистской Румынии.

Там, в центре, равнин жил. Семь дочерей. Как было принято, помогал всем: соседям, знакомым, да и всем, кто приходил или в синагогу, или прямо к нему домой, всем, кто просил. Еще румынские войска не вошли, только слухи пошли об их наступлении, а соседи уже закололи всех. Девочек. Раввина. Раббанит. Вилами.

Как понять, как это понять, как понять?...

Мне часто снится сон, что я, в длинном сером платье, в платке поверх длинных черных волос, заплетенных в косу, босая, убегаю от кого-то и прячу у себя чьих-то маленьких детей. Я боюсь, чтобы дети не заплакали от голода или усталости. Чтобы нас не нашли. Я спешно поднимаюсь в убежище по лестнице с хрупкими опасными гнилыми перекладинами, с провалами, открывающими страшную пустую высоту внизу под ногами, почти бегу, прижимая к груди маленького мальчика, держа за руку девочку постарше. А потом стою с ними, с этими детьми у реки, а по зеленому склону, от древней полуразрушенной деревянной мельницы, равнодушно стоящей на вершине холма, уверенно, пружинисто шагая, спускаются люди с повязками на руках обычных поношенных пиджаков, в нечищенных сапогах. И каждый придерживает левой рукой автомат у себя на плече. Они ускоряют шаг, показывая на нас с детьми пальцами. Бежать мне некуда. Последнее, что я вижу —, серый от пыли сапог с опавшим по ноге растресканным голенищем. И в панике я всегда просыпаюсь.

Почему мне снится этот чужой сон? Что в моем доме принимает, как антенна, этот повторяющийся, ужасный заблудившийся в космосе сон? Ключ!

Возможно, мне следовало бы по всем вселенским канонам оплакать тех, кому принадлежал тот, найденный нами старинный ключ? Тех, кто жил там, где сейчас стоит наш дом. И этот кошмар перестал бы мне сниться?

Галина Владимировна Дроздовская, восхитительная женщина, отчаянная модница и кокетка, смешливая, всегда оживленная и радостная. Однажды мы пили чай у нас на работе. И она рассказала о бутылке. Просто так рассказала, без надрыва, без пафоса. Пришлось к слову. Я смотрела на нее и думала, что вот она такое пережила в детстве, что уже неважно, какой она стала, как она жила свою жизнь, хотя она была хорошей и я ее очень любила.

Галина Владимировна, маленькая Галя, дочка железнодорожника, дружила с одной Фридкой. Ну, девочка такая, Фридка, кудлатая, крикливая, беззаботная. Они вместе ходили в румынскую школу, вместе играли во дворе, Фридкина мама угощала детей Дроздовских цикер-лейкех и флудн, а Галина мама пекла и раздавала пирожки и булки Фридкиным многочисленным братьям и сестрам. И однажды почтальон Бадян, проезжал мимо их дома. Он остановил коня, спешился, прошел во двор и сказал Галиной маме: «Мадам Дроздовская, здравствуйте, — сказал почтальон Бадян (церемонный Бадян, предмет насмешек всех детей улицы, он был бывший школьный профессор, то есть учитель, но уже немножко сумасшедший. И при Советах он стал развозить почту. Потому что был грамотный и мог читать адреса на нескольких языках) Он сказал:

— Здравствуйте мадам Дроздовская, писем для вас сегодня я не имею, но имею к вам один хороший совет. Закройте детей в доме на большой и крепкий замок. Или на два замка. Я слышал, что евреев ищут. И Гица Соакра, этот разбойник, лентяй и шулер, водит фашистов по адресам. Уже повязку ему дали, ихнюю фашистскую кепку ему дали, деньги тоже ему дали. И он уже крепко напился и выдает всех, где можно поживиться, мадам Дроздовская, и таких, и других, и всяких, кто ему не нравится. Такие страшные времена. Будут стрелять, мадам Дроздовская, будут стрелять кругом. Чтобы ваши дети под шальные пули не попали, мадам Дроздовская, вы поняли про замок.

Галя услышала все, что сказал почтальон Бадян, схватилась с порога, прошмыгнула под запахнутые в тревоге мамины руки и под ее крики «Галечка, верниисись, убью, Галечкааааа!!! Гаааалечка!!!» помчалась к подруге Фридке предупредить, чтобы тоже закрылись на большой и крепкий замок.

Фридка лежала на салатовой молодой траве и хотела пить. Она скорчилась на боку, поджав под себя босые ноги и хотела пить. Она повторяла, зажимая руками живот, она тихо повторяла звонким и тоненьким голоском как будто чирикала птичка: «Тринькн. Тринькн! Тринькн!!! Тринькн!!!» Галя ахнула и полетела обратно домой, опять прошмыгнула мимо стоящей в тревоге на пороге мамы, схватила бутылку с водой, прозрачную бутылку с узким горлышком...

Галина Владимировна сидела передо мной, ухоженная, холеная, красиво одетая, просто шикарная. Она так долго описывала эту бутылку, показывала, как она ее обхватила пальцами, как несла эту бутылку с водой. Потом я поняла почему. Ей не хотелось рассказывать, что было дальше. И она, видя мое нетерпение, ском-

кала весь свой рассказ до трех коротких предложений. Из которых я узнала, что когда она прибежала туда... Стоп. Не так. Когда она вернулась туда — в тот двор, где в нелепых позах лежали убитые Фридкины старшие братья и мама — когда она принесла эту треклятую бутылку с водой, Фридка уже молчала. Смотрела в небо серым лицом. И все. И Галя стала лить ей аккуратно по чуть-чуть воду в приоткрытый рот. Лила, лила, лила... По чуть-чуть, чтобы Фридка не захлебнулась. Еще лила. Потом Галю оттуда кто-то увел. Кто — она не помнит. Кто-то увел домой, усадил дома на стул, что-то ей говорил. И два дня никто — ни родители, ни соседка, сестра милосердия — не могли разжать Галины пальцы. Лили горячую воду, сделали какой-то сонный укол, но пальцы так и держали вот это вот узкое горлышко бутылки — оно было удобное, его можно было ловко обхватить рукой и кому-то отнести воды, кому надо. Хорошие бутылки тогда были, еще австрийские, очень удобные бутылки. И не очень тяжелые. Такие бутылки для воды из стекла.

На следующий день оставшихся в живых евреев закрыли в подвале синагоги. Никто не разбирался, почему одних уничтожили сразу, других закрыли. Ну не было логики в их поведении, не было! Этих, закрытых в подвале синагоги, было там тридцать семь человек взрослых и две девочки. Пишу буквами: тридцать семь. Тридцать семь синагог по всему миру поставила потом за свою долгую жизнь одна из этих девочек. В ту ночь те самые согнанные в подвал синагоги евреи собрали все золото и серебро, которое было у них с собой и подкупили конвоира. И тот отпустил девочек. Одной было семь лет, второй двенадцать. На следующее утро пленные были расстреляны, небрежно... Земля дышала потом долго, говорили старики. Ходила там земля.

Но к тому времени пальцы Гале разжали.

И вот я с ней разговариваю, с Галиной Владимировной, я с ней разговариваю, и она о чем-то спрашивает, стоя у зеркала и подправляя помаду на губах. А я вижу эту руку, эти пальцы. И думаю, что даже если когда-нибудь она меня огорчит или обидит, если даже очень сильно она меня обидит, я должна ее простить. Поэтому что вот эти пальцы, эта бутылка.

Как понять, как понять...

Один городской сумасшедший, старик Герць... Он сутками бродил по улицам нашего маленького уставшего города, летом и зимой одетый в ужасное с чужого плеча пальто, и бормотал, ворчал что-то неразборчивое, уткнув взгляд свой плывущий в землю, вдруг неожиданно останавливался, речь его становилась все громче, все отчетливей, он рассуждал сначала сам с собой, помахивая рукой. Он поднимал голову, взгляд его становится ясным, пронзительным, отчаянным, и он обращался к кому-то, кто случайно оказывался рядом:

— Ну ладно, взрослые. Ну ладно, дедушка мой и моя бабушка. Ну ладно мой братья, ну ладно все — и тут он вскрикивал истерично и начинал страшно изгибаться и биться всем телом: — Но Ра-е-чку!!!

И потом глаза его опять мутнели, и он падал. Мужчины подбегали и ножом разжимали ему зубы. У него начинался эпилептический припадок. Был конец шестидесятых. Прошло уже более двадцати лет. А он все никак не мог понять.

Я побаивалась его в детстве, такого неприбранного, лохматого, с вывороченными губами, с глазами навывкате. Я часто его встречала и боялась оказаться неподалеку, когда у него начнется приступ: «Ну ладно, взрослые...». Обычно Герць плелся вдоль улицы, бормоча что-то свое, никого не трогая, не задевая. Люди выносили ему поесть или что-то из одежды, он иногда брал, даже не пони-

мая, что ему дают, иногда ронял, не заметив. А иногда на него опять накатывало: ну ладно бабушка. Ну ладно дедушка, ну ладно братья... Но Ра-еч-ку?!

Мы все знали, что когда он воевал на фронте, его родных как семью советского солдата, расстреляли. А Раечке было три года. И это «ладно» — такое смирение, такая жертва — ладно — и непонимание, абсолютное непонимание в этом его зверином крике: «Но Раечку?!»

Не знал, как понять, как все это понять, как понять. Чтобы смириться.

Хороший знакомый, Яков Абрамович Бондарь, журналист, говорил мне, что горел в подбитом танке. И его, тяжело раненного, обгоревшего, спасла литовская женщина. Прятала и от немцев, и от своих. Выходила. А в то самое время, дома, на родине, когда его семью вели на расстрел, его мама незаметно пихнула в толпу зевак на обочине, своего младшего сына. И следом туда же кинула небольшой сверток с серебряными ложками. Ложки взяли. Ребенка вытолкнули назад. В расстрельную колонну.

Мама и папа ездили на открытие памятника расстрелянным Новоселицким евреям. И стояли там, и раввин читал. И потом все молчали. И смотрели себе под ноги. Сбоку от памятника была кучка белых ягод или чего-то там. Вроде как черешня. Потом оказалось, что это новорожденные мышата. И мышь-полевка, не страшась огромной толпы людей, переносила в зубах одну черешенку за другой, одну за другой, бегала и бегала туда-сюда, пока не перенесла их куда-то в безопасную норку.

И все смотрели. И боялись сделать шаг, чтобы не наступить случайно. И шептали: «Осторожно. Осторожно. Пусть уже перенесет их всех. Перенесет — тогда пойдем. Куда спешить. Пусть перенесет».

23.45. Почему в реке рядом с домом не поют лягушки?

Еще вчера пели, квакали, булькали своими голосками, орали хором, разговаривали, ссорились, сплетничали, а влюбленные жабки нежно перекликались:

— Ы.

— О.

— Ы.

— О.

А сегодня все молчат. И совы не пищат над домом, и ежи не шуршат, даже наша собака спит без задних лап, что редко бывает. Обычно она крутится на одном месте, вздыхает, переходит от двери моей спальни к двери детской, цокая по дощатому полу коготками. Громко бухается на пол, ворчит, чмокает, храпит. А сейчас вообще ничего не слышно. И не видно. Какая кромешная, необычайно черная темнота. Ни один контур не вырисовывается. Я чувствую себя маленьким ступком в гигантском пустом пространстве. Знобит. Тишина. Тишина. Тишина. Вот умеет она, эта тишина! Вдруг как заорет беззвучно. Как перекошенное лицо на той картине...

Репродукция у нас висела дома в гостиной. И зачем мама повесила именно эту репродукцию? Она меня ужасно пугала.

Пришел к нам однажды бывший наш сосед дядя Митя Савчук. Хриплый голос, кашляет. Я его всегда побаивалась. А его жену — наоборот. Я помогала купать ее новорожденную дочку Наташу. В маленьком корытце. И кстати, это был самый главный мой опыт в деле купания младенцев. Потом, когда мне надо было впервые купать своего сына, я сделала все точь-в-точь как делала жена дяди Мити Савчука. И даже локотком проверила, насколько горячая вода. Хоть у меня уже был специальный градусник.

Его лицо, дяди Мити Савчука, как будто состояло из одних острых углов — острый нос, острые скулы, острые клоки волос, острые костяшки пальцев. Острые колени, острые плечи. Даже голос был какой-то колочий. И ведь вот же время было тогда: мне лет пять, а я спокойно открыла на стук. Вечером. Не спрашивая, кто там, зачем пришел. Кстати, у меня очень долго была уверенность, что если человек старше меня, значит знает, что делает и поступает всегда правильно. Наш бывший сосед дядя Митя Савчук сказал, здравствуй, а где Боря. Боря — мой папа. А папа был это время на тренировке. И дядя Митя Савчук сказал, что подождет, вошел в гостиную, сел и спросил своим хриплым острым голосом: «Манечка, у вас можно...?» И сказал незнакомое мне слово. И я на всякий случай кивнула. Раз взрослый спрашивает, можно ли, значит, он сам знает, что можно. И он вытащил картонную коробочку, из нее достал папиросу, закурил... Наш папа не курил и я впервые тогда наблюдала всю эту странную церемонию. «Герника» у меня теперь часто ассоциируется именно с неприятным запахом табачного дыма. Меня стало сильно мутить. А еще напротив были эти выразительные некрасивые ужасные кричащие лица. К счастью, быстро пришла мама, зашумела на нашего бывшего соседа дядю Митю Савчука и распахнула окно. Зимой, распахнутое окно — прекрасно! Я так обрадовалась.

Как же я любила, чтобы все было не так как принято. Это такое необычное состояние! Когда у меня случаются подобные диссонансы, я сразу как будто сажусь в машину времени и попадаю в другое десятилетие. И вспоминаю, как радовалась, когда мама зимой вдруг распахивала окна, не форточку, а все окно, очень редко, но так бывало. И как я хватала снег с подоконника. Или когда она неожиданно забирала меня с важных уроков, и не для того, чтобы идти в поликлинику, а чтобы посмотреть хорошее и редкое кино. А как я была счастлива, когда меня больную, с температурой тридцать восемь и два, мама закутала и на такси, потратив на него половину своей зарплаты, повезла в соседний город, потому что там последний день работала выставка японской гравюры. А можно ли забыть, как летом в самую жару мы с сестрой тихонько пробирались на чердак и рассматривали елочные украшения: старинные — еще бабушкины — картонные, покрытые слюдой снежинки, бабочки, стеклянные веселые спиральки, настоящие елочные свечи с прищепками, чтобы держались на ветках, спортсменов в смешных шароварах, сморщенного древнего порося в ветхом одеялке с соской в пяточке из папье-маше и Саламдигу. До сих пор у нас есть такая новогодняя игрушка, ненецкий мальчик по имени Саламдига.

Опять совпадение. Мы с папой украшали елку, папа у нас был всегда главным по украшению елки. Мне иногда казалось, что все же нашему папе нравилось наряжать елку больше чем нам, уже пресыщенным всякими новогодними концертами, спектаклями, праздниками и подарками. Для папы это была очень важная церемония, и она приносила ему много радости. Так вот, мы с папой украшали елку. А в это время по телевизору шел старый, уже тогда, в моем детстве старый мультфильм про ненецких братьев Индигу и Саламдигу, про северную ведьму, про верность и дружбу. Сейчас я понимаю, что довольно страшная и политически перекособоченная была сказка.

И я, застывшая перед экраном, ужасно изумилась тогда, потому что папа как раз достал, чтобы повесить на елку, игрушку в виде ненецкого мальчика, вылитого того брата из мультика в телевизоре, брата, что постарше. И я воскликнула:

— Это же Саламдига!

Так он и остался у нас Саламдигой.

Вот же заносит меня в воспоминания... И ночь какая резиновая, долгая, черная.

О чем я думала? Ах, вот же.

Когда дядя Митя Савчук у нас накурил и мама, размахивая полотенцем, распахнула окна, она стала меня ругать, почему я не сказала дяде Миге, что у нас нельзя *курить*. А я ответила, что не знала, что такое *курить*. И хотя мама велела мне уйти из гостиной в детскую, я все равно успела надышаться холодного воздуха, потому что тут же кинулась собирать с подоконника снег, и у меня разболелось ухо. И оно пульсировало и пульсировало, и со стены на меня все громче и громче кричали страшные лица с картины Пабло Пикассо. И опять все, как это часто бывало в моей жизни, оказалось неслучайным и потом у меня сложилось в единую цепь. И визит нашего бывшего соседа дяди Мити Савчука, который так и не дождался папу, и мое больное ухо, и слово «курить». И сложилось в тот самый момент, когда уже подростком я прочла, что Пикассо был признан самым юным курильщиком в мире. Я прочла, что он родился слабеньким, долго не мог продышаться и закрывать. И доктор закурил и вдохнул ему в нос сигарный дым. Малый закашлялся и сразу задышал. Мы тут смотрели недавно с дочерью альбом его картин. Мы смотрели репродукции и Лина задавала вопросы. И я не успела рассказать ей тогда, какой мальчик Пабло был избалованный, как он таскал в школу ручного голубя, как однажды дорисовал рисунок, заказанный его отцу. И отец, увидев это, отложил карандаши и кисти навсегда. Пабло было тогда всего 13 лет. И еще, я не рассказала Лине тогда, как к Пикассо в мастерскую пришел министр культуры Франции. И Пабло, вытирая кисти, случайно брызнул краской на брюки министру. И стал извиняться и пообещал оплатить чистку. Но министр улыбнулся и сказал:

— Ничего не надо. Поставьте под этим вашу подпись, месье.

Не рассказала. Ну не будить же сейчас дочку, чтобы рассказать... И зачем вот сейчас ей, моей дочери, надо знать о Пикассо, о его голубе, об испачканных краской штанах министра культуры Франции, когда утром?.. Зачем?.. Если этого утра уже может и не быть.

Боже мой, как все теряет смысл. Какая ужасная гнетущая темень. Как теряются во тьме очертания предметов.

У меня близорукость, но еще и астигматизм, я не могу определить размеры предметов, хотя бы приблизительно, не могу видеть параллельных прямых и реальных расстояний. Я всегда считала это достоинством. Кто-то видел просто уличный фонарь, а я — игру праздничных огней, искры и лучи. Кто-то видел неширокую грязную речку, а я безразмерные водные пространства. Кто-то видел слякоть, болото в лесу после дождя, а я — бархатный сплошной тысячецветный переливающийся зеленый ковер. Кто-то видел изуродованного жизнью, испещренного морщинами неопрятного деда, а я — красивого и мудрого старца.

Вот как, например, Нунка Дуда. Кто-то говорил — да ну, старый чумазийцыган-лудильщик, что ты останавливаешься там, у его забора, что у тебя с ним общего, зачем ты с ним разговариваешь. Это его бесчисленное количество детей и внуков, этот его угрюмый взгляд исподлобья — он, наверное, колдун. Да, да! Он точно колдун цыганский, а ты с ним разговариваешь. Ну и что, что на скрипке играет. Цыгане

все играют. Он, наверное, еще и конокрад, он — вор. Он, старый Нунка, когда мимо домов ходит, как зыркнет — аж душа холонет. Ему уж наверное, более ста лет, а он все ходит и ходит в своих постолах, с палкой, а набалдашник в виде орла, дорогой, золоченый. Где взял? Украл, наверное. Ходит да зыркает, ходит да зыркает. Не водись с ним — предупреждают знакомые. Не разговаривай с ним. Сглазит, наврочит.

Как он там сейчас, древний Нунка... Красивый, великодушный Нунка. Знает ли он, что это последняя ночь, или счастливо, ни о чем не ведая, просто спит, тяжело вздыхая, смертельно усталый, молчаливый, красивый и великодушный мудрец Нунка.

Когда началась война, еврейская община нашего городка настаивала, чтобы все евреи выехали, забрали своих детей и в чем есть бежали. Не все послушались, не все. Но те, кто принял решение эвакуироваться, собрали свои драгоценности в мешочки, написали на них свои фамилии и сложили в два небольших металлических ящика. Один спрятали у самого бедного румына, пусть он будет здесь без имени, спрятали, закопав ящик у него во дворе. А второй отнесли в дом к Нунке, тогда молодому, но уже угрюмому нелюдимому молчуну. И жена его, красавица Замфирка, билась и плакала, кричала на него, топала ногами: Нунка, не помогай никому, нам самим тяжело, а то к маме уйду в Закарпатье. Она на последнем сроке беременности была, уж так капризничала, красавица нежная волоокая. Но согласился Нунка взять на хранение ящик. И посулили обоим, и безымянному Самому Бедному Румыну и Нунке награду, если сохранят. И слова с обоих взяли.

Что там было дальше — понятно. Война, неразбериха, паника, ад. Потом русские вошли в город — и оставшиеся в живых опять боялись, уже русских, разное говорили о том, как они ведут себя с людьми на бывших оккупированных территориях. Например, мою свекровь, юную тогда очаровательную пятнадцатилетнюю девочку, арестовали. За что, почему, только потом стало понятно. В доме у них, у Прута, поселился советский офицер, вроде полковник — чемоданы, адъютант, охрана, водитель. Пил весь вечер, а Лизя — так называл ее отец — Лизя с матерью на стол подавали. А гость пил и пил, и глаза наливались красным, веки отекали, и глаз тяжелый маслянистый останавливался на Лизе, ползал по ее фигуре, по лицу, по золотым, сияющим как пшеница волосам. И отец заметил. Он сидел тихо в углу — за стол его не звали — он только сказал тихо — панэ офицер, то ж моя дытынка, доньчка, малэнька ще.

И кто-то из приближенных услышал акцент. А тут и соседи подсобили, доложили русским, мол, Игнасий, отец тойи Лизи, австрияк же. Пришел сюда до войны з самойи Вены. Кто такой, из какой семьи — никому не говорил. Женился он тут быстро и осел у нас в Бессарабии. А с фашистами, товариш командир, он говорил на ихней мове. На немецкой.

Когда мама Лиза, моя свекровь, все это рассказывала — у меня прямо дыхание перехватило — ну как же?! А то, что он людей у себя за домом в подвале прятал, кормил? И немцы ему доверяли только потому, что он говорил с ними на немецком. И людям жизнь спас — этого соседи не рассказали? Мама Лиза только пожалала плечами и вздохнула тяжело:

— Люди такие. Что сделаешь.

Словом, юную Лизию арестовали. Закрыли в комнате и поставили охрану. А чин все пил и пил. И чем больше пил, тем больше хотелось ему разговаривать — рассказывать о своей жизни. Плакать. Велел Игнасию подсесть к столу, наливал ему — обнимал большой ладонью за шею, иногда вдруг зверел и стучал кулаком по столу, что надо бы его, Игнасия, расстрелять, но дочка уж больно хороша, поедет со мной — как решенное дело объявил полковник. А наш дед Игнасий сидел

рядом, молчал, кивал и думал только, как Лизю вытащить, как ее спасти. И думал, что за напасть — одни пришли, всех порезали, другие пришли — опять беда, третьи — вообще, не знаешь, как жить. А огород не засеян, потому что нечем. И детей трое. И жить не на что — работы никакой нет. Игнасий ведь мебель делал, стулья венские делал. Такие столы делал резные, шкафы трехстворчатые... Да все делал. Что там! Кому они сейчас были нужны.

И стал Игнасий слушать и вопросы задавать, участвовать, сам подливать гостю незваному. Велел жене принести бутылку припасенную, варварское пойло, к которому местные привычные и от него только веселеют и принимаются петь и танцевать. И наконец, свалило полковника, да так, что слово не договорил, уронил голову на стол и захрапел. Игнасий бегом позвал солдат, которые Лизю охраняли, закричал, вашему начальнику плохо, уложите его. Те сдуру кинулись, так Игнасий ту комнату большую, где полковник сидел — каса мааре — в каждой хате была такая комната, для гостей, — вот, каса мааре он и запер. А пока солдаты полковника перекладывали на лавку, пока двери выбивали, вся семья исчезла. Ушли все — и отец с матерью, дети и сокровище ясное — Лизя. Говорили соседи — сильно буйствовал на рассвете полковник, кричал и бранился так, что собаки во всей округе подняли лай, посуду расколотил, стулья кидал и свирепел от того, что невозможно было их сломать игнасиевы эти стулья, такие крепкие, и ногой только выбил с петьель резную дверцу шкафа, Лизино приданое.

Спрятал их тогда всех у себя Нунка-цыган со своей красавицей Замфирой.

Через много-много лет — это было пожалуй, уже в середине шестидесятых, приехал в город импозантный человек, по нездешнему нарядно одетый в светлый пиджак и шляпу. И замечено было, что опирался он на очень красивую палку-трость. А на палке золоченый был набалдашник в виде пшцы.

Сначала он направился к тому Самому Бедному Румыну. На том месте, где была старая перекошенная хата, стоял огромный дом, рядом — домик поменьше, но тоже ладный, свежий, новенький. Никого не оказалось ни в доме, ни во дворе. И любопытная благодушная соседка с козой не без удовольствия поделилась, что нет давно здесь безымянного бедного румына. Да и какой же он бедняк? Правда, детей так он и не нажил, но зато племянник его выучился на зубного техника — вон — кивнула женщина на дом поменьше — там он и зубы людям справлял. Свистел все время. Как пациента в кресло посадит, так насвистывать начинает. Ему говорят, не свисти, денег не будет. А он только посмеивается.

И забрали их в милицию. Не знаю, почему, не знаю, за что. Соседка повела глазами вверх и влево — знала она прекрасно, за что. И тут же доложила, понизив голос, что попались они на каком-то золоте. И торжествующе добавила:

— А то, что «Победу» им какой-то дядя подарил из Румынии, так то — брехня! Они сами купили. «Победу»! Наворовали в войну и купили! — торжествующе добавила тетка и пошла себе, мотая широченной юбкой. Коза тоже ликующе посмотрела на растерянного незнакомца и весело потрусила вслед за своей хозяйкой.

Тогда озадаченный незнакомец направился в цыганский квартал — он в нашем городе за мостом. Так и называется Цыганский мост. Во дворе Нунки все было по-прежнему, так же, как много лет назад, когда приходили к нему во двор перед приходом фашистов торопящиеся испуганные люди, прятать металлический ящик.

Нунка не подымая глаз, сказал:

— Приходи через три дня.

Через три дня человек в светлом пиджаке, опираясь на палку с золоченым набалдашником, опять перешел цыганский мост. Нунка вынес на порог металлический ящик. Его с трудом открыли. Из щелей ящика посыпалась земляная пыль. Там в полной сохранности лежали все мешочки, свертки, пакетики, все записки и надписи были на месте.

Больше ничего я о них не знаю. Об этом незнакомце, о том, отблагодарил ли незнакомец Нунку за честность. Только знаю, что у Нунки — говорят — есть палка волшебная, нездешняя с набалдашником в виде птицы. Вот не будешь слушаться, — пугают детей — Нунка взмахнет палкой, станет невидимым и тебя уведет. И утащит за Цыганский мост.

А внук Нунки Маркиян живет теперь в Кишиневе, работает в национальном оркестре. Тоже ведь спит сейчас, красавец, умница.

Тут однажды знаменитый музыкант приезжал из Санкт-Петербурга, руководитель одного известного оркестра, саксофонист, ну допустим. И наши музыканты ему сказали: эй, слышите, а хотите узнать, как надо по-настоящему на саксофоне играть, э. И этот известный музыкант посмеялся такому нахальству и сказал: — Пхе! Ну-ну...

И ему тоже ответили: — А... Ну-ну? Ну-ну, ага!

И повезли его на молдавско-цыганскую свадьбу в глухое село. Так этот вот знаменитый музыкант, руководитель всемирно известного оркестра, чуть дуба не врезал, когда юный Маркиян, полусонный, лениво взял саксофон, легонько лизнул клювастый мундштук и сходу, не разыгрываясь, начал играть. Да так, что на четвертьтонах каждый звук как горошинка перекатывался. То страстно, пылко, горячо, то печально и ласково звучал его инструмент, то дробно и весело. Играл он как будто даже нехотя, с непроницаемым туповатым сонным выражением лица. И как зарядил вдруг сырбу, танец национальный, темп такой бешеный — этот самый известный музыкант пальцами едва успевал на коленке перебирать растеряно, глаза выпучил и только повторял завистливо:

— Откууда?! Такое стакато, такое глissандо, а фруллато — где научился этому фруллато?! Где?!

Маркиян смущался, пожимал плечом и бормотал, та нигде, я ж ото взяв ее та й стал грать.

— Кого «ее»?! — спрашивал знаменитый музыкант.

— Та ж, кого—кого. Та ж отэту музыку, — опять смущенно ежился Маркиян, кивая на старенький саксофон.

И на самом деле — так он играл! Так, что на одном инструменте — да три голоса — так играл, что знаменитый музыкант тогда — ну-ну, да. И напился и поклялся, что больше никогда к инструменту не притронется. Почти как папа великого художника Пабло Пикассо. Никогда. Но если одновременно расстроенный и обрадованный талантом сына папаша Пикассо дал обещание в добром уме и трезвой памяти, и выполнил его, то знаменитый музыкант — наоборот. Поэтому, когда отошел от потрясения, стал играть дальше. Только иногда, в полную луну, как принято у музыкантов и поэтов, становится ему не по себе и вспоминает он волшебную игру Маркияна, и размышляет он, что делает не совсем свое дело, а надо было идти на завод токарем. Или даже слесарем. Такое вот впечатление произвела на него игра Маркияна, внука цыгана Нунки-лудильщика-скрипача.

И это — представить только! — Маркиян еще тогда нот не знал совсем. Это уже потом в музучилище, куда его взяли в виде исключения за талант, до него долго

доходило и с большим трудом дошло, что ту самую сиду, что плещется в его душе, оказывается, можно записать точками и крючками на полосатой бумаге.

Теперь он известный бессарабский саксофонист. Весь мир объездил. Когда он изредка приезжает домой, старый Нунка долго моется в своей ванне за домом, надевает новую рубашку, застегивает ее до горла, начищает сапоги и достает скрипочку. И никакого шумного застолья, сидят они по-семейному, играют. А вся улица у Цыганского мостика замирает — слушает.

Как он там сейчас, Нунка... Спит ли. Или курит старую свою черную трубку. И Цыганский мостик, таинственный и крепкий, выдавший разные времена, почти не отражается в полночной черной ледяной воде.

00.20. Друзья мои, друзья ненаглядные.

Светка с Сергеем в своей подводной лодке. Мои любимые Карташова! Как же они? Знают ли? Позвонить, что ли? У Сережи всегда включен телефон — он врач-кардиолог. Ну жалко будить. А вдруг не сейчас? Вдруг еще не сейчас. Пусть поспят спокойно. Сережка спит ужасно, Света жалуется. Орет во сне:

— Капельницу! Нигро! Быстро!

У них дверь обита дерматинном, в который когда-то были упакованы игральные автоматы. Какими-то неведомыми путями бесхозный дерматин попал к Карташовым в дом. Они обили этим дермангином входные двери. И снаружи, и изнутри. На двери оказалась надпись от игрового автомата: «Подводная лодка»

Когда к ним собираются друзья, Света с Сергеем задривают люки и лодка ложится на дно — отдыхаем, выпиваем, и много разговариваем.

Наташка Карташова. Достойная дочь своего отца, веселая, искренняя. Ответственная и доброжелательная — достойная дочь своей мамы. Света рассказывала, как первый и второй классы школы Наташка проучилась в Норильске, где Карташова работали. Таинственное место этот Норильск. Дорог нет вообще никаких, кроме воздушных. Если нелетная погода — все, город отрезан от мира. Славится как самый загрязненный город в мире из-за горнодобывающего и металлообрабатывающего комбината, который построили заключенные ГУЛАГа. Норильск, да. Однажды там вдруг случилась авария отопительной системы. Не в отдельно взятом районе, а во всем городе. Светка бежала на работу и смотрела на светящиеся циферки на почтамте — температура воздуха — 40, — 45. Дома грелись у жалких электрообогревателей. А прогрессивное советское телевидение сообщало каждый вечер в программе «Время», что ремонтные работы подходят к концу, температура воздуха — 20.

Жили Света и Сергей тогда в гостинице для приезжих врачей и с номерами для медицинских светил, которые приезжали в Норильск изучать экологию и писать научные работы. Однажды Наташка из школы пришла опухшая от слез, с двойкой по природоведению. Каким нелепым кажется сейчас в ожидании вселенской катастрофы тот злополучный Дневник природы. Наташка забыла о нем и не заполняла чуть ли не два месяца. Вообще я не знакома ни с одним человеком, который перед выходом в школу смотрит в окно, измеряет температуру воздуха и аккуратно рисует цветные значки в Дневник природы. Ну не знаю. Я и сама в детстве рисовала туда кружки, солнышки и тучки как Бог на душу положит, раз в четверть. Что вспомню, что совру. Вот и Наташка так же. А учительница их первая оказалась угрюмая зануда, экология Норильска, конечно, сказывалась. И эта учительница все дневники сверяла по своему собственному, который действительно старательно вела. И на черта было

нужно, рисовать эти кружочки, до сих пор понять не могу. Короче, проверив дневники, педагог ужаснулась, объясняя детям уровень их морального падения, походила по рядам, этого показалось ей мало и она для начала выставила всех «лгунов и правонарушителей» к доске. И Наташку тоже. И Наташка там стояла со всеми двоичниками и хулиганами. А потом, справедливая и суровая училка, в праведном гневе нарисовала именно в Наташкином дневнике большую изгибистую ехидную «двойку».

— У-у-у! — горько выла девочка, по-старушечьи раскачиваясь на стуле и заламывая руки. Это было первое горе в ее маленькой жизни, она даже «четверки» ни разу не приносила. А тут «двойка». На рыдания единственного в общежитии и всеми любимого ребенка собрались соседи. Начался редкостный по своему качественному составу консилиум: доктора наук и профессора совещались, как успокоить безутешно рыдающую кроху и заполнить злополучный дневник природы. Стали вспоминать, какая погода была в течение месяца. Дамы, мысленно перебирали гардероб, вспоминали, что именно надевали по утрам, идя в клинику, и что особенного надевали другие дамы.

— Ну что вы такое говорите, Евдокия Вениаминовна! Какой снег! Не было тогда снега! Смикуровская в своей шиншилле пришла. Вы что, не помните? А если бы снег пошел, она ни за что бы шубу не надела. Когда снег идет — она в дубленке является. А заметили, как полнит она ее. Вот вам бы она очень пошла, эта дубленка Смикуровской, а ее полнит.

Психиатр Дмитрий Андреевич, припоминал поведение своих больных, чутко реагирующих на изменения погоды, и чертил розы ветров:

— Юрик поэму читал свою безразмерную о Летучем Голландце, «бубу-бубу-бу...» Значит, менялась температура. А старушка Четверкина не курила уже неделю, сигареты не просила — значит, точно потепшело.

Мужчины пошли правильным путем — разыскали газету с графиком футбольных матчей на Чемпионате мира, который транслировали по телевидению:

— Помните, Виктор Петрович, когда Ярцев забил второй гол, помните, на экране-то заснежило. Точно, заснежило. Значит, что? Ветер у нас был западный и повернул антенну.

Мудрее всех поступила профессорша, курящая по фронтовой привычке термоядерные папиросы.

— Блаженна глупость! — воскликнула она, имея в виду то ли поступок Наташки, то ли ее учительницы, то ли захватывающие дискуссии коллег. Низким хриплым голосом она произнесла, снижительно глядявая добровольных вняк обоих полов:

— Спокойно, коллеги! У меня есть связи в мэтроцентре. Сейчас мы туда позвоним и запишем в этот дурацкий дневник все государственные секреты. Не хлопайте, барышня! Ну-ка, вытирайте ваш нос и все пойдемте ко мне чай пить. Уважьте старуху.

Где она, эта профессорша? Вот закурила бы она свою папиросину и сказала: «Спокойно, коллеги!», сослалась бы на связи в Божественной канцелярии, остановила бы неизбежное, неумолимое, снова выручив свою любимую барышню Наташку. А заодно ее родителей. А заодно и всех остальных.

Жаль, что я не курю. Покурила бы сейчас. Сигаретка между указательным и безымянным пальчиками, рука на локотке... Ффу. Курящие женщины того, нет ТОГО времени очень отличаются от курящих женщин этого.

Вот Берточка. Берта Иосифовна.

Она начала курить в эвакуации, потому что хотелось есть. И преподавала русскую словесность в Одесском военном музыкальном училище, эвакуированном в Ташкент. А по вечерам Берточка подрабатывала в вечерней школе. Там доучивались проходящие реабилитацию после тяжелых ранений офицеры, которые не успели окончить школы до войны. Некоторые учились плохо, уроки пропускали, домашних заданий не делали. И Берта однажды возмутилась и вызвала в школу родителей самых злостных прогульщиков и двоечников. Папу майора Островцева и папу капитана Кацмана. Пришли папы. Очень пожилой высокий широкоплечий генерал в отставке Островцев, отец майора Островцева и шуплый маленький дантист, очень старенький доктор Кацман, отец капитана Кацмана. Берта, миниатюрная тоненькая, юная, испугалась, что же ей теперь делать. Но оба родителя одинаково виновато опустили головы и на робкие замечания испуганной Берты пообещали, что дети, их сыновья, поменяют отношение к учебе. И сыновья, майор Островцев и капитан Кацман, дали обещание, что никогда *больше так не будут*. И действительно, перестали прогуливать и учиться стали довольно сносно. Берта рассказывала, что до конца жизни простить себе не могла такой своей, как она говорила, наглости — вызвать двух занятых людей, отцов двух раненых офицеров, в школу.

Все ее ученики и студенты были старше нее, и она иногда их страшно боялась, поэтому была очень строгой. Представляю себе, как весь класс замирал, когда Берта начинала рассказывать... А уж если она читала стихи! Много, думаю, было разбито сердец из-за нежной стройной высоколобой юной учительницы. И скорей всего, волочилась за ней чуть ли не вся школа и все училище во главе с преподавателями разных возрастных категорий.

Берта и ее мама приехали в Ташкент ночью, с наспех собранными чемоданами. Они вышли из теплушки, встали в привокзальном зале, оглянулись: ни сесть, ни даже удобно постоять, чтобы переждать до утра было негде. Повсюду сидели, лежали и спали смертельно уставшие люди. Шныряли туда-сюда грязные подозрительные паренки, легкие, гибкие, быстрые и неуловимые как хорьки.

Вдруг к растеряно озирающимся Берте и ее маме подошел громадный человек абсолютно бандитского вида, просто гигант и разбойник, легко подхватил их чемоданы и буркнул, мол пошли со мной. Ступая широко и уверенно, он почти бегом вышел из зала и, как рассказывала Берточка, исчез в ночи. Ничего не оставалось, как бежать следом — в чемоданах лежали самые необходимые вещи, хотя возникли сомнения, получат ли они их обратно. И они трусили за незнакомцем, еле поспевая и задыхаясь. Большой человек привел их в дом на окраине Ташкента, аккуратно постучал во двор, залаяла собака, и все завертелось быстро, как будто кто-то руководил их жизнью сверху. Женщинам дали отдельную маленькую комнату, хотя в то время с жильем в Ташкенте было уже очень туго, люди с детьми снимали углы — по две семьи в одной комнате. Берта с мамой даже не поняли, как это все произошло и за что такое доброе отношение к ним незнакомому, сомнительного вида, человека. Переночевали на полу. Утром их благородный разбойник, опять такой же хмурый и озабоченный, вернулся и принес им два солдатских грубых серых одеяла. Натэ, — вручил и пошел.

Мама Берты ему вслед, этому угрюмому дядьке, что мол, как же вас благодарить, у нас и денег-то нету, как же мы... А тот буркнул что-то, отмахнулся и опять исчез.

Нет, денег у них с собой сначала было чуть-чуть. Но все вышли. Ездили долго. Сначала они попали в Челябинск. Привез их туда поезд-товарняк. Из Челябинска добирались на юг. Понятно же — никто не знал, когда окончится война. А на юге тепло круглый год. Все стремились в Ташкент. Поезд ехал на юг, но какими-то путями неизведанными попал в Харьков. В Харькове поезд стоял сутки. Люди кинулись искать еду. Берта и ее мама тоже пошли искать еду. Зашли в магазин. Там было абсолютно пусто, но в витрине лежали шипчики для сахара. Много шипчиков для сахара. И все. Больше ничего. И мама сказала, Берта, но ведь рано или поздно нам надо будет чем-то колоть сахар. А ведь нечем. Берта легко согласилась. И они купили шипчики для сахара. Долго эти шипчики потом лежали без дела. Берта писала своему другу на фронт: «Ташкент. Здесь одни тупики. И хлеб называется «нон».

«Нон» — означало «нет».

Я вот что думаю... Есть на земле такие особенные светлые люди. И хочешь-не хочешь, а если ты человек, ты должен им помочь. Ты просто чувствуешь — надо сделать, надо дать, надо спасти, надо вылечить. Как-то их видно, этих людей. По свету вокруг головы, что ли.

Разбойник этот еще несколько раз появлялся. В те моменты, когда было совсем плохо. Бесшумно появлялся, помогал, ничего за это не требуя. Приносил, добывал, чинил. И тихо исчезал. А потом вообще исчез.

Странно, что вспоминается важное и неважное. Почему я подробно помню детали чужой жизни. Почему я вдруг вспомнила этого разбойника, который помог выжить маминной учительнице Берте Иосифовне. Берточкина мама поехала в эвакуацию в элегантном коричневом костюмчике с кротовым воротничком. Она купила в Ташкенте себе стеганку. То есть, обычную фуфайку. По каким-то там карточкам. И Берта сказала:

— А мне? Я тоже такую стеганку хочу. На работу ходить.

И мама ее сказала как отрезала: пока я жива, ты стеганку носить не будешь.

Берта ходила на работу голодная, прозрачная, но в элегантном пальто, в котором и поехала в эвакуацию.

И местные называли ее и таких как она, приезжих эвакуированных молодых женщин «русская джалаб». Берта горько смеялась, что русской она были только раз — когда тяжело жила в Ташкенте.

Сначала она устроилась в обычную школу преподавать русский язык и литературу. Но вся учеба сводилась к уборке хлопка — ее посылали с девочками на поля. И там работающие узбеки принимали ее за ученицу и спрашивали, где их учитель. Потом уже Берту позвали в военное училище заменять учителя литературы, уехавшего на фронт.

— Фархат, скрути! — просила Берта смешливого завхоза, который топил в училище печку в холодное время года. Тот отрезал от предложенного листка квадратик, аккуратно сыпал туда измельченный табак, зализывал край и с почтением отдавал Берте. И Берта курила. Чтобы заглушить голод.

Ужасный, ужасный голод был.

Моя любимая тётечка, совсем маленькая тогда еще, тоже жила в Узбекистане в эвакуации со старшей сестрой Соней, братиком Мишенькой и мамой.

Они тоже теплушками добрались до Ташкента, а потом пешком пришли в аул. Мама Мишки, Фаинки и Сони стала работать на хлопковом поле. В полуденную жару, когда все отдыхали в тени, она и еще одна такая же мужественная а идише мама, преодолевая пять и больше километров, бежали домой, чтобы принести детям котелок казенного плова.

Маленький Мишенька начал ходить. У него были кривые ножки и большой живот. Понятно же, из-за рахита. Вместо панамки или тубетейки он носил на голове алюминиевую мисочку. Да-да, обычную старую, покарябанную и помятую мисочку. Утром Мишка вставал с тюфячка и в одной рубашке, босиком, начинал обход соседей. Он бесстрашно ковлял мимо злобных худых собак туда, где пахло едой. Подходил к очагу во дворе, обеими ручками снимал с головы миску, и молча держал перед собой. Ему накладывали туда нехитрой еды, молча, не спрашивая, чей он, откуда, какой национальности. Мишка там же вылизывал мисочку, снова надевал ее на голову и топал дальше. Так он выжил.

А у его сестры, моей любимой тёточки, семилетней тогда Фаинки, случилась страшная болезнь юга, малярия. Фаинка лежала весь день во дворе на курпаче и ее трусило от холода. В сорокоградусную жару она была завалена всем тряпьем, что было в доме. Однажды во двор по каким-то делам заглянула старая узбечка и увидела синюю умирающую девочку, все поняла, молча подняла Фаинку и, помогая ей, слабенькой двумя руками, повела за собой. Фаинка чувствовала себя так плохо, что ей было все равно. Проходя по мосткам над арыком, узбечка вдруг отпустила руки и резко столкнула Фаинку в ледяную воду. Потом быстро помогла девочке вылезти. С того дня Фаинку больше не трясло. Эта узбекская старуха, которая по-русски даже слово «спасибо» не понимала, приходила потом опять, приносила еду и горькие травы для Фаинки, знаками показывала, как растолочь, как пить. Кто она была, эта женщина с чужим языком, чужой религией, спросить не у кого.

А в это время отец Фаины, Сони и Мишки лежал в госпитале, с тяжелым ранением в затылок. Его чудом спасли военные полевые хирурги. И вот странное дело. Когда и Фаинка, и Миша, и старшая сестра Соня уехали с детьми и внуками в Австралию, у Сониного сына вдруг рождается ребеночек без кожи на затылке. Доношенный, здоровый ребеночек. Но кожи на затылке не было. И пока ждали операции, Соня съездила к одной аборигенке, дикой, косматой, и, как там говорили, могущественной. Та, поводи́ла рукой над мальчиком и забормотала себе что-то под нос хриплым каркающим голосом. Внук аборигенки перевел, что кто-то из предков на войне был ранен в голову. В затылок.

И Фаинка, когда все это нам рассказывала, руками развела:

— Вот и не верь теперь... Она, эта старуха и про нас, и про Советский Союз, и про войну вторую мировую и слыхом не слыхивала. Вот и не верь.

Кстати, мальчик получился добрый, нежный, сердечный. Точно как тот, вроде бы такой обычный, такой привычный, такой героический его прадедушка.

Боже мой, да разве только он.

01.07. Тишина не бывает абсолютной.

Или бывает? Ну вот — тихо. Но я же слышу чьи-то голоса, я же слышу вздохи, музыку, крик и чужие мысли. Они мне кажутся или я на самом деле их слышу?

Вот кто-то подумал:

— *Наверное, режутся зубки.*

Или другой кто-то подумал:

— *Виолончель — это бабушка скрипки. У нее такой благородный голос. Она возвышенная старуха. Такая полная, в цепце...*

— *Наверное, выберут Козулькина. У Козулькина связи... Надо купить новый костюм. В новом костюме может и получится. Или не надо новый костюм? Скажут, нарядился, а не выбрали... Утром спрошу у Нели.*

Я это на самом деле слышу?! Эти мысли. Они летают бесхозные. Но те, к кому они обращены, сейчас спят. Поэтому я, “sleepless” в моем городе, перехватываю и улавливаю их. Мысли...

— *Гооссподи, господи... Где ж его носит. Опять ждать и ждать. Сколько можно ждать. Устала ждать. Не могу больше ждать. Не хочу больше ждать. Как бы научиться засыпать? Господи-господи, спаси его и сохрани, такого бессовестного, безответственного...*

— *Чайный гриб. Лежит в банке. Толстеет. Растет. Он ведь почти как корова. Только корова дает молоко. А чайный гриб что дает? Ага, чайный гриб дает чай. Значит, чайный гриб должен иметь имя. Как корова. Или как коза. Чайный гриб Нюра. Я тебя так буду звать.*

— *... и теорема верна для всех простых n , меньших 100, за возможным исключением так называемых иррегулярных чисел 37, 59, 67. Нет, я определено, не дурак! Определено!*

Вот какие мудрые мысли витают сами по себе, когда почти все спят. Или совсем-совсем сонное дремотное, спутанное:

— *Вот бы завтра.... горло... мама руку... на лоб... я... не иду в школу... мне нельзя... лежу... разрешать... дуре... темне... ма...*

Ооо, дружок. Спи-спи пока. Ты даже не представляешь, что завтра школу твою могут отменить навсегда. И не директор школы. И не твоя ангина. А высшие, самые высшие силы.

— *Как страшно, как одиноко.*

Да-да! Страшно. Одиноко! Да. Кто ты? Кто?! Тишина. Ой. Так это же я! Это ведь мне страшно и одиноко.

Есть же люди, для которых одиночество — это часть жизни. Есть такие, смиренные, безропотные.

Вот, бабНата. То есть, Ната. Жена маминого брата она. Ну совсем домашняя добрая тихая женщина. Очень милая. Очень смешная. Интересная.

Однажды пришла домой оживленная, глаза горят, говорит, мол, надо мне кого-то завести. То ли собачку, то ли кошечку, то ли кого. Что же это я все одна да одна.

— С чего это ты вдруг? — спросила ее соседка бабШура.

— А вон, — Ната ей, — на ярмарке на продуктовой, иду значит, вижу — мужичок.

— И чего?! — игриво повела Шура глазами, — заведешь себе мужичка?

— Ну, Шууура, — смутилась Ната, — сдурела вообще, Шура?! — Ната даже покраснела.

— Женщина, она и в семьдесят лет женщина! — провозгласила Шура, — ну? И чо?

— А ничо. Маленький такой, обычный, тощий. И озорной, знаешь, хохолок над глазами. А глаза-то бессмысленные. И весь потный и встрепанный.

— А причем тут котик или собачка, Ната? — нетерпеливая Шура

— Так он же ж петушка нес. Такой замороженный петушок, такой худой. И с таким же мятым хохолком. Как, значит, у мужичка. Вернее, гребешком. Они, зна-

ешь, были очень похожие. Вроде как петух у мужичка не для еды, а вроде как его друг. Мужичок его вверх головой за лапки на руке держит. Как букет. Ну он же с похмелья, мужичонка тот. И петушок как этот, циркач, балансирует крыльями и головой, шею вытягивает, чтобы не перевернуться. Я ему говорю, ты мужичок, чего это? Ты петушка-то под пузико возьми. Ему ж так сподручней будет.

А они, — ой, не могу! — они за пивом стали. В очередь. Ну эти, мужичонка и петушок. Так что — взял он два бокала...

— Кто?!

— Дак мужик-то! Ну не петушок же. И значит, он плеснул в свой бокал чего-то из чекушечки. А петуху так дал. Без водки.

— Что дал?

— Пива бокал, ну. А что? Поставил петушка на стол. Накрошил ему хлеб-бушка. И ты подумай, петух стал клевать, клевать и — слышь! — тыркать клювом в пиво и голову назад закидывать. Видала такое? Видала? А? А?

— Ну вааобще... — покачала Шура головой.

— Ага. И они так дружно там напились! И обнялись! И пошли себе потом согласно. Наверно, домой.

— Кто обнялся дружно? — совсем Шура непонятливая потеряла нить рассказа Натиного.

— Дак, говорю же тебе. Мужик и петушок! Эти двое! Понимаешь? И я вот думаю, а придут домой. Вдвоем. Лягут там спать. Петушок у его в ногах, у мужичка, тепленький... Живая душа рядом всётки...

— Ну дааа... Я б этого алкаша и не заметила. Ну, если была б одна, тогда, может, и...

Вот подлая Шура! Я сколько раз говорила тете своей: Ната, не дружи с ней! Шура такая коварная! А Ната возражала мягко, ну так что — зато она верная.

Подлая верная коварная подруга.

Шура ведь попала в их общую старость из Киевской семьивоенного офицера, из дома с блеском хрустала, крахмальных скатертей и изысканных праздничных столов. Но прошла война. Они с мужем встретились аккурат в начале мая. Вот счастье какое! Шурин муж приехал измученный, раненный, но живой. Долго он, уже и после семидесяти лет, работал где-то дневным охранником. Когда он вечерами шел домой, Шура, видя как Ната сиротливо жметя на лавочке во дворе, выбегала к мужу навстречу в двух своих извечных полотенцах, вот же Шура! — одно на голове повязано от головной боли, второе на животе как фартук — и кидалась ему на грудь с такой радостью, с такой страстью, как будто нашла своего мужа вот только что, только сейчас, только сегодня через Красный Крест. Вот. Ну а моей тете Нате, конечно же, было больно на это смотреть. Шура ведь и не притворялась совсем. Рядом с мужем Шура чувствовала ежесекундное счастье. Свежее, как только что сорванный бутон. Ей ведь несказанно повезло. И как-то однажды, выпив наливочки из синего бутыля с подоконника, Шура пыталась объяснить это длящееся чувство счастья.

Но Ната не поняла.

Иногда и Ната, конечно, испытывала радость. Когда приходила дочка с детьми, когда мы с родителями приезжали, сустилась, говорила: вот так радость, вот так радость. Но счастье — это было чувство из прошлого, забытое как вкус довоенных слипшихся карамелек-подушечек в ее нищем детстве. Она знала только печаль. И тут даже не помогали дорогие импортные таблетки. Про-лон-ги-рова-ные. Как Шурино счастье.

В каждом человеке живут разные чувства, но одно обязательно доминирует над всеми другими, которые приходят и уходят. Оно и ведет человека за руку по жизни, руководит действиями и решениями, существует в его мыслях и снах, и к старости создает выражение лица. Как скульптор, но изнутри. Ната за свою долгую трудную жизнь научилась по выражению лиц распознавать людей. Мужичка с пухом, например, вела по жизни доброта, одиночество и любовь к водке. А в Нате жила печаль. Иногда она шевелилась и не давала дышать. Однажды осенним вечером печаль так широко развернулась в груди, что Ната задохнулась. Ее забрали в больницу и поставили диагноз — инфаркт. Но Ната знала, что это печаль выросла как дрожжевое тесто и заняла внутри нее все жизненное пространство. Врач сказал, что после инфаркта на сердце останется рубец, который будет болеть. Значит, печаль — это рубец после горя. И, естественно, он болит. Болит, давая часто обострение.

Натина дорога в их с Шурой, общий, на две семьи дом, начиналась в лесном хуторе, в Башкирии, откуда опекуны отправили ее, сироту, к родственникам в Мелеуз, наниматься в домработницы. Ей купили настоящие богиночки на шнуровке, очень дорогие, за тринадцать рублей семьдесят пять копеек. Мачеха отдала ей свою плюшевую телогрейку. Почти новую. Это было царевнино приданное для девушки, все лето ходившей босиком, а зиму — в валенках. Наша тетя Ната была наивным, чистым и аккуратным в работе и общении человеком. Хозяева относились к ней хорошо и по воскресеньям отпускали гулять в парк. Там, такие же как и Ната, бывшие хуторянки с румяными тугими щеками, тесно взявшись под руки, накинув на плечи легкие косынки, гуляли по аллеям, разглядывали нарядных людей и покупали мороженое у веселого татарина, с живим интересом наблюдая как он священнодействовал. Тетя Ната подробно рассказывала, как он специальным нехитрым приспособлением обкладывал толстенький кружок мороженого тонкими кружками хрустящих вафель. Дак разве ж сейчас морожено? — с досадой говорила мне тетя Ната. Дак разве ж сейчас вафли? Когда она жила на хуторе, лакомством были кусочки жмыха. А потом она попробовала мороженого. Конечно, сейчас мороженое *не то*.

Однажды весь наш университет послали в колхоз работать на целый месяц. И там был жмых. Целый грузовик жмыха. А ведь не только Ната, но и моя мама тоже, вспоминая детство, говорила: жмых-жмых. Ну я и решила попробовать. Ужас какой-то. Этот жмых никакое не лакомство. Мусор и все. Ну вот. А Ната в детстве ела этот жмых как лакомство. Десерт. Да какой десерт — ела вместо еды.

Это потом, уже в городе она могла купить себе мороженого, газировку с сиропом. Хвасталась она мне, что однажды набралась смелости, выпросила все подробно у хозяйки, и — ну не с первой зарплаты, а где-то через полгода, когда чуть пообвыклась — пошла в магазин и, робея, приобрела себе пару шелковых чулок и белую “баретку”. Боже! Красота была какая!

А хозяйка ей (Ната смешно называла их «хозява»)… Так ее «хозява» уже давно говорили ей: — Настасья (на самом-то деле Ната была Анастасией), Настасья, чего ты сидишь дома раз у тебя выходной. Иди-ка погуляй немного в парк. Иди-иди. Только смотри там!

А в парке по выходным дням гуляли военные! Ната всех боялась и даже глаз не подымала. Так и ходила с подружкой, такой же дикой хуторянкой, глядели обе себе под ноги да иногда кидали восхищенные и завистливые взгляды на городских девушек, смешливых, разодетых.

Но однажды один неземной красоты капитан, высокий широкоплечий и мужественный, это был мой дядя Миша, старший брат моей мамы, и на самом деле

потрясающий красавец, присел на лавочку, где Ната ждала подругу. Мой дядя Миша был очень хороший, очень воспитанный и очень проникательный. Потому что его воспитывал мой дедушка. А мой дедушка вообще был такой, что надо отдельную о нем книгу писать. Короче, Миша увидел скромную милую и добрую девочку, они разговорились, а подружка, как специально, и не пришла в это воскресенье. И Ната буквально не могла продохнуть от навалившегося счастья, когда мой дядя капитан Михаил Кривченко, ушел покупать сидро и доверил ей, Нате, свою тяжелую офицерскую шинель. Ната говорила и мне, и Шура: — И знаешь, отак просто говорит, пусть тут побудет моя шинелька. И пошел за сидром.

И не знаю, как Шура, но я это счастье ушедшее чувствовала в ее голосе, в руках старых натруженных, когда она показывала, как она перекинула через руку его шинельку, уложив ее на колени, чтоб никто ее невзначай не стянул.

На следующее свидание хозяйка дала Нате свою старую лису. Лиса и белая бабретка, это было так шикарно, что вообще! И совсем уже по-городскому шикарно. Ната вышла из дому за час. Оказалось, что и Миша пришел раньше. И они пошли гулять вдвоем. Но лиса была линялая, битая молью и отчаянно лезла. Попадала в нос, в рот, в мороженое. Вся плюшевая телогрейка была в рыжих лисьих волосах. Вдобавок, незаметно потепшело и случилось лето. Другие женщины вышли в легких платьях с рукавами-фонариками и пиджачках, а не в каких душегрейках, тем более, сдохлыми лисами. И Нате казалось, что все смотрят на нее и смеются. И что Миша сейчас уйдет от такого стыда. Ната почувствовала себя рядом с этим красавцем деревенской дурочкой и расплакалась. Ну вот. Через неделю они и поженились. Родилась Алечка через год.

И потом Миша, мой дядя Миша, мамин старший брат, ушел на войну. И сначала прислал фотографию — он, такой бравый офицер, разведчик, в тулупе, с трубкой в зубах, а в руках у него карта. И все другие офицеры его слушают. И там Миша такой красивый, ну такой красивый! А через год, в 1942 году Миша прислал еще одну фотографию — там он был очень измученный, истощенный, очень худой. Это письмо с фотографией пришло из-под Ленинграда. И потом Ната получила известие, что Миша пропал без вести. Когда они — их было 15 человек — уходили в разведку, то оставили в части свои документы, и сняли личные медальоны, поэтому найти их и его, нашего Мишу, так и не смогли.

Короче, ужасно все было у Наты, все было ужасно.

И мой дедушка, Мишин отец, вызвал Нату с Алечкой в Черновцы, куда его командировали поднимать народное хозяйство. Дедушка был беспартийным, но согласился. Во-первых, не согласиться было тогда нельзя. А во-вторых, к тому времени мою бабушку сняли с должности завуча школы, где она работала. Кто-то из доброжелательных коллег выяснил и написал куда следует, что бабушкина сестра работает золотешвейкой в мастерской при монастыре. Бабушку уволили и семья переехала в Черновцы.

Первое время у дедушки под подушкой лежал пистолет. Ему специально выдали пистолет, потому что в то время участились случаи, когда местные ночью врываются и таких вот приезжих убивали. Было страшно, тем более, в семье уже были и моя маленькая мама, и Мишина дочка Алечка.

Эта пожелтевшая справка «Ваш муж майор Кривченко Михаил Никифорович пропал без вести» все время лежала у Наты со всеми другими документами, в плоской сумочке без ручки на верхней полке одежного шкафа, где должны были бы лежать Мишины фуражки и шляпы. Ната так и не узнала, что бы он предпочел, ее Миша, шляпу или фуражку. Скорее, шляпу. А там, кто его знает. Она так и не

видела его ни разу в гражданской одежде. В чем женился, в том и ушел на фронт. После войны она пошла в фотоателье и заказала их общую фотографию. Отнесла фотографу две отдельные карточки: свою, в нарядном платье с шарфиком легким на груди и губы красиво помадой нарисованы бантиком, и фотографию Миши в форме с лычками капитана Красной армии. В ателье две фотографии соединили, и получилось, что Ната и Миша сидят рядом плечом к плечу. Ты смотри, а красивая пара! — восхитился фотограф. Он, конечно, постарался. Щеки им нарисовал розовым, а фон сделал ядовито зеленым. Ну чтобы действительно, получилось красиво. Этот портрет все время висел у Наты над кроватью. Всю жизнь.

В ночь перед вторым инфарктом Нате приснился памятник. Очень конкретный памятник — с серебряными буквами и звездочкой. Ната рассказывала, что вот, мол, вглядывалась, но никак не могла разобрать чье же имя там написано. Памятник стоял на лугу, зеленом и тихом. И где-то журчал ручей, а за луг уходила и уходила теплая пыльная дорога. Вдоль дороги росли маки и васильки. Хотела — говорила она, — сорвать чуток цветов, чтобы значит, положить их к подножью памятника, но никак не могла согнуться — болело левое плечо и рука, не хватало дыхания.

У Наты начиналось обострение печали. Печаль называлась «горе».

Словом, отвезли ее в больницу — сердечный приступ. И Шура к ней прибежала, и вроде полегче Нате стало, они разговаривали, и смеялись даже. И Ната про луг рассказала. Она всем рассказывала про луг. Не давало ей покоя, что не могла она рассмотреть буквы. И все мечтала увидеть опять этот сон.

И ночью, ближе к рассвету он опять ей приснился. Рядом с памятником стоял Миша, истощенный худой как на ленинградской фотографии, очень измученный, но живой. Он взял Нату за руку и повел туда, где ручей и теплая желтая дорога. Они шли молча. А что говорить — родные люди. Самые близкие люди, что уже говорить. Нате стало легко-легко, она почувствовала себя абсолютно счастливой. И никакой другой мысли — только что вот — Миша. Вот — Миша. Вот — счастье. Абсолютное счастье. Печаль свернулась в тугую комок в сердце и разорвалась.

Такая вот была у нас в семье Ната. Мишина жена.

Миша — мамин брат. А здорово иметь старшего брата. Мама моя очень гордилась, что у нее есть старший брат.

Когда он ушел на фронт, на одном уроке учительница вызвала к доске тех детей, у кого родные на фронте. И моя мама, ученица первого или второго класса, тоже вышла. И стояла у доски со всеми. И гордилась вдвойне, что у нее старший брат есть и что он на фронте. И ей дали за это ластик. Всем, у кого родные были на фронте, дали ластик. Очень хороший, очень ценный подарок в то время. Потому что даже тетрадок не было, чтобы учиться. Дети писали в старых бухгалтерских книгах. Искали там чистые страницы или писали на полях.

Это происходило еще в городе Уфе.

Однорукий почтальон доставлял письма-треугольники с фронта от брата Миши. И моя мама приносила их в класс — читать всем. Я сейчас вдруг очень пожалела этого однорукого почтальона. Ната рассказывала, что его ждали в каждом доме, выглядывали из окон, знали примерное время, когда он придет, и он не успевал бросать письма или газеты в постовые ящики. Слишком драгоценными были эти письма, чтобы ждать пока их бросят в почтовые ящики. Вот он шел в дом какой-

именно на меня вдруг мирозданием возложенной миссии *сделать чудо*, я бы кинулась со всех ног искать эту запись, помогать, чтобы через пятьдесят лет! найти могилу пропавшего без вести — да я бы все бросила, все! И побежала бы рыться в архиве, в записях, в бумагах. Подняла бы на это весь коллектив. Ведь для того и была записана она, эта передача, чтобы никто не остался равнодушным. По крайней мере, я так думала.

Но эта самая редактор, не знаю, что уж там с ней было, кто ей так испортил настроение, она меня даже не дослушала. Она выдохнула как-то злобно и заверещала резким нетерпимым тоном:

— Вы что же думаете, я помню все сюжеты?! — кричала редактор — Что вы вообще от меня хотите? Что вы звоните сюда? Звонит она! Вы что возомнили, что вы одна у нас зритель? У нас сотни, у нас тысячи сюжетов! Вы что, думаете, я эти записи годами храню?!

Думаю, да, они хранят. Думаю, что хранят какое-то время. Но ей было плохо, ей, видимо, было очень плохо. День неудачный. Что-то не сложилось дома или на работе. Кто-то подвел. Кто-то не сделал, а надо было. И я попалась ей под руку с нашим родным, а ей — абсолютно чужим, ненужным каким-то Мишей. И для нее этот сюжет, который я заикаясь пересказывала, был уже постылым и неважным, она уже нервничала по поводу какого-то другого сюжета. Опять про хороших людей. Ну, у нее такая рубрика там была — про подвиги, необычные добрые поступки, про выдающихся отважных людей. И видно, не получалось что-то, не успевала, проблемы, начальство, не знаю... А тут, нате вам здарсьте — я. И ей было тогда гораздо проще не выслушать меня, не расспросить, пусть раздраженно, пусть торопливо, не кинуться искать, а выдолбить дырку в моей голове своим криком, чтобы ей самой стало легче.

Она навизжалась, выпустила пар и бросила трубку.

И все. И не использовала такую превосходную возможность сделать доброе дело, испытать к себе лично глубокое уважение за хороший поступок. Как писал один умный парень, чтобы не было стыдно перед самим собой в районе трех часов ночи.

Мама тогда расстроилась как маленькая. Ну что ж. Я пела и пела тихонько в тот день, пела сама себе:

*Наши мертвые нас не оставят в беде,
Наши павшие — как часовые.*

Пела, пытаясь очиститься от этого жуткого мерзкого крика редактора, которая сняла сюжет про могилу, где возможно, похоронен наш Миша. Я ходила куда-то по делам и целый день бурчала под нос:

*Наши мертвые нас не оставят в беде,
Наши павшие — как часовые.*

А вечером поместила в интернете объявление. И совсем незнакомые мне хорошие люди — сколько лет не перестаю удивляться: о, чудо, этот интернет — ночью прислали мне ссылку на Петербургский сайт, где были помещены архивы 1942 года. Года, когда наш Миша пропал без вести. И в списках военнослужащих, снятых с довольствия в 1942 году... Боже мой-Боже мой. ...снятых с довольствия, потому что они погибли. Или пропали без вести. Там, в том списке, стояла Мишина фамилия и все его данные.

Мы с тех пор туда часто заходим и перечитываем, перечитываем эти его данные. Год и место рождения. Имя, отчество и фамилию перечитываем. Звание перечитываем. Мы часто там бываем на этом сайте. У нас просто нет другого места,

куда можно придти и навестить нашего Мишу, зажечь свечу и помолчать. У Миши ведь на самом деле нет могилы, нет никакого памятника с красной звездой и надписью: «Михаил Кривченко, майор, пал смертью храбрых...», куда можно принести цветов и зажечь там свечу.

*Наши мертвые нас не оставят в беде,
Наши павшие — как часовые.
Отражается небо в лесу, как в воде,
И деревья стоят голубые.*

01.15. Как там мама?

Спиг ли. Когда у меня что-то болит, у нее начинает болеть тоже. Однажды мне делали срочную операцию. Это случилось далеко от дома, в горах. Мама об этом ничего не знала. Но весь вечер у нее очень болел низ живота, именно там, где мне накладывали швы.

Даже не верится, что когда-то моя мама была маленькая. Такая она всегда у нас умная, рассудительная, такая жертвенная — кажется, она всегда была взрослой.

Это потому что родители у нее были очень хорошие. Мой дедушка и бабушка. Дедушка написал однажды из командировки своей дочечке, моей маме:

Здравствуй, Ниночка, я получил от тебя твою открыточку с цветочками, спасибо, родная. Скоро мы будем вместе в Киеве. Я этого дня жду с нетерпением. Целую крепко.

Твой папка.

7 марта 1944 года

Почтовая эта карточка у нас дома хранилась долго. Когда дедушка ее надписывал, она уже тогда была старая, потому что в сорок четвертом печатать такие открытки просто не было времени, средств, красок, художников и прочих специалистов по ярким картинкам для маленьких девочек. Помню, на той древней дореволюционной открытке еще с ятями (и где дедушка ее нашел?) была сцена из «Рыбака и рыбки». Сидела старуха на переднем плане, а перед ней — разбитое корыто. А за старухиной спиной стоял старик с сетями. И, между прочим, довольно хитро улыбался, что всегда давало мне основание думать: а не в сговоре ли был он с рыбкою золотою, когда отпускал ее с Богом обратно в море.

Лет десять назад мама подарила несколько старинных вещей одесскому ученому-краеведу и собирателю антиквариата Олегу Губарю. В том числе и дедушкину, уже рассыпающуюся в пыль, погибающую карточку. Мама уважает и любит Губаря. Вот и подарила. Знала, что Олег ее отреставрирует, что она теперь будет всегда, эта карточка. Не пропадет, не исчезнет, как бывает в домашних архивах. Ну, подарила и всё. А несколько лет назад Одесский поэт Борис Херсонский прислал нам свой сборник стихов «Семейный архив». Бориса Херсонского моя мама тоже уважает и стихи его любит. И вот она села в кресло вечером новую книжку читать. А там с одной стороны стихи, а с другой — старые архивные фотографии. И вдруг мама видит знакомый почерк. Совсем знакомый. Родной почерк. И там написано:

«Здравствуй, Ниночка, я получил от тебя твою открыточку с цветочками, спасибо, родная. Скоро мы будем вместе в Киеве. Я этого дня жду с нетерпением. Целую крепко.

Твой папка.

7 марта 1944 года».

В аннотации книги Бориса было написано, что в оформлении были использованы фотографии и документы из архива Олега Губаря.

Так мама опять получила весточку от своего папы. И я получила весточку от дедушки. И все внуки моего дедушки и правнуки.

Такая вот история. А поскольку ничего случайного в жизни не бывает, то я уверена, что мои добрые дедушка и бабушка время от времени подают нам знаки и не оставляют нас одних. Они с нами.

К слову, через неделю после того самого события, когда мы вдруг узнали открытку от дедушки в книге Бориса Херсонского, меня вызвали в Киев и вручили литературную премию. И в мою честь играл большой симфонический оркестр.

С 1944 года моя мама жила в Киеве. Она рассказывала, что это был не город, а сплошные руины и развалины. Мама вспоминала, как со своей мамой, моей бабушкой, Софьей Николаевной, они шли по Крещатику по узкой тропиночке. И мама, тогда совсем маленькая девочка, думала, как же все это очистить и восстановить. И наверное, так теперь останется навсегда — она думала. И в нашем с сестрой детстве, когда мы ездили с мамой в Киев, она сказала нам:

— Вы не поверите, девочки, вы даже не поверите, мне и самой не верится сейчас, что здесь были руины, разруха, грязь и пыль. И мне казалось, что только усилиями какого-то гигантского волшебника можно все это убрать и восстановить».

А 10 мая 1945 года в честь Дня Победы на этих руинах играл большой симфонический оркестр под управлением легендарного Натана Рахлина. Собрался весь город. Плакали. Пришла победа.

А еще мама нам рассказывала, что однажды в Киеве она проходила мимо сквера. Там у ограды зачем-то собрались женщины. Что они там делали, зачем стояли так странно безмолвно и скорбно. Стояли и смотрели в одну сторону. Туда, где медленно что-то делали бесцветные истощенные уставшие люди в изношенных серых мундирах. А в городе уже всю наряжалась весна, цвели оставшиеся в живых деревья, пригревало солнышко, а эти — такие чужие, несчастные, нереальные в этом разрушенном городе, пленные немцы, молча, угрюмо, медленно, с большим трудом трамбовали дорожки тяжелыми чурбаками с деревянными ручками, искоса бросая тревожные взгляды на тех, кто тяжело и горестно разглядывал их в упор. И мама, тогда еще совсем маленькая, лет девяти, смотрела сначала на немцев, потом на женщин, потом опять на немцев и чувствовала: что-то непостижимое, гнетущее, сильное и густое происходило между двумя этими безмолвными группами — смертельно уставшими истощенными пленными немцами и смертельно уставшими истощенными киевскими женщинами.

Часики тикают. Вот интересно, когда все кончится, часики так и будут еще какое-то время служить — тик-так-тик-так?

Эти часики у нас с тех пор, как мама переехала с родителями из Киева в Черновцы. Старинные еще часики.

И вот они приехали в город Черновцы, мама пошла учиться в женскую школу. Интересно, а где сейчас все мамы «девочки»? Я помню недавно совсем мамы одноклассницы, выпускницы женской школы номер два — собрались у Берточки. У Берты Иосифовны. И меня попросили сфотографировать их компанию. И они так весело засуетились: «Девочки, девочки, садитесь поближе. Танечка, Ниночка, девчонки, ну смотрите же в объектив, ну перестаньте смеяться». Но никак не могли успокоиться, хохотали.

И я их щелкнула пару раз. Веселых девчонок Ниночку, Бэллочку, Нэлечку, Асеньку, Танечку. В середку посадили Берту Иосифовну. Тонкая, благородная, высоколобая, сероглазая, и печальная. А ее «девочки» получились немного хулиганистыми, лукавыми, смешливыми чуть постаревшими подростками. Хорошая фотография. Хотя Берточка глянув, поставила оценку:

— Девочки — красотки. А я с открытым ртом и дура.

Ну нет. На самом деле, она получилась самая красивая на этой фотографии. Лучистая. Нежная. Аристократичная.

Все мамы одноклассницы, боготворили Берточку. У нас дома хранится ее портрет в молодости. Как же она была хороша! Такой же изысканности как молодая Ахматова, но еще красивее. Огромные, ну просто огромные серые глаза. Тонкие черты лица. Фигура и походка балерины. Ее можно было любить просто за ее красоту, но как же она была мудра, великодушна, изобретательна, остра на язык. Берта за время своей работы в Черновицкой школе №2, сначала женской, потом общей, раздала детям целый ворох своих отужоженных носовых платков. Дети ужасно хотели ей нравиться и плакали навзрыд, когда не могли сформулировать мысль, хотя к ее урокам готовились все. Нет, ну фантастика ведь! Кто сейчас будет плакать, что не смог ответить на вопрос. Разве только маленький школьник первого класса и только потому, что мама накажет за плохую отметку.

Словом, Берта была восхитительна. Однажды кто-то запустил чернильницу с задней парты — а ведь это была женская школа. Чернильница — это я хочу объяснить для моих детей, которые будут читать эту рукопись первыми — это стеклянный или фаянсовый небольшой сосуд, куда наливалась чернила. Туда окунали ручку с перышком и писали. Окунали и писали. И такая вот чернильница, перелетев класс, шваркнулась на стол Берты Иосифовны.

Класс на вдохе сделал: —Иииииииииииииииих...

А Берта пожала плечом:

— Ну и что вы испугались? В ваших же чернильницах никогда нет чернил.

И стала продолжать урок. А я представила, что вдруг такое бы случилось в моей школе, например, на уроке истории. Думаю, я бы ждала конца света не тут, в теплой постели под уютное сопление моих домашних, а где-нибудь уже мотала свой срок в колонии для несовершеннолетних за покушение на жизнь учительницы истории с тридцатисемилетним педагогическим стажем.

А в тогдашней маминной женской школе сохранились еще дореволюционные гимназические традиции: коричневые банты, обязательная форма — унылые платья с фартуками и монашеские белые воротнички — и ритуал обожания. А поскольку не обожать Берту было невозможно, то девчонки придумывали разные уловки, чтобы быть поближе к любимой учительнице. Правда, она была в таких случаях неотзывчива и холодна. Например, одна мама одноклассница повадилась встречать ее на лестнице. Раз встретила, Берта сдержалась, второй раз — Берта

промолчала, а в третий раз Берта в упор спросила ее: — Петровская, что это за комиссию по встрече вы устраиваете?

— Ну... ну... Я хотела вас проводить... В класс...

— Мне не нужны путеводные звезды! — ответила Берта Иосифовна.

Девочка Петровская, не умеющая выразить свою симпатию к учителю каким-то другим образом, была достаточно умна и с чувством юмора, поэтому рассказала эту историю подругам. Благодаря чему этот факт и сохранился в истории.

С тех пор как на меня наорала редактор новостной программы, я все время думаю и не могу понять вот чего. Бывают в жизни случаи, когда providение посылает тебе возможность сделать чудо. А ты делаешь все наоборот. И тогда силы небесные разводят руками, ну вот же дура...

Однажды Берта Иосифовна, спешила домой с главного почтамта. Следуя традиции она до последнего дня покупала, подписывала и отсылала своим друзьям, ученикам и родственникам праздничные почтовые карточки. Для этого она вызывала такси, ехала на главпочтамт, с трудом подымалась по ступенькам, выстаивала там в очереди — на почте всегда очереди, даже сейчас. И оттуда она спешила домой, потому что к ней должен был приехать доктор Женя Бурсук, ее ученик, друг, ангел ее, словом, как раз из тех, кто может почувствовать и разглядеть, что ему предоставляется возможность сделать чудо... Хотя, нет. Я думаю, из-за своей занятости, он таких моментов не замечает, просто трудится, служит ангелом и все.

Берта Иосифовна вышла из двери почтамта, уже сгорбленная, с палочкой, слабая, поковыляла к стоянке такси, подошла к стоявшей впереди машине... А там выстроились автомобили на любой вкус — сейчас частных такси — бери — не хочу...

Когда мы через какое-то время примчались к ней, она, придерживая перебинтованную доктором Женей руку, рассказывала, мол, подошла, спросила, села с трудом, назвала адрес. А таксист — «морда — чистый депутат» заметила Берточка, возмутился, мол, слишком близко, да и недоволен был — старушка, пенсионерка, денег, наверняка мало, словом, он нашу Берту погнал из такси. Сказал: вылазь! Именно так и сказал. И Берточка наша стала «вылазить», придерживаясь одной рукой за дверь машины, а второй опираясь на свою палку. «Морда-депутат» нетерпеливо перегнулся, потянулся и с силой захлопнул дверь. Вместе с Берточкиной рукой.

А как уже другой таксист, который стоял за «мордой-депутатом» помчался за бинтами в соседнюю аптеку, как он ее со свистом вез домой и не взял денег и тысячу раз произнес: «Прости, мать. Прости, мать. Прости нас, мать» — это Берта описала так как она умела — в двух словах, но весело, с юмором. А вызвала она нас, чтобы найти этого Юрочку, таксиста, найти и с ним рассчитаться. Сказала: он такой, молоденький еще ребенок, в очках и с добрым светлым лицом.

Мы, конечно, поехали на ту стоянку, Юрочку нашли, хотя ничего особенного в его уставшем лице я не заметила. Денег он опять не взял — сделал вид, что не помнил, кого и как он подвозил, сказал, да у меня столько таких... А «морду-депутата» мы не нашли тогда. И таксисты не знали, о ком мы.

И что ж получается теперь, что сегодня мироздание укукошит всех одинаково? Под одну гребенку?! И Юрочку таксиста, и доктора Женю и других хороших людей прямо в компании с «мордой-депутатом»? Что-то не складывается с логикой у этого Нострадамуса. И у Степашкиной.

Моей маме часто снился один и тот же сон: вот надо уезжать в эвакуацию, а как же книги. У нас дома много книг. И когда мы чистим их пылесосом и перепробуем на предмет отдать случайные в библиотеку — случайных как правило, не оказывается. Мама очень любит книги. В своих воспоминаниях, которые мы с детьми, с ее внуками, заставили написать ее к юбилею, она вспоминает:

В школе сохранилась библиотека. Пришла туда впервые с одноклассницей. Та спросила первая: — У вас есть приключения Буратино? Библиотекарь достала книжку: — Я тебе запишу. Как?! А мне?! Это ведь я хотела «Золотой ключик». Впасть в отчаяние я не успела, нашелся еще один экземпляр. Как мало мне тогда было нужно для счастья — в портфеле интересная книжка. Это ощущение потом часто повторялось вплоть до сегодняшнего времени. Но оно уже никогда не было таким острым.

Как же я все это понимаю! Радость обладания новой книжкой передалась мне по наследству.

Когда у меня день наполнен всякими не очень приятными делами — уборка, кухня, суета, холод или неприятности, мысль, что на прикроватной тумбочке меня ждет новая не читанная книга, ласково греет мне душу. И, когда я вспоминаю о ней, о новой книжке, я радуюсь как щенок и чувствую неподдельное, ей-ей, взаимдашнее счастье.

Мало кто из детей сейчас понимает эту радость. Недаром любимый нами писатель Юрий Коваль сокрушался о падении культуры пристального чтения.

Однажды мама в детстве попала в больницу и ей должны были делать операцию по поводу аппендикса. И бабушка моя Софья Николаевна, зная, что придаст маме силы, принесла ей в больницу «Таинственный остров» Жюль Верна. И удивительно, выздоровление после операции проходило быстро, книгу мама откладывала только на время процедур.

Как-то мама моя получила в подарок книгу Островского «Снегурочка». О, как она боялась с ней расстаться. Так боялась, что повсюду носила ее с собой. И в школу понесла в портфеле, чтобы читать на перемене. Драгоценная, бесценная это была для нее книга. К тому же, как мама писала в своих воспоминаниях, она привыкла, что конфеты ей не покупают, потому что на них нет лимита. Так ей говорил папа. Зато книгу ей купили. И вдруг на какой-то перемене «Снегурочка» исчезла из портфеля. Бесследно. И у мамы, тогда девяти-десятилетней моей мамы, запекло внутри, перехватило дыхание, началась паника, пришла беда: пропала книжка.

Мама искала книжку, всех спрашивала и переспрашивала. И одна странная девочка, очень странная, ну очень странная девочка сказала:

— Кривченко, а у меня тоже есть *такая же* книжка. Хочешь, поменяемся на что-нибудь?

И мама закивала головой, готовая обменять на «Снегурочку» что угодно.

— На твой бутерброд! — объявила ультиматум Странная девочка.

Мама с готовностью полезла в сумку и немедленно без колебаний отдала бутерброд — очень «богатый бутерброд» со сливовым повидлом — и в обменной таким образом книжке по каким-то признакам с облегчением узнала свою, купленную ей мамой, «Снегурочку».

Я рассказывала эту историю своим детям, с которыми мы прочли «Снегурочку».

— И если царь говорил, что «Снегурочки печальная кончина и страшная погибель Мизгиря тревожить нас не могут», — поведала я детям, — то бабушку вашу, мою маму в ее девять лет очень и очень тревожила печальная жертва Яриле.

— Бедная хитрая девочка, — прокомментировала рассказ дочь.

— Голодная девочка, — констатировал сын.

Почти все тогда голодали. Хотя мама писала, что знала семьи, которые жили так, как будто никакой войны не было и ничего не изменилось.

Однажды она пригласила к себе на одиннадцатый день рождения своих одноклассниц. И бабушка моя Софья Николаевна приготовила винегрет, купила вареную колбасу (для себя они ее не покупали, было дорого) и еще сварила, именно, почему-то, сварила, как рассказывала мама, домашние бублики.

Девчонки — писала мама в своих воспоминаниях, — уминали угощение с удовольствием. А одна Дора, оглядев нехитрую еду, заявила сразу: — Я это не ем.

И не ела. Скучала и брезгливо грызла бублик.

А потом и мама попала на день рождения к той самой Доре.

И там было много всего удивительного, разноцветного и ранее невиданного. Но — как мама писала — о том, чтобы протянуть руку и взять что-нибудь из сверкающей хрустальной вазы, не могло быть и речи. Тем более, мама страшно переживала из-за своих штопанных чулок, потому что в прихожей ей пришлось снять кустарные свои картонные тапочки.

— И ты ничего не попробовала? — спросили мы.

— Нет, — спокойно ответила мама, — нет.

— Но другие же девочки ели?

— Ели, да. Еще как.

— А ты?

— А я это не ем. Я это не ем.

Когда умер Сталин, все вокруг плакали. И мама тоже утром плакала. И в школе плакали все, а девочка одна потеряла сознание. А мамыны родители — нет. Не плакали. И Берта была спокойна.

Идеологически давили, конечно, причем очень прицельно, очень точно, регулярно, чтобы вошло в кровь, чтобы навсегда. Сейчас, когда я рассматриваю фотографии, как образцово рыдала недавно Северная Корея, когда почил ее великий вождь, и как показательно умиляются корейцы толстенькому наследнику Ким Чен Ира, который с насупленным лицом по-хозяйски ездит-ошивается по царству своему государству, и дозором обходит владенья свои, то вспоминаю, как мы в детстве учили биографию Владимира Ильича Ленина перед приемом нас в октябрята.

И я тогда почему-то была уверена, что именно этот маленький кудрявый мальчик на звездочке, которую мне приколотли на крыло парадного белого фартука, сам организовал и сделал революцию. Я крутилась у мамы под ногами, когда она готовила на кухне обед, и спрашивала, а как это он, такой маленький, сделал революцию, а? А как ему поверили солдаты и матросы? И что, он как Матиуш из книги «Король Матиуш первый» Януша Корчака, возглавил войска, разбил неприятеля и создап детский парламент, да? — спрашивала я у мамы...

— Ой, ну что ты, что ты... — уклончиво отвечала мама. И потом уже сказала, что он сначала вырос, а уже потом...

Наша соседка никак не могла поднять свою дочь утром. Анжелка бормотала: Еще пять минут.... Еще пять минуут... И тогда Люда, ее мать, давала Анжелке звонкий шлепок по пятой точке. Лохматая Анжелка садилась и почесывая отшлепанное место сурово мотала указательным пальцем:

— А вот Ленин, мамка, на твоём месте так бы не сделал!

И потом с некоторых пор Люда, Анжелкина мама стала поднимать Анжелку по утрам именем Ленина. Весь дом потешался, но даже это не всегда помогало.

Нет, я ничего ведь не имела против, нас так воспитывали, ну, Ленин, ну да. Это было частью нашей учебы, нашей жизни. И не всегда нудной или неинтересной. Когда мы школьниками ездили на экскурсию в Москву и медленно брели в очереди в Мавзолей, я даже поделилась со своей подружкой Скибинской мыслью, что те молодожены, которые возлагают цветы к мавзолею — какого черта вообще они туда эти цветы тягают, он что ли их папа был, не понимаю — так вот, я тогда думала, что они даже развестись не смогут, они ведь клятву на верность у мавзолея давали! И подружка моя Скибинская громко хохотала, и ей даже сделал замечание плотный дяденька в военной форме, который следил за порядком.

Правда у самого входа подружка вдруг забилась в истерику, что не хочет идти смотреть *тело*. Тот же офицер коротко распорядился в рацию, откуда-то выскочили солдаты и отвели Скибинскую в сторонку. И все это время, пока я брела вместе со всеми, практически след в след, строго в затылок и старалась не смотреть влево на повергающий в трепет и ужас саркофаг, я ужасно боялась, что мою подружку арестовали. И именно за то, что она на великого Ленина сказала стыдное слово «тело». Но подружка хвасталась, что ей под нос сначала поднесли что-то воончее, чтобы она пришла в себя, а потом дали чай с лимоном. Но осведомленный Павлик Мирошниченко, сын начальника КГБ в нашем городе, сказал, что раз она так недостойно себя повела, то теперь за Скибинской будут следить. И потом у нас с ней, с Надей Скибинской много лет была такая полуигра в бдительность — мы разглядывали случайных прохожих или попутчиков и думали, кто же именно следит теперь за Скибинской. А Павлик Мирошниченко сказал, что это такой человек, что вы даже и подумать на него не можете, что это именно он следит. И методом исключения мы, посоветовавшись и решили, что следит за Надькой как раз он сам — Павлик Мирошниченко. И, к слову, были недалеко от правды, потому что о том, что в нашем доме появились заграничные пластинки и журналы на английском языке, что у нас бывают гости из-за рубежа, про яркие оттуда же конверты с письмами и открытками, Мирошниченко-отец узнал именно от сына. И вообще, думаю, много о чем он узнавал от своего доверчивого, общительного, разговорчивого и очень хитрого отпрыска.

Ну, Ленин, да. Тогда мы точно не могли осознать, какую кашу заварил его злой гений, тогда мы, может, и не знали, что именно Ленин отдал приказ расстрелять юных царевен, нежного больного цесаревича Алешу и его родителей, и всех, кто жил в этой семье... Мы точно тогда этого не знали, потому что, когда ездили на лето к бабушке, обожали играть во всяких царевен и принцесс, накинув на голову прозрачные накидки с подушек. Нас бы такое известие точно насторожило. И никакой аргумент не сработал бы в этом случае — потому что мы были дети, и царевны и цесаревич были тоже дети. А ведь мы тогда были солидарны со всеми детьми мира, потому что чувствовали себя одним народом.

Ну, Ленин. Мы вступали в пионеры с именем Ленина, сдавали Ленинские зачеты, участвовали в Ленинских субботниках. Артек — Ленин, Орленок — тоже Ленин. Только одна подлая мысль в этой всей истории не давала мне покоя — мы ведь подробно изучали его биографию. И не просто подробно — но в мельчайших, думаю, иногда придуманных биографами деталях. Меня ужасно, например, волновало, почему он нигде не работал? Да, он, конечно, писал свои труды. Но это не считалось в моем понимании работой. Мои мама и папа работали допоздна, а потом тоже садились и тоже писали труды — поурочные и календарные планы уроков и тренировок. Я привыкла, что все вокруг шли на работу по утрам и работали. Нас ведь с детского сада учили, что кто не работает, тот и не ест. Почему же он, такой идеальный, такой кристальный, не выходил по утрам куда-нибудь и не работал? Не работал, но ел?

Ну да ладно. Вот еще — мне что, больше не о ком подумать? В последнюю ночь. В мою последнюю ночь.

01.38. Что делать, что делать...

Ночь какая-то абсолютно безразмерная. Может быть, все-таки собрать вещи и куда-нибудь бежать?

Вот забавно. Когда случаются вдруг в жизни катаклизмы, например, землетрясение, я, действительно, хватаю самое необходимое и куда-то бегу. Однажды наступила весна, Даня был еще маленький. Я боялась тогда все время, каждую минуту за него боялась. Но в тот месяц вдруг появилось ощущение реальной конкретной угрозы. Я не понимала, откуда она грядет, но чувство опасности только усиливалось. Я старалась по возможности не оставлять Даню одного, по вечерам не засиживалась в ванной. И однажды вечером, сама того не осознавая, повела себя странно, но очень уверенно: уложила Даню на развернутое одеяло, сама надела спортивный костюм и села рядом с ним читать. Объяснить себе свои действия я наверняка не смогла бы, но в тот вечер я понимала, что поступаю правильно. Буквально минут через сорок раздался гул, зазвенела посуда в кухонном шкафу, и дом затрусило. Я, окликнув родителей, быстро сбежала со второго этажа вниз и уже дисциплинированно стояла во дворе. И когда остальные жители нашей квартиры и нашего дома испуганно вылетали из подъезда кто в чем, я спокойно сидела во дворе на детских качелях, и на руках у меня сладко спал плотно и аккуратно завернутый в одеяло Даня. Больше у меня таких приступов ясновидения не было. Наверное, потому что дети выросли, и по моей команде смогут выбежать и сами.

К слову, я, на всякий случай ноутбук всегда оставляю рядом с тем местом, где сплю. Потому что если вдруг что, я схватила бы не сумку с документами, а компьютер. Тут, в моем ноутбуке, все самое мое сокровенное, самое главное, самое ценное.

Я помню, как американские мои друзья рассказывали, что ожидали урагана с каким-то нежным девичьим именем, и когда начало дуть, сосед моих друзей крикнул супруге под вой усиливающегося с каждой секундой ветра:

— Милли, быстро возьми самое ценное, а я пока отоплу подвал.

Его жена Милли, действительно, схватила самое на тот момент *ценное* (на тот момент, это для нее действительно было самое ценное) — она схватила... корзину с вязаньем.

Муж ее чуть не чокнулся от возмущения и злости: документы, бумажник, драгоценности, лекарства, термос и бутерброды — все осталось в доме. Он сам запрыгнул в подвал в обнимку с котом и собакой. А его, супруга, довольная, что все любимые — муж, кот, собака — рядом, все восемь часов, пока бушевал ураган, при свете двух портативных фонариков довязывала прикроватный коврик. И была спокойна, умротоворена и абсолютно счастлива.

И я ее понимаю. И поддерживаю.

Ну что же я отвлекаюсь постоянно? Что делать? Собрать документы? Собрать еду и воду? Упаковать компьютер. А кому он нужен будет этот компьютер. Потом. Ну хорошо, у меня есть блокноты с черновиками. Но их же десятки. По всему дому, во всех шкафчиках и на полочках, в сумках и рюкзаках. Или что? На вокзал бежать? Ночью? И куда ехать? Конец света, он же не в отдельно взятом регионе. Он — везде.

Наш древний железнодорожный вокзал.

Как-то в детстве мы с мамой и папой, собравшись на летние каникулы к бабушке, шли на вокзал. Наш поезд отходил ночью. И вот мы шли тихонько, полусонные, один за другим, шли пешком, вокзал был недалеко от дома. И вдруг из-за угла, видимо от кого-то удирая, с визгом и рычанием на нас выскочила собака. Мы с сестрой и мамой заорали от испуга: «ссссобааааа!!!» Собака завизжала еще громче: «пююююдиини!», а из открытого на ночь окна, под которым мы все трое верещали как резаные, мужской голос рявкнул: «Придууууурки!!!» И добавил много такого, чего повторить я не могу. И мы — мама, сестра, собака и я — еще больше испугались, и на цыпочках прошли под окном и все оглядывались и оглядывались, не бежит ли разбуженный следом за нами. И собака сопровождала нас до половины пути, а потом исчезла куда-то; только из-за какого-то поворота мы вдруг услышали испуганный крик загулявшей до поздней парочки и визг *нашей* собаки. Видимо, она опять на кого-то нагнала страху, любительница выскакать из-за угла. И сама опять испугалась. Короче, мы пришли на вокзал. И там — я на всю жизнь запомнила, когда мы стояли на перроне — вдали вспыхивали и гасли тревожные алые огни. Папа сказал, что это зарницы. И эти зарницы, этот вокзал, эта странная ночь... Именно с того времени у меня и появилась тоскливая тревога, когда я отправляюсь куда-то в дорогу. Всегда — всегда я ее ощущаю, эту тревогу и вспоминаю ночные зарницы, которые видела в детстве, ожидая поезда на перроне нашего вокзала.

А кстати. Вот, наш вокзал. Вроде бы ничего особенного. Но он многое помнит. Например, там, на нашем вокзале, однажды побывал Джон Рид. И ведь в зале с тех пор ничего не изменилось — те же окна, та же плитка. И вот представляю себе, как бедный Джон сидел там, такой ушастенький, глазки- пуговицы, американский юноша и думал: говорила мне мама — куда ты едешь, Джонни. Не послушал. Сидел бы сейчас дома, читал или играл бы в футбол. А тут...

А как он вообще к нам попал. Из Румынии на лодке. Нелегально. И потом ведь он в Россию пробрался и встретился с Лениным. Как говорят... О, Господи, опять Ленин откуда-то выскочил... Но я не о том... Получается, что когда мы, первокурсники, какого-то лешего, непонятно зачем потащились всем классом к тому древнему, тогда уже совсем выжившему из ума деду-лодочнику, который подрабатывал в юности контрабандой и за хорошую сумму перевез Джона Рида в 1914

году, получается, что по теории третьего человека я, практически, оказалась с Лениным на короткой ноге. Потому что Ленин встречался с Джоном Ридом, Джон Рид заплатил лодочнику, а я тупо стояла в его дворе, страшно боялась его собаки, и слушала его воспоминания о том, какой он был революционный героический матрос, что перевез через Прут самого Джона Рида. Мол, Джон Рид подошел и спрашивает, слышь, френд, а говорят, у вас там ого как всё здорово, революция у вас победила, мол, зарницы будущего у вас там. И этот, Ленин, а? Лодочник, безграмотный абсолютно, как я сейчас понимаю, ответил, получается, ему на английском языке. Ведь ни румынского, ни русского Джон Рид не знал. (Вот же мы доверчивые были дураки! Ну ладно мы, а учительница-то наша куда смотрела?) Лодочник ответил, мол, I don't know anything про революцию, сэр, и про этого вашего Ленина ни черта не слышал, но заплати, и я перевезу тебя, куда хочешь.

Джон Рид был несколько разочарован, что в такой исторический момент меркантильный лодочник думает о деньгах. Ну что ж, сунул ему серебряную монету и лодочник положил американца на дно лодки, накрыл всякой ветошью, чтобы ни румынские, ни российские пограничники его не увидели, и перевез на другую сторону Прута. (У нас в городе тогда проходила Российско-румынская граница)

И вот, Джон Рид вылез на берег реки, и в наш страшный, тогда грязный городок потопал. Пошел искать, где бы ночку скоротать. В центре города нашел он гостинный двор. Двор-то он двор. Довольно замызганный. Ну были там нумера. В окнах гостиницы, где потом была наша знаменитая типография, которая печатала газету «Ленинским путем», в окнах ее, значит, сидели полуодетые хорошенькие девушки, а заведением правила шикарная матрона мадам Брынза. Во дворе важно прогуливались индоки, довольно истеричные и непредсказуемые. Иногда на них находило, и они принимались шумно носиться по двору за постояльцами, вздыбив перья, голгоча и топя как незапамятная татарва.

Сюда, в заведение мадам Брынзы, тайно захаживали почтенные главы семейств нашего городка, чтобы чуть побыть, расслабиться и... забыть там свой зонтик.

Вот там как раз и остановился наш будущий американский коммунист. Всю ночь брэнчало расстроенное фортепиано, что-то благостно ворчали мужские голоса и фальшиво хохотали ветреные доступные девушки. Правда, всех этих подробностей в школе мы не изучали. Об этом я узнала гораздо позже, когда стала переводить книгу Джона Рида, который писал про огромных свиней, валявшихся вдоль дороги, про корыто во дворе, где сначала стирали белье, а потом по очереди купали в той же воде босоногих чумазных детей. Про пыль, нищету, мелких лавочников и ужасные события первой мировой войны.

Словом, Джон Рид после путешествия в нашу страну, встретившись с самим Лениным и законной женой его Крупской Надеждой Константиновной, попав под их обаяние, стал одним из идеологов и основателей Коммунистической партии США. Мо-ло-деи! Научили-таки мы американца Джонни плохому! Штатам только этого не хватало.

Очень знаменитый у нас город. Кого у нас только не было, ну а как же — городу почти 600 лет. Его дороги помнят и роскошные кожаные башмаки австрийских и румынских венценосных особ и босые ножки мальчика Вовы Уласюка, который потом стал лауреатом какой-то государственной премии в области науки и

техники. Он изобрел уникальный сканирующий лазер, а проще говоря, прибор, который мог видеть за горизонтом. Через город в почтовой карете, правда задолго до рождения Вовы и его родителей, проезжал Александр Сергеевич, направляясь в ссылку — в Кишинев тогда была только одна, наша дорога. Михай Эминеску, проезжая в Бухарест, любовался у нас весенним старинным парком, круглым мостиком через реку Ракигнянку. И композитор Сабадаш написал тут, на берегу того самого Прута известную во всем мире «Маричку»

В'ється, наче змійка, неспокійна річка,
Тулиться близенько до підніжжя гір.
А на тому боці, там живе Марічка,
В хаті, що сховалась у зелений бір...

Вот, в каком прекрасном месте мы живем. И что? 600 лет коту под хвост? Это как-то нелогично для небесных сил — вот так вот взять и все и всех... Кто вообще это решает? Почему все так происходит?! Что это делается?! Зачем тогда все?! Прекратите! Немедленно прекратите! Не смейте! Только попробуйте тронуть моих детей! Только посмейте! А то... А то... Я...Я! Я!!!

Я МАМЕ СКАЖУ!!!

Раз-два-три-четыре... пятнадцать... тридцать... Ффууу... Как только их пьют эти капли успокоительные.

А вообще, стоп! Ведь конец света однажды уже объявляли. Я помню. Было-было. Это было...А? Что это?..

Па-дам! Па-дам! Па-дамм! О, опять музыка? Интересно, она действительно откуда-то звучит или это слуховые галлюцинации?

Прекрасная музыка... Па-дам! Па-дам! Па-дамм! Я покачиваюсь всем телом, я кружусь в темноте и тихонько пою вместе с обворожительной Пиаф: Па-дам, па-дамм, па-дамм!

Вчера вдруг встретила Милявского. Приехал зачем-то из Германии. Опять не поздоровался, узнал ведь, вздрогнул, но все равно не поздоровался. Помнит. Ох, я же молодец. Какая же я молодец.

Па-дам! Па-дам! Па-дамм!

А что, я писатель. Я могу. Имею право!

Па-дам! Па-дам! Па-дамм!

Могу-могу!

Хотя я тогда взяла за основу только его характер. Я изменила его имя, я придумала ему другую внешность, другое место жительства, я сделала его старше, я даже поселила в его доме кота. Кота! Он ведь ненавидел котов! Он ненавидел котов всей душой!

В конце концов я поменяла ему жену, любовницу и место работы. А он все равно понял! Он сразу себя узнал! И как только прочел, обиделся, дурак такой, и перестал здороваться.

Па-дам! Па-дам! Па-дамм! Па-па-па-па-па-па па-дам! Па-дам! Падам! Падамм!..

Когда в первый раз пошел слух — конец света, ой-ой, конец всему, люди тогда к этим самым концам света были еще непривычные и поэтому очень верили телевизору, газетам и всяким слухам. Так, помню, в 1999 году, он впервые и при-

бежал к нам. Мы тогда работали в одном большом здании, наше переводческое бюро — в одном крыле, а его — Миляевского — отдел — в другом. Отдел, про-стигоссподи, культуры. Тогда он примчался к нам весь в слезах, и спрашивал, как спастись, как ему лично спастись.

Да, он знает, что все могут погибнуть, да, он знает, что дети, он знает, конечно-конечно. Но он не об этом сейчас, он спрашивает, как *ему лично*, ему, Миляевскому, как ему спастись. А? А?

— Ты хочешь остаться один на планете? — спросила я.

— Да, — бесхитростно и кротко ответил он. Весь такой расстроенный, такой несчастный, поднял полные муки очи: — Как же, этсамое, как же мне спастись, а? а?

Миляевский. Он, крепенький был такой, удрал из села Коленкивци, там он в клубе директором служил, зимой холодно, никто не ходил. Летом — тем более — работа на полях, в огородах, в садах, никто не ходит. А требуют отчеты круглый год, трудно. Опять же, в библиотеку никто не ходит. А он же был не только директором клуба, а еще и библиотекарем. Сидит, отчеты и библиотечные формуляры заполняет круглый год. И когда проверка приехала, выяснилось, что баба Пания, его, Миляевского личная тетка, большой поклонник Джека Лондона. Или, что девочка Инна Возняк каждую неделю книжки меняет. Хорошие, умные взрослые книжки. Выяснилось, что Инночке четыре года. Нет, никто не отрицает, что гении есть, но не Инночка. Ни она, ни та самая баба Пания, которая ее нянчила, читать не умеют. Были неприятности.

Тогда Миляевский женился на главной архитекторше района, косматой суровой одинокой даме, расправил крылья и захотел стать директором музыкальной школы. А что? И стал. А что? Подумаешь: непонятно чего хотел от учителей. Или вдруг выгнал всех музыкантов убирать двор. А что? А то, что подслушивал и проверял по секундомеру, сколько идет урок — так он же директор. И что отлавливал учеников и задавал интимным шепотом вопросы, а что учителю подарили на восьмое марта. И что интриговал, вызывал учителей по одному, выпрашивал сплетни, кто с кем. Имел право! Дружил сначала с одними. Потом с другими. Путем угощения коньяком. Сначала одних угощал коньяком, потом других. Причем, варьировал, дорогой коньяк сменялся на дешевый. Люди нервничали. Спрашивали друг друга, тебя каким сегодня коньяком угощали?.. И директора стали ненавидеть все, кто любил дорогой коньяк. А дорогой коньяк, как выяснилось, любили все.

Миляевский пошел дальше. Запретил «водить слона», то есть подрабатывать на свадьбах, крестинах, юбилеях. Проверял, подглядывал, выпрашивал, ябедничал в финотдел.

Надоел до чертиков. Дальше — больше. Захотел отобрать у прекрасного музыканта, у потомственного мастера по изготовлению духовых молдавских и буковинских инструментов, известный в стране и за рубежом национальный оркестр.

— Как это? — сказал Миляевский — Я ж, этсамое, директор музыкальной жеж школы, а ты кто? Да у тебя ж, этсамое, музыкального ж образования нет!

Варежка Иван Васильевич, драгоценный для всех нас музыкант, человек объединяющей силы, центр радости и вдохновения, растерялся просто от такого обнаженного хамства и не выдержал — слег с сердечным приступом. Не мог понять, за что, почему? И все, даже любители дорогого коньяка не могли понять. Но поняли. Потому что Миляевский хотел сам стоять и махать. И не только стоять. Но и ездить. И кланяться. Фестивали, Европа, Канада же! Вот Канада раз в год, этсамое — дни Украины в Торонто! Телевидение! Президентские концерты! Какой еще,

этсамое, Варезка, ну?! Он! Милявский! Сам возглавит! Сам! Оркестр это вам не что-нибудь! Это... Короче, все. Вот поэтому не спалось ему и жена-архитекторша как-то сказала: — а в чем дело, Милявский, что такое, почему оркестром руководит какой-то старый Варезка, в чем дело, спрашиваю тебя? И Милявский утром пришел, отобрал оркестр, да и выгнал Варезку. Как в сказке про избушку лубяную и ледяную.

Костюм пошил себе Милявский. Шикарный. Долго тщательно выискивал в магазинах сорочку с запонками, чтобы, когда дирижировать, они блестели в свете прожекторов. Архитекторша попросила кого-то — ему из-за рубежа привезли. И терзал Милявский оркестр нещадно. Каждый день репетиции, репетиции, репетиции.

Ну оркестр — это же не только инструменты, зал, пюпитры, ноты. Это еще и люди. А музыканты, это ведь народ не очень простой. Чуткий. Особенный. На репетициях — ладно — играли, как учил предыдущий руководитель. Играли, нормально, ничего. А перед концертом все договорились — элементарно — дизезы, бемоли — игнорируем. Все играем дружно, красиво, дирижера глазами жрем, а где дизез или бемоль — смотрите внимательно! — не играем.

И ведь вот же какие восхитительные сплоченные хулиганы, какие молодцы! На дирижера, действительно, смотрят предано, играют дружно, но что-то не так. Никто из слушателей неискушенных — а там же чиновники, райком партии тогда был еще, исполком, уселись все на седьмой ряд — никто понять не может. Вроде играют как всегда. Но не так! И оркестр все делает — встали, когда надо. Сели, повернулись вправо-влево, пританцовывают ногами, глазами, плечами поигрывают, покрикивают: э! э! э! А звучит как-то... издевательски. Объяснить невозможно, но издевательски...

Явно издеваются. Явно. И ударные — тоже. Большой барабан, дядя Гриша, лупит вроде, весело так, прыгает рядом с барабаном, но не то, не туда, не так!

И секретарь по идеологии вызвал Милявского объясниться, спрашивает, мол, Милявский, в чем дело? Что это было?

И этот идиот взял да и обвинил Варезку. Мол, он же, этсамое, заболел — сердечный приступ, так? И я в последний момент его этсамое, подменил, а что было делать. И видите, оркестр не готов совсем оказался. Я всю ответственность, конечно, этсамое, беру на себя, но виноват во всем Варезка.

Вот как иногда подлость бывает искренняя и незамысловатая. И зависть тоже. Но это потом было. А тут конец света в первый раз объявили, в 1999 году. И он прибежал к нам за советом. Несчастный, жалкий. Умоляет, этсамое, хоть скажите — во сколько!

Этот вопрос он вообще чаще всего задавал. Странно конечно... Ему говорят, Варезка-то с сердечным приступом свалился. А он спрашивает: — Во сколько?

Или, например, кто-то ему на ухо, мол, любовница твоя, секретарша Света, мальчика родила. А он глазами забегал, вспотел сразу и опять: — Во сколько?!

Или вот завхоз ему звонит, говорит, проблема, в здании музыкальной школы отопительная система полетела...

— Во сколько? — опять.

И когда ему объявили, что грядет конец света, он, конечно, спросил: «Во сколько?»

И я ответила:

— В четыре, Милявский

А он спросил:

— Чего, этсамое, четыре?

А я ответила:

— Ну... дня.

А он:

— Да? этсамое, да? *точно*?!

Короче, без пяти четыре он объявил сотрудникам своим, измученным его интригами, подозрениями и коньяками, перерыв и вышел на площадь перед Дворцом. Стал в центре, осмотрел, чтобы не было над ним проводов, чтобы не было рядом ничего такого, чтобы на него упало вдруг. И так стоял там. И все в окна наблюдали, как он там стоял: голова в плечи втянута, хвост поджат... И кто-то не поленился выйти и спросить, а вдруг... снизу... из-под земли... р-р-аз! И гейзер! Или еще какой-нибудь сюрприз?

Короче, извелся сильно, этсамое, но жена его архитекторша оттуда забрала и видимо, хорошо он получил дома. Жена была — ого, тиранша жуткая. И если бы они оба были поумней, то поняли, что конец света, действительно, наступил, но только в отдельно взятой семье. Потому что, ну нельзя же так бесцеремонно вести себя, как будто город — это твоя собственность, как будто это твоя вотчина, как будто ты барыня, а все твои подчиненные — крепостные. У жены Милявского вообще неприятности начались — она исторически ценные здания свалила и взятки брала за незаконное строительство. И без конца их обоих вызывали, допрашивали, подписки брали. И тогда Милявский тихонько сбежал в Германию. Как этнический немец. Глупый-глупый, а хитрый и предусмотрительный. И там сейчас, в Германии, живет. Женился. Этсамое, даже не смешно — на архитекторше женился. Только на другой.

Ну а тогда, когда вышел тот мой фельетон в Киевском издании, я не знаю, как он себя узнал, но узнал. И не здоровался. И даже недавно, когда приехал к кому-то в гости, все равно при встрече явно узнал, но не поздоровался...

— Па-дам! Па-дам! Па-дам!

Музыка... Хм, опять музыка...

Па-дам! Па-дам! Па-дам!

Ой, что-то задремала. Что же это я задремала? Мне же надо собираться и спасать. Вообще странно как-то. Обычно в последние минуты, как водится, как пишут в умных книжках, вся жизнь вспоминается *по порядку*. Вот я родился, вот я пошел. Пошел-пошел. Пошел в детский сад. В школу пошел. А у меня что за воспоминания? Ну никакого порядка. Тут тебе война, тут тебе школа и здрасте пожалуйста, откуда-то Джон Рид вынырнул. И Ленин шныряет — туда-сюда, туда-сюда. А с ним под ручку какие-то странные не всегда симпатичные персонажи. Может и не будет этого всего — раз жизнь вспоминается *не по порядку*, может, пронесет.

А с другой стороны, раз вспоминается, значит помнится. А то, что помнится, то и жизнь!..

02.08. Ох, как тянется время.

Наверное, надо молиться. А как? Вот мою маленькую дочку учил такой же маленький ее друг Женя во дворе в песочнице, что надо молиться так: сложить ручку лодочкой на животике, закрыть глазки и сказать: «Бог-Бог, здрастье, как у тебя дела?» Лина еще на это ему ответила авторитетно:

— Взрослым нельзя говорить «ты», надо говорить «вы».

А друг Женя ей ответил, так бог же тоже маленький. Я видел на картине в книжке, он там у мамы своей на ручках сидит. Маленький бог — для детей, а взрослый бог для взрослых. И потом — Женя объяснял — надо сказать, например, «Бог-Бог. Я сегодня разрисовал обои». И потом надо сказать: «Бог-Бог, я больше не буду», ну и потом уже, если тебе что-то надо: «Бог-Бог, сделай, чтобы мама купила мне легиона «Пираты». И затем уже открываешь глаза и говоришь «Ну все. Аминь».

Когда-то мне позвонили с работы и сказали, что очень плохо нашему сотруднику Ивану Георгиевичу. Что он лежит сейчас на операционном столе, и уже пятый час ему пытаются остановить желудочное кровотечение.

Он такой был хороший человек, этот наш Иван Георгиевич.

Я села в уголок и стала бормотать: Бог-Бог, здарсьте, послушайте, наш Иван Георгиевич такой хороший человек. Он так любит своих мальчиков, своих сыночков. Так смешно и с таким счастливым изумлением о них рассказывает. Он такой работоголик. Он потерял недавно любимую младшую сестру Валечку. Ну что вы, а, Бог? Уже пятый час, а? Ну вам ведь не сложно, а?... Вы же всемогущий. Ну все. Аминь»

И, как оказалось, в это же время и другие наши сотрудники говорили почти тоже самое. Конечно, по-разному и на разных языках, в разных местах, в храме или как я, в уголке своей комнаты, в клинике, где оперировали Ивана Георгиевича, или просто на улице. Но все мы обратились к Всевышнему с одной и той же просьбой.

Не знаю, чей голос был услышан, но кровотечение остановили, Иван Георгиевич пришел в себя, встал на ноги и через полгода после операции опять принялся обихаживать свое большое подворье, делать новый забор вокруг дома и заниматься детьми.

Умер он летом. Мы узнали об этом только потом. Оказывается, он копал колодец. После таких сложных операций копал *новый* колодец. Потому что старый колодец находился во дворе, а принято у нас здесь, чтобы колодец выходил на улицу, чтобы любой проходящий, любой путник мог подойти и напиться, не спрашивая. Иван Георгиевич решил выкопать колодец для людей. И никто его не остановил, не удержал.

Бог-Бог, пусть ему там будет хорошо, в твоём мире. Пусть отдохнет. Не давайте ему много работать, Бог. А то он увлекается. Пусть он там будет счастлив. И пусть его мальчики вырастут похожими на него. Не прошу больше ничего. Ну все. Аминь.

К маме моей повадилась звонить и ходить одна воцерковленная дама. И давит, и давит на маму. Просто дышать не дает спокойно. Это нельзя, то нельзя, все нельзя. И Боженька наш милосердный всемогущий добрый и любящий предстает в ее проповедях злобным мстительным старикашкой, который, если что не так — будет ужасно сердится и поставит в угол в лучшем случае. Мама уже не знает, брать ли ей трубку, не брать. Так измучилась с ней.

Она, эта дама и другие тетеньки знакомые бегают в храм по любому случаю. Но все вокруг посмеиваются, поскольку знают, что эти женщины ужасно влюблены в батюшку Митрофана. Значит, Галя, Миля и Катя. Очень увлечены. И так уже наряжаются, когда в храм идут. Ему, отцу Митрофану, матушка говорит: — батюшка, ты что это у зеркала возишься да крутишься, ты что это, а?! Ты почему так гладенько причёсываешься, и еще ладошкой укладываешь чубчик, зачем бороду

шампунем моешь и расчесываешь, чтобы она лежала волной, ты что это, а, ба-
тюшка?! А он ей, а это, матушка, для дела, для дела. Для какого еще дела? — ма-
тушка руки в боки. Для какого такого дела, а?! Чтоб глазки строить прихожанкам?

— Так оттого и приход у нас увеличился, матушка, — строго ответил отец
Митрофан, оттого у нас и достаток увеличился, оттого и курочек тебе домашних
желтых приносят на суп и во дворе да на огороде помогают убираться...

Какое прекрасное оправдание!

Короче, за счет своего обаяния отец Митрофан увеличил количество при-
хожан. Он такой артист, этот отец Митрофан. Когда идут они крестным ходом, он
впереди, торжественный, величавый, но глазом косит, а смотрят ли на него люди
из автомобилей, которые стоят на обочине и пропускают ход. А матушке все равно
— она идет, уставшая, который год в одном и том же сером пальто, всегда бере-
менная, зевает и машинально мелко крестит рот. И сразу представляешь ее трудные
длинные дни, все кажется, что ей холодно, потому что руки ее всегда красные, без
перчаток и варежек, и все рукава — ее вечного пальто, ее серых кофт или невзрач-
ных блуз — почему-то коротки. А батюшка ее только все больше расцветает.

Однажды на Пасхальном Богослужении уже к самому-самому таинству
подходя, стучит батюшка в дверь храма, как положено. Сотни людей смотрят, ночь,
свечи горят оранжево и нарядно вокруг. Стучит второй раз, третий. А потом откры-
вает двери храма и восхитительным оперным баритоном произносит, обернувшись
к сотням взволнованных прихожан:

— Христос воскрес!

И прихожане вторят, торжественно, душевно, радостно, с трепетом в
душе. И в это время — все ждут — должны звонить колокола. А звонарь Никушор,
глуховатый. Что он там делал, не знаю, но вовремя он не вступил. И батюшка Мит-
рофан, сменив свой благодный вальяжный вид на озабоченный и суетливый, вы-
прыгнул вперед и закинув голову на звонницу закричал:

— Э! Никушор! Э!

— Чи? (Что? — по-румынски) — спокойно и даже сонно сверху ответил
Никушор

— Чи-чи... — развел руками батюшка Митрофан — Так, Христос воскрес,
Никушор!

— Ааа... — и заиграли малиновые звоны, зазвонили на весь город красиво,
звонко и празднично. И все радостно и облегченно вздохнули.

А как же моя сестра Таня? Моя племянница Улечка? Что с ними будет!..

Когда-то меня спросили, зачем я переехала на край света и живу вдали от
суеты, от метро, развлекательных центров и ночных клубов и не хочу ли я жить в
большом городе. Нет, я не хочу. Совсем не хочу. Ну как поменять чистый воздух и
пение птиц за окном, размеренный ритм жизни и относительную свободу от не-
хватки времени, толп, очередей, общественного транспорта на огромный каменный
муравейник, где от тесноты невозможно расправить крылья.

А это страшное, inferнальное зрелище, когда в час-пик в метро идут ги-
гантской толпой в одном ритме суровые собранные мрачные люди-футляры, люди-
роботы. А тут я навстречу, наперерез. Своей свободной расхлябанной походочкой,
иду, не торопясь, паясь по сторонам, с любопытной рожей. И эти люди вдруг

взгляд на мне останавливают, и понимают — что-то не так. А что — нет времени сообразить. И пронесит их мимо меня дальше по жизни, и только иногда ночью я могу явиться в чей-нибудь сон со своей клоунской улыбкой, явиться, озадачить и опять исчезнуть. Нет, не место мне там.

Для нас, здесь на краю света, если ночью в чьем-то дворе вдруг завоет сигнализация автомобиля — все, ЧП. И хозяин нашкодившей машины утром ходит по дворам и перед всеми извиняется, объясняет, мол, извините, оставили kota во дворе, а он у нас толстый, тяжелый, вспрыгнул на машину — вот и случилось. И все улыбаются, кофе даже предлагают вместе выпить. Утро ведь. А в московском дворе у Ульки, когда ночью воют машины одна за другой, одна за другой, включаясь по очереди, воют как НЛЮ из старого кинофильма, воют от тоски или еще чего-то! Как там люди спят вообще? Разве можно там спать? И пусть бы хозяева этих машин утром походили бы по квартирам, поизвинялись бы. Такого бы понаслушались!

А неспящие в Москве?! Шуршат и гудят машины всю ночь. Как это так, что столько людей не спят ночью. Куда они едут? Зачем? Я была у племянницы в гостях, смотрела в окно и ждала, когда же, наконец, прекратится движение и дорога замрет, отдохнет. Нет.

Только представить себе, что все эти *неспящие в Москве* вдруг соберутся в одном месте. Несметная армия орков, троллей и прочих страшных порождений удерут в свой Мордор, поддергивая штаны, при первой же встрече с *неспящими в Москве*, потому что *неспящие в Москве* — это вам не полчища Саурана, это ужас что такое. И не дай вам Бог случайно наступить *неспящему в Москве* на ногу где-нибудь в районе шести-семи утра. Если бы Толкиен жил в Москве, он бы коренным образом переписал бы свои романы о хоббитах.

Так под этот шум моя Улька и живет. Пленительная девушка, умная, красивая: сероглазая, гибкая, бывшая балетная. Ульяна. Улечка-Улька.

Как-то она приехала к нам в гости на каникулы. И уже тогда, лет в десять, она все делала с умом, не спеша, размерено, обстоятельно. Сначала у нее была разминка, она растягивалась на балконе, потом она принимала душ, потом она пила ромашковый чай и дальше все по *ее* плану.

И она такая была в свои десять лет — глаз не отвести. Впрочем, как и сегодня. Но тогда поражало всех это сочетание серьезности, аристократизма в высказываниях, в пластике, поведении. Принцесса и все тут. Хотя случались и сбои.

Утром как-то после завтрака я затеяла уборку. Балериночка моя еще допивала чай за столом. У моих ног прыгал и цеплялся за метлу и швабру короткий и толстый, мордатенький серебристый британский котенок Мурза. Мы с Мурзой уже почти все убрали. И я нетерпеливо переминаясь, хищно косилась на оставшуюся немьгую чашку в руках у Лямы. Так мы ее называли в детстве. Да собственно, и сейчас тоже. Но Лямочка, княжна, маленькими глоточками тянула чай и мечтала о чем-то своем. И все это был целый ритуал, которому позавидовала бы любая взрослая женщина: длинные ресницы опущены на матовые нежные щеки, стройная длинная шея не напряжена, собранные на затылке русые волосы подчеркивают безупречный овал лица, спинку держит по-королевски (как только не устает!), чашечку подымает — крохотный глоточек — и бесшумно опускает на блюдце. Снова подымает — глоточек — опускает. Я нетерпеливо топталась у стола, чтобы цапнуть наконец чашку, вымыть ее, протереть, наконец, пол, где стоит ее стул, забыть об уборке и заняться более интересными делами. Вдруг вижу: на полу разлилась лужица, прямо у Лямкиных ножек, изящно боком сложенных одна на другую.

— Откуда лужа?! — взвывая. — Я же только что все помыла! — Ну откууда?!

И тут Лямочка наша, эта столичная небожительница, эта балериночка, которую в Большом театре поцеловала на концерте сама божественная Екатерина Васильева, эта маленькая принцесса подняла чашечку, сделала глоточек, опустила чашечку, открыла лепесточки маленького ротика и нежным голоском произнесла:

— А-а-а... Дак эт-т кошак нассал...

Ой, как смешно! Оой! Тихо-тихо...

Спи, дорогой, спи. Ничего-ничего. Нет, у меня все в порядке. Нет, у меня ничего не болит. Нет, я просто вспомнила смешное. Спи. Так вот, о Лямочке нашей. Сейчас она работает переводчиком в большом туристическом холдинге. Да, при ее красоте она еще выучила несколько сложных языков, в том числе арабский. И конечно, приезжающие в Москву арабские партнеры по бизнесу, дипломаты или туристы, увидев ее, сначала замирают и смущаются, а затем моментально делают ей предложение руки и сердца. У арабов — говорит Ляма, пожимая плечиком — делать предложение, как поздороваться. Ляма получает предложения даже в виде смс: «Буть майей лубимая жына» Это означает, что три уже есть, а Ляму приглашают надеть шальвары, паранджу или как минимум хиджаб, и господин назначит ее любимой женой. Лямка говорит, что самое распространенное имя у этих ребят, как правило, Мухаммед. И когда она получает очередную смс с витиеватым предложением: «Хабибти. Жынись на меня, швикок души маей, дорога Уляна. Всегда твой Мухаммед», она, не зная даже, от какого именно Мухаммеда пришла смс, просто ее удаляет, даже не дочитывая до конца. А чаще они приходят без подписи, причем претенденты пишут просто и недвусмысленно, что-то вроде: «Papa soglasilsya. Svadba v chetverg». Или «Даю тебе кавер, кастюм, 4 калыца с брилантами, ажырелий — скок хочиш».

А вот когда ее преследовали лично, было хлопотно. Хотя надо отдать должное — ухажеры вели себя деликатно, на глаза не лезли, могли встретить у входа с корзиной цветов или фруктов-сладостей, которые потом неделю ели все Лямкины подружки, могли просто издалека кидать в ее сторону пыльные взоры и как бы случайно пересекаться в коридорах компании. Но уж когда они теряли терпение и спрашивали ее в упор: так да, или нет, Уля, склонив аккуратную русую головку, серьезно и даже с сочувствием глядя на воздыхателя, интересовалась:

— Шекера, конечно, — отвечала Уля на арабском, мол, спасибо за такое внимание, — а сколько у вас в стаде *красных* верблюдов?

И все, молодой человек опускал голову и больше не смел поднять глаза на девушку, потому что красный верблюд в стаде как «Майбах» в гараже.

А то! Мы, Гончаровы, без красных верблюдов своих дочерей замуж не отдаем. Подай нам красного верблюда и точка. И тогда мы еще подумаем.

Шучу, конечно, шучу. Какое там.

Когда Ляма была маленькая, я привезла ей миниатюрную и очень смешную куклу Крысю. Ее, конечно, в просторечии называли Крысой или Крыской, и она, эта Крыся, все годы Ляминоного взросления делила со своей хозяйкой радости и горести. Крыся частенько плакала и ревновала, потому что у Лямы появлялись новые куклы — фигуристые красотки Барби и Синди. Но Ляма утешала Крысю, что с помощью этих дур она просто учится шить, не переживай Крыся, ты у меня самая любимая. А Крыся всхлипывала и говорила:

— Я хочу быть не самой любимой, я хочу быть единственной.

Так и случилось. Уля в тринадцать лет закончила шить для своей Барби роскошный гардероб, включая пальто, шубы, сапоги, перчатки и прочие аксессуары. Последним было восхитительное свадебное платье. Ляма выдала Барби замуж, после чего подарила и ее саму, и огромную пластиковую прозрачную коробку с ее приданным своей младшей кузиночке, моей дочери Лине.

И вот тогда Крыся спокойно вздохнула. Она и теперь живет у Лямы в комнате, все в том же потрепанном сарафанчике, в котором была подарена. Лишь изредка Ляма, болтая по телефону с друзьями, переплетает ей косички. И тогда Крысино выражение лица меняется. Личико ее страшенькое расплывается в нежной улыбке и глаза светятся радостью и любовью.

Ах, эти наши старые игрушки!..

Еще одной моей племяннице я подарила игрушечную обезьяну по имени Ретуа (так было написано на ярлычке, приколотом к ее уху), обезьяну Петю, явную барышню, с двумя рыжими косами, с радостной миловидной мордочкой и длинными свободно болтающимися конечностями, которые можно было завязывать узлами. Трехмесячная племянница с роскошным именем Аэлига была в то время абсолютно лысенькая, очень худая и, если приглядеться, даже несколько зеленоватая, поэтому имя ей где-то даже очень подходило. Это теперь она — стройная нежная красавица-блондинка. А иногда и брюнетка и даже шатенка.

Мда, какие только мысли не приходят в сонную голову в канун всеобщего, можно сказать, глобального не знаю чего...

Да. Игрушки, игрушки... С трех месяцев Аэлига со своей Питой (так она называла обезьяну Петю) не расставалась.

При том, что обезьяна, как я уже сказала, была явно барышней, Аэлига как раз не сомневалась в ее мужском начале. Поэтому как только ее маленькие, но ципучие пальчики — ей было года четыре — дотянулись до ножниц, поганые рыжие Питины косы были срезаны под корень. Пига с Аэлигой гулял, ел, спал и частенько болел. Пига был первым, кому Аэлига показывала свои рисунки, в Питин живот Аэлига плакала, именно его всегда брала с собой на праздники в детский сад и отдыхать на море. Даже пыталась затолкать его в ранец, когда шла в первый класс, но отец ее, добрейший Саша, заметив Питин облезлый хвост, торчащий из нового, раздутого из-за толстого Питино пуза, ранца, пообещал, что понесет Пигу на руках как почетного гостя торжественной линейки. И понес. И Пига видел, как Аэлигу приняли в школу. Пига делал с ней домашние задания, не спал ночами, когда она готовилась к экзаменам и, понятно, что именно он сидел, старенький, но принаряженный, одетый в специально пошитый смокинг и котелок, на капоте свадебной машины, когда Аэлига выходила замуж.

Однажды, когда Аэлиге было года три, родители предприняли попытку заменить штопанного старого Пигу на точно такую же новую игрушку. Вечером Аэлига улеглась в кроватку, уложила рядом Пигу, укрыла его одеялом под горло, уступив ему большую часть своей спальной площади. И уснула.

Родители подкрались, вытащили из-под одеяла старого Пигу и положили туда нового.

Утром случилась истерика. Аэлига, несчастная, испуганная, красная от слез и крика рыдала все утро, икала и просила, заклинала, умоляла как взрослая:

— Дайте Пиинигу! Дайте майова Пиинигу!

— Но вот же он, — ласково уговаривали родители.

— Нееееет!!! — кричал ребенок, отталкивая новую игрушку и еще больше заливаясь слезами, — это не Пига! Это не мой Пига! Дай майова Пигу!!!

— Ну посмотри, — говорил Аэлите папа. — он просто искупался вечером, он съездил на курорт, отдохнул...

— Нет! — злобно крикнула девочка и приглотнула босой ножкой, — он не Пига. Он чужой, пахнет не Пигой!

Словом, Сашке пришлось бежать к мусорным контейнерам, копаться там на виду у целого микрорайона и к счастью своей любимой дочери найти «майова Пигу»

— Пиииита, — тяжело вздрагивала и вздыхала Аэлита, обнимая грязного, но любимого старичка. — Питанька, — тянула она красным от слез носиком, — я тибья никому-никому не дам.

Она даже не дала его постирать. И стирать его опять пришлось ночью, сушить феном и лишь под утро уложить рядом с ней. Саша, папа Аэлиты, бережно укрыл Пигу, положив его лапки поверх одеяла, как это делала его дочь.

02.49. Игрушки

можно навсегда и всем сердцем полюбить не только в садиковском возрасте. Было ли много в моем детстве игрушек? Нет. И, пожалуй, я была к ним равнодушна. Были у меня, конечно, всякие там мишки-собачки. Например, у меня была кукла-дочка, которой я шила всякие обновки. Кряжистая, кривоногая, с круглой красной головой и зубастой оскалистой улыбкой. Вместо волос у куклы были три зеленых листка. Дочка моя в зеленом камзолчике, была пузата с тонкими ручками, сжатými в сердитые кулачки. Собственно, эта моя дочка была не кукла-девочка, и не кукла-мальчик, она была — кукла-помидор. Это был синьор Помидор, сделанный по сказке Джанни Родари «Чипполино». Очень увлеченно я с ним играла. Он был маленький, кругленький, на него всегда хватало тех лоскутков, которые мне доставались, чтобы сшить пальто, юбку или вечернее платье. Еще у меня была кукла по имени Кучинская. Она, одетая в гимнастический синий костюмчик, комбидресс, как сейчас называют, была названа в честь знаменитой в те годы гимнастки. А однажды мама привезла из Киева куклу Маргу с настоящими волосами и в очень красивом платье. Куклу можно было купать и даже мыть ей голову шампунем. Но она досталась моей младшей сестре.

Зато навсегда любимая игрушка у меня появилась совсем недавно. 1 января 2010 года. Все было тогда неслучайно, наша с ней встреча была неизбежна. Мироздание то ли выпило лишку в новогоднюю ночь, то ли все-таки вдруг ощутило ко мне симпатию или, что скорее, жалость. Оно подсуетилось, побегало, все-все организовало и с умилением сложив ладошки, стало наблюдать за происходящим, время от времени, где надо, подталкивая меня и моих близких, подпихивая нужных людей и даже нечеловеческими (а какими же? оно ж Мироздание!) усилиями заставив одного бизнесмена открыть свою странную лавку и поднять ни свет ни заря двух девушек-продавиц, то есть, совсем в неурочное время. Словом, оно, мироздание, все это отрежиссировало и само уселось в партере, чтобы наблюдать. И я его, думается, не подвела. Знаки, которые оно мне подбрасывало на каждом шагу 1 января 2010 года, я прочла просто с точностью до одной сотой. Или даже тысячной. Только не знаю, в каких единицах. Ну да ладно.

1 января в 11 часов утра, когда вся страна спала после встречи Нового года, наш младший ребенок затребовала ехать на каток. Мы разбудили старших детей, загрузились в машину и поехали в большой торгово-развлекательный центр, где был и каток, и кофейня, и ресторанчики, и блинные, и пирожковые, и боулинг, и кинотеатр, и бильярдная. Там были и магазины, в которые как правило, никто не ходит. Есть такие бутики — элегантные, просторные с надменными и одновременно профессионально улыбчивыми продавцами и непонятными названиями, чаще именами жен или детей хозяина магазина; иногда и с экзотическими географическими названиями, что-то вроде, например, «Бали». Но внутри этих бутиков пусто, ни одного покупателя. Никогда. Так вот в тот раз, когда мы приехали в наш развлекательный центр, в половине двенадцатого утра первого января из всех магазинов был открыт только магазин «Бали». Сын еще даже сказал что-то вроде того, что это потому что с нами мама. Она притягивает к себе всякие диссонансы как магнит железяку. Если бы не было мамы, все было бы буднично, скучно и *нормально*. Ну а поскольку с нами мама, значит, сюда соберутся сейчас все фрики города и начнут вокруг нее свой карнавал, лучше бы нам смыться на лед, пока не поздно. Но было поздно. Дана как в воду глядел. Пока мы недоуменно топтались у витрины магазина «Бали», разглядывая (напомню, 1 января) зонтики, купальники, кремы для загара и солнечные очки, к нам вдруг подвалили три статисты, одетые в гигантские ростовые куклы героев мультфильма «Мадагаскар» — зебры Марти, льва Алекса и толстой мягкой Глории, кокетливой дамы-бегемота. Они по-дружески стали нас тискать как родных зверей из своего же мультика.

И я еще спросила их:

— Ребята, как это вы так рано встали?

А Зебра в ответ заржал и пьяно, беззаботно откликнулся откуда-то из своего живота: — Да это мы еще не ложились!

— Спьяшем? — предложил он моей невестке Ирочке, подцепив ее огромной полосатой ного-рукой с пластиковым копытом за тонкую талию и пытаясь уволочь в центр пустого зала к елке, где непонятно для кого играла веселая танцевальная музыка.

Ирочку кое-как отбили от назойливого животного и дети со своим отцом ушли на каток. Наглые пьяные звери еще что-то праздничное кричали им вслед, размахивая разного цвета передними конечностями и пошли приставать к другим посетителям.

Сначала я посидела в кофейне, потом пошла бродить по центру, но навстречу мне опять откуда-то вынырнули пьяные животные. И чтобы укрыться от представителей вездесущей чокнутой фауны, которые все не могли уговориться и предлагали сфотографироваться вместе, я забежала в еще один на тот час открывшийся магазин. Это оказался сток. То есть, там были товары, которые не пользовались в других магазинах и бутиках спросом, долго лежали или висели, а потом их сгрузили в какой-то один контейнер и отправили в эту вот, такую странную, почти неосвещенную лавку, где зябли две невыспавшиеся девочки. Там все лежало кучами, горками, там было все. Девочки так оживились, когда я пришла, как будто ждали именно меня. Кстати, после моего ухода, спустя, наверное, полчаса, магазин закрылся. А когда мы приехали в этот центр через пару месяцев, уже весной, этого магазина я так и не нашла. Знала, где он был, ходила, искала, но не нашла. Там даже двери не оказалось. На его месте была глубокая ниша с машинками и мотоциклами для маленьких и большая игровая площадка «Джунгли», где стояли искусственные пальмы, висели лианы,

разные бамбуковые лестнички. Где нужно было перелезть через искусственную реку по подвесному мосту или перелетать на веревочной петле...

Ах, да! Магазин же! Вошла я в эту лавку. Девочки ко мне кинулись, мы поболтали, кто как встретил Новый год. Я, пошла разглядывать экзотические африканские маски, копыя, шкатулки и вдруг с верхней полки, где стояли неостребованные маски никому не нужные игрушки мне на руки свалилась, нет, не так — не свалилась, а скорей, спрыгнула — нелепая, длинношеяя, длиннохвостая с крохотной головой с огромным карманом на животе, коричневая с розовым, мягкая кенгуру.

Она свалилась мне на руки и как будто прижалась ко мне, мол, а вот и ты, ну сколько можно ждать! Немедленно я ее купила за каких-то пять или сколько-то там долларов. Потому что уже почувствовала, что меня ведет, что уже тянет тем самым загадочным воздухом, каким хоть раз надьшишься и случается чудо.

И когда дети накатались, наелись, наигрались и мы приехали домой, я уже знала, что вот-вот. Например, сейчас включу компьютер и прочту что-то очень важное. Так и случилось. Рассылка из «ОЗОНА» сообщила, что вышла и в продажу поступила моя долгожданная книжка «Кенгуру в пиджаке».

Сейчас Кенга, постаревшая за два года, потрепанная от объятий и постоянных переездов — она повсюду ездит со мной — моя верная подруга. По ночам она охраняет мой сон — сидит рядом с моей подушкой, а в ее кармане — мой сотовый телефон. Я говорю ей спокойной ночи, Кенга. Я говорю ей доброе утро, Кенга. Иногда целую в нос, ласково глажу по маленькой встрепанной ушастой голове или жму мягкую тонкую лапку. Кошка ревнует.

Где она?.. Кенга? Вот она, шелковая шерстка...

Нет, не могу сказать, чтобы я была привязана к какой-нибудь игрушке в детстве. Например так, как мой сын любил маленькую Фоззи. Непонятно, что это был за зверь, но милый. А дочь обожала олененка Бемби, цвета топленого молока с коричневыми пятнами, с влажными ласковыми глазами и медведика в кожаных штанах.

Медведик был очень ценным товарищем моей дочери. Потому что его подарил ей старший брат.

Когда ее брат учился в военной академии — там он изучал языки и готовился стать военным переводчиком — его не отпускали домой просто так. Чтобы получить «увольнительную» и съездить на выходные домой, нужно было очень постараться. Заслужить это.

И как-то, в свой пятый день рождения Линка ждала и ждала своего брата. Вздыхала, зевала. И уснула.

А он все-таки приехал, «очень постарался», видимо, а может быть и «заслужил». Я его уже и не ждала в тот день. Он приехал поздно вечером и тихонько подошел к спящей Линке, чтобы положить рядом с ее подушкой свой подарок. И Линка проснулась моментально. Такого, наверное, с ней никогда ни раньше, ни позже не было. Она проснулась, вскочила и, сонно ковыляя по кровати, как обезь-

янка залезла брату на руки и обхватила его руками и ногами. Так я до сих пор и вижу эту картину: маленькая, теплая сонная девочка в голубой пижаме с белыми зайками на руках у взрослого мальчика в курсантской форме. И оба ужасно похожи друг на друга...

Так что? Получается, что и мои дети?! Не может быть!.. Не дам! Не пущу!

Хорошие у меня дети. Я их совсем не воспитывала. Меня даже спрашивали, а как ты воспитываешь своих детей? Я всегда терялась, не знала, что ответить. Как-как... Да никак. Они умеют вставать рано, потому что я встаю рано. Они читают, потому что я читаю. Они подкармливают зимой птиц и уличных собак и кошек, потому что я это делаю.

Однажды маленький Данька провинился, и я (ну, дурачина, что тут скажешь) решила проявить характер, которого у меня нет, и поставила его лицом в угол. Он тут же развернулся, вышел из угла и, подняв на меня разумный укоряющий взгляд, недоуменно ворчливо проговорил:

— Мама, ты что?! Я даже диву даюсь, я же извинился уже. Что я тут буду стоять — время тратить.

А Линка однажды вообще заявила:

— Марусь, ты что нас с Даней не наказываешь совсем? Ну хорошо, Даня-то уже взрослый, самостоятельный. А я?! Почему я расту совсем без воспитания? Дневник мой с оценками не смотришь никогда. Не грозись ремнем, как другие родители, не бьешь меня, как мама Луковой, например, головой об стол, где лежит тетрадка с плохой оценкой?

И я возразила:

— Ну, почему. Я вон на собрании сидела родительском, два часа потеряла, слушала, какая ты умница и отличница. А мы могли бы в это время погулять или поиграть во что-нибудь. И потом я тебя иногда наказываю.

— Вялю наказываешь! — строго ответила дочь. — Надо поостроже!

— Ой, вы оба, и Даня и ты, хорошо подпортили мне жизнь, — стала я стелать и заламывать руки, — как я была бы свободна, сколько стран я бы посетила, сколько интересных людей бы встретила...

— Да? Зато благодаря нам, ты стала матерью! — резонно ответила дочь, — ты даже пережила клиническую смерть, когда во время родов отключили электроэнергию и перестал работать аппарат искусственного дыхания. Где еще ты получила бы такой опыт и узнала, что там тоже есть жизнь? Потом, благодаря нам ты наконец, на-ко-нец! выучила таблицу умножения! И потом, именно благодаря нам с Даней, ты стала писать в газеты и журналы, чтобы заработать нам на памперсы! И вообще ты... — Линка нежно прижалась ко мне и промурлыкала, — ты только благодаря нам узнала, что такое любовь. — Она подняла на меня свою хитрую рожицу и спросила: — Или нет?

Даня в детском саду получил роль котика. Готовилось открытое занятие, на котором должны были присутствовать директора других детских садов, воспитатели и методисты облоно. Меня вызвали к заведующей и предупредили, что роль котика, которую поручили моему сыну, очень значимая, практически, для садика

«Солнышко», эпохальная роль. Что эта постановка про котика — главная фишка «открытого занятия». Что на четырехлетнем Дане лежит гигантская ответственность за результаты аттестации воспитательницы Марты Васильевны и аккредитацию самого детского учреждения. И заведующая перечислила, что именно для этого я должна сделать. Как мать Данила.

Мы с Даней, сложив руки на коленках, послушно, тихо и смущенно сидели в кабинете у заведующей и понятливо кивали головами. Так, нервно бегая по кабинету, она воспитывала нас, иногда помахивая правой рукой куда-то в окно, где предполагалась заседавшая в кустах бузины ужасно строгая аттестационная комиссия, которая *уже* — подчеркивала заведующая — уже следит за нашей работой. Мы с сыном даже стали нервно озираться.

Данька запомнил больше, чем я. Дома он повторил все слово в слово: про ответственность, про оказанное доверие и что надо сделать костюм котика. Чтобы все было серое и полосатое, чтобы были лапки, хвостик, ушки и все, что полагается иметь коту. И всю неделю он повторял мне: «лапки, хвостик, ушки, мордочка — и чтобы костюм был серый и полосатый».

Конечно, все делалось в последний день. Я долго и надо сказать, лениво искала серый мех, и, пожалев дочь и внука, мой папа с барского плеча одарил нас меховой серой подстежкой, сняв ее со своей зимней куртки. Мы с подругой выкроили большую кошачью голову, вшили в нее ушки, вырезали круг для лица и специальной белой краской для ткани нарисовали спереди и на затылке полосы.

Затем выкроили варежки и сапожки. Сшили и опять располосатили.

И потом — было уже совсем поздно — подруга ушла домой, и я, сонная, сшила из остатков меха хвостик.

Утром дедушка повел Даньку в детский сад, ребенок помахивая повелительно пальчиком еще раз предупредил: — в десять часов, мама. Принеси костюм котика в десять часов.

Я кивнула и села пить кофе. Потом поболтала по телефону, потом стала наносить основные черты лица... Без четверти десять я спохватилась, сложила в сумку белую рубашечку, галстук-бабочку, шортики, белые гольфы, весь серый, полосатый костюм котика и помчалась в детский сад, благо он был в пяти минутах неспешной ходьбы. Данька уже ждал и сильно нервничал.

— Мама! Ну где ты? Сейчас придет комиссия! Комиссия сейчас придет. А я не одетый совсем.

Мы стали наряжаться. Надели белую рубашечку с галстуком бабочкой. Данька одобрил. Он всегда критично относился к своей одежде. Да и к моей тоже. Когда я приходила за ним в сад в джинсовой куртке или в сапогах-казаках, моей гордости из лондонского «Марк-энд-Спенсер», или в бейсболке, маленький Данька, натягивая свою куртку, ворчал:

— А по-человечески нельзя было одеться? Идем быстрее, чтобы тебя никто не видел.

Так вот, я надела на него белоснежную рубашечку, галстук-бабочку, шорты, белые гольфы, на руки — полосатые с пластмассовыми, остроумно придуманными подругой, коготками, сделанными из узких длинных пуговиц, варежки- лапки. На ножки — мягкие меховые носки-сапожечки, тоже полосатые. На голову мы надели нашу гордость, практически верхнюю половину кота. В вырезанный кружок была видна только Данькина довольная мордочка, на которой косметическим черным карандашом я нарисовала чудные вибриссы. Данька осмотрел себя в зеркало, затем

изогнувшись точнее извернувшись посмотрел на свои шортики сзади и ахнул. Глаза тут же наполнились слезами, и, открыв ротик, он хрипло, сдавленно, сквозь душившие его слезы обиды, пискнул:

— А... хвостик? Я же говорил тебе — главное, хвостик!

Затем Данька распахнул рот во всю ширь и уже беззвучно, как обычно бывает у детей, в большой обиде или горе, начал интродукцию. Вот-вот должен был грянуть нечеловеческий взрыд.

— Уже несу! Сейчас-сейчас! Не плачь, Данечка! Только не плачь! Мама уже несет!

Неслась я домой гигантскими скачками, пыхтя и подвывая. Неслась с такой скоростью, что встречные люди, собаки и коты шмыгали от меня в разные стороны.

Хвостика дома не было. Вот-вот должна была явиться Комиссия, мой бедный сыночек с красной усатой рожищей в нелепой кошачьей шапке нетерпеливо переминался в раздевалке с лапки на лапку, утирая передними слезы и сопли, а я потеряла хвостик. Такими же гигантскими скачками — в тот миг мне позавидовал бы любой гепард — я кинулась обратно в сад. Влетела в группу и стала перетряхивать ту сумку, в которой принесла костюм. Хвостика не было.

— Где хвостик? — Данька поднимал на меня умоляющие мокрые глаза, — Хвостик? Ты нашла хвостик?

— А хтой-то на лестнице потерял вот это вот чтой-то? — вдруг в группу зашла нянечка тетя Фразина.

— Хвостик! — заорали мы оба, Данька и я.

Но я облегченно, а Данька вопросительно и нервно, добавив:

— А полосочки? Хде полосочки? Мама?!

Тут уже за дело взялась няня, тетя Фразина. Все было решено в течение одной минуты. Она побежала в «умывальную», принесла оттуда зубную пасту, причем выбрала не фруктовую, какую обычно покупают малышам, а белую, — и ею мы вдвоем (няня держала хвостик, я наносила полоски) завершили Данькин костюм. Тетя Фразина быстро и аккуратно пришила хвостик к Данькиным шортам. Ребенок сиял.

Родителей на утренник не пустили. Все-таки там же была комиссия. Но я подглядывала в зал через стеклянную дверь.

Это был праздник Маршака. Чудесный был утренник. Данька оказывается был главным героем стихотворения «Усатый-полосатый», а остальные детки просто сидели и слушали. Марта Васильевна, замечательная воспитательница, душа-человек, полненькая, уютная, милая, с детским ласковым голосом, начала:

Жила-была девочка. Как ее звали?

Кто звал,

Тот и знал.

А вы не знаете.

Сколько ей было лет?

Сколько зим,

Столько лет, —

Сорока́ еще нет.

А всего четыре года.

И был у нее... Кто у нее был?

Тут она вдруг из-за ширмы вынесла Даньку. Тот свернулся у нее на руках и лапочкой старательно делал круговые движения у лица, как будто умывался. А Марта Васильевна продолжала:

Серый,
Усатый,
Весь полосатый.
Кто это такой?

И почти все дети закричали:

— Это Даниийилка!

Но Марта Васильевна под смех Комиссии возразила:

— Котенок.

После этого по сюжету Марта Васильевна уложила котенка спать, а он, как репетировали, лег наоборот — перевернулся. И улегшись по-другому, аккуратно дотянулся и лапкой уложил свой хвостик (наш хвостик!) на подушку.

Хвостик — на подушке,
На простынке — ушки.
Разве так спят?

Вот для чего ребенку так нужен был хвостик. Вот для чего! Данька послушно прыгал, лежал, играл с мячиком, мурлыкал и бегал. Комиссия умилилась. Детскому нашему саду подтвердили категорию, и наша Марта Васильевна была аттестована. За счет моих, между прочим, нервов. И главное — Данькиных. И потом весь город нас поздравлял, потому что праздник Маршака снимало телевидение. И в новостях на секундочку показали усатого-полосатого Даньку, на секундочку нашу любимую Марту Васильевну, даже на какие-то доли секунды промелькнули наши с тетей Фразиной расплющенные физиономии в стеклянной двери зала, а в основном-то, конечно, показывали Комиссию. Но все равно Даньку многие видели, потому что наш город маленький и почти все друг друга знают.

Мы ведь и пересели всей семьей сюда на край мира, чтобы время длилось дольше, чтобы дни, события, люди не мчались мимо с бешеным свистом, и можно было бы рассмотреть все подробно, в мелких деталях. И в связи с этим, у меня большие планы на время моей старости. Кстати, я где-то читала, кажется у Сомерсета Моэма, что старость — это очень интересный, спокойный мудрый и элегантный возраст. Так вот — моя бы воля, я бы села где-нибудь посреди мира на лавочку, скажем, на автобусной остановке как Форест Гампи рассматривала бы, и знакомилась бы, и прислушивалась бы и подслушивала бы. И выслушивала бы.

Ну а теперь и не знаю даже... Придет ли обычное утро. Придет ли первый автобус на остановку моей мечты. Будут ли петь птицы. Наступит ли утро. Страшно. Тревожно.

А вообще, когда в последний раз я просыпалась без этой вечной тревоги, которая заняла часть моей души и стала как бы частью меня насовсем? Когда это началось? Наверное, когда родился Данька.

А раньше... Этот утренний летний свет в бабушкином доме... Казалось тогда, в детстве, что весь мир просыпается с тобой, точно в тот же момент, когда ты открываешь глаза, а до этого он крепко спит как и ты... И ничего в мире до этого не происходило. Все просто ожидало, когда ты проснешься. Сквозь ресницы видишь эту игру узеньких нарядных ленточек через трещины в старинных деревянных ставнях. Я поднимаю руку, ловлю ленточку света, перебираю пальцами — свет бежит по моей руке, он прыгает и гладит мою загорелую кожу. Я подставляю ладонь ковшиком, луч усаживается мне на ладонь, он свешивает ножки, он держится обеими прозрачными ручками за край моей ладони, он отдыхает, мы болтаем о важном, о сокровенном. Я рассказываю ему о том, что прочла в Энциклопедии чу-

дес. Родители мне прислали эту книгу как раз несколько дней тому назад. Шепотом рассказываю, чтобы не разбудить младшую сестру. На протяжении нескольких лет в детстве это был мой восхитительный секрет — такая утренняя игра. Я знала, что он, этот луч, ждет, когда я проснусь, чтобы побыстрее просочиться, пробежать по моему лицу, усеться поудобней на мою ладонь и говорить со мной, говорить.

Мы обычно приезжали к бабушке ночью и я укладывалась в предвкушении встречи с моим, только моим тайным летним собеседником. Чуть позже, когда просыпалась и сестра, дедушка, подставив стремянку, тихонько со двора открывал ставни, и мой дивный друг убежал до следующего утра. Я вскакивала и тоже бежала. Тогда, в детстве, эта анфилада комнат в бабушкином доме казалась длинной, почти бесконечной. Я спешу, я спешу — говорила я бабушке. Потому что впереди было полно дел, еще один счастливый беспечный день: пляж, подруги, игры, книги — целая стопка новых книг, присланных мамой и папой.

Выхожу на веранду, всю залитую солнцем. Так хорошо приятно шлепают ступни по прохладному полу. На столике яркий душистый компот и бабушкины пирожки. С чашкой, на которой печальный толстенский медвежонок, с моей любимой чашкой в одной руке и пирожком в другой, подхожу к окну, подглядываю из-за занавески. Соседка, веселая Жанна, чистит свежую рыбу и напевает:

— Скажите девушки подружке вааашей...»

Мне нужно одеваться, хватать нотную папку и бежать на занятия. У бабушки в доме нет инструмента, я хожу заниматься музыкой в быткомбинат. Бабушка заплатила за прокат пианино и я играю там, в отдельной комнате. Каждый день по часу. С какого-то времени я уже перестаю брать с собой ноты. На вопрос бабушки, почему я оставляю папку с нотами дома, отвечаю, что уже все выучила наизусть. На самом деле причина в другом. Дежурная, баба Нора — пышная, ходила вперевалочку, губы красила очень красной помадой, делала себе старомодную прическу валиком надо лбом — отпирает мне кабинетик, где стоит пианино, и тут же просачивается следом за мной. Она усаживается в уголке, вяжет на спицах что-то длинное, цветное, безразмерное, и делает мне замечание:

— Ну хватит уже! Играй музыку! — бурчит она, если я разыгрываюсь слишком долго. Гаммы ей надаедают. Я начинаю играть «музыку», она кивает в такт. А потом я исполняю специально для нее что-то из ее молодости. Она, пожалуй, чуть старше моей бабушки, поэтому, я примерно знаю, что именно ей может понравиться. Я играю и пою ей все, что слышала из патефона у подружки моей и соседки Людочки Поповой:

— *«Вдыхая розы ароматааат, тенистый вспоминаю сад... и слово нежное люблю, что вы сказали мне тогдаааа»,*

— *«Отчего — ты спросишь — я всегда в печали, слезы, подступая, льются через край...»,*

— *«Мне сегодня так больно, слезы взор мой туманят...»*

И в конце я, десятилетняя пигалица, страстно воплю:

— *«Ну не будь таким жестоким. Мой нежный друг, если можешь, прости!..»*

И баба Нора в знак согласия вздыхает и мотает головой, мол, ну надо же.

Через какое-то время, неделю или полторы спустя, она спросила, можно ли позвать ее подруг — послушать песни. И я милостиво согласилась. Можно, почему же нельзя. Ее подружки стали приходить раз или два в неделю, принаряженные, смущенные и надушенные цветочными духами. Носовые платки они аккуратно

складывали и подсовывали под ремешок часов. Женщины, скорей, бабушки, сначала просто кивали в такт, а потом не выдерживали и начинали тихонько напевать под музыку:

— *«Процались мы, светила из-за туч луна... К любви возврата больше нет...»*

Иногда они просили: а теперь, давай «Марусечку». Меня не надо было долго уговаривать. Я бойко тарабанила проигрыш, и они вступали сначала робко, а потом громче и увереннее, с удовольствием, играя бровями, плечами и понимающе переглядываясь:

— *«Как-то вечерком с милой шли вдвоем...»*

... *Моя Марусечка, моя ж ты кузууколка, а жить так хочется, я весь горю, тебя молю, будь моей. Женой!»*

У меня был головокружительный успех. Бабушки эти, подружки бабы Норы, уходили из быткомбината возбужденные, покрасневшие, с омытыми воспоминаниями душами, с радостными глазами, отдуваясь и обмахиваясь платочками.

После каждого такого выступления, меня одаривали конфетами, шоколадками, яблоками, грушами, кульками с малиной или абрикосами. Так длилось, наверное, недели три, пока о моей нелегитимной концертной деятельности не узнала бабушка. Она заметила, что папка с барельефом Петра Ильича Чайковского опять и опять остается дома, и червь сомнения погнал ее в быткомбинат, посмотреть, за что конкретно она платит немаленькие деньги и какой же именно музыкой занимается ее внучка. И пришла она именно в тот момент, когда я как заправский ресторанный тапёр лабала «Сашку». И мы все радостно изо всех сил голосили:

— *«Саша! Ты помнишь наши встречи в Приморском парке на берегу...»*

Как слаженно и весело пел хор: мой тоненький писклявый голосишко и ласковые немного дребезжащие голоса моих новых подруг.

Бабушка молча, терпеливо выдержала мой очередной триумф, переждала, пока счастливые дамы, улыбаясь и делая комплименты бабушке и ее талантливой внучке, уйдут, повела меня домой. Я трусила рядом с ней и тихонько попискивала как нашкодивший котенок. Бабушка грозно и размашисто ступала, и, крепко держа меня за руку, говорила и говорила. Она обещала, что я доиграюсь, что когда вырасту, мне будет одна дорога — играть в кинотеатрах перед сеансами. Для бабушки это был пример самого низкого падения, ниже некуда. Бабушка предсказала, что я буду сидеть в холодном полутемном фойе, люди будут вокруг бродить в пальто, а я буду аккомпанировать певице-алкоголичке. В гардеробе у нас на двоих будет всего одно платье на все случаи жизни, потому что в кинотеатре платят копейки, а все деньги будут уходить у нас с безымянной певицей на водку. А главное — бабушка даже остановилась и взглянула мне прямо в глаза, чтобы я запомнила это раз и на всю жизнь — в кинотеатре никто! никогда! никому! не аплодирует!

Меня посадили под домашний арест, и несколько дней я не ездила на пляж. На уроки музыки я больше не ходила. И на улицах, иногда встречая и здороваясь со своими хористками, обнаружила, что в отрыве от инструмента, они меня не узнают. Здравуются сухо, машинально или даже отводя глаза. Тогда, в мои десять лет, я поняла, как преходяща слава.

Хотя накрепко выученные на слух старые песенки однажды мне все-таки пригодились.

Мой папа был тренером по гимнастике. Это по специальности. А работал он в обычной школе. Мы с мамой посмеивались, потому что он говорил знакомым:

«Я работаю в средней школе, читаю физкультуру». Вот это вот «читаю физкультуру» как «читаю физику» или «читаю математику» было очень забавно. Но папка относился к своим урокам очень серьезно, дети его любили. А уж уроки гимнастики он проводил как никто другой в нашем регионе. Он и сам был мастером спорта по гимнастике и если бы не травма руки, несовместимая с большим спортом, наш папка — ого! — какой был бы знаменитый, потому что у него была гигантская воля к победе.

И вот к нему должны были привезти гостей — посмотреть, как он проводит уроки гимнастики для девочек. Тут уж папка развернулся — вот тут уж он им покажет, он им ого как покажет. И поскольку в школе не было лишнего музыканта — учитель пения работал на полставки — папа естественно привлек меня. Он репетировал с девочками сольное выступление — с мячом, с булавами, с лентой. А я сидела за роялем и попадала им в ногу. Где надо чуть задерживала, где надо ускорялась. Здесь как никакая другая музыка подходила та самая — любимая песня старушечьей компании бабы Норы.

И к слову, папины гимнастки так всем тогда понравились, так понравились! А уж заместителя облоно Качку Татьяну Аркадиевну, пожирую насушенную одышливую даму с серебристой укладкой, в черном костюме и орденскими планками на груди, удалось растрогать до слез именно музыкой ее юности. Она, как самая простая старушка из тех моих родимых хористок, вытащила из-под ремешка часов носовой платок и стала плакать под музыку песни «Расстались мы»

Там, в этой песне, слова такие есть:
Прощались мы,
светила из-за туч луна.
Расстались мы и снова я одна, да, я одна...
Расстались мы,
К любви возврата больше нет...

Не слышал от меня ты слов упрека
За что ж обидел ты меня жестоко,
милый...
Расстались мы
Другой любви я не ищу.
Но если ты вернешься,
Я тебя тогда тебя прошу.

И она, заместитель облоно, председатель комиссии Качка Татьяна Аркадиевна, слушая музыку, тоже наверняка вспоминала слова песни, шевелила губами... бедная, милая... и думала о своем...

А девочки папины в это время под печальную мелодию Качкиной боевой юности красиво и плавно выполняли вольную программу.

Для младших классов мы с папой записали музыку на магнитофон. Записывали так. Папка шагал и делал всякие упражнения с двумя флажками, а я играла. Когда упражнения должны были закончиться, папка подавал мне знак, и я завершала мелодию финальным аккордом.

Я играла в своей маленькой комнате, а папа шагал в прихожей. И в дверь, открытую настежь, я видела, как папка снует туда-сюда под музыку, и все упражнения, между прочим, делает в полную силу, как он все и всегда делал в своей жизни, пока не заболел.

И вот я играю мелодию, а папка, задрав нос, вытянув шею, то гордо шагает в одну сторону, то вдруг вижу — обратно несется на цыпочках с нежным девичьим выражением лица и летучей загадочной улыбкой как у балерины, как птичка — крылышками, трепыхая кистями рук, то как зайчик уже скачет в другую сторону, то вдруг остановится в проеме двери, выставив грудь, натянутый как струна и марширует на месте. Поэтому во время этих самых открытых уроков в младших классах была слышна не только веселая детская музыка, но и чье-то сдавленное фырканье, а конкретно, мое. Потому что трудно мне было тогда удержаться от смеха.

Папа приучил нас, своих девочек — маму и нас с сестрой, что мы должны по жизни ходить гордо подняв голову, вытянув шею, держа спину, с нежным выражением лица и летучей загадочной улыбкой. Что мы не должны делать трудную работу, ходить одни ночью и поднимать тяжелое.

Он тренировал нас с сестрой ходить прямо, укладывая нам на голову книгу. Книга называлась «Короны мира» это была детская энциклопедия, пересказывающая кратко историю королевских семей.

А сейчас мы несем невосполнимые потери. Мы сутулимся, мы делаем трудную работу, мы часто бежим домой темными вечерами и часто носим тяжести.

Ну мы и получим от него, когда встретимся там, за временем. Вот мы уже слушаем.

В первую очередь за то, что куда-то задевались «Короны мира».

03.15. Ну неужели все, абсолютно все

должны закончить здесь, на земле, свое существование? Хорошие добрые люди? Такие как моя мама? Или такие как мои добрые друзья Карташовы?

То есть, вот Светка с Сергеем Карташовы и рядом с ними — какие-нибудь преступники... нет? А как будет?.. Как развилка на выходе из самолета в Лондонском аэропорту Хитроу? Одни пассажиры, кто из Европы, тот направо, другие — налево. И там, где направо — туда идет меньше людей, только избранные. Или, где налево — меньше? Не помню. Только вот вопрос, кого куда? Ну хорошо, а вот этот вот, маленького роста мужичок, допустим, Васик Кузнецов. Смешной, нелепый — мордочка надушенная, уверенный во всем, что говорит. Да какое говорит — несет. Типа он пророк, он — истина. Жадный. Орет и слюной брызжет: это моё! Это мой город! Это моя речка! Это моя улица! Уйди, ты тут не родился! Васик этот уверен, что несправедливо недооценен его труд в области... Ну там, в одной области. Да ладно, чего скрывать — в области литературы. И тогда он цепляется к другим людям, у которых есть достижения как раз в той самой области, где он по его мнению, лучший из лучших. Но вокруг же все подлые, злые, продажные, поэтому его специально! специально недооценили... И он ночью не спит, вздыхает, пыхтит, ворочается, обдумывает, вот я им как покажу всем! кулаком как дам завтра всем! А днем, уставший от бессонницы, поскуливает и подвывает. И что-то такое карябает незамысловатое. Обзывается. Оскорбляет как плохие мальчики в детском саду. Крутит фигу из пальцев и вытягивает ее в адрес обижаемого: а вот тебе: бебеее! понял?! понял, да?! К слову, мне родители в детстве не разрешали с такими водиться. А мне всегда было их

Собака вскормила львенка. Лев вырос, но все равно, чуть что: то львица его обидела или еще что, он бежит, кричит: «Мааааааааа!!!» И собака на всех из клетки лва: — Гав! Гав! Я вам покажу, как моего сыночка обижать! Вы у меня все получите! Хулиганы! И гладит ему, этому дураку здоровому, гриву, мол, не плачь, сЫ-ночка, ты у меня самый лучший, самый умный, самый красивый. Никого не слушай. Маму слушай.

Голубь в Китае удочерил обезьянку. Прилетает, обезьянка кладет голову ему на спину, сидят оба, спокойно им и радостно.

Лошадь вообще дружит со всеми — собака ей друг, кошка, птицы, овца — дурочка влюбленная.

Другая собака выходит погулять со своим хозяином с одной целью — она подбирает котят. Подбирает, усыновляет, удочеряет, выкармливает, воспитывает. Есть фотография — уже подросшие котята облепили собаку со всех сторон и сверху. У собаки спокойное и ответственное лицо. Таким, к слову, был наш Чак. Кошка наша была шалава еще та. Она бросала котят и уходила гулять. И котятками занимался Чак. Котятя лаляли на проходящих мимо нашего дома, носили апорт, выполняли команды «сидеть», «голос», «как девочки на пляже загорают», «чужой», метили столбы и деревья, по команде «лежать», валились на пузо по-собачьи, вытянув передние лапки рядышком вперед.

Когда мы их отдавали в хорошие руки, Чак был сам не свой. Волновался, скулил. А одного котенка просто назад домой принес. Сбежал из дому, нашел, украл, вернулся с котенком в зубах. Так этот котейка у нас и остался, толстый Тяпка.

Да мало ли... Вон ребеночка человеческого в подъезд подбросили. Заледенел весь... Собака уличная его нашла, обогрела.

Вот прочла недавно: «Ученые доказали, что шимпанзе могут решать задачи лучше восьмилетних детей»

Значит, лучше меня. Потому что то, что задают сейчас восьмилетнему ребенку... Да что там... Теперь, пишут, что шимпанзе уже и компьютеры осваивают.

К слову, вот моя кошка Скрябин. Она усаживается перед ноутбуком и лапкой нажимает на “Enter”, что бы ей включили специальное кино для кошек. И когда включают, она смотрит на нас всех с таким видом, мол, а вам, дураки, тут что надо? Всем — спать! Это кино не для вас. Вы это не поймете.

Словом, с каждым годом *они* становятся все сообразительней, все независимей. И перестают доверять человеку. Перестают его бояться. И начинают его презирать.

А что делать? Что делать, спрашивают они, если *эти*, то есть, мы, уже — всё, не могут, не умеют, не чувствуют, не хотят, а главное: не по-ни-ма-ют!

Однажды в школе, в классе девятом нас повели сдавать нормативы по стрельбе. Все было как я люблю: глупо, абсурдно, как в хорошем кино, например, Феллини. Погода серая с мелким дождиком, стрельбище находилось почему-то рядом с городским кладбищем. Я говорю Гарику и Фимке, своим школьным приятелям: вы подумайте, как удобно, если вдруг какая-нибудь роковая ошибка — далеко ходить не надо. Гарик сплюнул как-то по-стариковски трижды, а Фимка проворчал про типун мне на язык. Идти туда, на кладбище, то есть, на стрельбище, надо было километров пять. Мы все брели по грунтовой дороге, мокрые, в грязи и все несли

поклажу. Наш военрук Гияс Мурадович так и предупреждал еще в классе перед нашим выходом в поход, что «нада нестиг поклажа». Что «нестиг поклажа» тоже входит в норматив. Я сразу представляла себе осла из иллюстраций к Насреддину, с двумя мешками по бокам. Мою поклажу, к счастью, несли Гарик с Фимкой. Поклажу подруги Нади тоже несли Володя Яворский и Милька. Остальные девочки волокли свою поклажу сами и обижались. Причем, не на мальчиков, которые оказались такими невнимательными и невоспитанными, а на нас с Надей. Правда, когда мы пришли на место, Гияс Мурадович, бодрый, радостный, полный сил, свежий, оглядев свое мокрое жалкое войско, объявил, что нам с Надей первый норматив не засчитывается, потому что поклажу мы несли не сами. Остальные девочки торжествовали и ухмылялись.

А я думала только об одном. За мной тогда ухаживал мальчик Женя, такой прекрасный пианист, что его, студента музучилища, уже приглашали играть в оперный театр. Мы познакомились в Одесской филармонии, когда я приезжала к деду своему на каникулы, и мы с дядей моим Ильсей ходили слушать Чижика. Наши с Женей места оказались рядом, мы оба дрыгали ногой в такт музыке, смеялись, где было смешно, переглядывались и кивали друг другу головой понимающе в тех местах, где захватывало дух от виртуозной игры. Конечно, мы в антракте познакомились. Он писал мне спокойные умные письма, рассуждал о музыке, о прочитанных книгах, о новом кино. Спрашивал, какую музыку я играю и слушаю, что читаю. И я все время, пока мы тащились на кладбище, то есть, на стрельбище, под грязным мелким холодным дождем, думала, видел бы меня сейчас Женя. Меня! С поклажей, куда входила какая-то набитая торба, гордо называемая Гиясом Мурадовичем вещмешок и муляжный автомат Калашникова.

Мы приперлись на место. Гияс Мурадович вместе с нашими мальчиками стал устанавливать две мишени, по ним нам предстояло стрелять. Гияс и мальчики что-то мерили рулеткой и на каком-то расстоянии от мишеней расстелили всякие старые бушлаты, которые и были содержимым тех самых вещмешков. То есть, нам по очереди надо было улечься на это вот чужое, грязное и мокрое. Но и это не самое страшное. Нам предстояло стрелять. В мишени, которые были похожи на людей. Сквозь мокрые стекла очков я вгляделась туда, в них, одиноко торчащих на фоне могильных крестов. Силой воображения я пририсовала ей белый платочек, косу — Аленушка. А ему — кепочку, заливчатский чуб, косоворотку и белозубую улыбку — Иванушка. И вот я уже вижу — идут они спокойно гулять, а тут мы, басмачи Гияса Мурадовича из 10 «А», ни с того ни с сего будем сейчас в них стрелять. Да еще и по команде Гияса, который что в своей жизни любил, так это баранину, а нас всех терпеть не мог. Он служил здесь у нас на границе и женился на молодой учительнице, пышной волоокой Инне, дочери директора школы. Вот его, как зятя, после службы и оставили у нас в школе военруком. И он вел себя с нами как будто мы новобранцы, а он «дед», что соответствовало истине, потому что другой модели отношений он не знал, наш военрук Гияс Мурадович.

Кстати, до него у нас военрук был замечательный — Пал Петрович, добрый старенький подполковник. Он отдавал нам команды ласковым тоном: — А ну-ка, барышни, подравняаааемся. А ну-ка детки, равняяаайсь.

Он занимался только с мальчиками, а девочки сидели на задних партах и спокойно читали. Мы его любили нашего Палпетровича, он обращался к каждому на «вы» Но он ушел на пенсию и взяли этого Гияса.

Я встала в сторонку и решила, что нет. А Гияс уже разошелся, раскомандовался: к оружию! По указанной мишени — огонь! Я с ужасом наблюдала, как мои одноклассники укладывались на тряпки и стреляли по «указанной мишени» — в этих моих двух беззащитных Иванушку и Аленушку. А те даже не могли убежать. Слава небесам, пока никто не попал. Но у меня в груди собиралось облако.

С детства еще, когда я расстраивалась или обижалась, когда у меня были неприятности, особенно, когда случалась ужасная, на мой взгляд, несправедливость со мной или с друзьями, или на моих глазах с чужими, или с котами и собаками, всегда чуть выше солнечного сплетения у меня сначала появлялась дырка, пролом, провал, пустота. А в ней начинало копиться облако. Оно росло, клубилось, толкалось, становилось все больше и плотней, начинало болеть и теснить дыхание, мне становилось тяжело говорить, кружилась голова. И потом это облако или выливалось со слезами и криком. Или растворялось медленно в крови и потом еще долго давало о себе знать — вдруг сбивалось дыхание, болело под ложечкой и ничего не радовало.

С каждым новым стрелком, который брал в руки автомат Калашникова, настоящий, не муляжный автомат, который на стрельбище-кладбище нес сам Гияс, и прицеливался, мне становилось все хуже и хуже.

Гияс же ужасно был недоволен. Что за класс — все как он говорил («на очках»), то есть, очкарики, негодные к военной службе. Ай, плахие стрелки, совсем плахие. Дывойки вам ставлю в дывник, другой раз — в журнал, трэтий раз — в атэстат на зрелость, — ворчал военрук. — Тэпэр деушк давай, — выкрикнул Гияс. — Гончарова давай!

— Н-н-нет, — замотала я головой. — Н-н-нет! Я не буду, я не могу, я не хочу.

— Зачем — ни хачу?! — наш военрук нахмурил свои косматые как гусеницы брови.

— Все, Гончарова — прошептал друг Фимка, — сейчас тебя расстреляют по законам военного времени.

— Я плохо вижу, — пыталась я оправдаться: — И потом... — Я помялась и сформулировала: — я не могу стрелять. А тем более, в мишень, похожую на человека.

— Зачем человек! — воскликнул Гияс, — Нэт человек! Это не человек. Это выраг!

— Это человек! — в груди стала расти дырка, ее быстро заполняло серое плотное мутное облако: — У него сердце, он дышит. Он утром умылся, зубы почистил, потом чай пил. С бутербродом. Обкусал корочку, стал есть самое вкусное — мякиш с маслом и сыром, смотрел в окно, думал, что будет дождь, не хотелось ему из дому выходить: — мои одноклассники притихли. За десять лет они уже привыкли, что я мастер спонтанной реакции. — И вот он вышел из дому, наш Иванушка, — продолжала я скороговоркой, уже задыхаясь — встретил Аленушку. Влюбился в нее и не думал, что когда пойдет дождь, он встретит 10 «А», и мы, придурки, бан...бандиты... его... расстреляем тут. Я не могу! И не буду! И вообще никому не дам! Вон там стану — тыркнула я пальцем в моих Иванушку и Аленушку — и не дам стрелять!

— Какой булька с сиром?! Гончароооова?! Ти с ума сошла, дэ?! — Гияс Мурадович набычился, выставив нижнюю челюсть, — что ти гаварыышь? Какой чай?! Он — кивнул он толстым пальцем по направлению к моим влюбленным — Он — выраг! Он твоя папа рэзать, брат рэзать, весь ваш класс рэзать... — Гияс кровожадно повел налитыми кровью глазами по лицам моих растерянных растрепанных, мокрых и грязных одноклассников.

— Это выйды! — завизжала я в истерике, — это вы сами будете резать! А они — я кивнула сначала на Иванушку и Аленушку, потом на одноклассников — не будут! Я лучше вас сейчас расстреляю насовсем!

Гияс подпрыгнул от неожиданности, засуетился и отобрал автомат у одного из мальчишек.

Я так отчаянно рыдала, что сорвала стрельбы. Думаю, многие девчонки из моего класса и по сей день думают, что я сумасшедшая истеричка. Они потом все равно сдали нормативы по стрельбе в Иванушку и Аленушку. И получили отличные оценки и в дывник, и в джурналь, и в аттестат на зрелость. До конца учебы, когда Гияс входил в класс, я демонстративно выходила. В моем аттестате в графе «военное дело» стоит отметка «не аттестована».

А через десяток лет после неудавшихся стрельб, как мы вдруг выяснили на вечере встречи с одноклассниками, Гияс сделал головокружительную карьеру — он стал сниматься в телесериалах в ролях убийц, разбойников и киллеров. Но тогда он уже был женат на третьей или четвертой жене и переехал в Киев.

Хм... Эти сериалы... Ой, что ж так спина затекла, надо подсунуть под спину подушки, вот так, поудобней.

Да, сериалы. Однажды мы приехали к Карташовым. Дети и мужья на кухне за столом шелкали тыквенные семечки. Мы со Светой возились у плиты, на холодильнике бурчал небольшой телевизор. Шел какой-то мексиканский сериал. Никому не было до него дела. Куда-то, как обычно бывает, задевали пульт, а лезть на стул, чтобы переключить телик на другой канал было лень. И вдруг как-то все замолчали, обычно говорят, что вот так, когда компания вдруг замолкает, то ли ангел рождается, то ли милиционер — все по-разному говорят. А я иногда думаю, а вдруг раз в тысячу лет родится ангел-милиционер. И все у нас по-другому пойдет. Ну да. И вот мы замолчали все, и наше внимание даже вопреки нашему желанию, просто приковала сцена — встреча двух любовников в кафе. Она снимает пальто, торчит огромный живот, месяцев на восемь. Он заказывает кофе, приносят стаканы — они так странно берут эти стаканы прямо в салфетке — потом даже у нас среди самых активных зрителей этих сериалов тоже появилась такая модная привычка — тянуть напитки из стаканов, завернутых в салфетку. Он, такой импозантный, слащавый, с парикмахерскими тоненькими ушками, хрестоматийный герой-любовник-изменщик, долго говорит «ни о чем», закуривает сигару, все ужасно элегантно, блестящий пошлый огромный перстень на пальце, тьфу, противный, потом он исподтишка разглядывает ее фигуру и вдруг смущенно запинаясь, томно шепчет:

— Можно задать тебе один вопрос?

— Задавай... — поджимает она в несколько слоев накрашенные губы.

И он еще мнется, а потом — вот молодец! — спрашивает:

— Ты... э... беременна?

Такой гомерический хохот стоял на кухне у Карташовых, что соседи прибежали спросить, по какому каналу комедию показывают.

И потом мы попеременно, если получалось, стали смотреть этот сериал. И звонили друг другу, сообщая все новые и новые «достижения» мексиканской кинокухни. События там проходили в реальном времени. В каждой серии герои скорбно пересказывали друг другу содержание предыдущих серий.

Помню, какая-то пара венчалась под... «Лакримозу» Моцарта. И все гости под реквием бросали лепестки роз на новобрачных и аплодировали: «ура-ура!» Конечно, «ура»: они полгода откладывали эту свадьбу. Потому что он, жених перед

самой свадьбой напился с друзьями на мальчишнике. И сел за руль. А она, его невеста, схала ему навстречу. И машины столкнулись. И когда его везли на каталке уже в клинику, он очнулся, приподнял голову и — видимо, дублиеры очень старались вложить в артикуляцию точный смысл — с надеждой спросил: — Скажите мне честно, Люсия *попала* в аварию?

То есть, все-таки она *попала*? Или к сожалению, нет? Примерно так это звучало.

Как-то папе одной из героинь стало плохо. По-украински «злэ». У нас же на украинский дублируют. Например: «чуешь, зними слухавку». Что означает, ты что, глухой? Сними трубку, дурак! И вот ему стало злэ. И он не может снять слухавку. Он все время держится за сердце и пересказывает свою жизнь, которую показывали в прошлом году. Вздыхает. Думает о печальном, мол, как же вы все тут без меня. Тем более что он не простой какой-то папа, а один из лидеров какой-то левоцентристской партии. И опять несколько месяцев все советуются, приглашать ли самого знаменитого в Мексике профессора медицины для выдающегося партийца или погодить. Тут уже и зрители, те, кто постоянно смотрит и всех по именам знает, даже собачек и котиков, даже дальних родственников из отдаленной провинции на границе с Гватемалой, они уже прямо с диванов подсказывают, орут, что уже пора. Словом, наконец, вызвали профессора. Хозяйки на рынке разговаривают:

— Бегу! Надо успеть обед приготовить. Сегодня к Фернандо Арьенде Карильо придет профессор.

— О! Вызвали наконец-таки? Давно пора. А то перекинется старик и плакали их денежки. Наследство-то...

— Как вам не стыдно такое говорить — благородно возмущается собеседница, — Фернандо Арьенде Карильо — такой хороший человек.

И вот приходит к этому самому с длинным именем партийному дяденьке ужасно важный профессор, очень медленно приходит. Крупный кадр, весь неряшливый грим виден. Очки без стекол, борода приклеена, ну ладно, зато пришел наконец. Уж какой есть. Словом, он посидел, но сначала выслушал содержание предыдущих семидесяти восьми серий, потом выпил кофе из стакана в салфетке и наконец, — о, чудо! — зашел туда, в комнату к почтенному Фернандо Арьенде Карильо. И все. Конец очередной серии. Жители нашего района чуть не сдурели вообще — хотели жечь факела как футбольные болельщики и ходить по улицам. Потому что серия эта прошла в четверг, а следующая только в начале следующей недели. Обсуждают, во дворах, на рынке, в магазинах, по телефону, как там он, наш Фернандо Арьенде Карильо. Доживет ли до понедельника. Что же скажет профессор.

Еле дождались. Двери позакрывали, дверные звонки и телефоны поотключали, сели к экрану поближе...

А эти сволочи, они и так наших вымотали за весь сериал — нет предела возмущению, а здесь вообще.... Только в конце серии, в понедельник, печальная дочь Фернандо Арьенде Карильо вышла ко всем, сидящим на диванах в гостиной. Да, они обычно весь день проводят в гостиной. Там влюбляются, там интригуют. На работу никто не ходит. Все там сидят. Иногда выходят в другой дом, в другую гостиную, и там садятся и сидят. Короче, вышла эта дочка, лоб низкий, волосы начинают расти прямо от бровей. Но вышла. Уж какая есть. Чт об она была здорова. Вышла и говорит с таким надрывом, так говорит печально, так, ну просто все рыдают там, в гостиной. Вот-вот, сейчас. Вот-вот... Но эта холера сначала пересказала, как они решали, привезти или не привезти профессора, как все было, как привезли... Потом, наконец, экран затуманивается и показывают профессора этого,

проходимца с фальшивой бородой, в очках без стекол. Он, значит, выходит оттуда (три дня сидел — пятницу, субботу и воскресенье), выходит и так, значит, снимает шапочку свою зеленую докторскую... И... И идет. Просто молча идет. По коридору идет. И все, которые у нас на диванах, уже сами за сердце хватаются:

— Ну? Ну??? Ну?!?!?!!

И тогда дочка Фернандо Арьенде Карильо, эта вот, без лба, говорит всем потрясающую фразу, она говорит ключевую фразу сериала, она произносит...

— Что ты тянешь, скотина! Уже скажи! Скажи!!! Ну?! — кричат ей с другого полушария мои бедные измученные соседи. Так кричат, что мне слышно.

И она решается. Открывает рот свой поганый, поворачивается к камере лицом и говорит:

— Профессор сказал, что у него... что у нашего Фернандо Арьенде Карильо... что у него *что-то с сердцем*.

И все зрители — ба-бах! — отвалились на спинки диванов, кресел, стульев — кто на чем сидел.

А в доме моих друзей пятнадцатилетняя умненькая девочка от смеха уписалась. Собственно, и мы были не так от этого далеки.

Стоп-стоп! Куда это меня занесло?! И это последние мгновения моей жизни?! Неужели у меня для них не оказалось ярче воспоминаний, чем эти вот бессмысленные убогие сериалы...

Вот, наверное, и за то время, потраченное на ерунду, на просмотр дурацких пошлых сериалов, за время, которое просочилось и погубило под обломками целлюлоидных телевизионных страстей, наверное и за это мы будем наказаны — сегодня мы исчезнем...

Боже мой, опять... Опять музыка. Что это?

Ты мой восторг, мое муче-е-енье.

Ты подарила счастье жизни мне...

Я буду снова в упоенье.

Мо-оя Кар-меен...

Навек я твой, моя Кармен.

Моя Карrrrrрмеен,

Кармен. Тебя люблю.

Бизе. Ах, душа играет! Мои друзья и родные знают, что если бы я не стала тем, кем сейчас стала, (или НЕ стала?) я была бы дирижером большого (именно, большого, а не камерного!), большого симфонического оркестра. Большого-пре-большого! Я тыщу раз признавалась всем, что мечтала в детстве стать хотя бы ассистентом дирижера, носить за ним ноты. А когда у него, например, похмелье или понос, дирижировать вместо него. Хотя бы чуть-чуть.

Если бы вы знали, как я десятилетняя неустанно и настойчиво дирижировала оркестром под управлением фон Караяна. У нас дома было много толстых черных пластинок с классическими произведениями в исполнении оркестра под его руководством. А еще и под управлением Рождественского Геннадия или чаще всего Мравинского. Хотя изображала я всегда Стоковского. Моя мама, насмотревшись в детстве трофейных фильмов, подробно описывала его и, закатывая глаза, добавляла мечтательно, что Стоковский — эт-то что-т-то!

Я ставила пластинку, сажала перед собой, чуть слева от себя плюшевого медведя Юрочку — сейчас поймете почему. Из «Ригонды», нашего старого проверенного проигрывателя, моего товарища, особенно обожаемого в те дни, когда мои глаза были закапаны атропином и зрачки расширены, и читать нельзя было, словом, во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, в дни жесточайших ангина и гриппов, раздавалось сначала шипенье а потом уже шуршали программками, покашливали (мои! — будто бы) слушатели (ведь запись велась чаще всего из зала) — стремительно, через всю комнату, с торжественной и насупленной рожой я подлетала к зеркалу и рассеяно пожимала медведю лапу. Поняли? Поняли? Нет?.. В общем, медведь Юрочка был у меня первой скрипкой. Маминой складной учительской указкой — была у нее такая ручка-указка — я гневно стучала по специальной подставке для цветов — типа пульт — ох, же я была дирижер-диктатор! Ох, же я была дирижер-деспот! — потом плавно руками давала невидимому оркестру ауфтакт и... Боже мой, как выразительны были мои жесты, какая четкость и определенность была в моих движениях! Как я держала все партии на кончиках моих пальцев и как собирала звуки горстями.

Коварная бабушка, подглядев однажды за моими занятиями, сообщила деду скептически: «то ли плавать учиться, то ли комаров гоняет. Корецкой надо показать однозначно» Корецкая была детский доктор, бабушкина подруга.

А когда дирижировала Вероника Дударова, все домашние мне кричали — иди быстрее, ТВОЯ в телевизоре.

Я мечтала побыстрее постареть и просто видела, как в мой семидесятипятителетний юбилей я выхожу к пульта, сухая, подтянутая, с седой копной непослушных волос как у Бетховена, во фрачной мужской паре — вдохновенная, вне времени. Ну и дальше — тук-тук-тук палочкой, потом всех музыкантов охватить взглядом, ауфффффттакт... Иииии...

Ну, я еще не решила, что именно мы будем играть первым номером. Еще есть время. Да.

Теперь читатель понимает, как серьезно я отношусь к симфонической музыке. Хотя дирижеры (чуть не написала беспардонно: «мы, дирижеры») нельзя сказать, что люди всегда строгие и серьезные. Иногда они разыгрывают и зрителя, порой и музыкантов, часто шутят. И в концертах, где сидит неискушенная публика, бывают даже конфузы.

Ну вот, например, конкретная история.

Большой концерт. Официальный, приуроченный к какому-то государственному празднику. С присутствием высоких персон. Не в смысле роста, а в смысле должности. На само-то деле, высокая персона, что на концерт пришла, оказалась маленькая, ширококопкая. Она притащилась в зал персона эта, уселась, а ножки у нее, верней, у него, болтаются и до пола не достают. Но зато часы клёвые и охрана приличная — парни как трехстворчатые шкафы...

В нынешней ситуации, когда во власть идет... как бы это сформулировать поприличней, ну, скажем так, деклассированный элемент. Да еще и с ливим прошлым... Понятно, что их всех охранять надо. А охрану ОБУЧАТЬ. И не только приемам рукопашного боя, восточным единоборствам, но и... азам классической музыки. А вдруг персона классику послушать сподобится? Вместе с охраной, (как же без нее, филармония все-таки!..) Ее-то саму — персону обучать этим самым азам поздно уже. Да и бессмысленно: у них, как говорится, на другое ум головы заточен. А охрану надо. Потому что может выйти такой конфуз, ну такой конфуз может выйти... Рассказываю.

Словом, пришла, села персоне. Вокруг персоны суетятся, юлят, программку, то се. Рядом персонина супруга в атласном длинном и в убиенных нежных маленьких зверьках, дальше в этом же ряду персонины приближенные с супругами тоже в убиенных животных, занесенных в красную книгу практически. И с ними рядом, через одного эти промышленные холодильники сидят — охрана. Молодцы такие, бдительные. Нервно галстуки гладят ладошками к уху — связь же там, так, да?

Начался концерт. Играет оркестр легонькое — так, для неискушенных. Ну там, хиты всякие классические, узнаваемые. А во втором отделении Штраус. Вальсы, марши, польки. Нормально — персоне и персониним сотоварищам нравится — ничего не могу сказать. Это ж не Вагнера слушать или Шнитке там. Полечки, трям-та-та-там, трям-та-та-там. Персона повеселела даже, ножкой игриво подергивает. Персонина супруга милостиво головой в ритм качает.

Ну а я, за их спиной — там журналистов посадили — я как всегда — мысленно дирижирую и ни на что не обращаю внимания. И тут вдруг после шквала аплодисментов, конференсье объявляет:

— Иоганн Штраус. Полька. На охоте.

Следом вылетает дирижер, элегантный, счастливый. Концерт идет к концу, все хорошо. Выходит значит. С этим в руке... С пистолетом выходит. И говорит, повернувшись к залу, роскошным баритоном, подняв пистолет:

— И напоследок...

Пошутил.

Вот что бы нормальные люди подумали? Они бы спокойно сидели бы, предвкушали бы. Потому что знают про пистолет в польке Штрауса «На охоте». Но там же сидели... Я говорила как-то знакомым музыкантам — хотя бы готовить этих. Перед каждым концертом их готовить. Типа — это такое произведение, а в этом будет очень громко — не бойтесь, а тут вот — постреляют чуть-чуть...

Но нет, не подготовили...

И тут уже началось другое шоу. Дирижер, бедный, даже не успел вот этот вот — ауфтакт, мной любимый до глубины души жест, жест-импульс, жест-сигнал, жест-знак магический, который настраивает на произведение весь оркестр. И ведь ни персоне, ни персонины соседи не знали, что пистолет стартовый и в этой полечке используется как музыкальный инструмент. Там же как: вначале: бах-бах! И потом еще в конце ти-ри-та-ра, потом тааааа — и опять выстрел пистолета: бах-бах! Потом опять: тирраааааааа и бах-бах! Некоторые и в середине стреляют — потому что нравится же. Ба-бахать.

Обычно эту партию выполняет ударник, но иногда и дирижер. Есть такие в моем серьезнейшем дирижерском цехе, кто похулиганить любит. Не отходя при этом ни на йоту от партитуры. Кто, используя свое служебное положение, отбирает пистолет у ударника, типа, дай-ка мне пистолетик стрельнуть пару раз. Я бы тоже отобрала бы. И Вероника Дударова МОЯ точно бы отобрала бы.

Йеэх, какое выступление сорвали!!

Я же говорю вам, господа, говорю же вам: берете охрану — устраивайте экзамен! Да и сами... как-то... Пригласили бы кого из старых интеллигентов. Учительниц каких-нибудь из провинции в очечках — пусть бы вас чуть подтянули. По всемирной культуре. А то чо-то вскочили! Побежааали! А эти дураки здоровые — вспрыгнули, обезьяны чисто, пистолет из руки выбили, дирижера схватили, на пол кинули, руки за голову! Персонины дамы завизжааали, в своих атласах запуууууались.

Нет, мы — ничего. Тут главное, успеть фотоаппарат вытащить или хотя бы телефон. Только дирижера жалко было — пострадал...

И вот я представляю, я — дирижер, привычно и ловко огибая попитры музыкантов, выхожу к пульту, оркестр заканчивает разыгрывается, каждый инструмент пока о своем, у каждого свое настроение, свой голос, свой монолог... И вот я выхожу и обращаюсь к публике:

— И напоследок...

Даю ауфтакт...

Ах! аах! Опять задремала. Опять.

Пойду посмотрю, как дети... Поправлю одеяла.

03.55. Пить хочу...

Скрябин? Кошка, ты зачем встала, кошка Скрябин, иди спать. Что «мя»? Какое «кушать»? Ночь на дворе. Спать иди! Пить? Ах, пить. Ну вот, я тебе налью из своей чашки. Пей. Это хорошая вода, что ты нюхаешь? Что ты фыркаешь? Это вода с серебром. Пей.

После наводнения нам привозят сюда питьевую воду. Прошло уже пять лет, а наша вода все еще отравлена и не годится для питья.

Только вчера я ездила туда, на угол квартала, «по воду», как говорят наши соседи. Приезжает большая машина. Парень молодой Вова по кличке Водяной продает воду в больших баллонах. Обычно работает проворно и молча. Очередь движется стремительно — такая странная в наше время очередь — из стариков, старушек или таких как я бездельников, которые не ходят на постоянную работу. Особенно колоритно очередь смотрится зимой — чистые пингвины на Южном полюсе.

Как-то, года два тому назад, я пришла чуть раньше, очереди еще не было, но был дождь со снегом и пронизывающий ветер, а он приехал такой веселый и, мне даже показалось, что чуть выпивший. Я его спросила, Вова, ты что это? За рулем же?

А он как пригнулся весело, прихлопнул, подпрыгнул и выкрикнул счастливо вверх, в небо: — Сьзььын! У меня сыноочек родился! Сегодня ууууутром!

И я кинулась его обнимать этого чужого Вову, новорожденного папу, и мы, положив руки друг другу на плечи, прыгали на месте как сумасшедшие и орали: — А! А! Ааааа!!!

И когда подошли те, кто не побоялся погоды, его тоже поздравляли и обнимали. Ну а потом, через пару дней он уже делал вид, что ничего такого между нами не было, что мы не скакали радостно по случаю рождения его сына, и что он меня не знает. Он сурово хмурился, правда, однажды я спросила его:

— Как сыночек твой, Вова? Не высыпашься?

А он ответил как-то уклончиво, что-то хмыкнул и пожал плечом. И лицо его было опять непроницаемым. Он разливал воду по банкам, бутылкам, бадейкам, бутылкам, брал деньги, давал сдачу.

А тут вдруг подхожу, машина стоит, а никто воду не разливает; Вову окружили старушки. И Вова не обращая внимания ни на кого, взволновано говорит в свой сотовый:

— Нет, Оксана — говорит он, — а, не обманывай, Оксана. Я вчера приходил, ты не открыла. А я хотел с ним погулять. Просто погулять. Я имею право видеть своего ребенка, Оксана.

Старушки со своими банками, бутылками и бутылками подошли еще поближе и стали потесней, прислушиваются и переглядываются, сочувственно цокают языками. Жалуют Вову. До незнакомой Оксаны и ее проблем никому дела нет. А Вова Водяной — он ведь уже наш. Уже два года или пять, как наш. Тем более, он с некоторыми даже обнимался и прыгал.

— Нет, Оксана, — продолжает Вова, — я приходил в садик, чтобы его увидеть. Я просто хотел его увидеть. Я не хотел его воровать. Это неправда, Оксана. Я хотел спросить... Оксана, я хотел... Я... Ну дай сказать! Я хотел спросить у воспитательницы, как он себя ведет, как он спит...

Одна из старушек тихонько подсказывает:

— Скажи ей, сынок: «Я имею право видеть своего сына, Оксана»...

— Да! — кричит в телефон Вова — Я имею право видеть своего сына, Оксана.

— И главное, слышь, скажи ей: «Узнать, как он кушает! Сам. Или его кормят.» — подсказывает старушка. Остальные в очереди согласно кивают, главное, ведь, как он кушает, Вовин сын в детском саду, сам или ждет, пока его покормят. Сидит, маленький за столом, ждет. А каша стынет.

— Да! И узнать, как он кушает! — кричит в трубку Вова. — Что значит, мне подсказывают, Оксана? — Вова оборачивается на старушку, которая, вытянув тонкую шею из большого облезлого воротника старого пальто, напряженно слушает разговор. Вова Водяной как будто впервые ее видит, кричит ей: — Не подсказывайте, мне, бабушка! Я сам знаю! — Бабушка смутилась, опустила голову, втянула шею как черепаха. Другие тоже посмотрели на нее строго и осуждающе. Бабушка огорчилась еще больше.

— Да, Оксана, — уже спокойней говорит Вова, — да, Оксана. Да, Оксана. Да, Оксана. Но... Да, Оксана. Я... Да, Оксана. Но я не виноват! Что у меня такая работа. Ну где сейчас найдешь другую, Оксана. Да, Оксана, прости меня, Оксана. Прости, Окасочка. Дааа? — Вова Водяной долго слушал, слушал, слушал. И старушки вокруг него молчали. — Оксана, да? Да?! Да?! Да?! И я, Оксана! И я! — Вова стремглав радостно кидается в кабину, впрыгивает, машина заводится, срывается с места и... уезжает.

Все, кто ждал в очереди, чтобы купить питьевой воды, все кто был свидетелем разговора Вовы по телефону, растерялись сначала, а потом набросились на добровольную помощницу, старушку-черепаху, зачем вы подсказывали ему, вот он уехал, а мы остались без воды... Старушка чуть не плачет уже, она не успевает открыть рот, чтобы объясниться, но все видят, что машина медленно возвращается. Дает задний ход. Останавливается. Из кабины выскакивает Вова и начинает быстро-быстро тонким шлангом разливать воду по банкам, бутылкам, бутылкам, бадейкам... Он молчит. Лицо его непроницаемо.

Хорошая вода, Скрябин, пей и спать иди. Мурлыка...

Вот какой смысл теперь имеет этот Вовин разговор, чего он добивался, Вова, как он был рад, как он счастлив, что помирился с Оксаной, какой смысл теперь имеет вся Вовина жизнь и жизнь его сына, и то, как он кушает в детском садике, если уже ничего не имеет значения?

Что такое на фоне вечности жизнь нашего водовоза?

Ууууудивительный вопрос...

Кх-кх — кх... Спою сейчас.

— *Ууудивительный вопрос*, — пою я шепотом. Я подперла ладонью щеку как Татьяна Доронина в кино «Три тополя на Плющихе».

Пааааачему я водовоз. Ааапустела без тебя земля...

Потому что без воды. Как мне несколько часов прожить...

И не туды,

И не сюды.

А может быть, конец света будет из-за того, что у нас на планете просто закончится вода? Вот так вот исчезнет вода сегодня утром на всей планете? Или станет непригодна, вся вода вдруг станет непригодная для употребления?! Ну этого как раз не может быть! Один Ниагарский водопад сколько стран напоить может. Нет, не может... Хотя... Какой-нибудь сумасшедший болван возьмет и кинет маленькую таблеточку, например, в реку Прут. Прут понесет свои отравленные воды в Днестр, Днестр — в Черное море. А Черное море всплеснет возмущено волнами и заявит:

— Ну все, больше не могу.

И вымрет. Как динозавр.

А следом и другие моря, океаны. А вместе с ними пресные водоемы. Реки, которые брали начало высоко в горах.

Я видела, где берет начало наша река Прут. Я видела.

Мы долго-долго шли, подымались высоко, карабкались потом еще выше. Я устала, друзья забрали мой рюкзак, потом взяли меня за руки и помогли идти. Потом я сказала: все, не могу, дальше не иду. И мне сказали, сделай еще два шага. Два шага вверх, два шага — раз-два и ты увидишь чудо. А я лежала и не могла даже пошевелиться. И друзья мне сказали, если ты сейчас не встанешь, если ты сейчас не возьмешь себя в руки, если ты сейчас не сделаешь всего только два шага и не увидишь чудо — зачем ты тогда вообще столько лет жила. А я стонала и уговаривала их, что никак не могу.

И тогда подошел К. Он взял меня подмышки и просто подтащил чуть выше — на то самое расстояние, те два шага. Подтащил и снова мягко уложил на землю. И только тихонько сказал: — А теперь смотри.

Я услышала шуршанье, испугалась и открыла глаза. На уровне моего лица из-под земли выбивался ручей. Он не журчал как настоящие взрослые бывалые ручьи — он тихонько шуршал и нежно булькал как новорожденный. Как новорожденные ребенок, котенок, птенец. Шуршал, тихо булькал, всхлипывал, пускал пузыри и дышал.

— Это Прут, — сказал К.

Я лежала на боку, а у меня на глазах доверчиво рождалась знаменитая горная река. Я лежала на боку и мы тихо дышали одним воздухом — новорожденный ручей и я.

Спустя какое-то время, может быть, месяц или два, когда мы переезжали в Черновцах реку Прут по огромному мосту, я попросила остановить машину, вышла, спустилась к грязной мутной шумной воде, погладила ее и сказала:

— А знаешь, я ведь помню тебя совсем маленьким. Ты был такой чистый, тихий и очень красивый.

В ответ мне знакомо булькнуло и всхлипуло.

Ааапустела без тебя земля,

Как мне несколько часов прожить...

Если бы у меня осталось время, если бы хоть немного времени у меня осталось, я написала бы один рассказ. Он был бы про... Он был бы, например, о кино. Ну, неважно, о чем бы он был. Я назвала бы его «Первый визит» да, именно так я назвала бы его, этот рассказ.

Однажды давно я покупала диски с фильмами. Девочка-продавщица, молодец, мало что смотрела из того, что продавалось, но глядя на картинку на обложке, бойко пересказывала содержание как маленький ребенок, который читать не умеет, а делает только вид и, раскрыв книжку «Колобок» вверх ногами, серьезно рассказывает, что вот мячик с глазками, и все лесные звери пойдут играть в футбол. А у меня в тот день был день рождения. В моей жизни почему-то всегда не удавались именно дни рождения. Или потому, что мне приходилось самой их организовывать, и я плохо соображала к вечеру, когда собирались гости, или он просто был унылым, постылым, и я только нервничала в этот день или даже плакала. Словом, тогда я решила все взять в свои руки и для борьбы с унынием в этот день посмотреть хорошую комедию или мелодраму. То есть посмотреть какой-нибудь не очень серьезный фильм с очень счастливым радостным финалом. И так вот отпраздновать свой день рождения — кусок маминого яблочного пирога, чай и хороший фильм. И поплакать в конце от радости. Но судьба в тот раз решила сделать мне подарок и без фильма: в магазин следом за мной вдруг зашел какой-то чудной юноша лет двадцати, а то и старше, легкий, с милым прозрачным лицом, длинными волосами почти до плеч, при этом зачесанными назад и заправленными за уши, очень аккуратный, очень, видимо, мамой любимый, в тщательно выглаженной чуть большей на него голубой рубашке с короткими рукавами, в опять же, тщательно отутюженных серых брюках. Он был такой чистенький и даже нарядный, каким может быть только мальчик, идущий в первый раз в первый класс. Но только выросший. Мне тогда показалось, что мальчик странный или, как говорят мои знакомые, немного не в себе. Думаю, что он как раз был именно в себе, абсолютно весь в себе. Их, этих людей, называют по-разному, аутистами, например. Особенности люди. Совсем в себе.

Юноша осторожно подошел к прилавку, подождал, пока девочка перескажет мне сюжет очередного триллера, выдавая его за веселую комедию со счастливым трогательным финалом, и вдруг положил ладонь на середину стеклянной стойки-прилавка. Узкую ладонь с длинными ухоженными нежными пальцами. Он постоял, помолчал, и я помолчала, и девочка-продавец. И он вдруг сказал:

— А вот, если ангелы...

Девочка уже открыла рот ответить, но я, подгоняемая, знакомым сквознячком в локтях, просто шикнула на нее тихонько, потому что начиналось. Начиналось то, зачем, как мне кажется, я и родилась на этот свет. Начиналось то, что я без памяти люблю — на наших с девочкой глазах сплетались беглые мысли и свежие впечатления, сила воображения, чувства, запахи, зрительные образы — и все превращалось в тоненькую тихую нежную мелодию.

— А вот, если ангелы... — сказал опять Юноша, мягко убрав руку, и мы как загнипнотизированные следили за этой рукой. Он сложил пальцы в кулачок и прижал его к груди, чуть пониже горла. Он сжал кулачок, вдруг замолчал и смутился — девочка посмотрела на него с недоумением, уставшая и равнодушная, как будто продавала селедку на вес. Я испугалась, что Юноша сейчас уйдет. И легко-легко тронула его за плечо.

— Ангелы... Они... Да. Что? — на его же языке спросила я.

— Да, — закивал Юноша обрадовано и покомкал воздух в своем кулаке на груди, поведив при этом пальцами так, что забегали острые косточки — вот если фильм про ангелов... — Он опять обернулся к равнодушной девочке, — у вас есть фильмы про ангелов? Вот, про ангелов, — повторил он.

Именно так Юноша и сказал и, помешкав, опять почти про себя повторил:

— Вот про ангелов...

— У нас? — девочка озадачено приложила лакированный сверкающий коготик указательного пальчика к нижней капризной губе, — Ну не знаааю...

— Город ангелов, — стала я перечислять лихорадочно, как на брейн-ринге, — еще... Ангел А! Еще... еще Майкл! И Небо над Берлином! И Амели! Конечно, Амели! Ищите, девушка. Я тоже возьму эти фильмы.

И пока девушка искала и выкладывала диски перед нами, юноша повернулся ко мне, очень высокий нескладный, угловатый и очень красивый, и не разжимая своего кулачка, доверчиво спросил:

— А вот если ангелы... — и замолчал.

Я терпеливо ждала. Мне так было хорошо в компании этого Юноши, так спокойно и тепло, я чувствовала за него такую ответственность, что готова была сейчас же броситься на любого, кто помешает ему сформулировать терзавший его трудный вопрос.

— А вот ангелы...

Юноша говорил медленно. Ему тяжело было говорить. Вслух.

— Да, — согласилась я. — Бывают.

Нельзя было говорить «думаю, да» или «как мне кажется, да». Чтобы у Юноши не было никаких сомнений в том, что это так и есть.

— Конечно, бывают, — подтвердила я.

— Они... хорошие? — Юноша нахмурил брови и разжал кулачок. Он поправил упавшую на глаза прядку длинных волос и опять сжал руку в кулак. — Может, они... есть?

— Да, — уверено и спокойно ответила я, — да. Они есть.

— Дааа?... — Юноша счастливо и облегченно выдохнул, добавив: — Я. Специально. Пришел. Спросить. Еще там — Юноша показал кулачком куда-то за витрину, где была улица, — морочил голову.

Я поняла, что Юноша ходил еще в какой-то магазин, и там кому-то не хватило терпения, и ему сказали: «Не морочь голову»

— А тут. Сказали. — Юноша как будто устал говорить

— Да-да. — Тихо и осторожно откликнулась девочка-продавец, положив на прилавок стопку дисков.

Юноша повернулся всем корпусом к девочке, взгляд его упал на диск.

— «Майкл» — объяснила я. — Он — Ангел, он говорил, научитесь смеяться.

— Зачем, — спросил Юноша.

— Это путь к истинной любви, — так он сказал. Им разрешено только двадцать шесть визитов.

— Кому? — спросила девочка-продавец.

— Он сказал, что он писатель. — продолжала я, глядя Юноше в глаза.

— Кто? — спросила девочка-продавец.

— И что он написал? — спокойней и ровней заговорил Юноша.

— Восемьдесят пятый псалом, — ответила я.

Юноша вдруг рассмеялся, взял диск и, счастливо зажав его в руке, не прощавшись, не оглянувшись, медленно пошел к выходу.

— А... э... — воскликнула было девочка. Но я шепнула ей:

— Чшшш... Я уплачу, не кричи.

Я быстро уплатила за диск и побежала за Юношей следом. Я вдруг почувствовала, что просто так я не могу его отпустить одного, такого беззащитного, что его надо отвести домой. Но Юноши нигде не было. Никто из скучавших у входа его не видел, на мои вопросы пожимали плечами и отрицательно мотали головами, в соседних магазинах его не оказалось...

Я вернулась назад к девочке за выбранными фильмами, и она, озадаченная, спросила:

— А это кто?

Я не ответила. Пусть думает сама, пусть будет внимательной и чуткой, пусть научится их распознавать. Пусть научится их выслушивать, отвечать на их вопросы и если надо, защищать.

Они сильные и всемогущие, когда находятся там, в своем пространстве, в своем времени, среди своих. А когда — здесь, среди нас, они нуждаются в защите. Тем более, когда они приходят в первый раз.

Один у меня хороший мальчик есть, умный и мечтательный мальчик — затылочек у него пахнет осенними сухими грецкими орехами, а когда набегается, то мокрым воробьем. Как пахнет мокрый воробей. Мокрый воробей пахнет скорлупкой грецкого ореха. Так вот этот мальчик, еще когда был маленьким совсем, рассказывал: — а знаешь, ангелы нас спасут, ангелы есть, говорил мальчик, я даже видел одного. Так говорил мальчик. Он сидел напротив меня, болтал ножками, и носок сполз, и коленка в зеленке, мальчик смотрел серьезно мне прямо в глаза.

— Я видел — мальчик кивал головой, подтверждая — да-да, честно — и распахивал руки широко — я видел даже несколько красивых ангелов.

— Они, знаешь, как? — рассказал однажды мне уже подросток, уже повзрослевший мальчик. Говорил он очень серьезно, — они как сделают хорошее дело, они же долго его планируют, высчитывают, чтобы все события совпали, чтобы все люди были именно в тех местах, где должны быть в тот момент... И, эти ангелы... Им же обязательно надо делать хорошее. Вот как тебе дышать. Ты, если не дышишь, то что? Так и ангелы. Они вдруг мгновенно оказываются в нужный миг в нужном месте. И взгляд у моего мальчика такой — как будто он все видит сейчас, как будто он там:

— Я видел вчера, — продолжает мой взрослый, совсем взрослый, мой драгоценный мальчик: — Вот стоит юноша, парень один — мальчик чуть-чуть картавит и говорит, «па'ень» — и ждет свою девочку. И вдруг, откуда-то слева мчится огромный джип. А там гололед, джип теряет — мальчик говорит «ге'яет» — теряет управление и несется прямо на па'ня. В том же месте, где понесло джип, в том же месте начинает крутить другую машину, идущую на большой скорости вслед за джипом. И она тоже несется на па'ня.

И вот! В последнюю секунду — к па'ню стремительно подлетает невидимый никому ангел, прозрачный и легкокрылый, подлетает и от...от... от-т-талкивает этого па'ня. Руками отталкивает прямо в грудь. И тот мгновенно отбегает назад. Лунной походкой. В последнюю секунду. В последнюю долю секунды! — говорит мальчик, помахивая перед своим лицом ладонями с растопыренными пальцами.

— И слушай дальше, — рассказывает мой мальчик, — иногда эти ангелы, которые сделали по всему миру вот такие чудеса, по воскресеньям наверное, слетаются на большую поляну, похожую на сельский стадион, — говорит мой взрослый сын — они радуются, прыгают и обнимаются, как — знаешь, как кто? Да-да, как футболисты! Да, как футболисты, которые забили долгожданый гол и выигрвали матч. Ангелы прыгают как... как третьеклассники! И обнимаются и кричат от радости — оле! оле! — и обмениваются футболками...

— Чем обмениваются? — переспрашиваю я.

— Ой, нет, ангелы обмениваются... они — крыльями меняются и... фффф-rrrrr!!! — улетают к себе. Один за другим. Один за другим. Прозрачные, тонкие, легкокрылые.

И никто их не видел. А я видел.

— Видел! Видел! — упрямо твердит мальчик — Еще давно, в детстве. Ты мне веришь или нет?

Я верю. Ведь все правильно. Есть ангелы. И есть люди, которые их видят. И те, и другие редкость. А что, я ведь тоже видела. Одного. Там, в магазине DVD дисков.

Дорогое Мироздание. Ты ведь разумное и доброе. Я знаю, что ты частенько сидишь за письменным столом или где ты там сидишь? Я знаю, что ты меряешь циркулем и вычисляешь на логарифмической линейке процент возможности попадания человека в ту или иную ситуацию...

Вот как с тем шотландским фермером, помнишь, Мироздание? Ну как не помнишь.

Это ты ведь лично сначала заманило английского подростка в болотистое место, и мальчик бы утонул, если бы на его крики, опять же по твоему плану, не подоспел тот самый шотландский фермер. Что значит, не помнишь? Много было дел, всех не упомнишь? Напомнить?

Ладно. Короче, Мироздание, однажды незнакомого английского мальчика спас английский фермер. А на следующий день в его дом явился по всему виду, очень состоятельный джентльмен, отец спасенного мальчика и хотел оставить денег или подарок, или что-нибудь еще он хотел оставить в благодарность. А фермер, как настоящий мужчина, отказывался. А джентльмен настаивал. А фермер был даже немного мрачен и немногословен — так я себе его представляю, этого фермера. И как он выходит навстречу к джентльмену, как вытирает руку о комбинезон, потому что джентльмен снимает перчатку и подает на прощанье фермеру руку.

И тут на крыльцо домика фермерского выходит подросток. И тогда джентльмен говорит фермеру: — о! вот шанс! я дам вашему сыну образование — вот, что я сделаю.

И фермер буркнул:

— Ну ладно.

Потому что он и сам часто задумывался, какой у него смысленный сын и что ему надо учиться, а средств на учебу нет. И сын фермера окончил школу, а потом медицинскую академию. И потом стал разводить плесень. Нет-нет, мироздание, никаким неряхой он не был, нет! И не поэтом! Он стал великим ученым, изобрел практически панацею двадцатого века — антибиотик пенициллин и даже этим ан-

антибиотиком спас от воспаления легких сына того самого джентльмена, который много лет назад приехал благодарить отца этого будущего ученого, открывшего пенициллин, за то, что тот спас его сына, который тонул тогда в болоте. Легенда гласит, что одного из этих бывших подростков звали Александр Флеминг, а второго Уинстон Черчилль.

Возможно, дорогое Мироздание, это уже потом люди сами придумали такую красивую легенду, приписав тебе заслуги. Легенду, где так все замечательно совпало, потому что людям свойственно верить в чудеса и они просто обожают удивительные совпадения.

Но ведь ты же на самом деле способен на чудеса, а, Мироздание, а? Или нет? Тебя иногда просят, просят. И когда теряют на тебя надежду, ответственность за совпадения и чудеса опять же берут на себя обычные люди.

Вот я видела недавно фотографию. Лучшую фотографию года. Или может, века. Сидит Санта, к нему на колени вот-вот заберется мальчик. И подпись под фотографией: «Сейчас этот мальчик попросит Санту, чтобы его отец, военный служащий миротворец, побыстрее вернулся домой». Казалось бы, обычная рождественская фотография. Но отличие от других картинок лишь в том, что тут же, спрятавшись за яркой рождественской елкой, сидит папа этого мальчика и ждет своего выхода. Сейчас мальчик скажет то, что он уже написал в письме «Хочу, чтобы папа вернулся». И в тот же миг папа вернется.

Так, дорогое Мироздание, мы приучаем своих детей к тому, чтобы они верили в чудеса. И в твои безграничные способности и возможности, дорогое Мироздание.

И сейчас я, как тот мальчик, хотела бы забраться к тебе на колени и попросить: — Хочу, чтобы... Нет. Я ничего не хочу. Пусть просто останется все как есть. И чтобы утро опять наступило. И чтобы люди пошли на работу. Чтобы наша соседка ворчала на своего мужа. Чтобы мой сын повел моего внука в детский сад. Чтобы моя дочь ленилась и не очень хотела вставать, чтобы не опоздать на первый урок. Чтобы...

— Что?! А?! Что? Кто звал меня? А?

Никак не могу привыкнуть, что дети уже взрослые. Мне все кажется, что вот-вот кто-то из них завопит или заплачет, или просто испугается ночью и позовет. Наверное, отвыкнуть от такого невозможно.

Даня очень болел в детстве. Плохо спал. У Лины тяжело резались зубки. Она как-то сказала, что до сих пор помнит скрип половиц ночью, когда я носила ее, укачивала уже трехлетнюю или четырехлетнюю и пела песенку:

Баю-баю-баиньки,
Прибегали зайчики.
На дворе уже ночька
Спит ли ваша дочка.

Данька однажды получил в подарок шапочку в виде буденовки. Она ему понравилась очень, потому что к шапочке ему подарили саблю и коня. Коня назвали

Николай, он был на колесах, пластиковый и красного цвета. С ним Даня почти на расставался, и что логично, даже купался в ванной по вечерам. Первое время Данька затаскивал к себе в постель всю амуницию: и купаного вечером красного коня Николая, и саблю. И спал в буденовке. Причем, когда уши буденовки подымались и пристегивались, шапка у него называлась «будёвка», когда уши опускались и висели свободно, шапка называлась «буденовица». Ребенок никакого понятия тогда еще не имел о героях гражданской войны и в шлеме, с саблей и красным конем Николаем играл сначала в сказочного витязя, чуть позже в рыцаря. И как-то летом он привязал к своей «будёвке» потерянный его подружкой Ирочкой, пояс от летнего сарафанчика. И с тех пор и по сей день он носит на своем шлеме цвета своей дамы сердца, как и принято было испокон веков среди настоящих рыцарей.

Данька добрый и веселый. Когда он был маленький, он всегда выносил во двор и делился с приятелями всем, чем его угощали дома. Как-то Данин отец приехал из командировки и привез ему гостинцев — всяких вкусных шоколадок, леденцов и мармеладных мишек. Даня потащил угощения во двор. Через несколько минут раздался нетерпеливый звонок в дверь, дед открывает, на пороге стоит вагата, во главе Даня. Он скороговоркой кричит:

— Деда, дай-ка, пожалуйста, нам других конфет попробовать. Пару штук, парочку штукечек, чуть-чуть, несколько, дай, деда, побыстрей..

— Пару штук — это сколько? — откликается дед, открывая пакет с конфетами.
— Шестнадцать! — громко и четко раздается из-за Данькиной спины.

Жалею ли я о том, что было, о том, что не сбылось? Нет. Только о копеечках. Только жалею о копеечках. Что бабушку не слушала.

Говорила мне бабушка, не подбирать копеечки на перекрестке дорог — не к добру, говорила бабушка, не к добру.

И я спрашивала: — А что будет?

И отвечала бабушка, больше потеряешь, чем найдешь.

Я все время думала, а зачем мне подбирать чужие копеечки, мне мама или папа так дадут.

И однажды я нашла копеечку на перекрестке, красивую монетку, иноземную монетку, почти бесформенную и очень древнюю, редкую монетку, с гордым профилем цезаря. Нашла, подняла и опять спросила у бабушки про копеечки. А она сказала, пойдя, брось назад, сказала бабушка, и думай, глупенькая, думай. Разве в копеечках тут дело.

Говорила мне бабушка, не подбирай копеечки на перекрестке...

И о чем это я? О чем? Да так — ни о чем.

Когда мы учились в университете, восхитительный, эlegantный восьмидесятилетний профессор Нефедов преподавал нам зарубежную литературу.

Вот я сейчас думаю, какая я была глупая, недалёковидная курица! Почему бы не подойти тогда к человеку и не сказать, просто и честно, уважаемый профессор Нефёдов — вы самый замечательный, самый умный, самый терпеливый, самый интеллигентный преподаватель в нашем университете. Вот так просто подойти, сказать, попрощаться и уйти. И все.

И вот он пришел к нам на лекцию однажды, 28 февраля. А год был високосный. И он спросил, а кто родился 29 февраля? И у нас никого не оказалось, кто бы родился 29 февраля. И профессор Нефёдов рассказал про шотландский обычай. Что завтра — начал он голосом сказочника — 29 февраля, в день загадочный, когда открываются окна в миры параллельные, когда случаются таинственные, непостижимые события, в день сакральный — как пишут историки, — рассказывал профессор Нефёдов — день ускользящий, ниоткуда приходящий, в никуда исчезающий, женщина сама имела право посвататься к мужчине, который ей по сердцу. Только надеть надо было фланелевую сорочку пурпурную или багряную, цвета кардинальского, чтобы видна была из-под юбки обязательно хоть кромка. А если вдруг мужчина отказывался — должен был заплатить большой штраф.

И мы, студентки первой английской группы факультета иностранных языков, собрались у подружки Оксаны в большом доме ее бабушки, посовещались и решили устроить праздник багряной сорочки. Поскольку ни у кого не оказалось фланелевой да еще и красной нижней одежды, решили надеть на себя хоть что-нибудь красное. Я на следующее утро повязала на талию алый длинный шарф.

И мы пошли свататься. Задача была такая. Всей группой мы подходили к молодому человеку, и та, кому он нравился, по быстрому рассказывала, что да как и почему, и потом торжественно просила его руки и сердца.

Сначала пошли сватать молодого человека, который нравился Косинчук Свете. Это было еще перед занятиями. Мы поймали ее Васю, когда он только выходил из общежития мединститута. Светка кинулась к нему наперерез.

— Свитланко?! — удивился Вася.

— Васька! — закричала запыхавшаяся Света, — сегодня такой день, мы учили... На зарубежке... У нас вчера... Есть закон... Если не согласишься — плати! Короче, Васька, будь моей женой! — ляпнула Светка

Под бешеный наш хохот Вася почесал в затылке и ответил:

— А чо женой?!

Короче, Светку мы практически выдали замуж. А потом побежали свататься уже к нам в университет. Во-первых, начинались занятия, во-вторых, остальные претенденты — нас, девушек, в группе было всего восемь — учились в нашем университете.

И так мы бегали в своих украшенных красным нарядах, объясняли ситуацию, кто лучше, кто хуже, кто понятно, кто запутанно, мы бегали, делали нашим мальчикам предложения, и никто из избранных не отказал. Правда, Игорь Шапочник весь зарделся, когда Ирочка Троп сделала ему предложение руки и сердца и смущенно пробормотал: — Хорошо, я спрошу у мамы.

Я тоже бегала со всеми в компании, в своем красном шарфе на талии, но дрожала при этом как заячий хвост. Мало того, что именно я была организатором акции, так я еще и не могла выбрать, к кому идти, и кого дразнить багряным своим убором. Не к кому было!

Компания уже состоявшихся невест на одной из больших перемен между лекциями наконец столпилась вокруг меня.

— Ну? — спросила меня свежеспеченная невеста Люба Дяченко, — к кому идем?

И тут прозвенел звонок. У нас начиналась пара по зарубежной литературе. Двадцать вторая аудитория, старинный зал, разделенный мраморными колоннами,

с потолком, который можно было рассматривать часами. Очень подходящее место для лекций обожаемого мной профессора Нефедова.

Мы веселой яркой стайкой влетели в аудиторию, пробежали к своим двум длинным старинным, еще австрийским партам. Но Дяченко толкнула меня локтем: — Сватай, Гончарова. Твоя очередь.

Я оглядела аудиторию. Сашка Краснов, хороший мальчик, глядя в зеркало, приглаживал выщипанные бровки и разглядывал свой носик. Коля Бархатов лежал головой на парте и как верная собака не сводил преданного взгляда со своей подружки Леси с французского отделения. Витя Агой, блеклый, в школьном кургузом пиджачке и коротких штанишках, водя губами, учил японский язык. Он каждый день учил какой-нибудь новый иностранный язык. Володя Торн, красавец, лучший студент отделения немецкого языка, комсомолец, отличник, председатель студенческого научного объединения, нарядный, холерный... Он мне просто не нравился. Ничем. Все. Больше на нашем курсе привлекательных молодых людей не было. Молодых... Зато у кафедры уже стоялон, обожаемый мной, интеллигентный, мудрый, одаренный судьбой и привлекательной внешностью — чем старше он становился, тем был красивее — и талантом рассказчика и чуткостью, и чувством юмора... Да, что там. Профессор Нефедов, да.

Я поднялась из-за своей парты и побрела к преподавательскому столу, где профессор уже развернул листки с лекцией и, даже не заглядывая туда, начал:

Твоим зеленым рукавам
Я жизнь без ропота отдам.
Я ваш, пока душа жива,
Зеленые рукава!
За что, за что, моя любовь,
За что меня сгубила ты?
Неужто не припомнишь вновь
Того, кого забыла ты?
Твоим зеленым рукавам...

Я уже подошла совсем близко в своем багряном шарфе на талии.

— Вы что-то хотели, Гончарова? — глянул на меня над очками в тонкой оправе профессор. Я молчала. — Нет надобности предупреждать меня, если вам надо выйти, Гончарова, вы уже совсем взрослая. И судя по убранству вашему багряному, настолько взрослая — профессор печально усмехнулся — что сегодня наверняка просили руки и сердца у какого-то счастливца.

Профессор Нефедов еще немного помолчал, а потом принялся читать Бернса дальше:

Я для тебя дышал и жил,
Тебе по капле отдал кровь,
Свою я душу заложил,
Чтоб заслужить твою любовь.
Твоим зеленым рукавам...
Я наряжал тебя в атлас
От головы до ног твоих,
Купил сверкающий алмаз
Для каждой из серег твоих.
Твоим зеленым рукавам...

А сейчас я думаю, что надо было просить руки Ивана Васильевича Руснака. Профессора Нефедова любили все вокруг, а преподавателя Руснака Ивана Васильевича — никто. А как он Ахматову читал:

Я живу как кукушка в часах.
Не завидую птицам в лесах.
Заведут и кукую,
Знаешь, долю такую
Лишь врагу
Пожелать я могу.

Он только просил не аплодировать. Он почему-то боялся шума, боялся, что декан услышит восхищенные наши аплодисменты, заглянет в аудиторию и обнаружит, что мы вместо лекций по социалистическому реализму, слушаем стихи Мандельштама, Ходасевича и Пастернака.

Мы пришли первого сентября, начинался третий курс. И кто-то нам сказал, что Иван Васильевич Руснак покончил с собой. Он сначала чисто убрал квартиру, потом раздал долги: кому был должен деньги — отдал деньги, у кого книги брал — отдал книги. И в библиотеку все книги принес. И много своих — просто так отдал. А потом добровольно ушел из жизни. Одинокий был человек. Одинокий, несчастный, нелепый. Мое предложение его наверняка бы позабавило. И, может быть, что-то бы сдвинулось в его жизни. Возможно, вспоминая дурочку с красной тряпкой, завязанной вместо пояса, он посмеялся бы, и мог бы проскочить ту ночь, когда демоны совсем смугили его душу и поманили совершить непоправимое. Он ведь мог, например, просто вдруг вспомнить меня, задуматься и спокойно уснуть. И утром проснуться, потянуться, глянуть в окно, а там бы сидели голуби и царапали лапками жель карниза. И вопросительно ухали бы...

Но влюблен он был, говорили у нас, в одну очень легкомысленную женщину. Которая, то приходила к нему, то бросала и уходила к другому, то опять приходила, измучила его, истерзала. Говорят, он написал ей нежное прощальное письмо.

Пусть ты глуха к моим мольбам,
Мучительница милая,
Твоим зеленым рукавам
Послушен до могилы я.
Твоим зеленым рукавам
Я жизнь безропотно отдам.
Зеленые, словно весной трава,
Зеленые рукава!

04. 28. Неожиданные подарки

преподносит нам жизнь. Всем нам. Наринэ Абгарян, писательница, моя подруга, армянка, в Москве живет, по-русски пишет, вот она однажды в живом журнале рассказывает, мол, пошла каблучок на туфельке подбить, а сапожником оказался дяденька родом из ее маленького городка Берда, из рода Меликянов. И это оказался таким подарком: встретить в гигантской Москве практически своего род-

ственника, потому что Наринкина бабушка тоже из Меликянов. Меликян-сапожник посмотрел Наринке в ее лучистые серые глаза, сурово ухмыльнулся и спросил, а ты чья дочка. Мне очень нравится, что грузины или армяне спрашивают обычно не «Как твоя фамилия?», а «Ты чья дочка?» Очень красиво, очень правильно, о многом говорит. Очень о многом.

И я пишу Наринке, ты Наринка такой подарок сделала и себе, и этому сапожнику, и бабушке своей из рода Меликянов, и мне, прочитавшей этот твой рассказик. Сделала многим людям подарок только тем, что решила выйти и починить каблук на своей туфельке. И думаю я сейчас, сколько народу благодаря Наринкиной книжке про Манюню, теперь знает маленький город Берд, что в Армении. Даже если бы я слышала, что есть такой Берд, ну Берд. Но откуда я бы узнала про его людей, культуру, красоту, если бы не Наринэ. И я ей пишу, драгоценной Наринке: как много подарков нам жизнь преподносит, какая она, наша жизнь, щедрая. Ах, дорогая моя Наринэ-джан. Наринэ из рода Меликянов.

Вот я ехала в поезде с женщиной... Нет, не так. Я собиралась в Москву, приехала на вокзал, вошла в купе, а там уже были женщина и мужчина, муж и жена. И женщина, такая нетерпеливая, ныла и ныла, ну когда уже бельё дадут, ну когда же. Я лечь хочу, — ныла женщина. И со мной поделилась, говорит, хочу лечь и читать. Вот лягу сейчас и весь вечер буду читать, так что простите, что я с вами не буду разговаривать, я так хотела, наконец, лечь и почитать. Всегда была занята и всегда мечтала: вот лягу и почию. А как ложилась, сразу засыпала — так уставала, как собака уставала. А тут такая возможность — лечь и почитать, наконец. Толя, ну пойдёшь, спроси, когда бельё. И Толя пошел, понурый как ослик, пошел спрашивать. Пришел назад, говорит вдруг довольно дерзко: так мы же еще не тронулись, чего сразу бельё. С интонацией чужой сказал, не своей явно. Потому что Толик печальный, флегматичный, а интонация была какая-то истеричная, скорее всего, холерика-проводника, точно. Чижик такой, этот проводник, носился по вагону, бойкий, как юный таракан, его острая костистая задница, обтянутая лоснящимися форменными штанами, отовсюду торчала, то из одного купе, то из другого, везде он какие-то большие клетчатые сумки распахивал, глазки у него были мелкие, бегающие, рассыпались в разные стороны, косенький такой он был, и пассажиры ему, конечно, только мешали.

А тут женщина в нашем купе: когда бельё, да когда бельё, Толя. Ну достала. И Толю, и меня, и Толя все-таки тоже достал этого проводника, косоного зайца. И тот мухой все-таки сгонял в какой-то свой отсек и притащил этой тетеньке бельё, прямо шваркнул пакетом с таким оглушительным беспардонным шлепом по вагонной полке. Но тетенька не рассердилась, сердечная была дама, мигом пакет распаковала, постелила все себе, быстро увалилась на правый бочок и выудила откуда-то... мою книгу. То есть, мной написанную книгу «Поезд в Черновцы» Я глазам не поверила. И так голову наклоняла, и так — точно, это была она.

И что? Эта тетенька стала читать и смеяться. Прочтет что-нибудь — смеется, стучит в верхнюю полку, Толь, а, Толь, послушай, ну вообще. И читает вслух.

И я лежу, слушаю, прямо замерла...

А тетенька мне, мол, вы простите, что я такая неразговорчивая, я учительницей работаю в младших классах, так уже устала говорить и говорить, дай думаю, почию. Ничего, что я вслух читаю? Вам разве не смешно?

С ума сойти, я думала. И она все читала и читала. Потом мы вместе чай с ней пили, а муж ее Толя забрал книжку себе. И тетенька эта его еще предупредила, ты, Толь, пока почитай, а я чаю выпью и обратно заберу.

И мы пьем чай, и тетенька эта вдруг спрашивает:

— А как вас зовут? Меня, — говорит тетенька — Елизавета Васильна Таращан. А вас как?

И ведь на клапане обложки — так интересно обложка сделана в этой книжке — моя фотография. Ну пусть пять лет тому назад, но ведь не настолько же я изменилась.

Я отвечаю: — Меня зовут... Меня зовут Маша. Да.

И тетенька всю дорогу потом мне продолжала зачитывать отрывки и сокрушалась, что мне не смешно совсем.

Елизавета Васильна. Моя читательница. Она себе три последних рассказа оставила на потом — сказала, растянуть удовольствие хочет.

Такой вот подарок был мне недавно.

И кто его мне преподнес?

Я уже заметила, как только у меня неприятности или того хуже, беда какая-нибудь, обязательно как будто в противовес, случаются в моей жизни приятные маленькие чудеса. Как например, это чтение вслух моей книжки в поезде «Черновцы-Москва».

А вот увидела я недавно в интернете: «Информационный портал для связи с Богом». Испугалась сильно. Только представить себе, что вот этот вот портал на самом деле соединяет с... самим. Ты, например, выходишь по скайпу, и тебе в ответ:

— Слушаю. — А картинка еще не появилась, как это бывает обычно. И ты не знаешь, кто там сидит. Или вообще, скорей всего, видимость плохая. А может, вообще, видимости нету. И ты робко:

— Здравсесте. Это... Это... Бог?

Нет, удивительные какие все-таки лихие и пройдошливые люди — вот эти, которые создают, например, такой портал. Или берут себе ник в интернете: “God” или, например, “BOG”.

Ладно, допустим, кто-то не совсем здоров. Мания там, голова съехала набок, то да се. Кто-то отчаянно глуп и самоуверен. Бывает. Это ведь нормально, когда глупость и самоуверенность таскаются повсюду вместе, взявшись за ручки. Ну эти — еще ничего. На них можно не обращать внимания.

Ну а вот, помню, первый секретарь райкома Теренчук Михаил Иванович, например. Он почему-то однажды решил, что он — “BOG”. Нет, он так себя не называл, но всем видом своим показывал.

И вот, допустим, один человек собрался за границу поехать. Или два человека. Посмотреть, погулять и, конечно, сравнить. Ну тут, поблизости, в ГДР, Польшу там или вообще в страну лучших друзей Советского Союза Болгарию. Та еще за граница.

И ему, этому секретарю райкома Теренчуку, приносят документы. И эти документы долго лежат. Лежат, лежат. Лежат, лежат. Доходят. И человек этот, которого черт дернул купить путевку за рубеж, нервничает, пустят, не пустят и тоже медленно доходит. А документы лежаааааат. У инструктора там или еще у кого-нибудь. И наконец, все желающие поехать за рубеж, приглашаются на специальную комиссию, входят в кабинет, где сидят все во главе с этим “BOG”ом. Входят, погупив взор, с ужасным чувством вины перед секретарем райкома и его товари-

щами, с чувством вины за то, что они такие-сякие не патриоты непонятно зачем ломаются в другую страну. И уже проклинают и за границу, и профсоюз, и себя, и тот день, когда путевку купил — зачем ему это надо было вообще, сидел бы себе дома на диване, горя не знал.

— И чего тебе не сидится, тебе что, здесь плохо, У НАС? — не глядя на изменника Родины, рассеяно листая его документы, под нос бурчит Теренчук. А бурчанье его такое как у собаки — непонятно, чего ждать: то ли затихнет и успокоится, то ли разразится страшным лаем.

В ответ изменник что-то застенчиво блеет, прогнувшись и виновато улыбаясь, и не решается сказать: но вы-то сами, и жена ваша и дети ваши... вы-то уже были сто раз.

А не решается, конечно, потому что, кто он, а кто Теренчук, которому можно все, он же — “BOG”.

И потом все смущенное стадо, желающих поехать за кордон выгоняют в коридор и маринуют там, а “BOG” тяжело и мрачно задумывается. Ну что, товарищи, спрашивает он комиссию, обводя всех сидящих угрюмым подозрительным взглядом. А те глаза прячут, чиркают в блокнотиках с озабоченным видом. Ну что — презрительно и брезгливо отшвыривает ногтем указательного пальца Теренчук анкету с фотографией, и та едет по столу длинному полированному и падает на пол — пустим этого N в Венгрию, а? И все молчат, вроде как размышляют, а пускать ли этого N или не пускать. Кто-то незаметно поднимает анкету и угодливо кладет перед Теренчуком.

— Скользкий он, этот N... — говорит “BOG”, сквозь зубы цедит, глядя в бумаги на фотографию N.

И все кивают-кивают, мол, да, скользкий, да. Хотя некоторые, у кого совесть еще не совсем померла, думают: блин, зачем я вообще сюда работать пошел, в этот серпентарий, ведь хороший парень этот N. И станок новый изобрел, и первое место в области по прыжкам с шестом, и улыбка чудесная, и жена у него беременная, и мама у него — первая моя учительница, научила меня: «жы-шы» писать. И ведь точно скажет сейчас про усы, про очки, и вынесет вердикт: «не пускаем» И добавит: «опозорит нас».

— Вон же усы у него. И очки! — осуждающе сообщает “BOG”, тыкая холёным пальцем в фотографию на анкете — не пускаем его. Опозорит же нас, товарищи.

И этот, у которого совесть, думает, кого это «нас» опозорит, кого «нас»... А сам кивает, кивает.

Одна знакомая наша, работала она в отделе учета райкома, добрая женщина, всегда всех предупреждала, что надо фотографироваться без очков. И без усов. Ну не любит “BOG”, кто в очках и с усами. Очень искренне огорчается. Прямо сильно расстраивается душой, когда видит фотографию то ли того, кто в партию вступает, то ли кто за границу едет, обижается, голос дрожит у него и он огорченно лопочет: — Ну вооот... В очкааах... Что ж это он в очкаааах...

И не подписывает документы.

Мои дети сейчас даже представить не могут, что вот такой самодовольный чванливый персонаж решал судьбы людей, практически суд вершил. И участь твоя иногда зависела от твоего зрения — носишь ты очки или нет, то есть интеллигентное у тебя лицо или простоватое, а уж усы — это было вообще серьезное преступление. О пятом пункте и говорить не хочется.

Я ведь тоже стояла у него на ковре. Причем, меня, молоденькую тогда маму двухлетнего ребенка, вызвали в райком партии на семь утра. Трудно поверить?

Было. И я стояла как Комиссаржевская на знаменитом портрете, опустив руки и стиснув пальцы в замок, и думала одну мысль. Мысль была такая: что означает выражение «за гранью добра и зла»? Что это значит, и где это можно увидеть, почувствовать, чтобы описать.

Я, кстати, считаю, что это очень неплохая мысль, чтобы ее думать в тех ситуациях, когда слушать собеседника и задумываться о том, что он говорит или чаще, кричит, необязательно.

Словом, вот так я стояла там в кабинете. И я вдруг услышала вопросительную интонацию. То все он бурчал-бурчал, а тут вдруг: — а?

Я переспросила:

— Простите?

А он мне:

— Так расскажите, как же встретил вас мистер Беннет у себя в офисе.

И я ответила. (Боже, как долго я об этом мечтала, видела в своем воображении и вот, это случилось). Я ответила как Коллонтай. Я ответила:

— Вначале он предложил мне сесть.

И после паузы услышала:

— Вы свободны.

И я ушла. А потом еще неделю меня все спрашивали:

— Что с тобой, почему ты такая бледная?

Тяжелая работа — переводчик. Когда группа наших специалистов по сельскому хозяйству приехала домой из Британии, каждого вызывали к специальному инструктору обкома и расспрашивали, кто как себя вел и, главное, как работал и вел себя переводчик.

Ой, а вот однажды уже группа молодых фермеров из Великобритании жила у нас в области, ездила по полям, по колхозам — не помню, были ли тогда еще колхозы и мы иногда забирались с ними в глухие тупики и углы, а главное, все время шастали вдоль границы с Румынией, заезжая иногда в Молдавию купить вина или фруктов. И вдруг об этом каким-то образом узнала милиция. Мамочки, что тут случилось! Стали искать виноватых — почему не сообщили? — орал на меня какой-то красномордый чин. Я пожимала плечами, мол, я обычный гайд-переводчик, обычный сопровождающий, толмач. Спросите у тех, кто повыше и еще повыше. Словом, крайнего найти не могли, но последние два дня за автобусом с группой чинно ездила машина с мигалкой. Именно за, а не перед.

И если вдруг у сопровождающих были какие-то сомнения, они звонили в приемную “BOG”а, там бегом докладывали, и уже “BOG” решал, разворачивать наш автобус или пропускать дальше. И не потому что там был какой-то секретный объект, а потому что... А понятия не имею, почему. И не хочу об этом сейчас думать. Нет времени. Времени нет.

Боже мой, ну о чем я думаю. Вот вечно так. Или смеюсь как ненормальная, или думаю о всяких пустяках перед ответственным делом.

Хотя, честно говоря, снисходительность небесных сил по отношению ко мне не могу подвергать сомнению. Спасибо, небесные силы! Просто они меня иногда как котенка, как неразумного котенка тыкают в миску с молоком.

Однажды мне нужно было принять решение. Серьезное решение. Я сидела днем, в пустом почти кафе. И думала. А потом спросила. Мысленно спросила. Молча — в себя. Мол, ну, что делать? Да или нет? Прислушалась к себе, но не услышала ответа. Я посидела чуть-чуть, бестолково рассматривая носок своего са-

пога — спрашивая себя, я качала ногой как маятником. И тут позвонили — зайдите срочно по поводу ваших документов. Совсем незнакомый голос. Красивый бархатный голос. Голос сказал: — Это вы...? Зайдите к нам за документами...

И мне показалось, что голос просто недосказал... Потому что споткнулся немного на словах «Это вы...?» Может быть, он хотел спросить: «Это вы сейчас задавали вопрос?» Думаю, что именно так и было. Он хотел сказать так: это вы сейчас спросили? Тогда не сидите, не качайте ногой, встаньте, пойдите, сделайте хоть что-нибудь. Например, сходите за документами, а ответ свой на вопрос, вы увидите сами *По дороге*. Именно так он хотел сказать. Но что-то ему помешало. Наверное, он не совсем мне доверял, подумал, что я ему не поверю. Но я сразу расценила это как знак и высочила на улицу, на ходу заматывая шею длинным шарфом.

Я вышла из кафе на площадь. Там стояли люди. Кучей. Небольшой такой кучей стояли люди и плялись на небо. А на темном, грязно сером, почти черном небе, зимой, в начале февраля, висели две гигантские зловещие радуги. Две. Такие яркие, широкие, огромные и бесконечные, как будто они опоясывают всю нашу планету. Страшное зрелище. От того что, радуги эти две были такие, как два широченных шарфа, небрежно брошенных какой-то гигантской великаншей, земля наша казалась совсем маленькой, а люди на улице, напуганные жутким небесным театром, вообще выглядели маленькими беззащитными муравьями. Я присоединилась к ним — вот же как бывает, бежишь один, а когда тревожно и опасно, ты все равно несешься поближе к муравейнику, к таким же как ты. И так мы стояли толпой посреди площади и к нам со всех сторон все бежали и бежали люди, выскакивали из автобусов, из машин, даже не закрыв на замки дверцы. Нам под ноги забралась уличная собака и коты с поджатыми хвостами, чтобы тоже присоединиться, обняться, держаться с нами за руки, потому что вместе, неважно кто ты — человек или кот — все равно, когда вместе, рядом, не так страшно. Думаю каждый из нас, стоящий в тесной молчаливой толпе те самые последние в жизни — такое было чувство — десять минут, притихший под этими жуткими радугами, каждый из нас, исключая примкнувших к нам котов, собак и птиц — каждый еще десять минут назад задавал себе свои глупые постылые пустяковые вопросы, качая ногой... Мы спрашивали себя, как быть, что делать, куда идти, да или нет, покупать или не покупать, ехать или не ехать, соглашаться или подождать. Ну нам всем и показали. Нам дали конкретный ответ на все наши расплывчатые туманные вопросы. Ответ был таким: Все вы дураки. Думайте о главном.

И вот, что странно — через полчаса, когда небо очистилось и посветлело, и радуги окончательно растаяли, я прибежала в тот самый офис, откуда мне позвонили по поводу документов. Как и следовало ожидать, документы были еще не готовы. Ну и про бархатный голос я не спросила. А вдруг оказалось бы, что все было гораздо проще, и кто-то что-то репутал...

А тогда мы стояли и боялись, и вместе было гораздо легче бояться. Страх делился на всех, он распределялся через руки и плечи, потому что мы, а стояли тесно-тесно посреди площади. И если и говорили, то о простых вещах. Что потеплело, что если и даже подорожало — не страшно, лишь бы были все здоровы, что какой чудный фильм идет сейчас в кинотеатре, добрый, с хорошим финалом, посмотрите обязательно. Вроде и ни о чем, но такое настроение после пережитого, такое! Что только жить и жить, подумаешь, радуга в феврале!.. И все говорили друг другу: не бойтесь, ничего страшного. И тот, кто грамотный, объяснял, что это вода, свет, преломление, то да сё. Но мне все еще было страшно. Потому что дети мои были в школе, могли наблюдать эту зловещую картину из окна и могли очень испугаться.

Бояться для меня как дышать. Боюсь-боюсь. Когда дети родились, это состояние страха стало моей второй натурой. Или первой, не знаю. Мне кажется, что когда я боюсь, то это уже охраняет ребенка или мужа или родителей от чего-то страшного или неожиданного.

Вот кто-то однажды меня спросил, чего ты боялась в детстве. А чего я боялась? Да всего. В магазин пойти боялась. Продавцов ужас как боялась. Пойти купить мороженое у лоточницы — собиралась с силами несколько часов. Спросить, который час — о, нет! Учителей ужасно боялась. Врачей боялась. Но самое страшное — я боялась показать, что я всего этого боюсь.

Ну, конечно, сначала я боялась Того, Кто Под Кроватью. Потом, я очень боялась Бабу Ягу. Это все книги, сборники кровожадных сказок, кино, мультфильмы, рисунки — я рассматривала рисунки, у меня было хорошее воображение. Как вообще можно было такие книжки для детей выпускать? Гарри Поттера они ругают. А это вот: «Пока таюсь-поваляюсь, Аленушкиного мясца поевши»? Да, все на свете дети моего поколения, да и сегодняшние дети тоже боятся Бабу Ягу. Правда, бывают исключения.

Тут однажды была такая история. Моя дочь, умненькая, красивая, стройная, длинноногая девочка шестнадцатилетняя, красотой в свою бабушку пошла, тонкие черты лица, густые длинные волосы, на новогоднем утреннике для малышей играла Бабу Ягу. Нет, можно было, конечно, в честной драке отбить себе роль Снегурочки или Снежной Королевы. Но зачем? Они ведь, эти две дамы с мороза, скучные, плоские, одна леденисто злая, вторая — торжественная и пресная одновременно. И тогда моя дочь с удовольствием согласилась на роль Бабы Яги. Она сама выбрала эту роль. Потому что Баба Яга обаятельная и хулиганистая, и у нее есть перспективы к внутреннему росту. Она, как правило, в конце спектакля, становится хорошей и доброй. И вот Линка, подобрев уже к концу первого действия, водит с детьми хором и замечает в углу за елкой, на стуле одинокого зайчика из первого «Б» класса. Мальчик, худенький шестилетний крошка, в белом, большом на него, меховом комбинезоне и в шапочке с длинными ушами — канонический такой новогодний мальчик-зайчик. Только ушки печально висят, мордочка куксится, глаза на мокром месте, лапка в белой варежке прижата к щеке. Баба Яга — Лина подходит к нему, спрашивает, мол, ты что, зайчик плачешь, боишься меня или что?

И зайчик наконец дает волю слезами и признается:

— У меня жууубчик болиииит... Ыыыыы...

Баба Яга оставляет утренник на своего приятеля, Женьку Лесничего в роли Лешего, прекрасного парня, будущего великого пианиста (как же много хороших людей среди друзей моей дочери!), берет зайчика за лапку и ведет. Сначала через весь праздничный зал, потом по коридору, потом по ступенькам с третьего этажа, потом опять по коридору, ведет в кабинет медсестры. Они идут по гигантской своей гимназии — страшная Баба Яга с наклеенным крючковатым носом, косматыми бровями, начерченными зубами, одетая в лохмотья и безобразную телогрейку с приделанным под ней уродливым горбом — Бабая Яга же! Такая страшная особа и нежный маленький зайчик, при этом зайчик обливается слезами. Встречные малыши пытаются зайчика отбить — они ведь думают, что Баба Яга украла зайчика, украла и ведет к себе в избушку на курьих ногах. Всем приходится объяснять, что у зайчика зубик болит.

И что идут они в медкабинет к медсестре. И постепенно к ним присоединяются сочувствующие. Наконец Баба Яга приводит зайчика к спасительному кабинету, открывает дверь и засовывает в нее нос, страшный кривой нос из папье-маше.

— Вон отсюда, хулиганы! — кричит медсестра, мельком глянув на двери, что-то заполняя в своих картах.

А из-под жуткого платка и взлохмаченной шевелюры Бабы Яги — нежный знакомый голосок:

— Тетя Оксана. Простите, тут... Зубчик... У мальчика...

В кабинет за руку, доверчиво прижавшись к драной старой, давно потерявшей цвет, юбке Бабы Яги, ступая своими мягкими белыми ножками, неуверенно входит зайчик.

— Ой, зайчик, зайчика... — вскакивает и ласково приговаривает медсестра.

Она берет его за ручку, верней лапку в белой варежке, но мальчик вырывает лапку и привычно всовывает ее обратно в руку Бабы Яги, в руку в обрезанной корявой с металлическими заклепками перчатке. Медсестра смотрит зубчик, дает мальчику раствор его прополоскать. Мальчик, не выпуская Линкину руку, полощет у раковины зуб, сидит минут пятнадцать в кабинете медсестры, пьет теплый ромашковый чай, навалившись Бабе Яге на колени всем своим белым пушистым заячьим легким тельцем.

Когда Баба Яга выходит с повеселевшим зайчиком из кабинета, утренник уже закончился, в коридоре их ждут Линкины друзья: леший Женя, пираты, мушкетеры, медведи, лисицы, принцессы, снежинки, буратины, мальвины, восточные красавицы, стая мышей, лягушек, целая толпа гуцулов из школьного танцевального кружка, Дед Мороз и Снегурочка. Мальчик-зайчик счастлив.

— Как твои дела? — после каникул моя дочь подошла к мальчику, — как твой зубчик?

— Нормально, — сдержано даже высокомерно ответил малыш, — а что?

— Ты помнишь, мы с тобой ходили к медсестре?

— Мы с тобой?! — возмутился мальчик, — Это не ты со мной ходила!

— Как это? Я...

— Нет, не ты. Не ты! Не ври! Со мной Баба Яга ходила! Поняла? Баба Яга со мной ходила. И жалела меня! Ходила она... Врунья...

Вот так в мире появился один единственный мальчик, который абсолютно не боится Бабы Яги, а совсем наоборот, любит ее, помнит и ей благодарен.

Какая все-таки непроглядная ночь. То ли тучи на небе, что звезд не видно, то ли какая-то мгла уже окутала Землю...

Вчера вечером я спросила у Степашкиной Евдокии:

— Ты что, Степашкина, как же можно грести всех под одну гребенку. Мироздание же мудрое... Оно же не безразличное...

— Безразличное, — ответила Степашкина. — Ему нет дела ни до кого.

— А как же... — я не знала, как сформулировать — а как же хорошие люди? Они что, тоже?... Вот очень хорошие?

— Чудес не бывает — ответила Стешкина.

А мне все же кажется, что бывают. Нет, я уверена, что бывают. Вопрос только в том, кто их, эти чудеса, совершает.

Я продолжаю настаивать, что если даже представить себе немыслимое — что волшебники не существуют, чудеса все равно случаются. Просто их совершают простые обычные люди.

Мои знакомые, две сестрички, Маричка и Наташа. Две уникальные личности, две женщины, нежные душой, сильные духом, мудрые, верные, и очень надежные. И мама у них — клад. Я очень любила ее слушать. Она как-то приехала из села к дочкам в гости и рассказала за столом.

Вот мол, шел летний теплый ливень. Сериалы она не смотрит. Всю работу в доме уже переделала. В огороде ничем заниматься невозможно — сыро, мокро кругом. Решила сбегать к соседке-подруге. А на веранде у нее стоят два резиновых сапога на левую ногу. Как-то так получилось, что правые у нее быстрее рвались. Ну влезла она в эти два левых сапога, прибежала к соседке, посидели, чаю попили, тут и дождь кончился. Надо и делами в саду, в огороде заняться. Подруга провожает Маричкину маму до калитки и присматривается к еще влажной песчаной дорожке. Там следы. И подруга Маричкиной мамы смотрела-смотрела на землю, а потом в восхищении воскликнула:

— Ады! Хтось одноу ногоу до нас прыйшов!

Мол, смотри, кто-то к нам одной ногой пришел.

Она невероятно умная и прозорливая, мама Марички и Наташи. Как все великие люди. Ну и что, что она обычная крестьянка. Менделеев в свое время клеил чемоданы. (Нет, ну надо же?!) И моя мама знала, но мне не рассказала. В детстве. Я узнала об этом абсолютно случайно. У меня потом даже был стресс. А позже я поняла, что почти все достойные люди начинали примерно с такого же. Маргарэт Тетчер работала официанткой. Рейган собирал хлопок на плантациях. Бон Джови чистил клетки в зоопарке, какой молодец. И все они стали великими людьми. Так вот. При другом раскладе — месте рождения, возможностях — Маричкина мама, получив достойное образование, легко могла бы стать министром. Или даже премьер-министром. Мудрым, порядочным. Добрым. Да, пожалуй, и ее дочери не оплошали бы при других обстоятельствах жизни. Хотя и сейчас они очень и очень достойно живут.

У обеих не сложилась личная жизнь. Зато получились отличные дети. Я считаю, что это гораздо важнее. У Марички — дочка Наташа, хорошенькая, с фарфоровым личиком, ну такая красивенькая, приветливая, добрая, умная. Характер — ангельский. А у сестры Наташи — сыночек Тарасик.

Маричка и сестра Наташа уехали в Италию работать. Собственно как и многие. Боже мой, если бы страна ценила своих людей... Я не знаю, как работала Наташа, уверена, что хорошо, но Маричка — это была чистый клад. До отъезда она работала в детском саду воспитателем. В ее группе были дети пяти лет. Она рассказывала о каждом как о величайшей драгоценности. Ну например, о девочке Соне. Маричка рассказывала, мол, Соня пришла с опухшим носиком. Я спрашиваю у нее, — Маричка говорит и голос ее теплеет, — Сонечка, что случилось с твоим носиком. И Соня отвечает:

— Мне на палец села пчела (Маричка показывает свой палец как это ей показывала Соня), я хотела посмотреть ей «в глаза», то есть, в глаза (Маричка подносит палец с воображаемой пчелой к своим глазам близко-близко и в этот момент ужасно похожа на маленькую пятилетнюю девочку, этим своим живым интересом и любопытством) я хотела посмотреть ей в глаза, а она испугалась и укусила меня.

Так рассказала Маричка о девочке Соне.

— Ты плакала? — обняла Маричка Соню

— Трошки. А так — не, не голосыла. Бо она ж маааленька, а я вже большаааа...

Сонечка привстала на цыпочки и потянула ручонкой вверх, показывая какая она большая по сравнению с пчелой.

Маричка стала работать в своей группе по системе Монтессори. Раскладывала коврики, дети выбирали себе занятие. Маричка тягала эти коврики по группе

как лодочки, но дети так увлекались, что не обращали на эти передвижения внимания. И как-то дети у нее получились все очень хорошие. Ну очень умненькие и добрые. И великодушные. Они до сих пор устраивают встречи выпускников детского сада «Солнышко». Это же невероятно! При том, что у них самих уже есть дети.

Обе, и Наташа, и Маричка, такие были необычные, я просто в них влюбилась. Они очень, ну очень любили свой город. И свою страну. Это потому что они любили родителей своих, маму и рано ушедшего отца, прекрасного доброго красивого человека. Их родители тоже очень любили свое родное село. И страну любили. Как-то я сидела у девочек в гостях, а Маричка говорит, что ей так нравится наша страна и ее Маричкина жизнь в этой стране,— ну пусть не так гладко, ну пусть не так складно, но я бы — сказала Маричка — я бы душу отдала, сердце бы отдала, лишь бы здесь у нас, наконец, дети и старики были бы счастливы и наша Родина нас бы понимала.

Но Родина — странная особа, которой Маричка пыталась несколько раз смело и запросто вручить в абсолютное пользование свое искреннее доброе сердце, имела Маричку в виду. Конкретней, Родина отобрала у Марички зарплату и стала платить ей водкой — буквально. В детский сад привозили ящики с водкой и раздавали воспитательницам в день зарплаты. Маричка пожалала плечами и в первом же эшелоне уехала зарабатывать на жизнь и на дочку Наташи образование в Италию. Следом за ней поехала и сестра Наташа. И стали трудиться там горничными, сиделками. И хозяйева, итальянцы в основном люди дружелюбные и открытые, их любили. Все было бы хорошо, если бы еще и дети были рядом. Но они, дочка Наташа и сын Тарасик, уже учились в университете. И вот летом, Тарас, спортсмен-футболист, сдал сессию и пошел праздновать начало каникул с друзьями на реку Прут. А Прут коварный, изменчивый, река-настроение — за зиму изменил русло. Тарасик нырнул в казалась бы, привычном месте и не вынырнул. Спасибо друзьям — они его искали под водой, ныряли и вытащили. С переломом пятого шейного позвонка.

Наташа примчалась домой немедленно, из Милана — в Киев самолетом, из Киева — такси. И сразу в реанимацию.

Врачи сказал Наташе:

— Готовьтесь.

А Наташа ответила:

— Еще чего! Сами готовьтесь, если вам надо!

И она, хрупкая маленькая, нежная, почти девочка, обзванивала профессоров, сулила, умоляла, привозила на такси специалистов и консультировалась. Она сутками сидела в реанимации рядом с Тарасиком, держала его за руку и говорила ему, как она его любит. Наташа рассказывала мальчику, который дышал с помощью аппарата искусственного дыхания, душа которого вигала где-то, в каких-то слоях, ища заступников в пути дальнем неизведанном, Наташа рассказывала днем и ночью, как Тарасик родился, какие первые слова сказал, когда научился ходить, какие открыточки рисовал маме ко дню рождения, к Новому Году, к восьмому марта. Она говорила:

— И вот, Тарасик, мы с тобой приехали к морю...

— А потом Тарасик, ты получил кубок за первое место...

— И вот, Тарасик, ты сказал: «Мамк, ты самая лучшая...» А я, Тарасик, как стала плакать! От счастья.

И все время напирала настойчиво на имя, да так, что сейчас, когда я описываю всю эту трагичную историю, когда я пишу имя «Тарасик», я начинаю сильнее бить по клавиатуре, чтобы помочь *тому* Тарасику услышать маму. Она так часто повторяла «Тарасик», даже когда смертельно уставала и засыпала на стуле, она во сне повторяла, бормотала: «Тарасик», «Тарасик».

К удивлению, к потрясению медиков Тарасик пришел в себя и сказал: «Мамк».

Наташа, маленькая шуплая, подняла санавиацию и повезла Тарасика в Киев на серьезную операцию. Тарасику заменили пятый шейный раздробленный позвонок на титановый.

Врачи говорили: — Меняйте ваш стиль жизни, мальчик не будет ходить.

— Еще чего, — ответила Наташа, — самименяйте, если вам надо. И повезла Тарасика в Саки на реабилитацию. И занималась им несколько лет, не давая просто так сидеть или лежать, массировала, дергала, переворачивала. Он начал чувствовать руки сначала до локтя, потом кисти, а потом даже пальцы левой руки. Наташа вместе с ним ездила на сессии в университет, и Тарасик окончил пятый курс и получил диплом.

И все это время Маричка работала в Италии и отсылала сестре Наташе деньги на реабилитацию Тарасика. Потом Наташа увезла Тарасика в Италию. Там ее ждали: квартира, которую сняла Маричка, была приспособлена для инвалидной коляски. Друзья-итальянцы нанесли в эту квартиру тренажеры для Тарасика и подключили к его реабилитации благотворительные службы.

Недавно из Милана пришла лаконичная записка:

— Тарас стоит.

Это означало, что он сам встал на ноги. Что скоро, очень скоро он должен ходить.

Так какой же может быть конец света?! Не знаю, не знаю. Они заслужили долгой счастливой жизни, эти девчонки, Маричка и Наташа. С их добрыми сердцами, с их большими щедрыми душами. Которые не понадобились их Родине. Поэтому не может просто так случиться в их жизни обещанный Степашкиной, Нострадамусом и прочими конец земной жизни.

Который час?

Недавно гуляла вокруг большой престижной гимназии. Там внутри, моя дочь в составе еще тысячи с лишним таких как старшекласников, сдавала американским преподавателям тесты. Наши старшекласники любят сдавать тесты независимым зарубежным преподавателям. Причина одна — они честные.

Но пока она там сидела — это, пожалуй, часов шесть — я бродила вокруг гимназии.

Такая центральная показательная гимназия, видимо, часто принимает иностранных гостей. Современная, нарядная, свежеевыкрашенная. Но меня не обманешь. Ну не могло не быть здесь следов наличия шкодливых хулиганистых гимназистов. И нашла. На заднем дворе, на стене, которая выходила в никуда — там был только высокий металлический сетчатый забор и живая колючая изгородь — так вот на этой стене я обнаружила, живые, радующие душу и глаз надписи:

«Катасончик Саша — лутший друг»

«А Шувалов — лох»

«Урррра, каникулы!»

«Смирновская + Шувалов = любовь, дружба, мир, труд, май, июнь, июль!»

«9 А лузеры! Бебебе!»

«Ухи оторву! Шувалов»

«9А — forever! Шувалов — чемпион!»

А внизу загадочно легким, но твердым уверенным почерком было начертано:

«Какие странные слова, но как кружится голова. Смирновская»

Эта надпись была перечеркнута несколько раз и под ней большими буквами маркером:

«Какие вы все глупые дураки! Это не я. Смирновская.»

В центре стены скотчем было приклеено напечатанное на компьютере и уже размытое дождями, объявление на скромном листочке формата А4:

«Не смейте писать на стене. Три раза уже перекрашивали. Узнаю, кто пишет, будете перекрашивать стену сами. После уроков. Директор гимназии Катасончик О.Р.»

И поверх листка и далее на стену по косой опять краской из баллончика смело начертали:

«Ага! Орест Романович, вы сперва поймите! Шувалов»

И нигде, на огромной стене, ни в одном углу, не было ни одного слова из цензурной лексики. Очень порадовалась я тогда и за Ореста Романовича Катасончика, и за Шувалова, и за Смирновскую, и за всех других учеников этой гимназии.

Который час? Который час?!

В окно виден дальний свет из клиники на той стороне реки. И оттуда же вода — вода хорошо проводит звуки — вода доносит фырканье и всхрапы. Там, в конюшне клиники живут две лошади.

Один был ездовой Борух... Тихий незаметный человек. Кто это рассказывал? Не помню. Был ездовой в клинике, Борух. Жена его умерла, дети и внуки уехали в Израиль. И звали-звали отца к себе. А он отвечал, как и принято у нас, вопросом:

— А как же Верочка?

Верочка это была лошадь Боруха. Такая древняя, что помнила и его красавицу жену, и маленьких Боруха детей. Очень старенькая лошадь, но такая ухоженная, гладенькая.

Борух ездил в синагогу, удивлялся, откуда там столько местных людей — и румынов, и украинцев, что они делают там. Но спрашивать стеснялся. И вот какой-то крупный румяный парень робко попросил Боруха приколоть ему кипу на макушку. И Борух, поколебавшись, спросил:

— А вы зачем здесь, молодой человек?

— Так тут ведь — объяснил крупный хлопец — тут ведь быстрее всего, тут прямой выход аж туда — и покивал большим пальцем наверх, — меня, того, на рынке кинули. Я хочу отомстить. А вы зачем тут, папаша?

— А я за утешением, сынок. За утешением. — так ответил Борух.

И вот пришла пора — Верочка, ветхая, добрая, уже полуслепая, пала. А через месяц умер во сне и Борух. Чистейший человек. Чистейший...

Вот я представляю, что он туда пришел, а его встречают его жена и его лошадь Верочка.

Еще тут, в земной жизни, надо выбрать того, кто встретит тебя там. Или того, кого тебе самому придется встречать и потом быть рядом *всегда*. Так я себе это представляю. А иначе все, что мы испытываем здесь, в земной жизни, не имеет смысла. И вот ты сидишь, допустим, за завтраком, смотришь и думаешь, а хочу ли я потом *вечно* видеть рядом с собой этого человека, его или ее, слушать его или ее рассуждения, его или ее жалобы, его или ее нытье или претензии. И надо ли тебе это там, где все будет по-другому.

И вот она или он является тебе там. И вы с ним или с ней теперь уже навсегда. Вот это и будет тогда твой персональный ад.

Меня будет встречать Чак. Моя собака. Я это точно знаю. Он не даст мне даже испугаться или расстроиться. Он будет меня встречать так, как встречал много раз у дома, когда был еще жив.

Вот я поворачиваю в наш небольшой квартал и вижу, что у нашего дома столбиком сидит и вглядывается вдаль мой дорогой лохматый рыжий товарищ. Он сначала не верит своим глазам, не верит своему счастью, он вспрыгивает и сам себя спрашивает: — Она?! Неужто она?!

И потом мне навстречу кидается и несется эта пушистая рыжая радостная меховая туча. Он счастливо повизгивает, влзаивает и подпрыгивает, чтобы обнять, лизнуть, и если надо, то уберечь и защитить.

Там меня встретит Чак. Я знаю.

Как часто бывает в моей жизни, что я запоминаю намертво, лица абсолютно случайных, проскользнувших мимо, людей. Ну вот, инспектор дорожного движения в Молдавии. Почему я так подробно помню его лицо? Он заглянул в боковое окно, спросил документы, поворчал, дал мне конфетку и отсалтовал. А я помню, что у него впалые щеки и длинные узкие губы, и нос с горбинкой. Он еще сказал, указывая на висящий в чехле концертный костюм:

— Я по вещням вижу, что ты едешь на праздник.

И добавил:

— Не превышай допущение норм. Тут у нас ограничение скорости.

Или вот «фиолетовая дама» Я ее видела лет пятнадцать тому назад, случайно, в храме, когда венчался племянник моего мужа. Она, эта дама, пожилая и красивая, с фиолетовой сединой, в дымчатом легком шарфике, в фиолетовом костюме, я помню даже брошки у нее на лаковых туфлях и такую же брошь у нее на сумочке. Подошла она к батюшке, и чтобы привлечь его внимание, тихонько потыкала ему в спину пальчиком и прошептала: «Товарищ... Можно вас на минутку, товарищ...»

Или, например, маленькая девочка в самолете, летевшем из Лондона в Москву. Сколько лет прошло, а я не могу ее забыть. Годовалая малышка, с прозрачным личиком, ярко синими как у папы-скандинава, глазами, с пшеничной как будто выгоревшей на солнце — как у него же — шевелюрой и выточенным азиатским разрезом глаз как у ее мамы-японки.

Или незнакомая девочка в большой компании, выходящей из кинотеатра — с двумя косичками и с розовым ранцем за спиной. Она разводила руками, и я помню даже ее фенечки намотанные на кисть левой руки, и говорила:

— Ну вот я замесила тесто, а миксер у меня сгорел, и должны уже мама с папой приехать с работы, и я жарю оладушки. И уже целая горка этих оладьев. И я ведь тесто взбила по старинке, венчиком. И жарила-жарила. И слушала музыку в наушниках. И пригопывала. Новая такая песня красивая. И вот оладьи горячие. Я их завернула в полотенце и в мамин махровый халат, чтобы не остыли. А тут — бац! — и конец света. И вы мне скажите, и зачем я эти оладушки жарила?!

И я побежала тогда следом за это девочкой и за ее компанией. Кто-то рассмеялся, кто-то приобнял ее за плечи. И они все пошли в пиццерию, перекусить после кино.

Кто-то, видимо, предложил, мол, пошли перекусим, до конца света еще есть время.

Я вернулась к кинотеатру посмотреть афишу фильма, с которого они шли. Так и есть. «Апокалипсис»

Который час?

04.58. Ну вот ругала меня Мария Емельяновна,

учительница наша математики, предмета для меня так и не раскрытого, тайного как пирамиды египетские.

Говорила Мария Емельяновна:

— Мысли твои, Гончарова, — очень тепло и по-матерински журила меня она, — мысли твои скачут как блохи. То там куснут, то тут...

А потом в наш класс пришел учитель математики Владимир Иванович, обожаемый, благородный, веселый Владимир Иванович, и мы с ним просто сторговались, что он меня предупреждает перед уроком, когда вызовет к доске и что будет спрашивать, а я... А я не буду играть на фортепиано после десятивечера. Владимир Иванович был нашим соседом и ужасно страдал, когда я играла вечером, а часто бывало, что еще и пела.

И вот только позавчера смотрела с мамой серию нового Бриганского сериала «Шерлока Холмса» и прекрасная, ужасно порочная, невероятно умная женщина говорит Шерлоку:

— Вот если бы сегодня был последний вечер перед концом света, вы бы поужинали со мной?

И я конечно сразу примерила на себя — с кем бы я поужинала. Ужас. Мне пришлось бы поужинать тыщу или больше раз, сожрать тонну еды, а то и больше, выпить сотни галлонов чаю или кофе и счастливо лопнуть на глазах обожаемых мной людей.

Вот редактор мой, красивая влюбленная женщина, говорит: — что это такое, Гончарова, вы столько книг уже написали и ни в одной нет про любовь, ну как же так?! Ведь читатель, он ведь что — первое, спрашивает, если тут выстрелы и убийства, и второе — спрашивает, а есть ли тут про любовь.

Да надо подумать о любви. О любви я совсем ни разу не думала за эту ночь.

Да. О любви. Ну что сказать. Замуж я вышла сходу, своего мужа знала с детского сада, постепенно привыкала к мысли, что он поселится рядом и станет выносить мусор, вбивать гвозди, а так же станет отцом моих детей и дедушкой моих внуков. И поэтому сейчас, даже когда я сильно на него сержусь, я все равно понимаю, что это своё, это наше, и как говорила бабушка моя, что воспитала, то и ешь.

Но меня всегда волновал вопрос, как же люди мгновенно знакомятся и в короткий срок становятся родными. Какая искра пробегает между ними. Что с ними происходит? И как так случается, что вдруг какая-то девушка или какой-то парень становятся главными, самыми главными в твоей жизни.

Однажды наш университетский СТЭМ решил снимать кино. С какого перепугу пришла такая странная идея, даже нормальной аппаратуры не было, осветительных приборов, костюмов не было, сценария толкового не было. Была идея, было желание и настроение. Был только Миша, смешной обаятельный Миша, а у него была любительская кинокамера.

На нашем факультете иностранных языков и на филологическом тоже повесили объявление. Тогда это не называлось «кастинг», хотя это был настоящий кастинг — объявлялся конкурс-отбор на роль Джульетты для того самого кинофильма. К слову, роль Ромео безоговорочно забрал себе секретарь нашего университетского комитета комсомола Женя. Фамилии не помню — пусть будет просто Женя. Хороший мальчик, ответственный, дисциплинированный, отличник.

Стояли ли толпы девушек у Мраморного зала нашего университета — не знаю, потому что я прочла объявление, пожалала плечами и уехала в Батуми на студенческую конференцию.

Но зато, когда я приехала, то на вокзале меня встречала странная компания: тот самый оператор Миша, стеснительный деликатный и милый, с прекрасной фамилией Човных, что означает по-украински «лодочка». Тут же в толпе встречающих тянул шею отличник по учебе, посещаемости и поведению, невысокий крепенький комсомолец Женя — Ромео, с поразительным тонким как лезвие, носом-клювиком, прямо как у маленькой птички колибри, с маленькими же острыми умными глазками и взбитым птичьим хохолком надо лбом. Ну и большая группа режиссеров—постановщиков, примкнувших, сочувствующих и просто уверенных в том, что знают, как надо снимать кино. Меня встретили и тут же объявили, что я прошла конкурс.

—Ты прошла конкурс, — сообщил мне Лева Садовник.

— Но я не проходила... — я поняла, что здесь какая-то ошибка.

— ...и будешь играть Джульетту в нашем кино, — не услышал меня Лева.

— Да? А как кино называется? — меня часто пробивает на глупые вопросы от неловкости и застенчивости.

Режиссерам-постановщикам хватило ума назвать фильм «Шекспир и мы»

На следующее утро мы уже снимали сцену у ворот — в нашем университете роскошные кованые еще австрийские ворота, они очень подходили к сцене встречи Ромео и Джульетты. Костюмы для нас с Женей одолжили в театре, весь СТЭМ и прибившиеся были задействованы в оцеплении. А еще через день меня возненавидели все студентки, аспирантки и молодые преподавательницы факультетов иностранных языков, русской, украинской и молдавской филологии.

Сценарий был незамысловатый. Разговаривая по телефону, поссорились два декана — декан факультета физики и декан факультета иностранных языков. Тут надо знать реалии нашего университета. Факультет иностранных языков регулярно поставлял невест для студентов и аспирантов физиков. И тут началась вражда факультетов. Практически, Гриффиндор и Слизерин из «Гарри Поттера». То есть, Монтеки и Капулетти. И в этот же вечер студентов-физиков не пустили на вечер иныза. Так было по сценарию. Девушки танцевали там шерочка-с-машерочкой, а пианист, единственный мальчик на факультете, был привязан к стулу ве-

ревками и играл с чувством, но, поскольку под давлением, то плохо. Девушки плясали невесело без надежд на будущее. Ну и как полагается, группа физиков как-то через подвал все-таки просочилась на вечер, и там, конечно, птичка-Ромео-Женя увидел, наконец, Джульетту. Ну и все остальное как у Вильяма нашего Шекспира, правда, без убийств родственников и с другим финалом — факультеты помирились в очереди за стиральным порошком. Нам в общежитие иногда его завозили. В общем, ерунда полная и бездарная. Но съемки проводились солидно. Актеров, исполняющих главные роли, по приказу проректора по учебе освободили от занятий без отработок. Каждое утро мы собирались в комитете комсомола и шли снимать кино. Левочка Садовник, который лучше других знал, как снимать, поскольку умел складывать из пальцев экран и знал слова «Питер Брук» и «Феллини», в мегафон вопил: «Начали» и «Стоп!». Бегала хлопотливая бойкая девочка и шваркала перед моим лицом хлопущкой, а Володя Деревориз и Юра Саутин важно требовали еще один дубль. Миша Човнык печально пересчитывал метры дефицитной пленки Шосткинского химкомбината «Свема».

Недавно посмотрела отрывки из этого кино с дочкой. Линочка всплескивала ручками и вздыхала, мамочка какая ты *была* красавица. И что — спрашивала Линочка — никто-никто не был в тебя влюблен. И я пожимала плечами и отвечала, что, по моему, никто. Совсем никто. В самой группе кипели страсти. Ромео был влюблен в девочку Люду, Володя Деревориз, который играл декана физфака — в свою прекрасную тогда будущую жену, забыла имя, Боря Мартынюк, восхитительный музыкант — в танцовщицу народных гуцульских танцев Верочку, там же были влюбленные друг в друга Инна и Игорь. Инна рисовала тигры мелом на обычной черной учебной доске или на той самой злополучной хлопущке, а Игорь просто следовал за Инной тенью и открывал перед ней двери, бегал ей (а заодно и всем остальным) за мороженым и пирожками. К этой паре относились с большой симпатией и бережно. Они поженились очень быстро, а недавно, как сказал кто-то из знакомых, развелись. Это развитие, а потом и увядание их отношений так и осталось для меня загадкой. Ну и каждый, кто принимал участие в фильме, зараженный самой идеей «Моя любовь без дна, а доброта — как ширь морская. Чем я больше трачу, тем становлюсь безбрежной и богаче», искал и находил, конечно, того, чье сиянье затмевало факелы и так далее. Словом, от этого кино во все стороны, как запах ванили из булочной — распространялись феромоны, или как там их называют, эти зовущие запахи юности, весны и любви. Только я одна ходила как тупое чучело примороженное и думала лишь о том, где купить «Мыслящий тростник» Кюртиса и как сдать зачет по логике преподавателю Товтулу, который откровенно ненавидел девушек, особенно, студенток факультета иностранных языков, и уверено полагал, что логика — это предмет для нас темный и неподъемный. Ну и еще я гадала, как скоро наступит моя очередь читать «Воспламеняющую взглядом» Стивена Кинга. Но иногда вдруг я замечала, что нахожусь среди большой компании людей, которые разделены по парам. Я у них спрашивала, а вы когда познакомились, и оказывалось, что, допустим, Верочка и Боря Мартынюк познакомились только что, а ходят вдвоем так, словно знают друг друга вечность, и друг без друга уже не представляют жизни. И так все другие ребята. И когда была премьера фильма в том самом Мраморном зале, я... не пошла.

Как раз пришла моя очередь читать «Воспламеняющую взглядом». А поскольку фильм я до премьеры уже посмотрела, и не раз, то делать там, на вечере, мне было нечего. Нет, ну на самом деле — все ходили бы и заглядывали в лицо. Или шептались бы. Или тихо ненавидели. А так — я провела прекрасный вечер. И не пожалела.

Ну нет у меня такого опыта, чтобы ах, вены резать, или в омут с головой как бедная Лиза от любви! Ну нету!!!

А редактор моя мне говорит: — Нет главного, понимаешь? Потому что, — объясняет мне редактор, если приходит конец света, — Зоценко писал, то любви жальче всего. Понимаешь? — говорила мне редактор.

Ну да, понимаю. Но сама мысль, что мне надо писать о любви, в которой я ни черта не смыслю, меня очень подавляет. Это все равно, что разбирать карту звездного неба или, например, рассуждать о нанотехнологиях.

А придумать ничего не могу. Нет, есть, конечно, примеры. Но это как будто рассказывать здесь чьи-то секреты. Арлен Исаевич, например. Люся его, красавица умерла как-то неожиданно, во сне. И Арлен Исаевич смириться не может. Она умерла, а он вопреки всему, ее любит. Ну что — ну, умерла. А что ж ему теперь ломать себя, если он без этой любви жить просто не может. И он продолжает ее любить. Любит и все. Но когда вспоминает, что некому сказать: «Люся, я тебя люблю, Люся», что Люся ушла, он плачет. Думает, что она не слышит и не знает. А я уверена, что слышит и знает. Только ответить не может. Потому что для этого нужен канал, нужен специальный человек с какими-то открытыми космосу и всем ветрам, частямилюбных долей. Ну, в голове. Такие специально одаренные люди. Или, я думаю, наоборот. Эти люди — упущение. Всем, кто на Земле родился, эти каналчики аккуратно заклеили, а у этих вот — специальных — оказался брак. И они постепенно поняли, что могут говорить и с нами, и с теми. Легко. Да собственно, и нам дано. Мы просто иногда слишком крепко спим. Или просто не хотим прислушаться. Вот Эллина, дочка Люсина рассказывает, что мама однажды пришла во сне и в свойственной ей манере сказала, мол, ну прекратите уже выть, нет покоя от вас, у меня уже все нормально. И если бы не вы... А Люсина дочка Эллины быстро-быстро спрашивает, мам, мама, ну хватит тебе ругаться, ты лучше скажи — бабушку-то видела, нашу бабушку Василису Соломонову? Видела? И Люся ответила дочке, очень внятно объяснила, очень лаконично просто, как она это всегда делала еще здесь, в этой жизни. Она сказала:— Понимаешь, Эллина, — вот так просто назвала имя и это как-то убедило Эллину, что сон этот неслучайный, — тут ведь все по-другому устроено. Ну представь себе большую очень широкую лестницу... Нет, ты представь себе пирамиду, — сама себя исправила Люся, видя, что дочка ее не совсем понимает, — и вот каждый, кто сюда пришел, находится на той ступеньке, в том месте, которое заслужил. Ну вот, всё. — Пока. — сказала красавица Люся своей дочке Эллине. И Эллина проснулась. И с этого дня ей становилось все легче и легче, потому что она поверила в то, что не может уходить человек навсегда в никуда. Потому что такого места «Никуда» просто нет.

Да, так я о любви. Какая же она бывает разная! Та самая Степашкина Евдокия однажды возмутилась:

— Любовь?! Что за любовь?! Мужчины как плохо выдрессированные собаки, понимаешь?

Я не понимала.

— Ну как, ну вот у них чуть что — сразу падает планка, вываливается язык, и поскуливая от вожделения и в предвкушении будущих радостей он срывается с поводка и, метя углы на своем пути, удирает, задрав хвост к друзьям, на рыбалку, в бар, на охоту, по бабам, абсолютно забывая дорогу назад. Ну или не забывая, но легкомысленно откладывая свое возвращение. И даже если ты будешь ему звонить каждые полчаса и на удивление у него не будет отключен телефон — так говорила

Степашкина Евдокия. — то дозваться его домой практически невозможно, Он строго и деловито отвечает, что «щас будет», что «уже выезжает», но на самом деле будет сидеть, ходить, пить, купаться, разговаривать, любезничать, кокетничать и хватать до последнего, как будто у него единственные ключи от этого бара, от этой сауны или от стадиона. И он должен все закрыть и поставить на охрану.

И только инстинкт самосохранения — говорила Степашкина Евдокия, — когда захочется кушать, спать или где-нибудь заболит или выскочит, может пригнать его назад. И он притащится с поджатым хвостом, на брюхе и поскуливая, а потом тихо замрет на тряпке в углу и будет там отдыхать до следующего срыва.

— И что, — спрашиваю я Степашкину Евдокию, — ты его такого любишь?

— Ну ра-зу-ме-ет-ся! — она высокомерно закатила глаза и добавила горячо — я ж его два года добивалась, я ж наряжалась и по его улице ходила, встречи искала, я ж его обула-одела, я ж его пою-кормлю, я ж ему все на блюдечке, я ж ему кофе в постель, а он скотина такая! — и вздохнув, помягчала: — Я ж его от первой жены увела...

На веревке, подумала я, поэтому он и срывается теперь, бегает. А когда он изменил Степашкиной Евдокии с первой женой, Евдокия отлупила сначала мужа, следом дала в глаз его первой жене, а потом поплакала да и простила, потому что он, Степашкиной муж, его первая жена, сама Степашкина Евдокия — они все свои, чего уж там. Хорошая Степашкина, отходчивая.

— Так я же его люблю.

— Ты что, Степашкина, — жалела я ее, — это же унижение какое, какая же это любовь!

— Ты про козла знаешь? Что любовь зла? — мрачно ингересовалась Степашкина.

— А ты в школе на уроках физкультуры что, не училась через козла перепрыгивать?

— Нет. У нас такой был забавный учитель физкультуры. Пухлый, смешной. Показывал, как надо перепрыгивать через козла. Разбегается, выдыхает энергично, ка-а-ак побежит, ка-а-ак добежит до козла, остановится, шлепнет его, такого бокастого по тугому бочку и громко объявляет:

— А потом надо через него перепрыгнуть!

Вот я и не научилась. И потом, какая такая любовь? Нет ее вообще!

Бедная моя Степашкина, измученная, не раз обманутая, утомленная, ожидающая только новых предательств, всегда готовая к отпору, ни во что уже не верящая, а что она должна была мне сказать, что? Если так радостно встретила новость о конце света. Она, конечно, хотела рядом с собой другого, нет не предмет мечты из книжки, а нормального, достойного, за которым чувствуешь себя надежно и не боишься даже конца света. За которым хочется идти куда угодно, далеко-далеко, в Порт-Артур, и если наконец обнаружишь, не дай Бог, что погиб он в бою, придти на его могилу, и написать на плите надгробной, такому драгоценному и единственному, без которого и жизни нет: «Милый, я дошла к тебе. Мария»

А моя несчастная Степашкина Евдокия, скорей как Анна Керн, сказала бы, что в ад пошла бы, если бы знала, что его, ее постылого мужа, там не будет, потому что это не тот мужчина, ради которого ей стоит дышать, ради которого ей хочется быть красной, которому ей хочется рожать детей. А совсем другой. Из-за которого ей хочется, хочется, чтобы наступил уже конец света.

Ну, словом, с этой самой любовью я зашла в тупик. Потому что любовь к мужчине — не так важно, знаешь ли ты его с детства, или влюбились ты в него в институте, или на работе, знаешь ли ты его всю жизнь или познакомилась месяц назад. Потому что это чувство сомнительное, почти всегда безответное. Потому что в обычном среднестатистическом образце мужчины любовь не зреет и не взростает. Она в нем постепенно мелеет как речка летом. Неизвестно ведь, как жили потом Его Величество принц Сказочного Королевства и маленькая трудолюбивая юная его жена Золушка, или как жили бы Ромео и Джульетта, если бы две равноуважаемых семьи неожиданно помирились.

Однако радует, что у меня, например, есть константа: любовь моя к моей высшей драгоценности, к моим детям и внуку, к родителям. Любовь к родным, к сестрам, к племянникам. Любовь к Чаку — моей преданной покойной собаке. Этого никто у меня не отнимет, эта любовь меня никогда и ни в чем не разочарует, не обманет. Она величина постоянная.

5.12. Где мои очки? Где очки?

Что это? Ааа, книги. Три новых книги. Купила и положила на ночной столик, думала, вот сделаю все, что наметила, лягу и буду читать... Или проснусь, сварю себе кофе, опять лягу и буду читать потихоньку. А сколько книг я мечтала просто перечитать. А сколько фильмов пересмотреть! «Римские каникулы». «Старший сын». Или «Мимино»...

Вот! «Мимино»!

Там есть такой отрывок, в этом фильме. Такой теплый, такой человеческий, такой хрупкий... В фильме «Мимино».

Значит, Валико Мизандари звонит в Телави, а ему — р-раз! и перепутали — дали Тель-Авив. Ну, оно же на слух похоже. Telavi — Tel-Aviv. И там, в Тель-Авиве, снимает трубку тоже грузин. И они вдвоем поют песню. Тихонько и душевно поют. Как будто одни на всей планете. Как будто под летним низким звездным небом рядом сидят и поют. Это с ума сойти, как сердечно. Сколько смотрю, все время плачу. Потому что очень честно, просто, без пафоса:

Жужуна цвима мо-о-о-овида,
Диди миндори данама.
ДАнама, данама, данаМА,
Диди миндори данама.

И как они придумали такое? Они, эта прекрасная компания, Виктория Токарева, Георгий Данелия и Резо, прекрасный мудрый восхитительный Реваз Леванович Габриадзе. Не придумали, нет. Зачем, придумали? Списали из жизни. Это ведь сейчас сел, поехал, встретился, обнялся, песню поешь. А тогда только случайно по телефону можно было спеть.

Жужуна цвима мо-о-о-овида,

Эта песенка — говорит Тинико, моя подруга любимая подруга Тинатин Мжаванадзе — про грибной дождик. Про свежий теплый дождик, что смочил лужайку, большую лужайку.

Вот они в этом кино стоят вдвоем, Исаак и Валико, на планете стоят, один в одном конце, второй в другом и поют про грибной дождик.

Данама, данама, данама,

Диди миндори данама.

Исаак плачет. И я плачу. Зрители плачут. На сердце теплеет. И мне так хорошо. А когда мне хорошо, значит, моим родным и друзьям хорошо, если моим друзьям хорошо — вокруг них всем хорошо... Я так думаю.

Дорогое Мироздание, умоляю, прошу...

Нет.

Где тот портал, тот самый портал. Я бы попросила. Я бы осмелилась. Хоть один раз, лично, потому что это очень важно. Это очень важно.

Бог-Бог, слушай, можно, мы соберемся всей семьей, так? позовем друзей, и еще друзей наших друзей позовем, да? И накроем стол, ладно? И посмотрим «Ми-мино». И все. Больше ничего не прошу. Ну хорошо, если не весь фильм, только этот отрывок, можно? Вот этот вот, где Исаак и Валико поют песню про грибной дождик. А?

Странно. Уже почти утро. Половина шестого... Но почему же так темно?! Почему же так темно?

Что за шум? Что там за шум за дверью? Господи, ну что там такое? Кто там? Сейчас, сейчас, я посмотрю, надо пройти по центральной половице, чтобы пол не скрипел, чтобы не будить никого, тихо, тихо... Надо нащупать дверную ручку. Где, где дверная ручка. Свет? Что это за свет? Откуда свет?! Что это? Куда я попала? Что это за длинный гулкий коридор? В моем доме нет такого коридора... Кто эти люди? Куда они идут? Кто вы? Девушка, вы... Скажите, кто вы? А вы, дети? Чьи вы? Почему вы плачете? Не бойтесь, не бойтесь, идите ко мне. Мама? Мама, куда ты идешь? Почему... Я кричу? Я не кричу. А где все? Где родители этих детей?! Не плачь, золотко, сейчас найдем, найдем. Дайте мне руки, держитесь...

Боже мой, а где же мои? Где мои... все?

Где мои дети?! Боже мой, где мои дети?! Где дети?! Дети!!!

— Внимание, — чей это густой теплый баритон, — запомните важное условие. Главное — узнать друг друга! Узнайте друг друга там! — повторил голос.

Люди засуетились. Матери потянулись к детям, жены прижались к мужьям. Какие-то чужие старики растерянно звали:

— Дети! Дети! Где наши дети?! — кричат старики, пожилые супруги.

— Какие они, ваши дети?

— Мы не помним... — заплакали старики.

Я в панике металась, держа за руки двойняшек, мальчика и девочку, металась от стариков к своим, успокаивала детей.

— Мама! — кричала я. — Не отходи далеко!

С мамой шла моя сестра Таня и ее дочь Уля.

Они шли вперед, не оборачиваясь.

— Линочка! — увидела я свою младшую дочь. — Где Андрюша, Ира? Где папа? Дая? Где мой Дая?! Дааааааа!!!

Линочка тоже прошла мимо меня, не оборачиваясь, и, как всегда, тихо и спокойно сказала:

— Ну что с тобой? Не кричи, мамочка. Пойдем.

Мы пошли с Линочкой рядом. Кто-то подошел к нам и накрыл наши плечи пледом. Кто-то промокнул мне слезы мягким большим клетчатым носовым платком.

— Спасибо, — хотела поблагодарить я, сжимая платок в кулаке, но человек уже скрылся в каком-то повороте, а мы пошли дальше. Я смотрела вслед тому человеку...

— Это ты, папка?

В фигуре человека, который укрыл наши плечи пледом и поспешно исчез в тоннеле, я узнала моего папу. Он хотя и умер год назад, но для него это ведь не причина, чтобы не позаботиться о своих родных в трудное время. И кто кроме него мог подумать, что нам холодно и что мне нужен носовой платок. Это точно был папа.

А люди впереди меня брели молча, все спокойные, даже умиротворенные. Они только переглядывались иногда друг с другом и улыбались. Одна я металась и кричала, металась и звала.

— Ну, мам, ну тихо... — уговаривала меня Лина. — Все найдутся, вот увидишь. Все будет хорошо.

Фигуры уходящих людей превращались в силуэты и тени. Я действительно уже никого не могла узнать.

— Господи! — закричала я. — Как же они найдутся?! Как же я их узнаю?!

— Очень просто, — спокойно ответил уже знакомый голос, — ты пой.

— Что?!

— Как «что»? Песенку, конечно.

Голос тихо, кротко и ласково запел любимую мной песенку:

Жужуна цвима мо-о-о-овида,
Диди миндори данама.
ДАнама, данама, данамаА,
Диди миндори данама.

К нему присоединился еще один. И еще.

Голос, на секунду прекратив петь, сказал:

— Пойте! Пойте все. Не бойтесь. Пойте все, что любите.

И все стали петь, каждый свою песню.

— *Ради вас я готов бросить шум городов*, — пели старики, потерявшие детей

— *Еще ничего не случилось, пока ничего не случилось, но всякое разное страшное может случиться*, — пели дети, мальчик и девочка, которые искали своих родителей.

Кто-то вторил детям:

— *И в эту же осень вдруг млечных путей стало семь или восемь! И думать об этом, и помнить об этом пора научиться, давно нам пора научиться!*

В этой какофонии я еле-еле слышала: «Данама, данама, данама...»

Где-то зашумела вода. В глаза брызнул яркий свет. Раздался резкий гудок — он заглушал и заглушал песню. Я вдруг почувствовала неосознанную щенячью радость. И проснулась.

В ванной шумел душ. Данька плескался, фыркал и орал: «Данама, данама, данама...» В соседнем дворе под домом орала и сигналила чья-то машина, с тер-

расы у дома слышен был голос мужа, он играл с нашей собакой. Через раскрытое окно комнату заливало свежим воздухом и солнцем.

В дверь ввалилась сонная Линка и нырнула ко мне в постель.

— М-м-э-а-м!

— М-м, — счастливо я отозвалась, вдыхая нежный девчоночий запах.

— А ты знаешь, что у меня десятка по физике?

— Да лаадно. По физике? У тебя? Откуда?

— Because I've got a charming smile*, — кокетливо пропела Линка.

Я засмеялась облегченно и весело. Линка захихикала рядом. В спальню заглянул Данька с мокрой после душа шевелюрой и весело мотанул башкой. Следом за ним в двери появилась, точная копия Даньки, только маленькая, веселый его пятилетний сынок Андрюша. Он кричал:

— Мама спрашивает, а кому кофе, а кому чай!

Начиналось новое утро.



* Потому что у меня очаровательная улыбка. (англ.)

Анатолий Николин

ВОЗЬМИ СЫНА ТВОЕГО

Главы из новой книги

От редакции. В издательстве ZA ZA Verlag (Дюссельдорф) вышла книга избранной прозы нашего автора Анатолия Николина «Кодекс Тетис». Предлагаем вниманию читателей главы из вошедшего в сборник романа «Возьми сына твоего».

ГЛАВА ВТОРАЯ

I. СОНЕТ К НАРЦИССУ

*Как часто мыслью в сказочный дворец
Я по ночам как птица улетаю;
А что ищу я там — того не знаю:
Печали ль светиль радости венец,
Сияющий подобно горностаю
На зимнем солнце... Или дал Творец
Мне повод убедиться наконец,
Что овцы, сколотившись в волчью стаю,
Всего охотней потекают тем,
Кто, морщась и плюясь от их повадок жалких,
Куда-то ввысь стремятся улизнуть —
Одни ложатся в гроб — скорей да как-нибудь,
Другие на Олимп спешат как будто из-под палки,
А третьи сон предпочитают бурям всем.*

* * *

— Маску нужно носить вот так, — отбросил длинную, гибкую палку Давид (он выступал в роли Саула, запасшегося за неимением боевого оружия тяжёлой и крепкой дубиной) и заботливой рукой поправил на моей шее тонкий крепёжный ремешок. — Маска на лице должна сидеть прочно. Чтобы выдержать удар сабли или рапиры.

Давид потрогал свою фехтовальную маску и застыл в боевом полуприседе, — у нас шла дневная тренировка.

Несколько дней назад, узнав, что у Давида есть некоторый опыт, я попросил его дать мне уроки фехтования.

Некоторое время (пока ему не запретили врачи из-за больного сердца) Давид занимался этим благородным видом спорта у преподавателя эстетики и по совместительству тренера детско-юношеской спортивной школы Иеронима Борисовича Зильбермана; он недавно приехал в наш город вместе с женой, откуда — мы не уточняли.

Эсфирь Соломоновна вела у нас уроки истории. С первого появления в классе она поразила нас резкостью суждений и поступков: моментально вычислила лодырей и тупиц и предложила им без лишних разговоров покинуть класс. И никогда больше на её уроках не появляться. Если им нечего сказать... Она потрясла наше отроческое воображение невероятной — при столь же невероятно высоком росте — худобой и блестящим знанием истории Средних веков. Это был телеграфный столб, снабжённый колоссальной энергией и волей и необыкновенным интеллектом. Нас с Давидом, а мы к этому времени по-товарищески сидели за одной партой, она сразу и безоговорочно выделила и отметила.

— Из этих двоих, — кивнула она в нашу сторону, — выйдет толк. Они не зазубривают историю, а пытаются в ней разобраться. Дороги у них при такой склонности могут быть только две...

Тут она к нашему изумлению запнулась и умолкла.

Позднее, когда мы многое узнали об Эсфире и её муже, стало понятно, что она имела в виду. В тот солнечный осенний день, на полузабытом уроке....

— Два пути — это путь вверх и путь вниз, — предположил Давид, когда мы возвращались домой из школы.

Половину пути мы прошли вместе, а потом я проводил его до развилки, откуда начиналась дорога в городской посёлок.

— Это путь вниз, — повторил Давид. — В самый низ. На дно. Как у Горького... Это то, что рано или поздно нам придётся испытать, — заключил он. — По крайней мере, мне — наверняка.

— Почему только тебе? — возразил я; даже в будущих страданиях мне не хотелось отставать от друга. — И мне тоже. Меня тоже ожидают в жизни одни неприятности.

Давид насмешливо улыбнулся: браваду он чувствовал тонко и прощал её лишь на первый случай. В следующий раз обязательно обрушит на меня шквал насмешек и острот.

Моё заявление о будущих несчастьях выглядело, конечно, высокопарно и фальшиво. Я чувствовал неестественность положения человека, живущего по советским меркам спокойно и комфортно, но почему-то решившего, что он обречён на страдания, как лермонтовский Демон.

— У тебя нет пятой графы, — объяснил своё и моё положение Давид. — В этом вся разница. Тебе нечего опасаться. Твои испытания иного свойства. Метафизического, что ли... Не такие, как у меня. У меня впереди реальные гонения, твои же будущие беды, как у Грибоедова, — «горе от ума», — посмеивался он.

В силу генетической обязательности гонения по признаку национальности были для Давида чем-то привычным. И, возможно, желанным. Так привычна засуха для бедуина или затяжной, льющий по целым неделям зимний дождь для жителя Великобритании.

— У тебя, конечно, тоже имеется пятая графа, — смеялся Давид. — Но она у тебя своя. А у меня другая. Не такая.

— Ты веришь в разницу между нами? — пожал плечами я.

Философствовать стало с некоторых пор нашим любимым занятием. За исключением фехтования. Мы предавались ему каждый день по любому поводу с неданным для юных лет наслаждением.

Мы уже были знакомы с учением Платона об эйдосах и перечитали, мало что в них понимая, почти все его Диалоги. Восхищались заковыристыми вопро-

сами и неожиданными выводами Сократа и чувствовали себя настоящими древнегреческими философами. По примеру афинских софистов, лобой, даже самый мелкий вопрос или незначительное житейское событие подвергалось нами длительному и дотошному обсуждению. И в конечном итоге мы уже не понимали, от чего, собственно, разгорелся у нас сыр-бор...

Владение приёмами формальной логики считалось у нас высшей интеллектуальной доблестью, оно позволяло победу перевести в поражение, а неудачу преобразовать в триумф. Моральная червоточина формальных доказательств нас не смущала: главное победить в поединке, а какой ценой — не имело значения.

Перевод вопроса о национальности в сферу антропологического подобия был одним из таких сомнительных приёмов.

— А ты молодец, — восхищённо покрутил Давид стриженной а la Джон Кеннеди головой.

Втянутым черепом и длинным выступающим подбородком он был точной копией молодого американского президента; тот только что был избран на свой пост и нравился советскому просвещённому юношеству искрящейся молодостью, французским остроумием, молодой женой-французенкой и французской эlegantностью. Молодёжь цитировала его шутку на предвыборном митинге, где он должен был выступать вместе со своим оппонентом — престарелым (как нам казалось) генералом Дуайтом Эйзенхауэром.

«Мистер Эйзенхауэр, — очаровательно улыбался в собравшуюся толпу Джон Кеннеди, — сильно запаздывает. У него дома случился пожар. Сгорела вся библиотека — Устав Вооружённых Сил...»

Европейскость — французскость — молодого американского президента Давида безмерно восхищала. А вместе с ним и меня. Тут срабатывал зеркальный принцип: все любящие волей-неволей повторяют привычки и склонности друг друга. Я любил всё, что любил и чем восхищался Давид.

Давид был поклонником французской культуры. Три раза в неделю наш класс раскалывался надвое: одна, большая его часть, отправлялась в другую аудиторию к преподавателю английского языка. Остальные оставались в родных пенах, терпеливо ожидая французенку, Веру Леонтьевну.

Давид изощрялся в остроумии, сопровождая наш высокомерный исход язвительными шуточками и пренебрежительными репликами. Англичан он называл не иначе, как островными сепаратистами и недоумками. Он не любил английский язык. «Прав был Тургенев: англичане разговаривают, как будто перекатывают во рту горячую картофелину!» Отказывал англичанам в высоких умственных способностях. «Турки. Самые настоящие северные азиаты!..» Он не считал британцев (а вместе с ними и жителей Соединённых Штатов) цивилизованными людьми — исключительно торговцами и корыстолюбцами. «Англо-американская эра, — провидчески повторял Давид, — станет последней в истории человечества. Будущая всемирная катастрофа разразится из-за денег...»

Давид старательно — и, как мне казалось, исключительно из-за его высокой эстетичности — учил французский язык. Словно французам в будущей всемирной катастрофе была уготована участь спасшегося в водах Потопа праведника Ноя. Читал «Юманите-диманш» и дружески-саркастично — но я видел, что легкомысленные французы нравились ему даже этой, не самой привлекательной чертой национального характера — посмеивался над либертианством французских коммунистов.

«Не понимаю, как они могут всерьёз рассуждать о равенстве классов и равноправии сексуальных групп, — с весёлым недоумением покачивал он крупной англосаксонской головой. И, хитро шуря маленькие лукавые глазки, сделал неожиданный вывод: — Их коммунизм — игра. Нет ничего серьёзнее практического коммунизма. И никого к нему менее приспособленных, чем французы... Галлам для достижения успеха не достаёт шепотки роялизма...»

Вера Леонтьевна точно так же благоволила юному скептику, как и Эсфирь Соломоновна. Это была крупная, жгуче-чёрная цыганка с большими, навывкате, чёрными глазами, блестящими свирепю и недоверчиво. Она снабжала Давида ввиду его явных успехов томиками французских стихов — Бодлера и Рембо.

О пристрастии Давида к стихам и его собственном сочинительстве знала вся школа. Давид постоянно выступал на школьных Олимпиадах по французскому языку и литературных вечерах, где он читал свои стихи — к вящему восхищению девочек и моей жгучей ревности...

...Причёской-канадкой и коком над выпуклым лбом — «как у Кеннеди», — белоснежной рубашкой с галстуком и печально-возвышенными стихами Давид производил сильное впечатление не только на девочек. Даже суровая и неприступная Эсфирь Соломоновна смягчалась в присутствии Давида. С пронизательной ревностью я отмечал, как теплеют её строгие, огненно-чёрные глаза, — глаза Кармен. А на губах, когда Давид отвечал домашнее задание или комментировал новую тему, брезжила лёгкая смутная улыбка. Всегда ясная и предсказуемая, Эсфирь Соломоновна превращалась в существо странное, непознаваемое, озадачивавшее глухой и тёмной глубиной. Я терялся в догадках: кто из них был сложнее — мой юный друг или взрослая, много повидавшая и словно излучавшая мерцание непростого личного опыта странная и некрасивая женщина.

Много позже мы узнали историю её жизни...

Эсфирь Соломоновна была замужем за Иеронимом Борисовичем вторым браком. Её первый муж — они поженились незадолго до войны — был известный деятель Коминтерна, поляк Кароль Косиньский. В 1938 году его арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Польши и Англии. В лагерь по 58 статье попала и Эсфирь Соломоновна. В заключении она едва не погибла.

Начлаг Седаков — срок она отбывала на Дальнем Востоке — страдал тяжёлыми, продолжительными запоями. Холодный и равнодушный, он в такие дни становился жестоким и безжалостным. Невероятной свирепостью в периоды запоя Седаков превосходил, кажется, всех палачей Гулага. Любимым его развлечением были внезапные ночные посещения вверенного ему лагеря. Охрана выгоняла заключённых из барачных на мороз и при свете прожекторов строила в одну шеренгу.

«На первый-седьмой рассчитайсь!», — едва держась на ногах, но твёрдо выговаривая побелевшими от мороза губами каждое слово, командовал обезумевший от водки и классово-ненависти Седаков. И, достав из кобуры пистолет, расстреливал каждого седьмого. За одну ночь он мог истребить едва ли не пятую часть заключённых. Расстрелянных потом оформляли в санитарной части, как умерших от туберкулёза...

Эсфири Соломоновне повезло. Трижды она оказывалась на «вечерней поверке» шестой и один раз — первой; седьмой стала её подруга и соседка по нарам, жена репрессированного комкора Синельникова Варя...

Хорошо запомнивший неистребимую Эсфирь, Седаков однажды едва не пристрелил везучую зэчку.

Случилось это утром, по дороге на работу.

После развода колонна заключённых медленно вытягивалась в сторону настежь распахнутых лагерных ворот. По обеим их сторонкам топталась охрана в валенках и полушубках и с автоматами наизготовку.

Стоял трескучий мороз. Свирепые лагерные овчарки злобно лаяли и рвались с поводков.

Эсфирь Соломоновна, шедшая с пилой на плече, оступилась и вывалилась из строя. За подобный проступок эск подлежал немедленному наказанию, вплоть до расстрела на месте.

Оттолкнув конвойных, Седаков уже бежал, размахивая пистолетом, к догвязой нарушительнице.

Эсфирь успела вытащить из кармана ватника двадцатикопеечную монету.

«Почему покинула строй, — передёрнув затвор пистолета, крикнул пьяный начлаг. — Бежать надумала, сволочь?!»

«Вот, — показала Эсфирь монету орлом вверх. — Подняла с дороги. Чтобы никто не посмел топтать герб Советского Союза».

«Ладно... Стать в строй», — буркнул сразу обмякший начальник лагеря...

Страшное, её самое тяготившее прошлое многое объясняло в характере и поведении Эсфири Соломоновны. Но всё-таки не до самого конца. Ответ на вопрос: кем же была эта прямая и бескомпромиссная женщина мог быть очередным предположением, а меня это не устраивало. Мне хотелось полной и абсолютной ясности.

... «Блестяще», — восхищённо выдохнула Эсфирь Соломоновна, когда Давид закончил выступление.

С непроницаемым лицом она уверенно поставила в журнале напротив его фамилии очередную пятёрку при завистливом молчании класса.

Я порывался вступить с Давидом в интеллектуальную схватку. Изо всех сил тянул руку, чтобы мне дали слово, — мне не терпелось доказать, что я знаю предмет не хуже. И мои исторические изыскания тоже не лишены глубины и оригинальности.

Но — либо тематика выступлений была исчерпана, либо наше невольное соперничество прерывал раздавшийся как всегда не вовремя длинный школьный звонок.

Так или иначе, Эсфирь Соломоновна всё реже вызывала к доске меня и всё больше уделяла внимание Давиду. Медленно, но неуклонно я терял былое величие. Моего участия в дискуссии о моральности поступка Генриха Наваррского, перешедшего ради достижения абсолютной власти из протестантизма в католицизм, уже не требовалось. Эсфири Соломоновне было достаточно блистательного монолога Давида. Как и я не мог обойтись без его размышлений вслух, — в пору, когда я привязывался к нему всё сильнее. И, может быть, не только умственных способностей моего друга я желал, смутно догадываясь я...

«Кому все вождевленное в Израиле? Не тебе ли и дому отца твоего?...»

...Домой я уходил сердитый и неудовлетворённый.

Давид и Эсфирь Соломоновна были разного мнения о поступке короля Наваррского. Она полагала, что Генрих изменил себе, своим принципам. Давид придерживался иной, противоположной точки зрения и отстаивал её с присущим ему блеском.

«Целесообразность, — отчётливо формулировал Давид, — высшее мерило моральности, её оправдание и обоснование...»

Своё суждение он подкреплял аргументом из Сартра: «То, что мы выбираем — всегда благо»...

Я сознавал политическую правоту Генриха (и правоту моего друга), однако из чувства противоречия мне хотелось доказать, что Давид был неправ. Невозможно жертвовать тем, что любишь ради сиюминутной пользы, даже если она простирается на всю человеческую жизнь.

Но Эсфирь Соломоновна, считавшая так же, как и я, почему-то упорно отказывалась призывать меня в союзники.

Что же тогда является не-сиюминутным, но вечным и непрерываемым? Этого я понять не мог, мне недоставало знаний. Чтобы успешно сокрушить философские доводы Давида, требовались его огромная начитанность и острый ум.

Мои несостоявшиеся возражения так и остались в конечном счете несостоявшимися, — ничего, кроме постыдного поражения они мне не сулили...

На протяжении лета мы с Давидом несколько раз возвращались к теме моральности, а, точнее, неморальности отречения Генриха Наваррского. Виновным в продолжении дискуссии всегда оказывался я, — моё неудовлетворённое самолюбие, возраставшие амбиции и противное чувство второстепенности. Для достижения душевного равновесия мне требовалась победа. Я был убеждён, что человек должен жить сердцем и определять поступки, свои и чужие, чувствами, а не логикой, — чувства не бывают несправедливыми. Разум же обязательно затянет в трясины интриг и лжи.

«Пойми, — горячо доказывал я. — Генрих наступил на горло собственной песне. Рано или поздно ему воздастся. Помнишь эпитафю у Лермонтова: «Мне отпущение, и аз воздам...»

Давид спокойно прилаживал мою фехтовальную маску; свою он надевал лишь после того, как приготовил к поединку меня.

«Минутку помолчи, — предложил он. — Я закреплю ремешок...»

Из полутёмного сетчатого забрала я нетерпеливо наблюдал за его спокойными, сосредоточенными движениями.

Он крепко дёрнул обод маски, проверяя её устойчивость, так что я больно клонул носом, и тщательно стал прилаживать свою.

«Старик, я всё понимаю, — попросил он, — но давай продолжим в перерыве. За стаканом вина».

«Не возражаю, — засмеялся я. — При условии, что ты признаешь свою неправоту».

«Нет уж, дудки! — вскричал он, принимая воинственную позу д'Артаньяна, вступившего в неравную схватку с гвардейцами кардинала.

ГЛАВА ПЯТАЯ

II. СОНЕТ К ИРИСУ

*Мне снился сон: с тобой мы шли пустыней,
Где скорби нет, ни славы, ни хулы, —
Одна печаль. И, как щепоть золы,
Черны мы были оба. Но гордыней,
А вовсе не тщетой иль благостыней*

*Сердца идущих были пленены.
В порывах духа люди не вольны,
Какой бы сердце не было твердыней.*

*Но всё, что мы с тобою претерпели
В пути нелёгком, нынче нам смешно.
Пока мы шли, мы так прийти хотели,
В какую землю — было всё равно.*

*...Пришли. Уста отверзлись наши; но
Куда пришли, понять мы не сумели.*

* * *

Становилось жарко. Шумно дыша и отдуваясь, мы стащили маски с потных лиц: — солнце стояло высоко над белой печной трубой «дома Давидова».

Побросали наши папиры-палки и вошли в дом.

На крыльце, высунув от жары язык, лежала чёрно-белая Жучка. Она равнодушно проводила нас взглядом и слотнула слюну: ей хотелось пить.

Давид вынес ей полную плошку воды: «На, похлебай...»

В доме было прохладно и сумрачно. Сквозь щели в ставнях пробивались горячие полоски света. Пыльный лучик играл на стеклянной лостре и красным пятном лежал на тёмно-вишнёвой раме висевшей на стене картины. Это была выполненная Борисом Григорьевичем копия картины Морица Оппенгеймера «Возвращение».

Эту картину я помню столько же, сколько знаю Давида. Она встречала меня в первое посещение его дома, и всякий раз, когда я приходил к нему в гости, картина в тёмной раме смотрела на меня всем своим австрийским правдоподобием...

На картине был изображён вернувшийся домой после войны с Наполеоном молодой юноша-офицер в синем гусарском ментиге и блестящих сапогах со шпорами. Он сидел в кругу семьи — отца, седобородого еврея в шапочке, матери в платье с рюшами и сестрёнки-подростка с пухлым, чернявым личиком, — задумчиво подперев голову рукой.

Чем могла пленить Бориса Григорьевича картина — можно было только догадываться. Каждый еврей рано или поздно возвращается к своему еврейству.

Вероятно, эта нехитрая мысль глубоко волновала Бориса Григорьевича, но Давида она оставляла равнодушным. Он никогда о картине и заложенном в ней смысле не заговаривал, и взгляд его скользил по застывшему в красках и лаке еврейскому семейству равнодушно и утомлённо.

В родовом гнезде — маленькая украинская хатка-мазанка, сарайчик с дровами и углём на зиму и пыльный от летних суховеев фруктовый сад — всё было пропитано духом еврейства. От пропахшей потом старенькой кшпы Бориса Григорьевича — он надевал её в минуты отдыха и размышлений — до кислотоватого, помойного запаха кухни и золотых корешков книг — единственный признак духовного аристократизма! — в огромном фамильном книжном шкафу. Книжки поблескивали сквозь тонкие стёкла загадочно и тускло, как храмовые сосуды.

Книги в шкафу были старых и нестарых еврейских авторов. Кроме напимавшей своей ветхостью столетнего цадика старинной Торы, там обитали, насколько я помню, Иосиф Флавий, Маймонид, Спиноза, Фриц Маутнер, Генрих

Гейне, Лион Фейхтвангер... За тёмными, красноватыми дверцами дремала вековая еврейская мудрость, незнакомая и непонятная.

Как всё таинственное, чужое величие вызывало страх и пробуждало воображение. Часами я просиживал подле загадочного шкафа, пока Давид занимался приготовлением уроков, испытывая странное, волнующее наслаждение. Словно я был не я, а всезнающий жрец из древнеиудейского храма.

— Значит, ты не русский, — выслушав мои сбивчивые объяснения, заключил Давид.

Он вошёл с полотенцем, которым вытирал потную после фехтования шею.

— Возможно, среди твоих предков были евреи, — допустил он. Чем изрядно меня смутил и озадачил — у нас в семье не была даже намёка на еврейские корни. Но я знал из Библии, на примере Руфь и Вооза, как относятся евреи к иноземцам, принявшим их веру и обычаи.

«Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа, Бога Израилева, к Которому ты пришла, чтоб успокоиться под Его крылами».

Мне действительно казалось, что я происхожу из одного из двенадцати колен израилевых — желательно, чтобы это была ветвь Вооза и его праправнука Давида. Я не сомневался, что в моих жилах течёт не только славянская, а множество самых разных кровей — еврейская, галльская, римская, греческая. Иначе откуда у меня, простого русского юноши, неистребимая тяга к самым разным, порою взаимоисключающим древним и новым культурам? Я их чувствовал с такой силой притяжения, что завидовал моим соплеменникам: почему я не могу примириться с их простой и свободной единственностью?

— Такие вещи не случайны. Это чувство биологической близости, — объяснял Давид. — Оно рождается помимо воли. Наша тяга друг к другу — пожевал он губами, — тоже кое-о чём свидетельствует...

Насчёт моего еврейства я, конечно, сильно сомневался. Хотя в одном Давид был прав: всё было не так просто...

Я и чувствовал, и не чувствовал моё родство с этим народом. Мне казалось, что биология здесь не при чём. Имелись духовные ориентиры, они-то нас и роднили. Ими дышала вся атмосфера дома Давида, и меня это сильно привлекало.

Я тянулся к Давиду, как всякое одиночество тянется к другому.

«... душа Ионафана прилеплась к душе его, и полюбил его Ионафан, как свою душу».

— Мы совсем забыли, — засмеялся Давид. — Забыли про вино. Я обещал тебя угостить.

— Отец не задаст взбучку? Вдруг увидит, что вина не хватает?

— Бутыль початая. Им самим. Так что он ничего не заметит...

Виноградарством, как и подобает настоящему иудею, Борис Григорьевич занимался любовно и самозабвенно.

Виноград, столовые и винные сорта, он насадил на крошечном, не более пяди, клочке земли, отведённом за домом. Десять лет назад, когда он приехал сюда с Саррой и маленьким сыном, они купили этот домик и сотку земли.

«Виноградник был у Соломона в Ваал-Гамоне...»

«Ваал-Гамон» — глубокий, словно горное ущелье, овраг, зараставший летом бузиной, дубовой порослью и диким терновником — тянулся до самого моря. Но пройти весь овраг до устья, Давиду не удавалось.

— Там заросли, как в сельве, — рассказывал он. — Я пытался пробить дорогу, но у меня ничего не вышло. Тут нужен топор...

Летом в овраге, в его непроходимых дебрях, пересвистывались птицы, а зимой тревожно и сумрачно гудели, раскачиваясь под порывами ветра, старые деревья. Овраг зимой заносило снегом, и на месте глубокого урочища мертвою сияла, вздымаемая ветром и змейками снежной пыли, холодная, бескрайняя равнина. И дом Давида — «дом мой и очаг мой в земле Иудейской» — выделялся среди снежного безмолвия призрачным столбом дыма из печной трубы...

Но сейчас было лето, жарко. Ставни на окнах не спасали от тяжёлой, неподвижной духоты. Разомлев от зноя, мы неспеша потягивали холодное, розовое как александрит вино.

Я сидел в кресле, а Давид по-медвежьи, вразвалочку, слонялся со стаканом вина по комнатке с низким потолком, как юный Генрих в замке в По. И полутёмной, как монашеская келья, а не обитель будущего властелина.

Сегодня нас занимала тема вечности — или невечности — христианства.

— Христианство — вероучение искусственное и противоречивое, — сложив пухлые губы трубочкой, рассуждал Давид. — Иудеи в эпоху Нерона и Веспасиана и язычники Малой Азии знали это так же хорошо, как и мы.

— В чём заключается прогресс? — перепрыгнув через череду доказательств, подошёл он к теме с другой стороны.

Давид внезапно остановился, как будто сделал открытие:

— В забвении высоких истин и подмене их низкими.

Сделав глоток, он причмокнул и снова выгнул губы, — верный признак начинающегося озарения, оно обычно посещало его на уроках Эсфири Соломоновны.

Сопоставить приступы наития у Давида с присутствием «божественной Эсфири» — его поэтическая характеристика! — мне и в голову не приходило. Была обычная школьная доброжелательная зависть, переходившая в восхищение его умом и талантом.

— Строй мыслей Ветхого Завета глубже и тоньше простых истин Нового.

Оценивающим взглядом он окинул встретившийся ему на пути книжный шкаф, словно призывал его в безмолвные свидетели.

— Ты хочешь сказать, — спросил я, — что Новый Завет утопичен?

— Проблема в том — кивнул он, — что Евангелие пропитано любовью. А любовь сужает возможности. Сущность человека не исчерпывается только любовью. Она божественна, а всё божественное пусто. Глубоко и прекрасно только человеческое, — некоторая ущербность, недостаток. А, может, и порок...

Сидя рядом с книжным шкафом, в его глубоком восковом сиянии, я слушал рассуждения Давида, испытывая странное, волнующее наслаждение. Как будто токи, исходившие от заключённых в недрах шкафа книг, и вольтерьянские максимы моего друга глубоко в меня проникали. Отблеск воскового света, словно тень от старинного пергамента, падал на меня, на стакан вином, на мягкий коврик под ногами. Так сияет при горящей свече папирус эпохи Царства Логоса. Или ковчег Завета, полуприкрытый тонкой храмовой занавесью... Мне казалось, мой маленький, полутёмный мир, сосредоточившийся вокруг книжного шкафа и философствующего Давида, был центром исчезнувшего и таинственным образом воскресшего мира. Как капля морской воды в химической колбе повторяет океан за многие тысячи километров от него...

Трудно описать, что я испытывал в такие минуты. Это было духовное возвращение, реинкарнация. При полном и абсолютном понимании, что я — никакой не древнеиудейский или египетский жрец, а русский, Серёжа Новосёлов, и на дворе XX век, его середина. И мы с другом, носившим в силу некой ономастической аномалии древнееврейское имя, пьём вино и рассуждаем на отвлечённые темы. При полном отсутствии странного и мистического внутри и снаружи...

И всё же, всё же... Я чувствовал мою принадлежность к этому давно исчезнувшему миру, не имевшему даже косвенного отношения ко мне и моим предкам. Было что-то такое, что заставляло меня признать его своим.

— Хорошее вино, — цокнул языком Давид, хваля дело рук отца своего. — Не горькое и не сладкое. Не кислое и не безвкусное, как вода. Вино, достойное Ветхого Завета, — засмеялся он.

— То есть — никакое, — уточнил, улыбаясь, я.

— Вот именно. Мудрость вмещает всё и не является ничем.

— Это хотел сказать Фалес. Поэтому и считал первопричиной сущего воду.

— Вода безвкусна. То есть, обладает атрибуцией. Мудрое вне атрибуций. Фалес ошибался. Высокому не следует давать низкое имя... Бог евреев вне имени. Яхве — «Сущий»... Но Фалес шёл верным путём. Ошибка в том — повторил он, — что каждый норовит дать имя общему... Что же ты не пьёшь, гой? — весело засмеялся он. — Видишь, я тоже даю тебе имя!

— Надеюсь — в шутку.

— Но вино отличное!

— Ты похож на пророка Гилеля. Он выращивал виноград и давил вино перед тем, как Господь призвал его к мудрости.

— Роль Гилеля выпала моему отцу. Точнее — мы её поделили: он выращивает виноград и давит вино, а я обращаюсь к мудрости.

— Твой отец — не мудр ли?

— Мудростью единичного. Надо идти дальше, к всеобщему. К тому, что не имеет ни вкуса, ни запаха. Ни цвета, ни бесцветия...

Вино в стакане Давида пылало бледным огнём. Невозможно поверить, что зимой оно приобретало тревожный тёмный оттенок...

Зимой в степной Иудее было всё не так, как летом.

В зимние дни и ночи, когда за окном бушевала вьюга, Давида одолевали приступы тёмного, как вино, безумия. Он уходил в себя, горбился, мрачнел, и с его уст срывались зловещие, непонятные слова. Эсфирь в такие дни не спрашивала у него заданный урок, не устраивала бесконечных дискуссий, только жалобно и беспомощно вздыхала, поглядывая в нашу сторону. Выражение обиженности на её лице имело отношение не ко мне, а к моему приятелю, а он с равнодушным видом листал толстый, бесполезный учебник. Мне было горько, что не я, а Давид переживает приступ меланхолии. Не ко мне обращены большие, немигающие глаза Эсфири, пугающие своей чернотой и тоской. Но я ничего не мог поделать: она его любила, а меня вынуждена была терпеть...

Радуясь своему уничтожению, я с ещё большей любовью и заботой относился в такие дни к Давиду.

Понять, что он говорит и думает, когда душа его темнела и мучилась, было невозможно. Это было невнятное, неупорядоченное бормотание. Различимы были лишь отдельные слова и звуки. Но вся фраза, период — речь в целом — были невразумительны и лишены привычной логики. Её алогичность просматривалась в рече-

вых фрагментах — именно фрагментах, потому что ничего законченного, округлённого речь Давида не содержала. Значение, которое он придавал каждому слову, расходилось с представлением о семантике и вызывало неприятные ощущения. Он и стихи писал не от мира сего: звучные, восторженные и — лишённые смысла.

«Хорошо, хорошо, — пусть будет так, как ты говоришь», — успокаивал его я.

Видя, что его не понимают, Давид начинал волноваться. Он краснел и беспомощно мигал ставшими большими глазами, — в них бушевало пламя отчаяния и боли.

Конечно, я ничего не понимал в его речах и стихах, но надо же было его утешить! Сказать что-то простое и тёплое. Что успокоило бы не только Давида, но и меня, не надеявшегося на взаимопонимание. И тоже наливавшегося каменной, мёртвой печалью.

«И вот Осия пал пред лице твое, и будет ему печаль за все, что свершается под солнцем».

«Хорошо, хорошо. Всё будет хорошо», — гладил я его вздрагивающую руку, тонкую и болезненную, как у бредившего ребёнка.

И он успокаивался, затихал...

Склонность Давида к пророчествам, глухим и тёмным, волновала и тревожила Бориса Григорьевича. Его сын в такие минуты казался неузнаваемым, словно из царства Ваала переходил в необъятные владения всемогущего Яхве.

«Пока Давидик спит, — взволнованным шепотком обращался он ко мне — я сидел в ногах у Давида, прислушиваясь к его тяжёлому, судорожному дыханию: под ночной рубашкой неровно и гулко билось его нездоровое сердце.

— Пока Давидик спит, я хочу с вами поговорить, Серёжа. Скажите, — оглядываясь, как будто за спиной у него стоял Ангел, стороживший каждое слово, и замирая от дурных предчувствий, бормотал Борис Григорьевич. — Скажите: это серьезно? Вы — друзья. Вы, Серёжа, входи в наш дом. Я хочу спросить вас прямо: Давид — болен? Врачи говорят — а ведь я обращался, вы не подумайте! Никто не знает, но я советовался с доктором Самуйловичем! Это такое светило в психиатрии, что лучше не бывает! — воскликнул Борис Григорьевич, хватаясь обеими руками за кипу, что означало высшую степень восторга. — Лучший из лучших! Доктор Самуйлович уверяет, что ничего страшного нет. Обычные половозрастные проблемы. Но разве, скажите на милость, это проблема? Разве — будем называть вещи своими именами, — доверчиво взглянул на меня Борис Григорьевич, — разве потребность в женщине приводит к таким последствиям? Он же сам не понимает, что говорит! — в ужасе замирал Борис Григорьевич и печально покачивал кипой, усыпанной, как библейской манной, густой старческой перхотью.

Он тревожно-вопросительно заглядывал мне в глаза, суетливо предлагал чаю, порывался опять заговорить о странном сыне...

Убоявшись собственных подозрений и решительности с моей стороны, Борис Григорьевич пугливо переводил разговор на другую тему. А я не знал, что ему сказать.

«Ну почему же, — вяло пожимал я плечами. — Он ведь — поэт...»

«Да-да, в этом всё дело» — с облегчением принимался шептать Борис Григорьевич. Хотя бояться было нечего. Давид мирно похрапывал у меня на коленях, и лицо его было спокойно и разумно.

Иной раз наши беседы с Борисом Григорьевичем возникали в отсутствие Давида. Отец посылал его в продуктовую лавку за молоком или хлебом.

Он шептал испуганно и таинственно, как шуршит мышь в мешке с крупой. Или камыш на дне оврага, где протекает мелкий, извилистый ручеёк, бывший когда-то чистым, полноводным ручьём. Так шептались в еврейских семьях женщины и старики в ожидании погрома или иного великого и трагического события, о котором предупреждали пророки.

Пророки и поэты по темноте ими сказанного — не одно ли и то же?

«В том-то и дело», — горячо вздыхал Борис Григорьевич, тревожно раздувая длинный, крючковатый нос; такой же нос был и у Давида — словно крепкий лук с натянутой тетивой. Из-за его носа, а не только от любви к философии и поэзии сравнила его «божественная Эсфирь» с Сирано де Бержераком.

«В том-то и дело, Серёженька, — жарко бормотал Борис Григорьевич, тревожно поглядывая в окошко: не мелькнёт ли на дорожке от калитки к дому, широкая, сутуловатая фигура сына. — В том-то и дело, что мы, евреи, любим поэтов и пророков, когда они умерли. При жизни от них одно беспокойство. Они вообще — странные люди, вы не находите? И очень непрактичные», — закатился он тихим, презрительным смешком.

Но я видел, что бедному отцу было не до смеха! Давид, его судьба и будущее всё больше беспокоили хлопотливого Бориса Григорьевича. Ничего не делается по попущению, всему надо положить твёрдое, практическое начало: учёбе, выбору профессии и жизненного пути, браку, наконец...

«Ну что вы такое говорите, Борис Григорьевич, — принимался я успокаивать и утешать не на шутку разволновавшегося отца. — Поэты — обычные люди. Иногда они могут написать или сказать что-нибудь, что кажется высшей мудростью. Житейские дела их мало интересуют, это правда: *«был некто в Маоне, а имя его в Кармиле»*...

Но откуда у них это — никто не знает».

«Боже, — в ужасе закатывал глаза Борис Григорьевич, вытирая подолом рубахи сразу вспотевшее лицо. — Так я и знал! Только высшей мудрости в моём доме не хватало! Помилуй бог, — принимался он бегать по комнате, выставив круглый фамильный животик — у Давида вырисовывался такой же; — помилуй бог, какая может быть высшая мудрость у мальчика, почти ребёнка?»

Он кипел от негодования, сопел и бросал в пепельницу недокуренную папиросу. Торопливо закуривал новую и снова бросал...

Кипятившийся, исторгавший риторические вопросы и раздражавшийся гневной тирадой в адрес избалованных «юношей иудейских» Борис Григорьевич напоминал жителей Иерусалима, осмеявших и отправивших на крест молодого провидца Иешуа.

«Ну, ничего, — успокоившись и выхватив из книжного шкафа любимого Фейхтвагнера, пробормотал Борис Григорьевич. — Я выбью из него эту дурь...»

И, хлопнув дверью, уединился на кухне, потому что скрипнула калитка и, ласково заговорив с завливающей хвостом Жучкой, с авоськой, полной продуктов, во двор вошёл Давид...

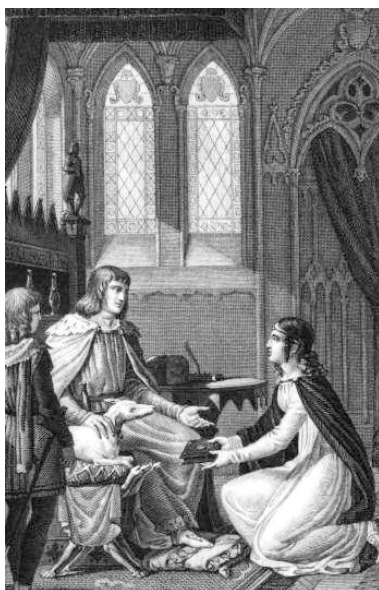


Мари де Франс
Вероника Долина

ДВЕНАДЦАТЬ "ПОВЕСТЕЙ" МАРИИ ФРАНЦУЗСКОЙ*

Предисловие и перевод Вероники Долиной

(окончание. Начало в №5/2015)



В АЮБЛЕННЫЕ

В Нормандии тоже есть солнце.
И скалы — почти как у нас.
Но вышло же так, что бретонцы
И этот сложили рассказ.

В Нормандии, Нострии прежней,
Как ты ее ни назови —
Все знают о хрупкой и нежной,
И пытку прошедшей, любви.

Там помнят, как все это было.
...Был город, где речка текла.
И дама сеньора любила,
И дочку ему родила.

Девчушка красива как Ева,
Как евина лучшая дочь.
Но тут умерла королева,
И город окутала ночь...

Король никого не допустит
К бесценной дочурке своей.
Король ни за что не отпустит
Ее к сыновьям королей.

Так что же? Тогда приговора
Никто не отменит уже?
Не думаю. Видимо, скоро
Душа устремится к душе.

Раз девушка хочет на волю —
Когда-то придется отцу,
Пройдя по широкому полю,
В густом оказаться лесу.

Он дочке своей, олененку,
Не будет стоять на пути.
И тихо-претихо в сторонку
Придется отцу отойти.

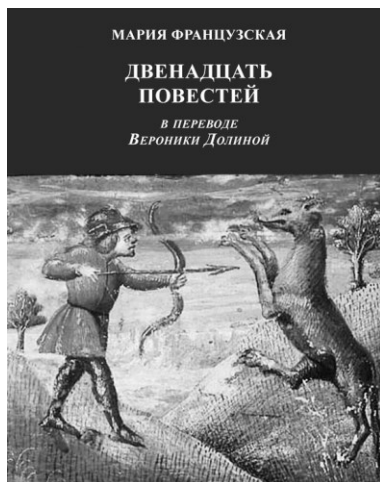
Но раньше, чем ветер бы дунул
На пух моих легких стихов,
Король испытанье задумал
Для юношей, для женихов.

Все, может быть, в том состояло,
О чем я молчу до поры.
Сие государство стояло
На склоне высокой горы.

Народ этот даже гордился
Недоброй ее высотой.
И редкий герой находился —
Дойти до вершины пустой.

Пусть каждый жених, что приходит
С румянцем на пухлых щеках,
К той самой вершине восходит
С принцессой моей на руках.

Кого же гора не замучит,
Кто сможет ее превозмочь —
Тот парень невесту получит,
Мою несравненную дочь.



* * *

И юноши, мальчики, дети
По зову собрались окрест.
Но все же ни те и ни эти
Себе не добыли невест.

Не так-то легко это было —
С девчонкою через плечо.
А может, она не любила,
Пока не любила еще.

Принцесса тиха и бледна,
А все же одна и одна.
А нету, увы, женихов —
Не будет тебе и стихов!

* * *

Но вот ведь остался в этом краю
Юный граф, молодой господин,
Который желал бы удачу свою
Попытать один на один.

Бывало, на празднике он напевал
Два-три игривых стиха...
Довольно успешно себя выдавал
За бравого жениха.

Ну, вот и случилось такое, чему не помочь.
Конечно, влюбилась в него без оглядки затворница-дочь.
Конечно, призналась она в лихорадке ему.
И что оставалось, как не полюбить самому?

Вот чаще, чем надо, их люди встречают вдвоем.
Все чаще и чаще — вдвоем в королевстве своем.
Все можно исправить: бежать и судьбу превозмочь.
...Не хочет оставить отца его верная нежная дочь.

* * *

Послушай, друг милый! — девица сказала ему.
Я знаю, что силой иной ты владеешь, и вот потому
Мне больно и думать, как в гору, со мной на руках,
Ты в раннюю пору к вершине пойдешь в облаках.

Я знаю наверно: тебя мое сердце зовет.
Езжай же в Салерно — там тетка родная живет.
Чудесною силою тетушка наделена:
Возьми же, мой милый, записку — поможет она.

И тетушка сварит напиток тебе колдовской:
Усталость не свалит, ее будто снимет рукой.
И жар твой остудит, и мускулы станут как медь —
Достаточно будет, чтоб гору вдвоем одолеть.

Пройдем испытанье — как птицы, легки и чисты.
Отец мой суровый, и я, мой любимый, и ты.

* * *

Конечно, он мчится в Салерно к той тетке верхом.
Конечно, он мнится себе даже не женихом.
Не знает что выйдет — не все можно чують и знать.
Но, в общем, он видит в себе королевскую статью.

А тетка, пожалуй, читала с вниманьем письмо.
Дышало пожаром, оно полыхало само.
И женщина варит целительный сбор травяной
И юноше дарит с напитком кувшинчик резной.

* * *

Господи, Боже, Боже! — взывает суровый король.
Опять нашелся безумец, что принесет нам боль.
К чему эти состязанья, которые не прошли
Все лучшие наши дети, все рыцари этой земли?
Такою назначил цену я ангелу моему —
Что хоть сам выходи на сцену, чтоб и играть самому!

Уж и не знаю, кто смог бы дочку мою отнести
До той, на вершине смоквы, что в самом конце пути.
Не знаю, кому и досталось — рыцарь не на слуху...
Уж пусть бы она и осталась, овечка — отцу-пастуху.

* * *

И вот назначили день, испытанье начать пора.
Девушка легка будто тень, не ест ничего с утра.
Юноша как в лихорадке — надо блости закон.
Милая, все в порядке, но пусть наш бесценный флакон
Пока при тебе побудет, ты уж меня прости.
А у меня-то будет, чего мне в руках нести.
Может быть, я, шутя, так и взлечу на склон?
...Господи, он дитя. Господи, мальчик он!

Пей! — говорит она. — Мы на половине пути.
Пей и выпей до дна, иначе нам не дойти.
Сердце ворчит «не верь!»,
Сердце вопит «успей!».
Сердце стучит как зверь,
Сердце хрипит «не пей!».
Пей! — говорит она. Вижу в глазах твоих тьму.
Пей сейчас же до дна! — она говорит ему.
Не пьет. А пути еще треть. Ни слушать, ни вопрошать,
Уже не может смотреть, уже не может дышать.
Вот и вершина, вот смоквы тяжелый ствол.
Верует что дойдет. Верует, что дошел.
Держит еще на руках девушку с тайничком,
И, не сказавши «ах!», падает с ней ничком.
Все пройдет, ничего, пей! — она шелестит.
...Тихо душа его в иные края летит.

Девушка держит флакон: Прочь от меня, колдовство!
Милый мой не спасен, я не спасла его.
Глупая моя плоть, разве ты суть любви?
Милостивый Господь! Сердце мне останови.

* * *

Король одолел подъем: обнявшиеся на краю,
Лежали они вдвоем, любовь защищая свою.
Мраморный саркофаг на гору принесли
И опустили их в жерло родной земли —
Двух неразумных детей, неразлучных Её и Его,
Веривших только в любовь, как в высшее божество.

Бретонцы любят свой дом.
Бретонцы любят гостей.
И помнят сказку о том,
Как двое нормандских детей,
Которым дали сердца —
А это тоже беда! —
Погибли как два птенца,
Выпавшие из гнезда.

* * *

Однажды я или ты,
Дождавшись своей поры,
Найдем ещё их следы
У подножья той самой горы.

ЙОНЕК

Уж раз принялась я баллады плести —
И эту тоже мне не обойти.
А, вы, дорогие, послушать должны
Все старые сказки моей страны.

Будет вам время, чтоб петь и плясать.
Но пора и о Йонеке рассказать.
О том, как родился и от кого,
О тех, что были и до него.
Причудливы нашей судьбы пути:
Мать должна отца нам найти,
Прежде чем нам появиться на свет...
Еще найдет ли, а вдруг и нет?
Отцом ему стал не имярек —
А таинственный рыцарь Мулдумарек.

* * *

Жил в Бретани один сеньор.
Правил в Кэрване он с давних пор.
Город стоял у края земли,
Где корабли величавые шли.

Правитель был уже очень стар,
Но кое о чем подумывать стал.
Он вдруг заметил, кругом поглядев,
Множество юных прекрасных дев.

А что же девицам без дела бродить,
Когда наследника можно родить?
Будет кому оставить страну,
Будет кому вести войну.

Хоть, вроде, война-то еще не близка...
Но надо невесту найти пока.

Чтобы девица была умна.
Чтобы подруг превзошла она
Нежной изысканной красотой...
В общем, чтоб дева была святой.

Нашли такую и привели:
В том небольшом уголке Земли,
Между Ирландией и Бретанью,
Лучшую, что отыскать могли.

Господи Боже! Зачем? Отчего
Отдали девушку за него?
Что понимает он в юных красотках?
Всем же известно, что ничего.

И вот уже в башне заточена,
Живой души и не видит она,
Со старой и вдовой, на все готовой,
Сестрою мужа, не знающей сна.

Может, служанок там был целый полк.
Ну, и какой от этого толк?
Вместо веселых и славных подружек —
Вредная баба, седая, как волк.

* * *

Так и живут они целых семь лет.
Впрочем, наследника нет и нет —
Из башни проклятой не выходя,
Солнца не зная, не видя дождя.

А также никто не видит, чтоб муж
Женушку навещал. К тому ж,
Она все бледнее, все холоднее —
Чахнет живое среди мертвых душ.

...В начале апреля каждый год
Птицы поют, и жасмин цветет.
Старый сеньор на охоту отправился —
Может, хоть что-нибудь произойдет?

Плачет несчастнейшая госпожа:
В чем я повинна, простая душа?
Хищник не выпустит мышь беззащитную...
Как же мне, мышке, и жить не дыша?

Мать и отец, дорогие мои,
Как же вы сделать такое могли?
Как же вы отдали душу безвинную
Злыдню зловредному из-под земли?

Те, кому выпало злыдня крестить!
Чтоб вам в огонь его не опустить,
Чтобы не жил он между живыми —
Тот, кого Бог не желает простить?

С детства я слышала между людей
Сказку, где рыцарь сильней, чем злодей.
Где ж эта сказка волшебная, детская?
Рыцарь не едет к даме своей!

* * *

Только окончила плакать она —
Там, где с решеткой сомкнулась стена,
Черная птица, огромная, мощная,
Крыльями бьет у задвижки окна.

Ястреб влетает и пал перед ней.
Машет крылами сильней и сильней,
Тонким ремнем его лапы опутаны,
Желтые очи глядят все ясней.

Дивное диво приходит в твой дом —
Будь же готова участвовать в нем.
Это не ястреб в окошко колотится,
Прибыл твой рыцарь, нашелся с трудом.

Милая дама, взгляните сюда!
Ястреб влетел — небольшая беда.
Рыцарь ворвался, вот это событие.
Этот едва ли уйдет без следа.

Милая дама, давно я смотрю,
Как вы встречаете в башне зарю.
Будем же вместе встречать ее до смерти!
Это, как рыцарь, я вам говорю.

Друг дорогой, ты не пища уже.
Сядь-ка поближе к своей госпоже.
Примешь ли, друг мой, святое причастие,
Как полагается божьей душе?

Добрая дама, скажу без стыда:
Сердцем Создателя знал я всегда.
Если приму я немедля причастие,
Станешь мне милой подругою? — Да.

Да — говорю — и еще повторю.
Вместе, мой ястреб, мы встретим зарю.
Тетушка! — кличет. — Зовите священника.
Кашляю я, в лихорадке горю.

Тетка испугана: Милая дочь!
Где тут священник? На улице ночь.
Но неужели вы так заболели,
Что лишь молитвою можно помочь?

Тетушка, я задыхаюсь уже...
Холодно сердцу, и смутно душе.
Ах, приведите скорее священника
Вашей измученной госпоже!

Тетка, от страха меняясь лицом,
Все ж за святым посылает отцом.
Тот появился со всем что положено —
Рыцарь все принял, и дело с концом.

Господи Боже! Ну что за игра?
Если уж даме открыться пора —
Что за охота выдумывать что-то,
Чтобы себя не стыдиться с утра?..

* * *

...Милая, вся ты подобна лучу.
Я расставаться с тобой не хочу.
Даже без имени, только зови меня —
Кликни, я тотчас к тебе прилечу.

— Страшная тетка сидит и сидит.
Страшная тетка глядит и глядит.
Верит моей лихорадке, проклятая,
Или же все же за нами следит?

Слова не скажет, вечно молчит,
Палкой своей суковатой стучит.
Как я боюсь ее, ведьму носатую —
Выследит, выдаст нас, разоблачит...

Ну, вот уже и улетел кавалер молодой.
Дама, плеснувши в лицо себе чистой водой,
Веселая, свежая, красивее прежнего,
Учится жить между радостью и бедой.

Часто к ней друг прилетает, стучит в окно.
Прочее время она чигает, мечтает — не все ль равно,
Что у тебя за дела, если есть уговор с судьбой.
Впрочем, краса ее вновь расцвела, сама собой...

Эту красу замечает, однако, старенький муж.
Что за причина? Он ищет знака. Сестру, к тому ж,
Расспрашивает: что, если она скрывает невидимые следы
Того, кто в его саду бывает, срывает его плоды?..

Сидят старик со старухой,
Гадают два старика...
А над башней, любви порукой —
Полет, полет ястребка.

* * *

Двух дней еще не проходит, но с этой самой поры
Муж ищет, и муж находит ключ для своей игры.
Будто бы едет в столицу, где при смерти его мать.
Но оставляет сестрицу — слушать и понимать.
Ставит он ногу в стремя — старый, хитрый дракон.
А у жены — свое время, собственный свой закон.
Все увидала старуха, спрятавшись в уголке:
Как ворковали глухо они на своем языке,
Как, разорвавши тучи, он проникал в ее плен —
Трогательный, могучий, как спал у ее колен.
И маленькие причуды, что каждый изобретал,
Как прилетал, откуда, и как потом улетал.
И вот он растаял в даях, а дама тихо спала...
Старуха все-все в деталях брату преподнесла.

Все ясно! Тут всем не спится. У каждого свой каприз.
Но, видимо, нашей птице — будет сегодня сюрприз...
Заметил ревнивый старец, расседлывая коня.
Еще мы станцуем танец с женой на закате дня!

Во имя души и тела, во славу моей жены —
Мастера оружейного дела кое-что мне должны...
Не ведаю всех последствий, не все могу рассказать —
Но тысячу острых лезвий желаю им заказать.

Тысяча лезвий острых — для каждого из окон.
Все-таки это мой остров, и мой на нем будет закон.
А тот, кто нарушил грубо покой наших милых жён —
Тот встретит открытою грудью все то, чего стоит он.

* * *

Сегодня пасмурно что-то. Без свиты, совсем один,
Будто бы на охоту отправился господин.
А в башне — и не ложились. И женщина ждет, бледна.
Нет мужа — и осветились два маленькие окна.

Лети ко мне, моя птица! Весь день у нас впереди.
И ничего не случится с тобой на моей груди.
Он слышит и разумеет любви своей пряный зов,
В каждом окне он умеет открыть старинный засов.

Летит — и не хочет битвы. Но люди сегодня мстят —
И лезвия, будто бритвы, на каждом окне блестят.
Он как человек, руками, хватается за ножи,
И не рассказать стихами все раны его души.

Сто раз пронзен, кровоточит, но людям простить готов.
И вот, напоследок, хочет сказать им несколько слов:
Я знал, что это случится со мною в недобрый час.
А все ж нельзя научиться чему-нибудь, не учась.
Любовь моя, ты не будешь скучать обо мне тайком,
Ты скоро меня забудешь с нашим кудрявым сынком.

Как птица и как мужчина, хочу, чтоб ты поняла:
Желаю я, чтобы сына, ты, милая, родила.
Назвать его следует Йонек — так принцев зовут порой,
И многих чудесных хроник он будет главный герой.

И, вскрикнув, он улетает. Вся в темной крови стена.
И в полный голос рыдает женщина у окна.

...Идет как вдова, бедняжка, по берегу, у воды.
На ней лишь одна рубашка, идет и ищет следы.
По каплям горячей крови, сверкающей будто нож,
По каплям своей любви — ты так далеко зайдешь.
Идет себе понемножку, терзает себя саму,
И капельная дорожка ее приведет к холму.
И шахту насквозь проходит, и тайный огромный склеп.
И выход наверх находит — наощупь, как тот, кто слеп.
Что там? Городские стены, летящие в высоту,
И рынка веселые сцены, и корабли в порту...
Дальше дорога уводит из красного янтаря —
Страдалица в храм заходит, доходит до алтаря.
А за алтарем буквально — дверь тонкая на петле.
Там дивная опочивальня, вся в шелке и хрустале.
И что же нашла бедняжка? Рыцарь, едва живой.
Он дышит часто и тяжело, но ей кивнул головой.
Ты тут... — говорит. — Ты та же. Но все же, мой друг, беги!
Семейство мое на страже. Господь тебе помоги...
Вернешься обратно к людям и вырастишь нам дитя.
Так часто те, кого любим, уходят от нас, грустя...

Мой милый! Да как вернуться? Там ненависть, ложь, разбой.
Уснуть бы и не проснуться. Позволь умереть с тобой!

Кто перстень мой древний носит,
Найдет потайную дверь.
Твой муж ни о чем не спросит.
Он все позабыл теперь.

А ты нам вырастишь сына,
Красавца и молодца.
Он станет совсем мужчина —
Отдашь ему меч отца.

Случится это не сразу —
Как сон о добре и зле.
Но вы попадете на праздник
В одной далекой земле.

Вас отведут на могилу
Правителя их, мудреца...
И сын мой покажет силу —
Не ниже силы отца.

Теперь уходи, дорогая.
Вот перстень, вот верный меч.
Какая жена другая
Решилась бы пересечь

Свой мир и подземный тоже,
И выстоять как скала?
Сказал — и упал на ложе...
И грянули колокола.

* * *

Как, мой читатель, тут слезы сдержать?
Дама, рыдая, пустилась бежать —
Через долины, через холмы —
Туда, где жили они и мы.

И вправду, муж обо всем забыл.
Любезен с нею, заботлив был.
И, небольшое время спустя,
Там родилось дитя.

Мальчика Йонекон люди зовут.
В мире сеньор и сеньора живут.
Все же сеньора чувствует: скоро
Тонкую ткань шипы разорвут!

Йонек уже, будто воин, подрос.
Чудно красив, а во взгляде — вопрос.
Будто бы знает: уж в этот-то год
Главное произойдет.

Праздник приходит — Святой Аарон!
Пляшет Бретань, и поет Карлеон.
Юный и старый, пара за парой —
Все прибывают с разных сторон.

Наше семейство там тоже нашлось.
Вроде бы вместе, а вроде бы врозь.
Рядом, но с робким потерянным взглядом —
Как бы чего-нибудь вдруг не стряслось!

Их приглашают в аббатство одно —
То, что от города удалено.
Там почитают такого святого,
Что даже имени знать не дано.

Гости туда приезжают верхом,
Старый сеньор и сеньора с сынком.
Господи Боже! Вроде, похоже,
Что ей ландшафт этот чем-то знаком.

Вот их приводят в часовню одну.
Надо спуститься, как будто ко дну.
Дама трепещет, сеньор хорохорится,
Юноша бледен, сродни полотну.

Там золотое надгробье, пред ним
Тихо струится светильников дым,
Свет аметистовый... Рыцарь неистовый
Тут упокоился, непобедим.

Шепотом люди расскажут, что кровь
Пролил их гордый король за любовь.
Умер как мученик или святой —
Жертва коварства и злобы пустой.

Так и живут они множество лет:
Нет короля и наследника нет.
Дама зовет к себе сына кудрявого:
Видишь, дитя, сочетанье примет?

Я полюбила отца твоего,
Не понимая почти ничего.
Крепки оковы, укромны альковы —
Так я любила его одного.

Тот, кто сегодня как будто отец-
Он не отец, а ревнивец и льстец.
Он же убийца. Бери же оружие,
Сын. Положи злодеяню конец!

Вот и открылось. И бедная мать
Падает наземь — чтоб больше не встать.
Сколько же лет все скрывала несчастная,
Как же пришлось ей в молчаньи страдать?

Надо ли мне говорить, господа,
Что приключилось со всеми тогда?..
Взмах — и казнен вероломный сеньор,
Тот, кого звал он отцом до сих пор.

Йонек огненные — правитель земли,
Где некогда старые короли
Жили, мечтали, стихи лепетали
И — превращаться в птицу могли.

...Причудливы нашей судьбы пути:
Мать должна отца нам найти,
Прежде чем нам появиться на свет.
Еще найдет ли, а вдруг и нет?..

Отец был у Йонка не имярек —
А рыцарь-ястреб, Мулдумарек.

СОЛОВЕЙ

Придется рассказать все до одной
Вам сказочки, что были под луной
Придуманы на родине моей.
Но нет нежней, чем эта — «Соловей».

Начну немедля, время уж пришло.
Все знают славный город Сен-Мало.
Чуть меньше городок стоит вдали —
Там жили два сеньора той земли.

Два рыцаря, два истинных бойца.
Один другому заменял отца,
Он был постарше, это не пустяк.
Он был женат, а младший холостяк.

Кто хочет — тратит молодость свою.
А тот, кто старше, пестовал семью.
Ласкал жену, пыхтел как голубок —
Но это все. Детей им не дал Бог.

Совсем не мелочь — кто с тобой сосед.
Быть может, зелен, а быть может, сед.
В Бретани город — чуть ли не тюрьма,
Так тесно расположены дома.

Да-да, дома, бретонские дома —
Они стоят как книжные тома.
Лишь руку протяни, когда рассвет,
А там соседка, или же сосед.

Так вот, о чем я? Ах, о чем — о чем...
Сосед соседкой страстно увлечен.
Все слишком близко: шейка, локоток.
Летит записка, яблочко, цветок.

Да разве можно? Перстенок, чулок...
Ведь муж-таможня, надобен налог...
Муж смотрит хмуρο, видит глубоко.
Он муж де-юрэ, это нелегко.

Летят в окошко каждый божий день
Заколка, брошка — им бросать не лень.

Летает почта из окна в окно.
Все оттого, что им не суждено
Касаться тела, родинки считать.
Судьба хотела слабых испытать.

Чуть полночь грянет, только тьма кругом —
Она привстанет — и к окну бегом.
Там, как обычно, милый, в полусне
Горит привычно, как свеча в окне.

* * *

Вот так и бывает: собака лает, ветер носит, спит караул.
Муж изнывает — сидит, зевает, давно бы уснул.
Молчит, не дышит. И что ж он слышит? Свою жену.
Она украдкой, как в лихорадке, бежит к окну.

Вот это дело! Чего ж ты хотела, душа моя?
Я тут потихонечку, у подоконничка жду соловья.
Какой соловей? Здесь, между ветвей — и нет никого!
Он тут, говорю. Я будто горю, не слыша его.

Так ты с соловьем проводишь вдвоем часы у окна?
О да, провожу. Тихонько сижу, где песня слышна...

* * *

Все это не очень мудро и не смешно.
Хмурый муж приходит наутро, глядит в окно:
Не думаю, что соловей тут мог бы петь,
Но надо ловушек между ветвей подвесить успеть.

Смотри, садовник! Вот тут каштаны, вот здесь орех.
Поймай-ка птичек, мой друг-добытчик, поймай их всех.
Смотри, брат, в оба. Мы тут, в Бретани — одна семья.
Но есть особо тебе задание, насчет соловья.

А что садовник? Подвесил ловушку — поймал уже.
И господин говорит на ушко своей госпоже:
Смотри, дорогая! Я, оберегая тебя от зол,
Поймал эту крошку, что звал к окошку, его я нашел.

Прощай, мучитель. Твой слушатель-зритель был начеку.
А знатная дама — как вечер, так прямо бегом к муженьку!

Чего же он хочет? Он все понимает.
Колотится жилка на потном виске...
А бедная птичка уж не поднимает
Головку в могучем его кулаке.

* * *

Что соловей? Мы совсем забыли
О том, кто жил в соседнем дому.
И бедная дама, убегая прямо,
Крохотный труп посылает ему.

...Рыдала, но выжила, и золотом вышила
Иголкой тонкою по полотну:
Как жили, любили, и вместе убили
Созданье невинное, пгичку одну.

А что ж молодой человек, влюбленный сосед?
С тоскою глядит он теперь каждой пгице вслед.
В последний дар получил бедняга от дамы своей
Шкатулку, где были ни плащ, ни шпага — а задушенный соловей.

Все это было когда-то в Бретани.
Все это было очень давно.
Но в каждом доме не перестанет
Светиться маленькое окно.

МИЛОН

Кто хочет сказочки тачать —
Тот должен знать с чего начать.
И всякий раз, и много раз
Уметь продолжить свой рассказ.

Я расскажу вам, как Милон,
Тот, что в Уэльсе был рожден,
Прославился в своей стране,
Что так миша и вам, и мне.

Такого вырастить могли
Лишь в этом уголке Земли.
Его отваге и красе
Чуть-чуть завидовали все:

Шотландец гордый, злой норвег,
Ютландец — скромный человек,
И тот, кто в Логрии рожден —
Все знали — лучше всех Милон.

* * *

Ну, слава Богу, Милон у нас — самый лучший,
И это только начало пути.

Но ведь это же только счастливый случай,
Надо же как-то и дальше идти?

Неподалеку от тех краев жил-поживал барон,
Имя которого не сохранила ни одна из участвующих сторон.
Прекрасная дева, дочка барона, имела слух,
Достаточный, чтобы понять про Милона, что он не будет к ней сух.

Она отправляет к нему посланца
С таким письмом —
Что наш рыцарь, кроме румянца,
Должен был бы расстаться с умом.

Он остался в своем уме, но при этом-
Разгорелся и весь горит.
Посылает обратно гонца с ответом,
С жаром благодарит.
И клянется уже быть верным ей — на века,
И все это в письме, в самом первом,
Ведь он даже не видел ее пока.

Восхищенный до слез, до дрожи,
Осыпает деньгами гонца.
И ему обещает тоже
Дружбу свою без конца.

А еще, говорит он, прошу,
Мой друг дорогой,
Сделай так, чтобы я повидал госпожу,
Хоть раз-другой!
Вот, возьми этот дивный перстень, что я ношу.
Передай и скажи ей, что я о свиданьи прошу.

Ах, совсем бывает нетрудно игру начать!
Ну, и что этот перстень должен был означать?
Но девица особенно нежно подарок тот приняла
И даригеля, уж конечно, тем же вечером обняла.

* * *

Вышло так, что встречались они в небольшом саду.
Я бы даже сказала — у родичей на виду.
Но опасность — еще не горе, а только предвестник беды.
И девица заметила вскоре: будут плоды.

Наша парочка сладко ночует, совсем не грустя,
Но однажды все-таки чует — будет дитя.
Но ведь есть же семья и клан, и куда бежать?
У девицы, однако, план, и не стоит ей возражать.

Как родится дитя — возьмишь его на заре,
Отвезешь далеко, к моей замужней сестре.
Приложу письмо, расскажу ей — кто и какой ценой.
Где еще и расти нашей крошке, как не у тетки родной?

Привяжу к детской ручке перстень, велю не снимать.
Подрастет, поумнеет, поймет — где отец, где мать.
Ты же знаешь, милый, нельзя мне родить — ты не муж.
И «казнят, заклемят и вышлют», и прочая средневековая чушь.
А Милон и без объяснений готов ко всему.
И нет у него сомнений, они ему ни к чему.
Соучастник, сообщник, любовник и робкий слуга —
В этом деле, где он виновник, она лишь ему дорога.

На том они и порешили, ну, значит, тому так и быть.
И довольно приятно грешили, но время пришло родить.
Многоопытную старушку пригласили на торжество,
И дитя — не дитя, а игрушку — родили под Рождество.

Мальчик был ангелочек,
Папочкино лицо.
Подвесили кошелечек —
А там письмо и кольцо.

Тонких льняных пеленок
Стопкою принесли,
Чтоб знали, чей это ребенок,
Хоть на краю Земли.

Из шелка его перинки,
Все на лебяжьем пуху.
Лежит дитя в пелеринке
На тонком куньем меху...

Взял наш герой на руки
Кроху, сказал «прости!».
И через час уже слуги
Были с ребенком в пути.

Шли от дорог в сторонке,
Долго шли, далеко.
Меняли ему пеленки,
Грели ему молоко.

Где еще добывают
Таких лихих молодцов?
Не всегда-то они бывают
Из матерей и отцов.

Плыли на углой лодке,
Кралась по краю Земли.
И дитя доставили к тетке,
Целехонького принесли.

Все поняла сестрица:
Кого и за что простить...
А что же дитя? Смириться
И начинать растить.

* * *

Что же Милону досталось? Славу себе добывать.
А подруга его осталась дома жить-поживать.
Так славно все получилось на прошлое Рождество,
Что в доме и не случилось будто бы ничего!

К ней сватается вельможа, желает быть женихом.
На что эта песнь похожа? Уж трудно сказать стихом.
Дело все хуже и хуже, муж нам совсем ни к чему.
Что же мы скажем мужу, что мы скажем ему?

А вдруг и дитя родится, милые господа?
Ну, это уж не годится вообще никуда.

...Ну, вот и Милон возвратился
Из странствий — к себе домой.
И тайно искать пустился
Подругу, бедняга мой.

Ходит, переживает, мучит его тоска.
И лебеда он подзывает, плывущего вдоль бережка.
Перо у него вынимает и пишет, и прячет в крыло.
Спрятал — и понимает, как ему повезло.

Переодеться, побриться велит он слуге: Мой друг!
Тебе доверяется птица, не выпускай из рук.
Он бел как мел, без помарок — неси высоко, как флаг.
И примет она мой подарок, и прочитает мой знак.

* * *

Откройте дверь птицелову! Давно я стучу уже.
Что смотрите так сурово? Я птицу принес госпоже.
На лебеда редкой породы я ставил силки на заре.
Все знают: лебедь из моды не вышел при нашем дворе.

Твой лебедь хорош, в самом деле.
Всяк стражник — поэт в душе.
И, если б мы только смели,
Тебя б отвели к госпоже.

Но мы ее охраняем,
Мы все тут — тесный кружок.
И лебеда не обменяем
На жалованье, дружок.

И все же один, со вздохом,
Ведет его за собой.
А там, хорошо или плохо,
Кипит нешуточный бой.

Стражники, как мальчишки,
Всей командой сидят,
Сражаются в шахматки,
И по сторонам не глядят.

* * *

Словом, решенье близко. Лебедь уже в тепле,
И найдена уж записка на лебедевом крыле.
День недаром потрачен, и ловкостью взят дворец,
И подвиг щедро оплачен, и прочь отправлен хитрец.

Плачет наша бедняжка, целует имя и знак.
Переживает тяжело, что не повидаться никак.
До милого не добраться — того, кого рядом нет.
И вы не поверите, братцы, так минуло двадцать лет!

Лебедь служил им как голубь,
А был уж, как ворон, стар.
В жару или зимний холод
Лебедь теперь летал.
Садился уже привычно
И подавал крыло.
Там было письмо обычно,
И шло от него тепло.

... Тем временем, наша тетка, мальчика нам растя,
Действует очень четко, и, двадцать лет спустя,
Вручает ему бумагу и родовое кольцо,
Будто отцову шпагу и мамино письмецо.

Юноша и не поверил в пылкий ее рассказ.
Детскою меркой мерил, переспросил сто раз:

Неужто Милон легендарный — вправду его отец?
И, тетушке благодарный, плачет навзрыд юнец.

Так, стало быть, где-то подвиг его непременно ждет?
Пока что еще не поздно ему отправляться в поход,
Вдогонку за мамой, за папой — что они там таят?
И юношеские спазмы в горле его стоят.

Он море пересекает — Барфлер, впереди Бретань.
А время течет, истекает, и солнцу не скажешь «стань!»
Он самый сильный и ловкий среди юношей там и тут.
И в доблести, и в сноровке равных ему не найдут.

Такая катится слава по замкам, по городам —
Что и неловко, право, идти по его следам.
Не знает отец сыночка, не знает его и мать:
Он рыцарь, он Одиночка. Так его стали звать.

* * *

Милон, эти песни слыша о подвигах молодца,
Желает видеть мальчишку — заморского гордеца.
Не всем мы тут позволяем гулять по нашей земле —
Уж мы его повалием в перьях или в золе!

И Милон, затянувши пояс, завтра же, с утраца,
Готов отправляться на поиск заносчивого юнца.
Уведомляет подругу, как всегда, в лебяжьем письме,
Что он пройдет по кругу все, что есть на Земле:

Сперва найдет господина, первейшего из задавак.
А после отыщет их сына — так, решительно так!

* * *

В Нормандии славное море, в Бретани скалистый плес.
Поплыл наш Милон, но вскоре высадиться пришлось.
Турниров — чуть ли не тыща, побоища без конца
Проходит Милон, он ищет заезжего молодца.

Зима коротка в Бретани. На Пасху, отсель и досель —
Всяк рыцарь стремиться станет к подножью Мон-Сен-Мишель.
Приедут норманны, датчане, сто рыцарей остальных.
Но никогда англичанин не был еще среди них.

Милон известнее прочих, все ему шлют поклон.
В лагере до самой ночи ищет соперника он.
Все сходятся воедино в том, чтоб себя не жалеть...
Но вот этого господина Милону не одолеть.

Вот этот — боец упорный, под неизвестным флажком.
И конь его черный-черный, с одним белоснежным ушком.
Милону скорей по нраву такой величавый стиль.
Соперник — его, по праву проплывшего сотни миль.

...Сражаются как две птицы, сойдутся — лицо с лицом.
Неужто не с кем сразиться, как только сыну с отцом?

* * *

А все же соперник ловкий сбил Милона с коня.
Простите мои уловки, друзья, простите меня!
Но, правда ведь, кто моложе, имеет другую прыть.
А кто постарше — построже подумай: плыть иль не плыть?

Милону досталось лихо, но, не раздавлен вконец,
Скажите — он молвил тихо — кто ваши мать и отец?
Я вижу кольцо, однако, на вашей крепкой руке.
А нет ли другого знака, на милом нам языке?..

К вашим услугам весь я. Отец мой звался Милон.
Он родился в Уэльсе, отваги был эталон.
Но тяжкие испытанья им с мамой судьба дала,
И тетушка на воспитанье младенцем меня взяла.

Я вырос, тревога гложет, но я пойду до конца.
Должно быть, мне Бог поможет, если уж нет отца.
Душа моя не страдает, и я давно одинок...
Ну, ясно, Милон рыдает: Сынок, это я, сынок!

* * *

Оставим их ненадолго, я все могу рассказать.
Проклятое чувство долга! Сколько ты будешь терзать,
Меня все время личину, века и еще века —
Женщину и мужчину, старуху и старика.

Хоть что-нибудь уступите, чтоб совершилось само!
Хоть лебеда отпустите — пусть отнесет письмо.

...Сын и отец поплыли, обнявшись, на корабле —
К женщине, что так любили в той, за морем, земле.

Не то чтобы добродетель умела пенки снимать —
Но все же сын стал свидетель, как женились отец и мать.

Старенькая баллада, простенькие слова.
А рассказать было надо — чтобы была жива.

НЕСЧАСТНЫЙ

Пришла пора — готов рассказ.
Не для меня, друзья, — для вас,
Поскольку для меня одной
Мог быть рассказ совсем иной.

Живет красавица в глуши,
Всех добродетелей полна,
И что о ней ни расскажи,
Расписывай хоть дотемна

Манеры дивной простоты
И золото ее волос,
Лица чудесные черты —
Так что-нибудь еще б нашлось.

Немало в мире милых дам.
На всех мужчин могло б хватить,
Но каждый рыцарь хочет сам
Приехать-выбрать-уплатить...

Ах, дамы! Сколько пустяков!
Тут вам и пасха, и кулич —
Чтоб рыцарь без обиняков
Отдался весь — как вещь, как дичь.

В Бретани маленькой моей
Четыре рыцаря живут.
Спросите же меня скорей —
Как этих рыцарей зовут?

А я не ведаю о том —
Такие были времена,
Что, если кто хорош лицом,
Зачем нам помнить имена?

Четыре рыцаря хотят
Добиться женщины одной.
Четыре рыцаря летят
Над всей притихшею страной.

Плащами темными метут
И звонко шпагами звенят.
И дамы там, и дамы тут —
Им все на свете извинят.

* * *

А наша умница живет,
Как бы не ведая о том.
Она зовет и не зовет,
Откладывает на потом,

Она не хочет сделать шаг
И разделить свою кровать...
Всего один? Да это как
Саму любовь четверговать.

Она не хочет упустить и тех троих,
Что тоже ждут.
Она из пчел, из муравьих!
А муравьи покорно ждут.

И, будто заморожены,
Идут мужчины в полусне.
И им недостает войны,
Чтоб проявить себя вполне.

Чтобы хранить ее кольцо,
Чтобы девиз ее носить.
Чтоб, глядя пленнику в лицо,
Ее о милости просить.

Зачем ей четверо, скажи?
Неужто это сердцу льстит?
У нашей нежной госпожи
Какой-то зверский аппетит.

* * *

Турнир назначили весной.
Кто рыцарь — будет дуэлянт.
Все между миром и войной —
Норманны, франки и Брабант.

Турнир слагают как стихи:
Поток участников идет,
А наши четверо — тихи,
Как будто чуют наперед

Свою нелепую судьбу.
Да, как ее ни назови,
Но много кто уснет в гробу,
И мало кто уснет в любви.

Четверка всадников, гляди,
Там два фламандца, два Анжу.
А что у наших впереди?
Я ничего не разгляжу.

Вот даму милую свою
Они приветствуют в седле.
А я, пока о них пою.
Останусь тоже в их числе...

И, даме знак подав «прощай!»,
Тихонько едут наугад...
И...попадают невзначай
В одну из вражеских засад.

* * *

Ну, положим, один остался жив.
Страшно изранен, рыдает он перед Ней:
Милая дама! Руку на сердце положив,
Скажи, ты знала ли рыцарей чище, честней?

Завтра каждого медленно, на щите пронесут
Перед воротами города, к башне сторожевой...
Я бы и сам над собою устроил суд —
Трое погибли, а я остался живой!

Плачет наша царица Савская:
Как же так, отчего?
Были четыре красавца,
А вот уж — ни одного.

Кто же такой этот недруг,
Что взял с нас такую цену?
Никому не нужна моя нежность,
Моя алчность — всему виной.

Буду просить Всевышнего
Хоть о чем-то, что я могу:
Позволь, одного-то выжившего
Я все-таки поберегу?

И вот, живут они рядом —
Дама и кавалер.
Но обменяться взглядом
Трудно им, например.

И поцелуем честным —
Трудно, трудней всего.
Все же он — только четверть
Целого одного.

Дама сказала: Если
Видеть со всех сторон,
То все это стоит песни
«Четверо похорон».

Четверо, четверо всюду!
И он поник головой.
Как же я жигь-то буду?
Я-то пока живой?

Жив или мертв? Нечастый
Случай, но он бывал.
Назовем эту песню «Несчастный»,
Чтоб каждый не забывал...

Не знаю, что дальше было.
Не ведаю, кто там был.
Быть может, она любила,
А может, и он любил?

Но все же и вправду, если
Видеть со всех сторон —
То все это стоило песни
«Четверо похорон».

ЭПИЛОГ

Я рассказать историю хочу
Одну из тех, что вам была должна.
Когда меня задуют как свечу —
То вам, друзья, останется она.

Когда Бретань стояла как скала,
Там жил один прекрасный кавалер.
Сама судьба с ним ласкова была —
Он счастливо женат был, например.

Но, как ты только сердце ни готовь —
Беда свои находит адреса.
Когда случится новая любовь —
Тебя везде настигнут чудеса.

...И эту новость звали Гвийадон.
Такие это были времена,
Что люди, рассудив со всех сторон,
Потомкам раздавали имена,
Похожие на пики острых скал:
Чтоб милый друг не произнес без мук,
Чтоб он с усердьем в памяти искал
И произнес с усиьем: Гвиделюк!..

* * *

Тут небольшая пауза,
И придется вам потерпеть.
Это все же стихи, а не кляуза,
Их еще надо пропеть.

Дело в том, что жену благоверную
Звали как раз Гвиделюк.
А Гвийадон — любовь беспримерную.
А рыцаря — Элидюк.

Что-то было такое на знамени
Рыцаря самого —
Что сгорел он в двуглавом пламени
Имени своего...

* * *

Элидюк с королевской службою
Управлялся, не ел, не спал.
А король дарил его дружбою,
Милостями осыпал.

Элидюк объезжал с заботою
Всю Бретань, не зная границ.
А король приезжал с охотою,
Бил охотно зверей и птиц.

Но, конечно, нашлись завистники-
Кто с шакальим, кто с лисьим лицом.
Эти ябеды и ненавистники
Окружили его кольцом —

К королю потянулись раненько
Рассказать, кто враг, а кто друг...
И король — изгоняет избранника.
Ты — в немилости, Элидюк!

Слава Богу, добрая женушка
Ничего не желает знать.
Элидюк прозрачен до доньшка,
И за что ж его изгонять?

Поздно лягут — рано поднимутся,
Будто голос был невзначай...
И еще, на краю обнимутся,
И тогда уж — прощай-прощай!

Через море дорогу обратную
Он нескоро найдет к жене.
А к Бретани привязан он клятвою,
И нешуточно вполне.

* * *

Множество королей тогда развлекалось войной.
В сущности, без войны не было стран, ни одной.
К такой беспокойной земле и причалил наш бедный друг.
О старом ее короле и прежде знал Элидюк.

Этот самый король имел одну только дочь,
И, если сватались к ней, гнал женихов ее прочь.
Дочь дорога ему, да и земля дорога.
Оттого-то и потому он гнал жениха как врага.

Не плыть же теперь назад, раз уж причалили тут?
А вдруг, страна эта — клад, где только его и ждут?
Чтоб охранять покой дальних глухих границ,
Где враг и взмахнет рукой лишь только падая ниц...

Пишет он королю: Я поведу войну!
И получает в ответ оружие и казну.

Может быть, кажется мне, что все повернулось вдруг?
Что снова он на коне, удачливый Элидюк?
Он снова плещет вином, он снова звенит мечом.
Он между явью и сном, и все ему нипочем...

* * *

Но вот тревожная весть приходит в город, меж тем:
У нас неприятель есть, который почти у стен.
Наш Элидюк на коне, а с ним — летучий отряд.
Скажите скорее мне, что в городе говорят?

Нет ли еще пути, каких-то узких дорог,
Где конь не может пройти, а воин пройти бы мог?
...Известная лишь кротам, в подлеске лежит тропа.
Засядем тихонько там — выручит нас судьба.

Конечно, легко сказать, да трудно сделать почин.
Было их двадцать пять вооруженных мужчин.
Была кротовья тропа узка, как тоненький жгут.
И помогла им судьба. И тридцать пленников — тут.

Ну, просто праздник у нас! В руках добыча добыч.
Повсюду песни и пляс, звучит охотничий клич.
Глазам глядеть горячо, и трудно верить глазам:
Такой добычи еще король не видывал сам!

Каков герой Элидюк? Какого рыцаря Бог
Привел на службу нам вдруг, как только выдумать мог!

* * *

Проходит год. Наш Элидюк — главный блюститель границ.
И по соседству — все тихо вокруг, неприятель к нам не проник.
И вот уже королевская дочь к себе Элидюка ждет:
Пусть господин, если он не прочь, знакомиться к ней придет.

Надо ж развеяться иногда,
Не все ж ему сторожить?
Она и не думает, что беда
Может над нею кружить...

Вот так все это и произошло:
Рыцарь пришел в альков.
И Гвийадон понимает, что
Он стоит всех женихов.

Все совершилось — он был не юн
И жил, почти не греша.
А она и не знала тех самых струн,
На которых звенит душа.

С нежностью смотрит моя Гвийадон,
Рыцарь смущен весьма.
Пусть уж скорее уходит он,
Она поплутает сама
В глубоких вздохах, во взмахах ресниц,
В паузах между слов...
А он — хранитель любых границ —
Честен, прост и суров.

Не знаю, спеть ли вам песню о том,
Что девушка больше не спит?
Или о войне немолодом,
Чье сердце теперь кипит?
Она уже видит в нем короля,
С которым вся жизнь пройдет.
А он вдруг вспомнил, что есть земля,
Где женщина — тоже ждет.

* * *

Принцесса сегодня тиха, бледна,
Встала она до поры:
Кольцо и пояс пошлет она,
Милому другу дары.

Кольцо и пояс! С верным слугой
Сегодня же отошлю —
Поймет мой рыцарь, избранник мой,
Как я его люблю.

А вдруг я нисколько ему не нужна,
Я, королевская дочь?
И, смущена, понижает она.
Слуга же уходит прочь.

А что же там наш скиталец?
Нисколько не поражен,
Кольцо он надел на палец
И подпоясался он.

Слуга это мигом отметил,
Многое видят пажи.
И на все вопросы ответил
Пылкой своей госпожи.

Скажи мне, как было, все же?
Он принял любви моей знак?
Быть может, он любит тоже,
Да мне не понять никак?

Не так все плохо, сеньора!
Он будет с вами, ваш друг.
А нас он покинет нескоро,
На службе ваш Элидюк.

Принес он на верность клятву,
А ей высока цена.

И нет дороги обратно —
Туда, где его страна.

...Что будет? Наш рыцарь пойман.
Теперь не уйдет уже.
И сам он еще не понял,
Что в плен попал к госпоже.

Не сможет он разобраться,
Кружа по своим следам.
Не в силах он разорваться
Меж двух своих милых дам.

Согласно старым законам,
Которые я так люблю,
Наш Элидюк с поклоном
Идет на поклон королю.

И, если Господь поможет,
Он встретит там Гвийадон.
И ей полагается тоже
Изысканнейший поклон.

Сидят и шепчутся двое.
Под ними дрожит земля.
Нисколько не беспокоя
Ни свиту, ни короля.

Он пояс чуть не срывает,
Кольцо болит на руке.
Они говорят, не скрываясь,
На тайном своем языке.

...Он будет служить так долго,
Как этого жаждут и ждут.
Проклятое чувство долга!
И снова ты — тут как тут.

* * *

Пришли из-за моря известья
От старого короля:
Горят города и предместья,
Горит вся наша земля!

Кто только ни разоряет
Бретань — и Север, и Юг.
И всё король повторяет:
Вернись, мой друг Элидюк!

Все те, что оклеветали
Тебя без твоей вины,
Служить давно перестали,
Бежали все из страны.

Нельзя все как есть оставить!
Ты сокол, они воронье.
Вернешься — и будешь править.
Почти что все тут — твое.

И как устоять вассалу,
Если просит король?
Хоть ты пострадал немало,
Теперь вернуться изволь.

...Он доложит, внятно и звонко —
Что в беде его старый друг.
Но король — капризной ребенка,
Ему надобен Элидюк!

Тут тоже все понимают,
Тут ценят не всех подряд.
И рыцаря не обменяют
На целый большой отряд.

Возьми — говорит он герою —
Земли хоть целую треть,
Но оставайся со мною,
Дай тихо мне умереть!

Имени нашего Бога
Я не могу предать.
Да и слишком этого много
Того, что хотите вы дать...

Я взял бы совсем другое —
Но и этого не могу.
И вот уже след героя
Растаял на берегу.

Не хочет он обернуться,
Не может и повернуть.
Не скоро ему вернуться —
Когда-то, когда-нибудь.

Дует попутный ветер,
В Бретань кораблик летит.
Кольцо, как и прежде, светит.
И пояс броней блестит.

* * *

Господи святой Боже! Перед ним родная страна.
Господи святой Боже, перед ним родная жена.
В чем же я виновата? Ты холоден, будто сталь.
Может, я старовата? Ты тоже моложе не стал.

Он отвечает даме на горький ее вопрос:
Там, где я был — за морями — я тоже клятву принес.
Будем и вновь прощаться, и нет тут твоей вины.
Все мы должны возвращаться туда, где сегодня нужны.

...И вот совершилось чудо: рассеялись дым и мрак.
Он гонит врага повсюду, где только замечен враг.
И мир воцарился в доме, как не было ничего...
Повсюду все тихо — кроме бедного сердца его.

Снова на море парус. Сердца глубокий стук.
Как же тебе досталось, бедный мой Элидюк.

В море дороги бескрайны: мчись, торопись, плыви.
Он прибывает тайно в город своей любви.
Будто луч освещает его стремительный бег —
И девушку похищает отчаянный человек.

Одна лишь рубашка из шелка и плащ короткий на ней —
Правда, совсем недолго пришпоривали коней.
Ставят и поднимают парус на корабле —
И Гвийадон понимает: нет места им на Земле.

Странное дело! Море или же небеса
Бурю пошлют им вскоре и разорвут паруса.
Просят Святую Деву о помощи моряки —
Но буря делает дело и бьет кораблик в куски.

Никто не протянет им руку, ничто не продлит их дни.
И вот уже к Элидюку тянут руки они:
Сеньор, мы на все готовы, все и каждый готов.
Позвольте сказать вам слово или несколько слов.

Вы взяли с собой девицу в этот последний раз.
Бог гневается и дивится — Бог вообще против нас.
Давайте ее отправим тихонечко по волнам —
И, может дела поправим, и Бог повернется к нам ?

Наш рыцарь вышел из мрака, держа на руках свой груз.
Предатель, подлец, собака! Ты думаешь, я боюсь?
Неужто я слово нарушу, до берега не дойду?
Скорей уж я обнаружу тебя, приятель, в аду.

По палубе трус покатился, и в воду ушел с головой.
Все-таки пригодился опыт-то боевой.

Берега лодка коснулась, последний удар весла.
А девушка не проснулась — спит себе, как спала.
То ли она услышала угрозу в словах моряка,
То ли в дороге устала — нам неизвестно пока.

Будят да не разбудят — и говорят «Бог с ней!».
А что же дальше-то будет, не делается ясней.

Горе, большое горе! Плачет наш бедный друг.
Но вспоминает вскоре кое-что Элидюк.
Тут, на опушке леса, старый отшельник жил.
Перенести принцессу к старцу наш друг решил.

К лесу отправилась свита, но вот уж назад идут:
В хижину дверь открыта, но нет отшельника тут!
Что ж это, в самом деле? — слышится горький крик.
Только на прошлой неделе умер добрый старик.

Что будет с принцессою бедной, что с нею делать нам?
Но мы отслужили обедню — мы же и выстроим храм.
Увез я тебя до срока, привез тебя за моря —
Прости, что я так жестоко все сделал, любовь моя!..

Ни в чем ты не виновата... — горюет и плачет он.
И видит: щека розовата, и губы ее — как бутон.
Ты людям другим не ровня, — шепчет наш Элидюк. —
И будет твоя часовня со мною всегда, мой друг.

* * *

Впрочем, жена его с ним нежна.
Дом полон усердных слуг.
Но в доме — устойчивая тишина.
Бедная Гвиделюк!

Она бесконечно долго ждала,
Неправдоподобно верна.
А теперь вот пора иная пришла —
Выходит, я и не нужна?

Даму бессонница жжет, и тоска:
Мой мужчина или не мой?
Мой — до последнего волоска.
Захочу — подарю другой.

* * *

Да что ж это? Рыцаря, говорят, отшельник заворожил.
Встречали его, много раз подряд, там, где наш старец жил. Гвиделюк, в
раздумье, заходит в лес: там, в хижине у пруда,
Жил старик, да давно исчез, кто же там есть тогда?

...Поднимем же покрывало, пощупаем хрупкий висок...
Алмазов тут не бывало — не намывал наш песок.
Таких цветов не сажали в наших укромных садах.
А мы себя воображали дамами при господах!

Все поняла, конечно, бедная госпожа
И подзывает нежно к себе своего пажа:
Видишь цветок бесценный? С этим цветком — беда.
И я буду тут бессменно и не уйду никуда.

Хоть сердце мое бездетно — ты дочкой могла мне быть.
И я не хочу бесследно, беспомощно уходить.

И тут совершилось чудо, сюжету всему — поперек.
Поскольку, невесть откуда, явился юркий зверек —
Ласка с пичью костью бежит легко, как йо-йо...
И паж своей длинной тростью убивает ее.

Но что это? Будто сказка — с цветочком и корешком,
Другая такая же ласка пришла за своим дружком.
Подносит, вздыхая тяжко, и в ротик ему корешок
Вкладывает, бедняжка, и, Боже — ожил дружок!

Постой! — восклицает дама, заплаканная, в слезах.
Она воскресила прямо его у нас на глазах.
Да что уж там «восклицает», она корешок взяла —
И девушка воскресает: Сколько же я спала?

Но кто же ты, милая дева? Мы рады тебе помочь.
Я Логрии королева, и я королевская дочь.
Там был превосходный воин, на службе в моей стране.
И милостей был достоин, и полюбился мне.
Но я поняла причину такого долгого сна —
Нельзя мне любить мужчину, раз я у него — не одна.
Зачем он меня оставил, когда я заснула вдруг?
Без совести и без правил, без чести ваш Элидюк!

Моя дорогая детка! — тихо сказала жена. —
Такое случается редко, но ты-то ему и нужна.
Он год к тебе ходит ровно, сидит тут целые дни.
И это — твоя часовня. И ты его не кляни.

Вы шли сквозь огонь и воду, и завтра же, на заре,
Я дам вам двоим свободу — останусь в монастыре.
И, если вы захотите сказать мне свое «прости» -
Однажды ко мне прилетите вы оба в конце пути.

Похоже, что так и было: все кончилось монастырем.
И та, и другая любила — не жить же, ей-Богу, вдвоем!
Умеют же христиане из боли извлечь благодать.
А, все-таки, всякой ране надо б лечение дать.

Утешим и мы друг друга.
В Бретани, который век,
Все помнят про Элидюка:
Добрейший был человек.

ЖИМОЛОСТЬ

Давно, друзья, готов для вас
Весь шелком вышитый рассказ,
Который вам знаком из детства
И слышан вами много раз.

Мы «Жимолость» зовем его.
Слова не весят ничего.
Слова — трава, лишь «козий листик»,
Да только в них все колдовство.

Вопросы есть у многих стран:
Что королева, что Тристан?
И что случилось на дороге,
На том пути, что им был дан?

Я книгу старую нашла,
Там их историю прочла.
И, будто с ними, их тропую
Любви и горечи прошла.

* * *

Король Тристана гонит прочь:
Племянник молод. Превозмочь
Не может страсти к королеве,
Огнем пылает день и ночь.

В Уэльсе он, в краю родном,
Весь год живет, забывшись сном —
Отшельником, певцом, поэтом.
...А грезит только об одном.

Не удивляйтесь, господа:
Влюбленный еле жив, когда
Его вторая половина
Вдали, как горная гряда.

Тристан не в силах больше ждать.
Но не затем, чтоб обладать,
Он в Корнуолл немедля мчится —
Лишь королеву увидеть.

В густом лесу сегодня он
Искать приюта принужден.
Живет как нищий, подаяньем,
Но ждет вестей со всех сторон...

А вот и новость, пгичья трель:
Людей сзывают в Тинтажель.
Король на Троицу устроит
Веселый праздник, общий хмель.

Уже озноб Тристана бьет:
Ведь тот, кто в Тинтажель идет,
Тропу лесную не минует —
Там мой изгнанник часа ждет.

Дорогу зная, как свою,
Тристан находит на краю
Высокий куст, лесной орешник,
Как будто вросший в колею.

Он, как охотник, напряжен,
Не может дрожь унять никак.
И, веточку сломав, ножом
На ней он вырезает знак...

«Тристан-Тристан-Тристан-Тристан» -
Таков теперь его букварь.
И это светит как кристалл,
На мачте корабля — фонарь.

И королева, на весу,
Письмо читает по слогам —
И понимает, что в лесу
Свиданья ждет любимый сам.

...Весь мир противится любви!
Влюбленных рвут на сто частей.
Рыдают бедные мои,
Как двое брошенных детей.

Как жимолость в густом лесу
Орешника обнимет ствол —
Так обнимает королева
Возлюбленного своего.

И, если б разлучили их
Хотя б на день, хотя б на час —
Вздыхнув глубоко, в тот же миг
Он бы умерли тотчас.
Мой Друг! Так оба мы, увы,
Умрем в разлуке, я и вы.

* * *

Об этой песне наяву
Узнали люди разных стран.
А я-то с ней всю жизнь живу —
Ее напел мне сам Тристан.

Таких историй в мире нет.
А если были, то давно.
Но «Жимолости» тихий свет
Горит и греет, все равно.

Слова не весят ничего.
Слова не весят ничего.
Слова — трава, лишь «козий листик».
Да только в них — все колдовство.



Ян Пробштейн
ЭМИЛИ ДИККИНСОН
(1830-1886)
в переводах Яна Пробштейна

182

Если не будет меня в живых,
Когда птицы слетятся к окошку,
Красногрудой малиновке дай
Поминовенья крошку.

Коль спасибо сказать не смогу,
Окутана снами,
Знай, что пытаюсь благодарить
Граничными устами.

Ок. 1860

199

«Жена»! — Покончила
С тем, чем была —
Я — «Женщина»! — Царица —
Так безопасней мнится —

Жизнь Девушки — как в странном
Затмении туманном —
С Небес сейчас взирая
Так Землю зрят из Рая —

В том утешенье что ли
От прошлой боли —
К чему сравненья впрочем?
«Жена»! — С иным покончим!

1860

617

Не прячь Иголку с Нитью —
Когда засвищут Птицы —
Тогда и начну Шить я —
Ровней Строка ложится —

Эти — вкось, глаз глядел криво —
Когда разум зрит прямо —
Швы мои достойны Королевы —
Не постесняется Дама —

Рубцов изысканны строчки —
Узелки незримы
И пунктирны точки —
А складки неуловимы

Оставь Иголку в шитье —
Как мои руки шили —
Зигзаги спрямлю везде —
Когда разум в силе —

А пока снится — что шью
Стежок за стежком мне —
Проверь работу мою —
Чтоб верила — шью —и во сне.

1862

618

На отдыхе Душа —
Когда всей Ширью Жизнь
Наносит ей Удар —
Бездельницу Круша —

Работу молит дать —
Хоть детскую — Латать —
Иль заколоть Булавки —
Чтоб Руки ей занять —

ок. 1862

626

Только Богу — внятна Скорбь —
Только Богу —
Иеговы не лепечут
В Уши Богу —

Бог-Сын — хранит ее —
Непреложно —
Бог-Духа Честь —
Столь же надежно —

ок. 1862

688

«Речь» — Парламента проказы —
«Слезы» — нервов трюк —
Но Сердце с тяжелейшим грузом —
Застынет вдруг —
1862

761

К Пробелу от Пробела —
Без Нити Путь —
Я ставлю механически стопу —
Чтоб стать — погибнуть — или шагнуть —
Не важно мне ничуть.

Когда бы преуспела —
Была бы вне предела
Всех невозможностей —
Закрыв глаза — наощупь шла —
Слепые зрят ясней —
1863

1017

Без Смерти умирать
И жить без Жизни — вот
Труднейшее из всех Чудес,
Что Вера нам даёт.
ок. 1865

1141

Когда скучаем мы о ком —
Пусть День Его здесь нет —
Лишь скрылся Всадник за Холмом —
Уже прошло Сто Лет.
ок. 1869

1151

Душа, рискни
В Смерти без тебя
Не лучше, чем
Без тебя совсем.
ок. 1869

1155

Не Бег Лисицы — Расстоянье,
Полетом Птицы не дано
Объять его — в Любимом
Себе Самом Оно.

ок. 1870

Вариант:

Не Бег Лисицы — Расстоянье,
Не в эстафете Птиц Оно —
В Себе Самом Любимом
Оно заключено.

1156

Чтоб отмести сомненья в том, что рады мы поверьте,
Что рождены сегодня те, кто прожил жизнь на свете,
Мы празднуем без дат, сродни Сознанию иль Бессмертью.

ок. 1870

1158

Лучшее Колдовство —
Геометрия для мага —
Забота его — человечество
В делах его — отвага

ок. 1870

1309

Бесконечность — Гость неожиданный,
Как всегда и было,
Но как Безмерности прийти,
Когда не уходила?

ок. 1874

1320

Март дорогой — Входи —
Так рада я —
Давно ждала тебя
Сними же шляпу —
Путь верно долг был —
Как задыхаешься —
Как поживаешь, как Другие —

В добром ли здравии
Природу оставили —
Март дорогой, поднимайся ко мне —
Так много нужно рассказать тебе —

Письмо твое получила, а Птицы
И Клены не знали, что придешь, пока
Не объявила — как Раскраснелись их Лица —
Но Март, извини —
Ты попросил покрасить Холмы —
Но Пурпура в тон не нашлось —
Ты ведь все с собою унес —

Кто там стучится? Апрель.
Запри Дверь —
Пусть не тревожит —
Не отзывался целый Год —
Я занята теперь —
Но эти пустяки ничтожны
Раз ты пришел все же —

Хула желанна как Хвала —
Хвала — почти что как Хула —
ок. 1874

1321

Сказала Эссексу Елизавета
Что простить не может
Милостью Божьей
Но могла б после принять
Прощенье как благодать
И сделала это
Когда за мольбу в Глазах
Его Головы лишила Елизавета¹
ок. 1874

1333

Безумства по Весне немного
Полезно даже Королям,
Но только Шут — любимец Бога —
Глядит на это потрясенье —
Как будто на гигантской сцене
Зеленый опыт ставит сам!
ок. 1875

1341

Что ко Всему прибавить?
Есть ли Края за «Всем» —
Иль эта — Грань незрима?
О, помощи бальзам!

ок. 1875

1348

Подними — не только Крылья
Даны для полета нам —
Пошлыви — не только в море
Плавать по волнам —
Быть защитником Лазури
Для заземленных глаз —
Тот обязан в этом мире
У кого есть Рай сейчас —

ок. 1875

1349

Я вспомню лучше вид —
Чем Солнцем владеть на заре —
Один прекрасней коль забыт —
В другом — вся правда на земле.

Ибо в движении вся Драма
Чего покою не сумеь —
Исчезнуть легче в Сумерках —
Божественная Смерть —

ок. 1875

1350

Не случай — Удача —
А Груд —
Фортуны улыбку тут
Заработать сумеите —

Она дорога — Отец Клада это
Старинная та Монета
Что бросили мы на ветер —

ок. 1875

1360

Вестей ждала — страшась пригом —
Что есть на свете — Мир такой —
Стоял нерукогворный Дом
Распахнут предо мной.

1876

1695

Есть одиночество пространства
И моря одинокость
И одинокость смерти,
Но обществу сродни все эти
В сравненье с бездной той
Пустыней ледяной
В конечной бесконечности —
С ушедшею в себя душой.

?

1696

Такие дни любит Олень
С звездою Северной шалья —
Это — Солнца цель
И Года Финляндия.

?

↑ Фаворит Елизаветы I Эссекс, Роберт Дадли, эрл Лейстер, был послан на усмирение Ирландии в болота Мунстера. Устав от военных действий на болотах, он неожиданно вернулся и появился прямо в спальне Елизаветы, за что был посажен в Тауэр, где вскоре к нему присоединились и другие фавориты (Берли, Сидней, Уотни, Херлингхэм и др.) У Эссекса было с Елизаветой тайное соглашение о том, что если ему будет угрожать казнь, он пошлет ей кольцо и будет прощен. Он пытался послать ей кольцо, но то ли оно дошло с опозданием, то ли она передумала, однако ответ королевы был: «Пусть Бог простит, а я не могу».



Джером Дэвид Сэлинджер

ОКЕАН ПОЛОН КЕГЕЛЬНЫХ ШАРОВ

Перевод Якова Лотовского

Предуведомление переводчика

В начале декабря позапрошлого года я наткнулся на сайт The art of war sun tzu, с тремя неизвестными рассказами Дж. Д. Сэлинджера. Первый же из них, который называется "The Ocean Full of Bowling Balls", показался мне очень важным для понимания творчества Сэлинджера. Рассказу, написанному Сэлинджером вскоре по окончании Второй мировой войны, предстояло стать предтечей, дальним подходом к самому известному его произведению «Над пропастью во ржи» ("The Catcher In The Rue"). И поскольку за мной числится перевод упомянутого романа (см. Семь искусств №2-№4, 2010) я счел возможным и даже обязанным перевести его на русский. Я неспешно (в этом была моя методологическая ошибка) взялся за дело, держа перед собой на экране сетевой файл с текстом рассказа, вместо того, чтобы прежде всего загнать копию к себе в компьютерную память.

Но, попи знай, что в одно прекрасное утро файл с этими тремя неизданными рассказами исчезнет из Сети. Оказалось, что это была нелегальная публикация, утечка из архива Принстонской университетской библиотеки ("leaked online") и файл с текстами был удален. По условиям хранения рассказ не может быть опубликован до 27 января 2060 года, то есть 50-летия со дня кончины автора. В итоге я успел лишь провести черновую, обдирочную, как говорят токари, работу. Посему предлагаемый перевод носит не столько художественный характер, сколько информационный. Он вполне дает представление любителям творчества Сэлинджера о том, как складывались подходы писателя к созданию шедевра о Холдене Колфилде. Уже здесь можно видеть, что манера подачи материала у автора уже сложилась, узнаются основные персонажи будущего романа, проступает влияние восточной философии (дзен-буддизм, Веданта). Несвойственным для Сэлинджера показалось лишь, я бы сказал, лобовое использование предметной символики. вполне возможно, поэтому он в свое время и передумал печатать этот рассказ, который готов был к публикации в журнале «Harper's Vazaa».

Океан полон кегельных шаров

У его ботинок были задраны носы. Мама всегда говорила отцу, что он покупает Кеннету ботинки слишком на вырост, лучше бы поинтересовался, может, из-за этого ноги у него деформировались. Но я думаю, что носы задирались, оттого что он вечно топтался в траве, сгибая в три погибели все свои семьдесят пять-семьдесят фунтов, чтобы рассмотреть там что-то, повертеть в пальцах. У него даже мокасины задирались.

Волосы у него были, как у мамы — прямые, рыжие, точно новенький цент, зачесанные на косой пробор. Он никогда не носил шапку, и его легко можно было узнать даже издали. Как-то полудни мы с Хелен Биберс махали клюшками в гольф-клубе.

Когда я воткнул свою подставку в по-зимнему жесткую землю и занял позицию для первого удара, я вдруг почувствовал, что стоит мне обернуться назад — и я увижу Кеннета. Оборачиваюсь. Так и есть! Ярдах в шестидесяти, за высокой деревянной оградой, сидит на велосипеде и наблюдает за нами. Такие рыжие были у него волосы.

Как у игрока-левши первой базы, у него была правая рукавица. На тыльной стороне пальцев рукавицы он переписывал индийскими чернилами строки стихов. Он говорил, что любит их читать, когда он без биты и ничего не происходит на поле. К одиннадцати годам он перечитал всю поэзию, что имелась у нас в доме. Ему больше всего нравились Блейк и Китс, кое-что из Кольриджа, но я не знал об этом до прошлого года — и постоянно читал с его рукавицы, когда он аккуратно что-то новое туда вписывал.

Когда я уже был в Форт-Диксе, а брат мой Холден, еще не был в армии, он прислал мне письмо. Пишет, что возился в гараже и нашел рукавицу Кеннета. Холден пишет, что на большом пальце нашел строки, которых раньше, во всяком случае, не было, и Холден их переписал. Это был Браунинг: «Смерть прикажет смириться, завяжет глаза и заставит о прошлом вздохнуть»¹. Дело не шуточное, когда ребенок с большим сердцем цитирует такие строки, не так ли?

Он был помешан на бейсболе. Когда у него не было игры, а меня не было рядом, чтобы швырять ему подачи, он бросал мяч на скат крыши гаража и ловил его, когда тот скатывался. Он знал, что бить по мячу и ловить мяч в поле — две необходимые вещи для игрока основных лиг. Но он никогда не хотел ходить со мной на игры. Он сходил со мной только один раз, когда ему было лет восемь, и увидел, как Лу Гериг² два раза был выбит из игры. Он сказал, что больше не хочет видеть такого. «А кто такое может выдержать! Лучше книгу почитаю».

Его интересовала проза, а также поэзия; короче, художественная литература. Он заходил ко мне в комнату в любое время дня, брал с полки какую-нибудь книгу и уходил с ней к себе или на веранду. Я иногда подглядывал, что он читает. В ту пору я пробовал писать. Жуткое дело. Очень изматывает. Иногда я делал передышку. Один раз я увидел, что он взял Ф. Скотта Фитцджеральда «Ночь нежна», другой раз он спросил у меня, о чем «Невинное путешествие» Ричарда Хьюза». Я рассказал, он прочел, и единственное, что он мне сказал, когда я его спросил после, что ему интересно было про землетрясение, и еще про цветного чувака в самом начале. В другой раз он взял у меня прочесть «Поворот винта» Генри Джеймса. Когда он закончил читать, неделю ни с кем в доме не разговаривал.

Я помню каждую подробность того нелепого, ужасного дня.

Мои родители выступали в летнем театре на дневной премьере, они пели в спектакле «Всего с собой не возьмешь». Для сезонных, любительских спектаклей они были слишком уж трепетными, слезливо-чувствительными, слишком усердными исполнителями, мы с младшими братьями лишь иногда ходили посмотреть на них. Наша мать выглядела особенно бледно в летнем сезоне. Следя за ней даже в удачный вечер, Кеннет весь сжимался на своем сиденье, пока не оказывался на полу.

¹ I would hate that death bandaged my eyes, and forbore, and bade me creep past. (Перевод Аркадия Сергеева)

² Выдающийся американский бейсболист.

В ту субботу я все утро работал у себя в комнате, даже позавтракал тут же, и после полудня спустился вниз. Где-то в полтретьего я вышел на веранду, и от воздуха Кейп-Кода у меня слегка закружилась голова, как от крепкого пива. Но уже через минуту день показался мне чудесным. Весь газон был залит солнцем. Я поискал глазами Кеннета. Он сидел, подогнув под себя ноги, в треснутом плетеном кресле рядом с верандой и читал книгу. Он читал, приоткрыв рот, и не слышал, как я пересек веранду и присел на барьер напротив его кресла.

Я толкнул его кресло носком ботинка.

— Кончай читать, парень, — говорю ему. — Отложи книгу. Давай разведемся.

Он читал «И восходит солнце» Хемингуэя. Услышав мой голос, он отложил книгу и посмотрел на меня с улыбкой, поняв мое настроение. Он был джентльменом, 12-летний джентльмен; он всю жизнь был джентльмен.

— Мне наскучило одному, — говорю ему. — Паршивую профессию я выбрал. Если я когда-нибудь буду писать роман, запишусь, наверно, в какой-нибудь хор и между главами буду ходить на спевки.

Он спросил у меня то, чего я ждал от него, и даже хотел, чтобы он спросил об этом:

— О чем твой, новый рассказ, Винсент?

— Ты знаешь, Кеннет. Кроме шуток, классная история. Клянусь! — говорю ему, стараясь уверить его и себя самого. — Будет называться «Игрок в кегли». Там об одном парне, которому жена не давала слушать вечером по радио репортажи о боксе и хоккее. Никакого тебе спорта. Слишком шумно. Жуткая женщина. Не разрешала даже читать ковбойские истории. Ему это вредно. Выбрасывала все журналы с ковбойскими рассказами в мусорный бак. — Говорю, а сам слежу за его лицом как бы писательским глазом. — Только раз в неделю этот парень мог ходить в кегельбан. В среду вечером после ужина он снимал с полки в кладовой свой специальный шар, клал в небольшой, круглый, полотняный мешочек, целовал жену и уходил. Так длилось восемь лет. И вот он умер. Каждый понедельник жена вечером ходила на кладбище положить гладиолусы на его могилу. Как-то раз она пришла на кладбище не в понедельник, а в среду, и увидела на могиле букетик фиалок. Она представить себе не могла, кто мог положить их сюда. Она обратилась к местному старику-служителю, и он говорит: «Это та самая леди, которая приходит сюда каждую среду. Я думаю, это его жена». «Какая еще жена?!» — воскликнула она. — Я его жена!» Но старик-служитель был глуховат, и его эти дела не интересовали. Жена пошла домой. Поздно ночью соседи услышали грохот и звон разбитых стекол, но продолжали слушать по радио хоккей. Утром по дороге в офис сосед увидел в ближнем доме разбитое окно и мокрый от росы кегельный шар, блестящий в траве палисадника. Ну как? Тебе нравится?

Он не сводил глаз с моего лица, пока я рассказывал ему эту историю.

— Ой, Винсент! — сказал он. — Господи боже!

— В чем дело? Это же чертовски классная история.

— Я знаю, ты напишешь превосходно. Но, Винсент! Боже мой!

Я ему говорю:

— Это последний рассказ, которым я делюсь с тобой, Колфилд. Что тебя смущает в нем? Это же шедевр. У меня шедевры идут один за другим. Я ни у кого никогда не встречал столько шедевров!

Он понимал, что я шучу, но в ответ он лишь кривовато улыбнулся, знал, что это у меня от неуверенности. Мне не нужны были его кривые улыбки.

— Что тебя смущает в этом рассказе, — говорю ему, — рыжая ты голова, маленький бздунишка?

— Разве такое могло случиться, Винсент? Но ты же не знаешь, было такое на самом деле или нет? Ты же все это выдумал, да?

— Конечно, выдумал! Но что-то подобное могло ведь случиться?

— Да, Винсент. Я верю тебе! Кроме шуток, я верю тебе! Но если уж ты сочинишь правдиво, почему не о чем-то хорошем, а? Просто о чем-нибудь хорошем. Вот что. Ведь бывают и хорошие случаи. Их сколько хочешь. Винсент, ей-богу! Ты бы лучше писал о хороших делах. Пиши о хороших делах, то есть о хороших парнях и все такое. Ей-богу, Винсент!

Он посмотрел на меня сияющими глазами — именно, сияющими. Глаза у мальчиков тоже могут сиять.

— Кеннет, — говорю, но знаю, что я уже на лопатках. — Этот парень с шаром и есть хороший человек. Нинго плохого в нем нет. А вот его жена — нехороший человек.

— Конечно, я знаю, но, Винсент, боже мой, ты мстишь за него — вот что. Для чего ты мстишь за него? Я понимаю. Винсент. Он в порядке. Оставь в покое ее. Жену его. Она же не понимает, что делает. Я про радио, ковбойские журналы и все такое, — сказал Кеннет. — Оставь ее в покое, Винсент, о'кей?»

Я ничего не сказал.

— Пусть не выбрасывает через окно эту штуку. Я имею в виду кегельный шар — а, Винсент? О'кей?

Я кивнул головой:

— О'кей».

Я встал, пошел на кухню и выпил бутылку имбирного пива. Он меня убил. Вот так всегда: бац — и убивает наповал. Потом я поднялся к себе и порвал рассказ.

Я сошел вниз и снова сел на барьер веранды и стал смотреть, как он читает. Вдруг он взглянул на меня и говорит:

— Слушай. А не съездить ли нам к Лассигеру, стимеров³ покушать.

— Давай. Только надень плащ или что-нибудь. — На нем была только полосатая тенниска. Весь сгорел на солнце, как это у рыжих бывает.

— Нет, я в порядке. — Он встал, бросил книгу в кресло. — Давай. Поехали.

Я пересек вслед за ним лужайку, подкатывая рукава на ходу, остановился на краю газона и стал смотреть, как он выводит мою машину задним ходом из гаража. Когда он вырулил и поставил на старт, я пошел к машине. Он перебрался на правое сиденье, поскольку я за рулем, и начал опускать свое стекло, потому что оно оставалось поднятым со вчерашнего вечера после свидания с Хелен Бибер, она не любила, когда ее волосы развеваются на ветру. Кеннет нажал на кнопку, и полотняная крыша, которой я помогал шлепками, стала стягиваться, пока не замерла за сиденьем позади нас.

Я съехал с дорожки, повернул на Керак-бульвар и поехал в сторону океана. Где-то семь миль езды до берега, к Лассигеру. Несколько миль никто из нас не сказал ни слова. Солнце было чудесное. Оно освещало мои бледные руки, пальцы в чернильных пятнах и с обкусанными ногтями, оно же играло, переливалось, рылось в рыжих волосах Кеннета, и это выглядело почти феерически. Я сказал ему:

³ Блюдо из мидий, приготовленных на пару.

— Доктор, откройте бардачок. Там есть пачка сигарет и чек на 50 долларов. Я собирался из колледжа послать его Лассигеру. Достань мне сигарету.

Он подал мне сигарету и говорит:

— Винсент, ты должен жениться на Хелен. Я серьезно. Она с ума сходит, ждет — не дождется. Да, она не такая умная и так далее, но это и хорошо. С ней не надо будет особо объясняться. И ты не будешь ранить ее чувства своими сарказмами. Я наблюдал за ней. Она никогда не понимает, о чем ты говоришь. Бог мой, это же хорошо! Но какие у нее красивые ноги!

— Да что вы, доктор!

— Нет, кроме шуток, Винсент. Ты обязан жениться на ней. Я как-то играл с ней в шашки. И знаешь, как она поступает со своими дамками?

— Как же она поступает с ними?

— Она держит их в последнем ряду, чтобы нельзя было их сбить. Она вообще ими не двигает. Боже, это же признак хорошей девочки, Винсент! Помнишь, я был у нее подручным в гольфе? Знаешь, что она делала?

— Она пользовалась моими кольшками. Она не хотела пользоваться своими.

— Ты помнишь пятую лунку? Где это старое большое дерево сразу когда переходишь на лужайку? Она попросила меня перебить ее мяч через это дерево. Она сказала, что никогда не может перебить через него. Боже, это та девушка, которую ты должен взять в жены. Ты не должен упускать ее.

— Не упущу.

Мой ответ выглядел так, будто я разговариваю с человеком в два раза старше меня.

— Упустишь! Если позволишь твоим рассказам погубить тебя. Не надо столько к ним внимания. И все у тебя будет хорошо. С тобой все будет прекрасно. Мы продолжили ехать, я был на вершине счастья.

— Винсент.

— Что?

— Когда ты смотришь на детскую кроватку, куда они укладывали Фиби, ты же без ума от нее? Ты даже чувствуешь, будто ты сам Фиби?

— Ну, да, — говорю, а сам стараюсь понять, куда он клонит. — Да.

— Ты же без ума и от Холдена?

— Конечно. Клёвый парень.

— Не будь таким скрытным, — говорит Кеннет.

— Ладно.

— Скажи человеку, если его любишь — и как сильно, — говорит он.

— Договорились.

— Прибавь скорости, Винсент, — говорит он. — Дави на всю железку!

— Я гоню на пределе. Больше семидесяти пяти миль.

— Молодец! — сказал Кеннет.

Спустя несколько минут мы были уже у забегаловки Лассигера. Время было неурочное, и рядом на стоянке была только одна машина, седан Де Сога; все это выглядело не так весело, но на душе у нас было легко. Мы присели к столику снаружи, в стеклянной веранде. На другом конце веранды толстый лысый человек в желтой рубашке-поло ел устрицы. Перед ним лежала газета с опорой на солонку. Он

был здесь единственный и скорее всего был хозяином модного, большого седана, что снаружи накалялся на солнце. Когда я отодвинул стул, стараясь поймать взгляд Ласситера сквозь жужжащий мухами проход к бару, раздался голос толстяка:

— Эй, рыжий! Где ты взял такие рыжие волосы?

Кеннет обернулся к нему и сказал:

— По дороге один парень дал.

Толстяка чуть удар не хватил от такого ответа. Он был лысый, как груша.

— Что? По дороге один парень дал? — сказал он. — Думаешь, он мог бы и мне помочь?

— Конечно, — сказал Кеннет. — Вам только надо дать ему сезонный билет. Прошлого года. Этого года он не берет.

Это совсем убило толстяка.

— Что? Надо дать сезонный билет? — спросил он, тряся головой.

— Да. Прошлогодний, — подтвердил Кеннет.

Толстяк обалдело уставился в газету, и затем часто взглядывал в нашу сторону, и похоже, хотел бы пододвинуть к нам свой стул.

Когда я встал со стула, Ласситер уже обогнул угол бара и увидел, что я здесь. Он приветливо вскинул свои густые брови и пошел к нам навстречу. Он был отчаянная голова. Я как-то стал свидетелем, как поздним вечером он разбил пустую литровую бутылку о прилавок и, держа эту «розочку» у левой щеки, шагнул в темноту, в морской воздух, ища взглядом человека, которого он заподозрил в воровстве решеток с передних фар его машины, всегда стоявшей на одном месте. Теперь идя по проходу, он еще издали спросил у меня:

— А твой славный рыжий братец с тобой? — Он еще не мог его видеть, пока не вышел на веранду. Я кивнул головой.

— Привет, — сказал он Кеннету. — Как дела, детка. Не видел тебя почти все лето.

— Я был здесь на прошлой неделе. Как ваши дела, мистер Ласситер? Еще избил кого-нибудь на ночь глядя?

Ласситер хохотнул открытым ртом.

— Что берем, детка? Стимеры? Масляный соус Лотта? — Поклонившись, он двинулся было на кухню, но остановился, чтобы спросить:

— А где ваш брат? Где этот маленький дурачок?

— Холден в летнем лагере, — уточнил я. — Вырабатывает характер.

— Он не дурачок, — сказал Кеннет Ласситеру.

— Не дурачок, — сказал Ласситер. — А кто же он, если не дурачок?

Кеннет встал со стула. Его лицо сделалось того же цвета, что и волосы.

— К черту! Пошли отсюда, — говорит он мне. — Пошли.

— Эй, погоди, погоди минутку, детка! — быстро заговорил Ласситер. — Постой! Я пошутил. Он не дурачок, конечно. Ты меня не понял. Он просто себе на уме. Будь же разумным мальчиком. Я же не сказал, что он *дурак*. Давай я принесу тебе самые лучшие стимеры.

Со сжатыми кулаками Кеннет посмотрел на меня, но я никак не отреагировал, предоставив его самому себе. Он опустился на стул.

— Вы же взрослый человек, — сказал он Ласситеру. — Господи! Зачем обзывать людей!

— С рыжими лучше не связываться, Ласситер, — отозвался из своего угла толстяк. Ласситер пропустил его слова мимо ушей.

— У меня есть для тебя несколько прекрасных стимеров, детка, — сказал он Кеннету.

— Хорошо, мистер Ласситер.

Ласситер спотыкался на каждом шагу, идя по проходу.

Когда мы уходили, я сказал Ласситеру, что стимеры были чудесные, но он озабоченно смотрел на Кеннета, покуда тот не похлопал его по спине.

Мы сели в машину, и Кеннет захлопнул дверь и удобно вытянул ноги до упора. Я еще сделал пять миль до Ричмэн-Поинт, потому что понял, что мы хотим туда оба.

Здесь я поставил машину на наше обычное место, мы вышли и зашагали вниз с камня на камень к месту, которое Холден по ему одному известной причине называл Камень Мудрости. Океан делал свое большое, размеренное дело — гнать и бросать волны. Кеннет шел впереди... балансируя разведенными руками, как канатоходец. У меня ноги длиннее и я мог переходить с камня на камень — одна рука в кармане. Я все же был старше его на несколько лет.

Мы уселись на Камне Мудрости. Океан был спокоен и хорошего цвета, но что-то мне в нем не нравилось, солнце зашло за тучи. Кеннет что-то сказал мне.

— Что? — переспросил я.

— Я забыл тебе сказать. Получил сегодня письмо от Холдена. Прочитаю тебе. — Он достал конверт из заднего кармана шорт. Я смотрел на океан и приготовился слушать. — Прочту самое главное. Заголовок такой, — сказал Кеннет — и начал читать письмо, написанное по всей форме.

Лагерь Хороший Отдых для олухов

Пятница

Дорогой Кеннет!

Это место вонючее. Я никогда не встречал так много крыс. Ты обязан лезть из кожи вон и ходить в походы. У них здесь соревнование между белыми и красными. Полагаю, что я белый. Но какой я им белый. Я скоро вернусь домой и буду очень рад быть с тобой и Винсентом и есть вместе с вами стимеры. Они здесь едят яйца, сплошные ежедневные яйца, они даже не ставят на лед молоко перед тем, как его пить.

Каждый обязан петь песни в столовой. Есть тут такой мистер Гровер, который считает себя великим певцом. Вчера вечером он старался заставить меня петь вместе с ним. Я не стал, потому что не люблю его. Он улыбается тебе, но ты чувствуешь, что он ждет своего часа. У меня есть 18 долларов, которые дала мама, и я наверно скоро приеду домой, или в субботу, или в воскресенье, если этот человек уедет в город, как он говорил, и я смогу сесть на поезд. Они устроили мне бойкот за то, что не хочу петь в столовой вместе с мистером Гровером. Никто из этих крыс не хочет со мной разговаривать. Есть один приличный парень из Теннесси, где-то одних лет с Винсентом. Как там Винсент? Скажи ему, что скучаю по нему. Спроси его, читал ли он про коринфян. Коринфяне — это из Библии, это очень здорово, Вэб Тэйлер читал мне кое-что об этом. Плавать здесь тоже гнусно, потому что здесь никаких волн, даже самых маленьких. Что за интерес без волн, ты никогда не боишься, что тебя перевернет вверх тормашками. Плынешь к плотнику вместе со своим напарником. Мой напарник Чарльз Мастерс. Он такая же крыса, всегда поет в столовой.

Он в команде белых, он у них капитан. Он и мистер Гровер — это 2 самые большие крысы, из тех, что я встречал, а также миссис Гровер. Она старается

быть как бы твоей мамой и все время улыбается, но она такая же как и мистер Гровер. Они закрывают хлебницу на замок на ночь, чтобы никто не делал сэндвичи. Они уволили Джима, и за все, что ты тут имеешь, ты должен платить по 5 по 10 центов, а родители Роберта Вилкокса не дали ему ни цента. Я приеду скоро, наверно в воскресенье. Я очень скучаю по тебе, Кеннет, также по Винсенту, а также по Фиби. Какой сейчас у Фиби цвет волос? Могу поспорить, что рыжий.

Твой брат Холден Колфилд

Кеннет вернул письмо с конвертом в задний карман. Он поднял гладкую красноватую галечку и разглядывал ее, переворачивая, будто проверял, нет ли изъёмов в ее симметрии, затем он сказал, обращаясь скорее к галечке, чем ко мне:

— Он совсем не умеет идти на компромисс. — Он посмотрел на меня с горечью. — Он просто маленький, но взрослый ребенок, и не способен на компромиссы. Если он не любит мистера Гровера, он не будет пить в столовой, хотя понимает, что если запоешь, то все оставят тебя в покое. Что с ним будет дальше, Винсент?

— Думаю, он научится идти на компромиссы, — сказал я, но сам не верил в это и Кеннет это знал.

Кеннет сунул гладкий камешек в карман шортов и посмотрел на океан с приоткрытым ртом.

— Знаешь что? — сказал он. — Если я умру и все такое, знаешь, чего бы я хотел? Он не ждал моего ответа.

— Я бы хотел остаться во всем, что вокруг, — сказал он. — Хотел бы остаться, хоть на время.

Его лицо стало торжественным, насколько лицо Кеннета может быть торжественным; то есть без тени победы над кем-то и показухи. Океан стал грозным. Он был полон кегельных шаров. Кеннет встал с Камня Мудрости и выглядел счастливым от чего-то. Мне показалось, он собрался пойти поплавать. Я не хотел, чтобы он шел плавать среди этих кегельных шаров.

Он сдернул ботинки и носки.

— Пошли в воду», — сказал он.

— Ты хочешь остаться в мокрых шортах? — спросил я. — На обратном пути тебе будет холодно. Солнце садится.

— У меня еще есть пара под сиденьем в машине. Давай! Пошли.

— Смотри, схватишь судорогу, с полным животом моллюсков.

— Я съел только три.

— Постой! Не надо!.. — Я старался его удержать. Он как раз стаскивал через голову свою рубашку и не расслышал меня.

— Что? — сказал он, когда его лицо избавилось от рубашки.

— Ничего. Только недолго.

— Может, все-таки пойдешь?

— Нет. У меня нет шапочки. — Он воспринял это как шутку, и хлопнул меня по спине.

— Да брось ты. Пошли.

— Иди сам. Мне сегодня не нравится океан. В нем полно кегельных шаров.

Но он меня не слышал. Он уже бежал по песчаной полосе. Мне хотелось схватить его и утешить обратно и увезти скорей.

Когда он закончил резвиться в воде, он пошел на берег сам по себе, без моих призывов. Вышел из воды... уже было ему по шиколотку... миновал мокрую песчаную кромку, оставляя следы на ней... ничего такого странного я в нем не заме-

тил... разве что голова как-то была опущена... И тут, едва достиг он сухого песка, океан швырнул в него последний свой кегельный шар. Я заорал что было силы его имя и, как безумный, бросился к нему. Не осматривая его, я схватил его и понес бегом к машине. Я посадил его на сиденье и ехал мило-другую, бережно ведя машину. А затем стал выжимать из нее все, на что она была способна.

Я увидел Холдена, сидевшего на веранде, раньше, чем он меня. Его чемодан стоял рядом с креслом, и он ковырялся в носу, пока не заметил нас. А когда увидел, он заорал имя Кеннета.

— Пусть Мэри вызовет доктора! — сказал я, задыхаясь. — Номер телефона там рядом! Красным карандашом.

Холден снова заорал:

— Кеннет! — Он рванулся своей чумазой рукой к лицу Кеннета и смахнул, почти сбил с его носа прилипший песок.

— Быстрее, Холден, черт возьми! — сказал я, пронося Кеннета мимо него. Я слышал, как Холден пробежал по дому к Мэри на кухню.

Через несколько минут, еще до прихода доктора, приехали отец с матерью. С ними был один чувак, который играет в ихнем шоу молодого любовника. Сквозь окно комнаты Кеннета, я замахал маме руками, и она, как безумная, рванулась в дом. Я коротко сообщил ей, что случилось; потом спустился вниз мимо взбегавшего наверх отца.

Затем, когда доктор и папа с мамой были в комнате Кеннета, Холден и я ждали на веранде. Герой-любовник обретался тут же непонятно зачем. Наконец он сказал мне тихо:

— Пожалуй, я пойду.

— Правильно, — сказала я рассеянно. Только актеров здесь не хватало.

— Если что-то такое...

— Ступайте домой, приятель», — сказал Холден.

Чувак грустно улыбнулся ему и двинулся уходить. Но ему было неловко уходить просто так. Он был смущен и перекинулся несколькими словами с Мэри, прислужгой.

— Что с ним? Что-то с сердцем? Он же совсем ребенок, да?

— Да.

— Пожалуйста, идите домой.

После всего мне почему-то хотелось смеяться. Я рассказал Холдену, что в океане было полно кегельных шаров, и «маленький дурачок» кивнул головой и сказал:

— Да, Винсент, — будто понимал, о чем я говорю.

Он умер в восемь десять вечера.

Может, все, что я здесь рассказал, заставит его покинуть этот мир. Он был вместе с Холденом в Италии, он был со мной во Франции, Бельгии, Люксембурге и в части Германии. Мне это непросто переносить. Ему не стоит больше оставаться здесь.



Виктор Каган

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕБЯ

*Людмила Чумакина — Дневник Сиделки. Стихи 2000-2014.
М.: Фонд Сергея Дубова. 2015. 128 стр.*

Карта современной русской поэзии видится мне не подобием школьных конгурных карт, которые каждый пишущий о поэзии раскрашивает по своему вкусу и разумению, а динамичным и изменчивым многомерным пространством. Его геометрия не укладывается в статичную двумерную схему, где по горизонтали известность, а по вертикали место в табели о рангах. И пока одни оплакивают умирающую поэзию, а другие говорят о её расцвете, она живёт, оставаясь собой и меняясь вместе с жизнью.

Один из векторов этих изменений связан с взаимодействием традиционности и проектности культуры, частью которой является поэзия.

На полюсе традиционности человек погружён в достаточно жёстко заданную систему мировоззренческих и культурных координат с чёткими границами правильного и неправильного, по существу упакован в свою социальную роль, если не идентичен ей — знает, кто он и для чего. Он индивидуален постольку и настолько, поскольку и насколько может отвечать требованиям мира, частью которого является. Поэт на этом полюсе отображает внешний мир и в лучшем случае себя как его часть.

На полюсе проектности человек творит не только мир, но и самого себя, он не идентичен заданной социальной роли и ищет себя, существуя в поле неопределённости, напряжения поиска с возникающими при этом проблемами смысла жизни, выбора собственных путей в ней и т.д. Здесь в эпицентре оказывается внутренний мир поэта, его индивидуальность, поиск собственной идентичности в разговоре с мирозданием: «Скучно перешёптываться с соседом. Бесконечно нудно бурлить собственную душу. Но обменяться сигналами с Марсом — задача, достойная лирики, уважающей собеседника и сознающей свою беспричинную правоту» (О. Мандельштам).

Разумеется, жизнь и поэзия не сосредоточены на этих полюсах, а разворачиваются в создаваемом ими поле. Читатель волен сам, если захочет, посмотреть с этой точки зрения на поэзию, сравнить время, поэтов, их произведения. Я же лишь хочу подчеркнуть, что персональность поэзии сегодня выступает не только в смысле степени и индивидуального почерка ремесла/искусства, но и прежде всего в смысле её экзистенциальности — фокусирования на переживании мира в себе и себя в мире в поисках ответа на вопрос: «Кто я?». На этот же вопрос ищет ответа и читатель, находя или выбирая «своих» поэтов для чтения-диалога.

Одиннадцать лет назад Сергей Чупринин писал, что в России 14 000 поэтов пишут и издают свои стихи при удручающем минимуме читателей, назвав такое положение национальной трагедией. Сегодня эти цифры ещё больше (я не говорю о так наз. сетевой поэзии — только на сайте стихи.ру около 650 000 авторов). Но национальной трагедии в отмеченном С. Чуприниным не вижу — искусство, как заметил Ст. Е. Лец, должно быть понятно... тем, кому оно предназначено. Пайковая подцензурная публи-

кация закончилась, и в свободных россыпях стихотворчества каждый может искать и находить своё. Время, когда дежурной фразой рецензента было: „Автор не нуждается в представлении читателю“, прошло. Людмила Чумакина — поэт поколения шестидесятников-семидесятников, не тусующийся и не тусуемый. Это первая моя обстоятельная встреча с ней как автором, хотя в аннотации сказано, что у неё четыре книги стихов и прозы, что она печаталась в почтенных „толстяках“, а о её творчестве хорошо отзываются Г. Померанц и З. Миркина, Л. Миллер, М. Черненко.

В книгу вошли 95 написанных в 2000-2014 гг. стихотворений. Почему „Дневник Сиделки“? Не только потому, что многие годы Автор была в прямом смысле сиделкой, ухаживая за беспомощными больными. Но и потому, что книга — отражение переживания себя в страдающем обществе и человечестве, речь Сиделки с большой буквы:

*Я вся из этого расту.
Не пронесите чашу мимо.*

Стихотворение, которое хочу привести целиком:

*Я написала повесть о болезни.
Про одного психически больного.
Он заходил в палаты обречённых
И развлекал их странными речами.
Он говорил, что за грудною клеткой
Лежат его труды и сочиненья,
Что рукописи эти прибывают
И душат, дорастая до гортани.
И умолял лежащих обречённых —
Просить его работы на прочтенье.
Он каждый день слонялся по палатам
И говорил об этом, задыхаясь.
И я его однажды пожалела
И попросила повесть с продолженьем,
и каждый день внимательно читала
и каждый день хвалила его повесть.
Однажды он шепнул мне благодарно,
Что у него закончились удушья,
Что он спросить о повести намерен:
Могли ли я сказать — о чём читала?
Глаза его серебряно светились,
А кожа совершенно почернела.
Тогда я посмотрела в дальний угол.
И вспомнила классический отрывок.
И так, не шелохнувшись, я читала
Чужие гениальные страницы.
А он лежал, спокойно засыпая.
И умер той же ночью без удушья..
Теперь сама я на него похожа.
Слова меня безудержные душат.
Они скопились за грудною клеткой,
И я их выгребаю, как из ямы.*

*Написана и повесть с продолженьем.
И я её даю читать знакомым.
Ночами я хватаю лист бумаги
И в темноте царапаю страницу ...*

*Когда-то я придумала Больного —
И вымысел никак не расхлебаю.*

Переплетаясь и перетекая друг в друга, реальность и переживание порождают ассоциативные поля, в которых переживание и есть единственная реальность. Взгляд из себя на себя, под которым видения превращаются в видение.

«Жить по-настоящему больно» — говорит Микеланджело у Карела Шульца. На этой жизнетворящей боли, связывающей человека и Бога, настояны стихи Людмилы Чумакиной.

*... Что ни поклон — паденье и ушиб.
Я две непримирившиеся части.
Меня волнует в раздраженьи дней
Куда сильнее нежности и счастья
Библейский стих про бесов и свиней
И вялость вены Божьего запястья.
...
Меня тревожат вялость и порыв!
Они меня всё делят — не поделят.
Я снова устремляюсь на обрыв —
И снова мне внизу солому стелят.
Всё я да я — так много здесь меня,
Что кажется, что я одна у Бога,
Что всё-то здесь — со мной одной возня,
Что даже гибнут все из-за меня
Затем, чтоб пожила ещё немного ...*

Бог у Людмилы Чумакиной не хрестоматиен, не доска в красном углу, но Тот, к кому обращаются движимые сомнениями и стремлением, вслушиваясь и всматриваясь, натягивая нить между по-земному щемящей «вялостью вены Божьего запястья» и:

*Какая тайна у меня в руке?! —
Последний вздох отца, последний выдох ...
Кого, отец, ты изумленьем выдал?
Ты с этим «кем-то» был накоротке?
Он так же твою руку мял в руке?
В твоих глазах застыло изумленье ...
Ты показать хотел Его явленье?
Или ... всё дело в воздуха глотке?!*

И в другом стихотворении:

*И я заплакала повинно,
склонясь над папиным лицом,
когда накромянная глина
напластовала этот холм.*

...

*Какие скудные помини:
от всех зарытых — всем векам
льняные глины, глины, глины,
печально льнущие к рукам.*

*Земную жизнь ополовинив,
впадаю в плач о пуповине.
Слезами брызжут облака ...
А я всё нянчу тело глины,
как тело папы-старика.
И с Богом не в ладах пока.*

Читаю и невольно вспоминаю Ангелуса Силезиуса (1624-1677): «Бог жив, пока я жив, Его в душе храня. Я без Него ничто, но что Он без меня?». Он является там и так, где и как по мнению ханжей от религии ему вовсе не место. Вспоминая конец семидесятых, Автор пишет:

*В то лето нас было тринадцать.
И мы начинали меняться:
засиживаться по-библейски
в застольях эпикурейских.
Давя локотками на доску,
мы выжали водки и воску
в те ночи, как крови на бойне.
Нас было тринадцать в обойме.
На лучшей окраине бедной
в то лето от яблони медной
плодами пропахла квартира,
как при сотворении мира.
Мы яблок наелись до Спаса
с хозяином зеленоглазым.
Лицо его, взятое с фрески,
ночами казалось библейским.
Справляла Земля именины.
От яблок ломились корзины.
И пряди волос Магдалины
Запутаны были и длинны.
Бренчал на гитаре Иуда.
И в тазике мылась посуда.
На круглое Ирода блюдо
арбуз водворялся, как чудо.
Но блюдо всегда протекало ...
И скатерть под ним намокала ...
Алела арбузная рана.
как срез головы Иоанна ...
Тем летом ... Противясь запретам ...
За водкой и Новым Заветом —
мы все перебрали немного ...
зато пировали у Бога.*

Проступая и в отдельном стихотворении, и в контексте книги, взаимные аллюзии и ассоциации божественного и земного, я бы сказал — о заземлении божественного и обожествлении земного, складываются в ту картину поиска мира в себе и себя в мире, о которой я говорил в начале.

*... «Си-ля-соль-фа-ми-ре-до ...» — Фи! —
Вот и нот разворот в финал ...
Листик фиговый разграфив,
Кто же гаммой не начинал?!*

*Всё фатально в родном краю:
«до» — в начале и «до» — в конце ...
Может, брат мой с отцом — в раю
Удят рыбицу в озерце? ...*

И даже в каждодневном земном труде звучит библейский голос:

*Шестую мою дверь
И думаю о Боге.
Ты, дверь, меня измерь,
Мы обе на пороге.
И грязь на нас одна,
И бьёмся непрестанно,
И пот с водой по нам
Стекает Иорданом.*

*Вершится труд пустой
В шестом квадрате суши ...
(когда-то Бог водой
мне душу оглушил).
И опознав любовь,
Открыв её наличие,
Я человечесью кровь —
На кровь меняла птичью ...*

*Теперь на зов потерь
Упав с небес на сушу,
Выдраиваю дверь,
Задраивая душу.
Пускаю в труд пустой,
Извилинам внимая.
А за доской шестой —
Немытая седьмая.*

*Я деревом лечусь,
Язва гвоздём ладони ...
Покуда не скачусь
На дно своих агоний.*

Это не покорно-смирное нерассуждающее принятие, а смирение как смирение — бытие с миром-какой-он-есть, исполненное усилий принять и понять его

и себя в нём. Даётся оно тяжело — высокое то и дело упирается в реальность неподвластного нам земного, испытывающего на прочность. Здесь в стихах начинают звучать ноты гражданской лирики, но — воспользуюсь сопоставлением Анатолия Добровича — не проповеднической, а исповедальной, выговариванием своего переживания мира прежде всего для того, чтобы самой в него вслушаться. Тоже пронизанность болью, но болью уже не сиделки у постели беспомощных людей, а болью Сиделки, страдающей стране и миру, болью их самоопределения и самоопределения в них.

*Прособирались! Протрепались!
Всё о высоком, дорогой!
Морозных гласных наглotalись
Под пугачёвскою пургой.
Как из огня — полуодеты,
Одной ногой стоим ... в снегу,
А наши кони мчатся где-то,
Наваливаясь на пургу!
Ах, наши кони, наши кони ...
В санях всё — шубы, в шубах — мразь.
Мы, дорогой, с тобой засони!
Чиновники на наших кóнях
Умчались в снег — на чью-то казнь.
Пле-вать, чья задница на троне!
Пле-вать, кто там за кем в погоне!
Но лошадей безумно жаль ...
Ведь их запорют и загонят ...
А нам останется печаль.
Ведь мы хотели по метели
В такие выехать поля,
Чтоб заблудиться в самом деле,
Забывать, где небо, где земля.
Чтоб только снег и Божья воля
И колокольчик под дугой,
И — сон, как явь, и — хватит боли!
Но нет лошадок, дорогой!*

Но:

*... Всё учтено. Всё неучтиво
в стране без Божьего величья.
Ведь то Его прерогатива
менять нам имя и обличье.
Не здесь. Не сходу. Не прилюдно.
Незримо действие мировое ...
Есть где-то в небе абсолютном
озон и зона без конвоя.*

И стихотворение „Двухтысячные“:

*Всё прошедшее, ушедшее —
этой осенью больней ...*

*Ходит время сумасшедшее —
гонит бесов из свиней.*

...

*Расчищает место людное
для могильной красоты ...
Время — бранное и мутное —
для кого, откуда ты?!
Не поймёт душа сиротская
этот чёрно-красный год,
это адское и скотское
толкование свобод.*

Зинаида Миркина в беседе с Эмилем Сокольским сказала: „Духовный реалист ничего не выбирает и ни от чего не отталкивается. Он ощутил реальность непреходящей красоты и узнал на опыте, что безобразия, болезнь и смерть не обладают полнотой реальности. И он знает, что должен вынести на своих плечах эту неполную реальность, черпая силы в другой, внутренней — полной. Не прятаться от боли и смерти. Не убежать. Надо иметь мужество доглядеть до конца фильм ужасов. Но знать, что это — фильм, а я — смотрящий — реальность“. И лишь в ней под напластованиями реальности внешней открываются истинные значения вещей и событий.

*Замри весь мир
на малый срок!
Замрите звуки
на мгновенье!
Замри кладбищенский
вьюнок!
В сомнамбулическом томленьи
Мать камню говорит: „Сынок ...“.*

Стихи Людмилы Чумакиной хочется читать, а не говорить о них, но жанр обязывает... Они шершавы, шероховаты — их ощущаешь, как ткань суровой нити с её узелками, переплетениями, разрывами. Начётчики от литературной критики могут укоряюще-назидательно потыкать пальцем в то-сё. Но её стихи — как холщовая рубаха, через которую ощущаешь тёплое биение сердца, которое может потеряться под искусственной красотью ткани. Сама она в посвящённом Зинаиде Миркиной стихотворении пишет:

*Мой неправильный слог
Нынче вовсе не гожд.
Горлом чую комок.
Сердцем чувствую дрожь.
Кто меня оглушил?
(Словеса мои — хлам).
Кто-то мне приложил
Палец к самым губам.
Кто-то мне намекнул
Поразмыслить потём.
Кто-то в губы мне ткнул
Полудетским перстом.*

*Эти соты очков,
Губ и слов полнота —
Это соты сачков,
Чья изнанка чиста.
И сижу я бочком:
Мотылёк — нагота,
Сдвинув плечи — торчком,
Сжав до точки уста.*

Маргарита Дубова — вдова Сергея Дубова и президент издавшего книгу его Фонда — пишет в коротком предисловии: „Сиделка-поэт отважно решилась предъяснить своему исповеднику — читателю — всю нескончаемую внутреннюю полемику с Богом, с самой собой, если коротко — драму *человека без кожи*. Чтение таких остро-болезненных, отчаянно доверчивых откровений в стихах требует от читателя определённой зрелости и мудрости. А для кого-то — и личного опыта“.

Кто-то из больших, знающих цену слову поэтов сказал, что если в книге есть четыре-пять отличных стихотворений, книга состоялась. Книга Людмилы Чумакиной безусловно состоялась.



Шуламит Шалит

Я ПОМОГАЮ СОЛНЦУ РИСОВАТЬ

Штрихи к портрету Эльзы Ласкер-Шюлер
(1869-1945)

В причудливой странной одежде она бредет по сумеречным — будто со вчерашнего вечера — улочкам Иерусалима. Добрые скажут вслед: *бедная*, злые: *ведьма с клюкой*. Но все-таки понемногу светает. Мальчишки, обычно улюлюкающие ей вслед, еще не проснулись, опасаться ей некого.

Молодой человек, то ли араб, то ли йеменский еврей, расклеивает афиши. Она останавливается. «О, он вернулся! Царь Давид вернулся в свой город!»



Последний прижизненный сборник стихов Эльзы Ласкер-Шюлер
(Таршиш, И-м, 1943. Тираж 330 экз. Издатель Моше Шпицер)

Поэт Иехуда Амихай с грустной улыбкой признается, что и он хохотал с мальчишками при виде согбенной смешной старушонки. А спустя годы, в 1969-м, именно в его переводах выйдет первая книга стихов Эльзы Ласкер-Шюлер на иврите. Ее приятельница Рахель Катинка расскажет, что пригласила как-то поэта Карива (Авраам Криворучко-Карив) послушать стихи Эльзы. Он хорошо знал немецкий. «Она пришла в чем-то бархатном и шелковом, аккуратно причесанная. В ушах деревянные серьги, купленные в Бейт-Лехеме и раскрашенные ею в люби-

мый синий цвет. Села, велела и нам сесть, но в отдалении, на ковре, и читала три часа подряд. Назавтра я сказала ей, что Карив просит разрешения перевести ее стихи на иврит. Она подняла удивленные глаза: «Но они ведь написаны на иврите!». Впрочем, поэт Ури-Цви Гринберг слышал от нее ту же фразу еще при их первом знакомстве в Германии, в 1920-х годах. В любом случае, она запретила переводить свои стихи. Вот почему переводы на иврит появились так поздно.

Стихотворение Эльзы Ласкер-Шюлер «Мой синий рояль» (“Mein blaues Klavier”) дало название и ее последнему прижизненному сборнику поэзии. Он был опубликован в 1943 году в Иерусалиме.

Музыкальный опус № 34 композитора Пауля Бен-Хаима (при рождении — Франкенбургер, 1897-1984) был написан тогда же и там же. Оба, и поэт и композитор, принадлежали немецкой культуре, но клеймо другой национальной принадлежности привело их в канун Второй мировой войны в Иерусалим. То ли они чувствовали себя одинаково одиноко, то ли композитор прочел накануне стихи поэта и под впечатлением от них написал музыку, но не может не поразить, насколько точно в его музыке соблюдена динамика ее поэтической интонации, а местами чудится даже и ритмика и рифмовка.

Музыку словами не воспроизвести, поэтому вам придется искать этот опус самим. Может, стоит сказать, что он состоит из 5 частей, и в каждой из них есть фрагменты, на которые можно с легкостью читать — по ассоциации или по контрасту — стихи Эльзы Ласкер-Шюлер. Вам же остается поверить слуху и чувству, испытанным автором.

*В доме моем рояль стоял
небесно-синего цвета.
Его убрали в темный подвал,
когда озверела планета.
Бывало, месяц на нем играл,
пела звезда до рассвета ...
Сломаны клавиши.
Он замолчал.
Для крыс ненасытных прибежищем стал ...
синяя песенка спета.
Горек мой хлеб. Если б ангел знал,
ах, если б ведал он это —
при жизни мне б на небо путь указал,
вне правила и запрета.*

(Пер. с нем. Грицковой)

Это один из первых переводов стихотворения «Мой синий рояль». Есть и более новые. Вот еще один из обнаруженных в интернете:

*Мой синий рояль давно затих,
Да я и играть не умею.*

*Он высох в подвале от тоски,
Когда наш мир стал грубее.*

*Играют звёзды в четыре руки
— Лунная дева пела —*

*Танцуют крысы, рояль скрипит,
От стука клавиш нюют виски,
Я плачу над мёртвым телом.*

*Ах, милый ангел, помоги —
— Я вкусила горького хлеба —
Открой мне запрету вопреки
При жизни ворота в небо.*

(Пер. Н. Кожевниковой)

И не знающий немецкого языка расслышит виртуозную рифмовку в этом стихотворении: «клавир, вир, геклир, мир»; затем близкие «келлертюр, клавиатур, Гиммельстюр»; и наконец «ноте, веротте, Ботте, тоте, вроте, ферботе». Часто говорят, что поэзия это то, что непереводаемо на другой язык, а на язык музыки переводимо? Спасибо ему, дорогому Пауло Бен-Хаиму, — так хочется отвлечься и рассказать и о нем тоже, но сегодня наш рассказ о его дважды землячке — о поэте, близком ему по духу и мироощущению.

Случай Эльзы Ласкер-Шюлер особенный и для своего времени не характерный. Она родилась в Германии, немецкий был ее родным языком, только на нем она могла выразить любовь и боль, но вот чудо! — в отличие от других почти с рождения несла в душе какую-то генетическую память о Царстве иудейском и далеком Иерусалиме. Ури Цви Гринберг считал Эльзу Ласкер-Шюлер как и Генриха Гейне — самыми настоящими еврейскими поэтами, хотя ни она, ни он не писали на еврейском, и оба, хотя их книги и жгли на кострах, стали и остались классиками и гордостью немецкой литературы.

Эльза Ласкер-Шюлер была человеком, у которого большую часть жизни не бывало своего собственного жилища, но зато как дома она чувствовала себя на страницах Танаха. Поэт Натан Зах, который в 1997 году издал книгу переводов поэтессы, говорит в предисловии, что Ласкер-Шюлер читала Танах, как цветные сказки, как если бы до нее никто этой книги не читал.

Библейские герои довольно рано стали для Эльзы Ласкер-Шюлер вполне живыми и реальными людьми.

Об Иосифе: *«Ветры устало играли с пальмами, / когда продавали Иосифа.
/ Уже в полдень было темно, / и он не смог увидеть ангела, / посылавшего с неба привет.
/ А люди чужие связали сына Иакова / И так крепко, / что кожа его почти заржавела / вместе с железом».*

О праотце Иакове: *«Иаков был бизоном своего стада. / Искрами рассыпалась земля под его ногами. / Рыча, уходил он от братьев своих пятнистых. / Лесом он мчался к реке — / Смыть кровь обезьяньих укусов. / Но боль скрутила усталое тело / И свалился под небом бизон, подыхая. / А на морде его всплывала улыбка».*



Оба отрывка из цикла «Древнееврейские баллады». Она писала их в 1913 году. Каждое стихотворение в нем посвящено одному или двум библейским героям: «Авель», «Авраам и Ицхак», «Рут», «Суламифь», «Эстер», процитированные фрагменты — из «Иакова» и «Как продавали Иосифа». «В этих балладах, — писала замечательная переводчица и знаток немецкой литературы Евгения Фрадкина, — простор пустыни и прохлада шатров, грация и нежность еврейских девушек, сила воинственного народа». Мне помнилось, что я читала когда-то статью Фрадкиной о поэтессе, единственную тогда (1990-е?) статью на русском языке, которая встретила меня в Израиле. Но когда это было? И где искать? Может, в той статье были переводы стихов? На русском языке я нашла тогда перевод только одного стихотворения Эльзы Ласкер-Шюлер. Ее «Молитва» опубликована была в книге «Строфы века-2» (составитель Евгений Витковский). Вот коротенький отрывок из «Молитвы»:

*...Любовь как дар я миру принесла,
Чтобы вдохнуть биенье жизни в плоть.
Бессонницей себя я извела,
Но каждый вздох мой охранял Господь.*

*Господь, покров твой — мой надежный дом.
Я — донный слой в бокале шаровом.
Когда ты всех навеки успокоишь,
Меня не бросишь в хаосе пустом
И новый шар вокруг меня построишь...*

(Перевел А. Парин)



Обложка книги Эльзы Ласкер-Шюлер в переводах
Натана Заха. Коллаж худ. И. Тумаркина. 2011

На других языках ее книги издавались постоянно. На иврите, так мне кажется, музыка ее стиха не звучит совершенно. Могу и ошибаться, конечно. Но на русском, с его традиционным силлабо-тоническим стихосложением, она может прозвучать достойно и иногда уже звучит...

Нет больше милой и славной Жени Фрадкиной. Мы бы вместе посмеялись над моими усилиями вслед за ней привлечь внимание талантливых переводчиков к стихам Эльзы Ласкер-Шюлер. Но помню, что разыскала позже, к большой радости, ее сына, Даниэля Фрадкина. Знала, что он музыкант, от Жени, но мы не были знакомы, уже после ее ухода я убедилась, что и он блестяще пишет, но о музыке. Даниэль прислал мне ту давнюю статью его мамы. Ей все-таки удалось то ли найти два перевода, то ли кто-то сделал их по ее просьбе. Первый — «Мой синий рояль» в переводе Грицковой (личное имя не названо) — вы прочли в начале этого рассказа, а вот и второй — «Сумерки», в переводе Морозкиной (тоже без имени):

*Устало я глаза полузакрyla.
На сердце у меня туман и мгла,
и руку жизни больше не нашла,
которую когда-то отстранила,
и вот меня безмерно поглотила
и во плоти на небо увлекла,
а раннюю порою я цвела,
ночь радостно меня взрастила,
мечта своей волибою напошла,
теперь от цвек моих бледнеют зеркала.*

(Пер. Морозкиной)

Е. Фрадкина: «*Несмотря на текстуальную точность, перевод этот, к сожалению, не передает ни силы оригинала, ни его прелести*».

И ей пришлось, как мне сегодня, хотя прошло столько времени, передавать отдельные строки или отрывки стихов подстрочно. Вот строки, понравившиеся Фрадкиной: «*Я вытряхиваю мои стихи из рукава и осыпаю ими землю с небес*», «*Чем я пишу мои стихи? Рукой души и крылом*», «*Я слышу, как вздыхают твои шаги*».

Позволю себе «оживить» и некоторые свои переводы — в попытке передать поближе к тексту фрагменты отдельных стихов, которые остановили мое внимание.

«*Вечером*»: *Мне захотелось петь. / Но почему? Не знала. / А вечером так горестно рыдала. / От всех предметов исходила грусть. / Она сгустилась. / И тучей упала мне на грудь.*

Сын Эльзы Ласкер-Шюлер ушел из жизни совсем юным. Он мог бы стать большим художником. Они вместе сживали в кафе, много разговаривали. Остались его прекрасные наброски: изображения матери и портреты ее знакомых. Строки памяти сына:

«Каждый раз ты будешь снова умирать / В годовщину нашей разлуки».

Мне вспомнились эти две строки на кладбище в Зихрон-Яков. Хоронили подполковника Эйяля Вайса. Его жена, Шир, и их семимесячная дочь остались сиротами. Шир на экране телевизора была спокойна, и я удивилась неправдоподобной выдержке молодой женщины. Теперь же, рядом, живая, она тихо рыдала. Всю очень долгую церемонию, при огромном скоплении людей, она плакала не переставая. Жизнь сломана. И я подумала, что через год, и два, и десять, когда все меньше людей будут приходить с ней на кладбище, она будет чувствовать то, что сказала Эльза Ласкер-Шюлер: «*Каждый раз ты будешь снова умирать / В годовщину нашей разлуки*». Б-же мой, где и когда оживают иногда стихи — строки, в которые ты когда-то и по-

чему-то вслушался, вроде не помнил, но и не забыл... Мне кажется это верным: в речь Эльзы Ласкер-Шюлер надо вслушаться, вслушиваться...

«Еще вздыхают во мне колыбельные песни / Ты плакал над ними до последнего дня»... «Когда зарождается месяц на небе / Он похож на твою улыбку, сыночку».

Про улыбку есть и в другом стихотворении:

«Ангелы срывают твои улыбки / И раздают их в подарок детям».

И еще две строки:

«Стены комнаты этой люблю я, / Юный лик твой на них нарисую».

А вот о любви. *«Я знаю, всегда, когда ты думаешь обо мне. / Сердце твоё становится младенцем и кричит».*

«Я помогаю солнцу рисовать / На стенах всех домов / Твою красу, любимый». *«Глаза не указывают мне дороги, как звезды».* *«Всегда просить буду милостыню у твоей души».*

Надеюсь, что хоть чуточку обаяния ее любящей и поэтичной души мне удалось передать вам.

Ури Цви Гринберг, поэт, человек острого ума и пера, считал ее не только хорошим еврейским поэтом, но и очень мудрым человеком.

Философ Вальтер Беньямин полагал, что она чересчур истерична, но очень любил ее стихотворение: *«Давид и Йонатан».* Она писала: *«В Танахе мы изображены в обнимку — в россыти красок. / Наши юношеские игры продолжают на звездах. / Я — Давид. Ты — товарищ мой по играм. / Мы раскрасили наши сердца алым цветом. / Как бутоны любовных напевов под праздничным небом. / Но глаза твои в час прощанья! — / Ты всегда расстаешься с тихим поцелуем. / Что твоё сердце — без моего? / Сладок ли сон твой — без песни моей?»*

А Франц Кафка ее не любил. Он писал невесте: *«Таскается пьяная по ночам из одного кафе в другое».*

Таких, как она, живущих только по своим законам, любить трудно. Им тяжело и с ними нелегко. Ей с самого начала не нравилось устройство мира. С годами это ощущение только усиливалось. Поэтому она создала свой мир — из фантазий, экзотики далеких и неведомых стран, меняла свой облик, давала причудливые имена себе, и друзьям, и любимым. Вот она поверяет душевные тайны выдуманному другу-индейцу (роман в письмах *«Мое сердце»*), а вот с легкостью перелетает в пленительные страны Востока (сборник лирической прозы *«Ночи Тино из Багдада»*). Но, создавая новую реальность, она умела иронично огнестись к этим своим придумкам, обозначив их коротко и просто *«Мои чудеса»*. В детстве мать читала ей стихи Гете, рассказывала истории о прекрасном и мудром Иосифе, правителе при египетском фараоне, сказки *«Тысячи одной ночи»*. Из смесившегося этого возник ее экзотический двойник, ее фантастический еврейско-египетский принц Юсуф. Юсуф это она сама, и Малик, что по-арабски *«царь»*, тоже она, и Тино из Багдада, а еще Робинзон, а когда ассоциировала себя с библейскими персонажами, то была Авигайль, так именно представила ее поэту Ури Цви Гринбергу: *«Она называет себя Авигайль, так велела себя величать, на всех прочих языках она Принц Юсуф из Тэбай (город в древнем Египте — Ш.Ш.), представляете себе такое в центре Берлина».*

В ее феерическом, фантазмагорическом мире причудливо уживались запад и восток, живопись и графика, были и сказки.



Принц Юсуф — один из любимых героев в поэзии Э. Ласкер-Шюлер



Она рисовала себя — Юсуфа, всегда в профиль, всегда грустным, обычно с опущенной головой, и этот образ узнаваем, как ее фирменный знак, как ее визитная карточка. Она и начинала с живописи, графики, затем всецело отдалась литературе — поэзии, прозе, драматургии. Ее пьесы — это особая тема, скажем только, что она автор трех пьес, одна из них ставилась самим Максом Рейнхардтом, другую фашисты сняли со сцены перед самой постановкой, третью она написала в Иерусалиме. Все пьесы написаны опытной рукой, талантливо, все оригинальны, но и трудны для по-

становки. Эльза Ласкер-Шюлер сама иллюстрировала свои книги и, разглядывая эти обложки сегодня, видишь, что делала она это изящно, иронично, со вкусом.

Один из друзей, немецкий поэт Петер Хилле, назвал ее «Черным лебедем Израиля» — как смоль были ее волосы и такими же черными были ее огромные глаза. На фотографиях она такая разная в разные периоды жизни: в юности — броско красива, в первом замужестве — элегантная дама, потом вдруг стриженная, бросающая вызов сытому бюргерскому обществу.



Тут даже не вызов, скорее — выбор. Вместо уютных ужинов и теплой кровати она предпочитает проводить время в кафе и кабачках, водиться со странными типами (но это же такие интересные люди!) и спать на чердаках. И так не год и не два, так — всегда, до самой старости...

По крайней мере, в старости, зимой, в холодном Иерусалиме, ей полезнее были бы теплая постель и горячая пища, но она отвыкла. Многие стремились ей помочь — и лечивший ее врач, д-р Авраам-Альберт Тихо, муж художницы Анны Тихо, и знаменитый издатель и меценат Залман Шокен, и совершенно удивительный человек Моше Шпицер, ученый с тремя высшими образованиями, именем которого назван известный в научном мире документ «Манускрипт Шпицера» (Franko, E. The Spitzer Manuscript. The Oldest Philosophical Manuscript in Sanskrit. Vol. 1. Wien, 2004, pp. 331-336.). Пишуг, что она была дружна с философом Мартином Бубером, называла его «герр фон Цион».

В Палестину той поры, кануна Второй мировой войны, приехало 55 тысяч беженцев из Германии и, по крайней мере, все знаменитые профессора и люди свободных профессий, зная, кто такая Эльза Ласкер-Шюлер, пытались облегчить ее финансовое положение.

Но что для нее деньги? Она их мгновенно разбазаривала, они ее как будто тяготили. Ела она мало и редко. «Дышу воздухом», говорила о себе, и частично это было правдой. Любимища берлинской богемы начала XX века, она выпадала

из любой масти и любого времени. Она не всех привечала и почти ни с кем не открывалась. Только редкие друзья знали, что в образе Юсуфа, принца из Тэ-бай, нынче это, кажется, город Люксор, она представляла себя правителем в Стране нового искусства.

Из тех, кого она любила, привечала в юности, молодости, никого ведь не осталось.

Одной из близких ей душ был художник Франц Марк. Он принимал правила ее игры. Он, ее «Синий всадник» (по названию журнала, созданного им совместно с Василием Кандинским, и определившего целое направление в искусстве), по просьбе Эльзы-Принца Юсуфа, рисует яркие райские сады, по которым гуляют звери с мечтательными глазами.

Франц Марк изучал филологию, но стал художником. Он писал другу, художнику Полю Клею: «Берлин, в частности, литературный, это воистину вертеп с ведьмами и маленькими дьяволятами, впрочем, и большими тоже». И Василию Кандинскому: «В этом дьявольском вертепе мы (он и его супруга — *III.III*) нашли прекрасного человека — Эльзу Ласкер-Шюлер. Она придет к нам в Зиндельсдорф на несколько недель, и мы очень этому рады». Их поразительная переписка, от «Синего всадника» — принцу Юсуфу и от Юсуфа — «Синему всаднику», интенсивная, поэтично-живописная, длилась несколько лет, до смерти Франца Марка на фронте в 1916 году. Это была счастливая встреча филолога-художника с поэтессой-художницей. В красках и поэзии они искали убежище от серой обыденности. Она хранила их переписку до большого горя. Когда заболел ее единственный сын, Пауль, Эльза продала эти чудесные письма Берлинской Национальной галерее. В 1936 году их выбросили из музея. Много лет спустя они были обнаружены в Италии, а сегодня нашли пристанище в одном из музеев Мюнхена.

Ее приятелями были художник Оскар Кокошка, поэт Георг Тракл, который, как и Франц Марк, тоже погиб на войне, поэт и драматург Клабунд (Альфред Геншке)... Именно Клабунд, как будто угадывая и последующую, неведомую часть судьбы поэтессы (сам он скончался в 1938 году), пишет о своих друзьях, но, в основном, это об Эльзе, и как щедро, тонко, красочно: «Сердце этой Ласкер... Искусство Эльзы Ласкер-Шюлер родственно тому, что делает её друг Франц Марк. Сказочно пестры их мысли, они подбираются к нам крадучись, как пёстрые звери. Иногда они выходят из леса на просеку, как нежные красные сосули. Спокойно пасутся и с удивлением поднимают стройные шеи, услышав, как кто-то ломится сквозь заросли. Они никогда не убегают. Но предстают перед нами в телесной осязаемости Эльза Ласкер-Шюлер носит своё сердце на груди, на золотой цепочке. Она не ведаёт стыда: каждый может смотреть. (Но она не чувствует, когда кто-то рассматривает её сердце. Да ей, в общем, всё равно). Она любит только себя, знает только себя. Объекты, хранимые в её сердце... суть оловянные солдатикки, с которыми она играет. Но она страдает от этих солдатиков; и когда о них говорит, слова выходят из её нутра стуктами крови».

Готфрид Бенн, врач и поэт, ее большая любовь, получил у нее много прозвищ: он «варвар», он «Гизельхер» (мифологический тигр), он «пруссский Орфей». Готфрид Бенн хорошо знал не только Библию, но и еврейский алфавит: «Ты истинная Рут (Руфь), твой затылок темен от маккавейской крови». Их связи, то страстной, испепеляющей, то граничащей с ненавистью, их параллельным биографиям посвятила целую книгу Хельма Сандерс-Брамс (Helma Sanders-Brahms. *Gottfried Benn und Else Lasker-Schüler*. Berlin, 1997). В 2001 году вышел перевод этой книги

на иврит. Готфрид Бенн, сын протестантского пастора из Пруссии, как и многие другие немцы-интеллектуалы, опьяненный гитлеровскими лозунгами, не постеснялся занять место Арнольда Цвейга в Берлинской Академии, забыв, как помог ему в свое время знаменитый профессор войти в эту академию. Цвейг как и сама Эльза — потомок многих поколений раввинов...



Эльза Ласкер-Шюлер в придуманном и сшитом ею костюме выступает в берлинском кабаре

Что это была за странная связь! «Холодный как Аляска» («Аляска» — название его пьесы), скажет Эльза и еще: «В своей больнице он спускается в склеп и анатомирует трупы, и ничто не может утолить его влечения к разгадке тайны. Он говорит: труп — он мертвый». Они писали стихи друг о друге и друг другу. Он находил какой-то образ, она развивала его по-своему. И наоборот. Оглушившая обоих страсть, потом, разумеется, разлука, но до конца — память и взаимное духовное тяготение друг к другу. После ее смерти он даже женится на женщине по имени Ильзе. В 1952 году, через семь лет после ухода Эльзы и за четыре года до собственной смерти, Готфрид Бенн произнесет речь, где коснется темы фашизма и покается в том, что «большую ложь он принимал с любовью», а Эльзу Ласкер-Шюлер назовет великой немецкой поэтессой. Из воспоминаний Г. Бенна (цит. по основной статье в Википедии):

«Она была маленького роста, стройная, словно мальчик, черные как смоль волосы коротко острижены — в то время такая женская прическа была еще в диковинку, — глаза большие, иссиня-черные, ускользающий, неповтори-

мый взгляд. И тогда, и позднее, стоило только появиться на улице вместе с ней, как весь мир вокруг застывал в изумлении, уставившись ей вслед: экстравагантные широкие юбки или брюки, а выше — еще более немислимое облачение, шея и руки усыпаны броской бижутерией... Питалась она нерегулярно, ела очень мало, неделями могла обходиться лишь орехами и фруктами. Нередко спала на скамьях, бедствовала во всех жизненных ситуациях и на протяжении всех своих дней... И была она величайшей из поэтесс, каких только знала Германия. <...> Ее темы были многослойно еврейскими, ее фантазия имела восточную окраску, но язык ее — немецкий; роскошный, блистательный, нежный немецкий; зрелый, пряный язык, каждым своим побегом произрастающий из самого ядра творческой субстанции. Неколебимо верная себе, фанатичная заклиная самое себя, на дух не перенося все сытое, благонадежное, мисленское, она умела на этом языке выразить свои страсти, не раскрывая потаенного и не раздаривая того, что было ее сущью».

Одну из попыток автобиографии она начинает так:

«Я родилась в Тэбай, хотя свет увидела в Эльберфельде, что в Рейнской области. В 11 лет оставила учебу и стала Робинзоном. Пять лет провела в восточных странах и с тех пор живу как растение».

Полуправда, полувыводка. Только после ее смерти установили точную дату ее рождения, она говорила, будто родилась в 1876 году, и так было написано в поздних документах. На самом деле она родилась на семь лет раньше, в 1869 году.

Эльза была шестым ребенком в семье банкира Ахарона Шюлера. Мать ее звали Жанет Киссинг. В год рождения Эльзы в Германии был принят закон о равноправии граждан без различия происхождения и религии. В том же году скончался главный раввин Вестфалии, в черте которого находился и маленький промышленный городок Эльберфельд, ныне входящий в город Вупперталь. После смерти уважаемого раввина, умевшего оберегать свою общину от идеи ассимиляции, даже в семье Ахарона Шюлера, потомка известной раввинской династии, дети стали учиться в католической гимназии, а один из сыновей, Пауль, чуть было не крестился. Это был самый любимый брат Эльзы, раннюю смерть которого она горько оплакивала, и его именем она назовет потом своего сына. В одиннадцать лет она действительно серьезно заболела и оставила школу, но занималась с частными учителями и очень много читала. Позднее она рассказывала, что школу оставила с радостью, потому что по дороге домой ей и ее брату юные немчики кричали в спину «Нер! Нер!». Эта презрительная кличка евреев, как ей объяснили, была лишь первыми буквами латинского акронима “Hierosolyma est perdita” («Иерусалим потерян»). Тем не менее даже любимая мама не могла унять слез чувствительного ребенка. Чудо волшебного Иерусалима внушил ей брат Пауль, начитанный и тянувшийся к религии юноша. Он прожил всего 21 год, Эльзе тогда было 13 лет. Когда она дожила до его возраста, умерла мать. Ее образ Эльза пронесет через всю жизнь, семь книг она посвятит памяти матери. И даже в старости, в Иерусалиме, будет писать о ней и посвящать ей стихи.

*Свеча горит на моем столе
Памяти мамы всю длинную ночь —
Памяти мамы...*

*Сердце горит в моей груди
Всю длинную ночь —
В память о маме...*

«Для друзей я была как закрытая книга, / Чужестранкой осталась для них» — так чувствовала и писала Эльза Ласкер-Шюлер. Она полагала, что можно объединить любовь к немецкой родине и свое кровное и духовное еврейство. Точно также она составила подробный план, как примирить евреев и арабов. Любовь, веселье должны победить и антисемитизм и межнациональную рознь вообще. Однако она никогда не подавляла в себе национальных чувств, горячо и открыто любила свой народ, его историю и его Книгу Книг. Прославляя «землю евреев», она нередко, мы уже это видели, выбирала своими персонажами библейских героев:

*Как пальма в поле Эстер гибка,
Колосья пшеницы — аромат ее уст.
Праздник вершит Иудея.*

Мы говорили уже о ее дружбе с Францем Марком, писавшем своих лошадей насыщенным темно-синим цветом. Экспрессионисты пытались композиционно острым ритмом передать мистический ужас мятущейся души перед разгулом милитаризма в Германии и Австро-Венгрии до и после Первой мировой войны, они провозглашали идеалы мира, братства народов и человеческого достоинства. И этим были близки Эльзе. В свою очередь она, благодаря своим образным стихам, смелости в поступках и творчестве, внутренней душевной свободе, какой-то перевозчанной чистоте и любви ко всему живому стала для многих из них Музой. Для нее имена Э. Толлер, А. Дёблин, Ф. Верфель были не только именами, это были ее друзья. О, сначала Германия была домом Эльзы Ласкер-Шюлер.

У нее выходят книги, ей устраивают литературные вечера. Эльза может прийти в широких шелковых шароварах и длинной темной блузе, с кинжалом на широком поясе и свирелью, игрой на которой будет сопровождать чтение своих стихов.

Или попросит выключить свет, оставив гореть одну, самую маленькую, и начнет читать, позванивая колокольчиками — в такт стихам.

Как и многие другие писатели и художники, не по доброй воле она покинула Германию, на самом деле, она была изгнана, вынуждена была бежать от фашистов в 1933 году. Всего за год до этого Эльза Ласкер-Шюлер была в зените славы, став лауреатом почетной литературной премии имени Г. Клейста, как все рухнуло в одночасье. На присуждение элитарной премии нацистская газета «Фолькшпер беобахтер» писала: «Еврейские стихи Эльзы Ласкер-Шюлер не служат нашим интересам, мы — немцы...» Кто не покинул Германию, погиб. И философы, и поэты, и композиторы. Но разве она не предрекала этот крах? Разве не она писала, что «планета озверела»?

Многие писатели нашли убежище за пределами Германии — в Англию уехал Артур Кестлер, в США — Лион Фейхтвангер, Макс Рейнхардт.

В Эрец-Исраэль переселились Макс Брод, Мартин Бубер, С. Гронеман, М.Я. Бен-Гавриэль, которого в Германии звали Ойген Хёфлих. Кстати, мало кто знает, что до 1948 года жил в Израиле и Арнольд Цвейг, потом он уедет в Восточную Германию.

С 1939 года окончательно поселилась в Иерусалиме и Эльза Ласкер-Шюлер. Марина Цветаева, уезжая из России, писала: «В завтра путь держу. / В край без праотцев...» Для Эльзы Ласкер-Шюлер Эрец-Исраэль была как раз местом ее праотцев. В Иерусалиме она прожила последние шесть лет. На сердце не жаловалась, но оно было растрчено, истерзано и перестало биться в январе 1945, незадолго до капитуляции фашистской Германии.

*Сердце устало.
На бархате ночи оно отдохнет.
Улягутся звезды, меня охраняя.*

*Серебряных звуков пригорини оставляю ...
Исчезла, но тысячу раз повторяюсь.
Вот я простираюсь над всею землею: шалом.*

*Свой путь завершила финальным аккордом
И тайно ушла как мне Б-г наказал;
Оставив мелодию миру — играйте.*

Поэтические впечатления от Эрец-Исраэль не библейской, а настоящей, Эльза Ласкер-Шюлер выразила до того, как окончательно поселилась в ней. Книга «Страна евреев» вышла в 1937 году, с иллюстрациями автора.

«С вершин Иерусалима взлетает орел, раскидывая крылья перед тем, как спланировать вниз, к ручью, чтобы броситься на свою жертву. Он оправляет перья, одно к одному, как будто направляется на бал. Мне не приходится видеть человека, который бы с таким тщанием, с таким победительным изяществом приводил в порядок свой костюм. С восторгом я вспоминаю могучих птиц, что сопровождали нас на пути нашем по пустыне, их волю и силу. Я еду к морю. Рядом сидит бедуин, в балахоне из атласных полос, голова его повязана оранжевой куфией. Мы говорим по-английски, но я вставляю и несколько слов на арабском, выловленных мною на улице, смысл которых мне непонятен. Живописный пассажир посмеивается исподтишка — и мне ясна причина его усмешки. Впрочем, святая страна — тут все друг друга понимают без слов.

Солнце обнажает тут все и всех ...

Солнце привыкло вставать в пять утра, одарять теплом и будить проспавших — золотом поцелуя. Араб отдыхает в полуденные часы, восточный еврей — под вечер, когда луна провожает его, усталого, домой».

Признаюсь, я взялась за перевод отрывков из ее очерка не только из желания преподнести их вам, мне чудилось, что это способ побеседовать с ней самой. Кажется, я вижу ее и даже слышу ее голос.

Лирический очерк Эльзы Ласкер-Шюлер «Страна евреев» в переводе на иврит называется «Эрец ха-иврим» (говорят, ей нравилось это библейское самоназвание евреев). Он был опубликован в малоизвестном широкой публике кибуцном журнале «Шдемог» (*идема* — поле, нива) и пролежал в моем архиве как в таежной глуши, нечитанным, почти пятнадцать лет. Сейчас он, кажется, переведен на русский язык целиком. Признаюсь, что только слышала или читала об этом. Я же переводила ее, когда еще жива была Женья Фрадкина и с ее благословения.

И вот я с волнением читаю, как Эльза Ласкер-Шюлер, известная немецкая поэтесса, тогда, в 1934 году, еще туристкой, впервые вглядывается в ландшафт Эрец-Исраэль, вслушивается в разноплеменные говоры, встречается с разными людьми, посещает спектакли театра «Габима», ужинает у писателя Шая Агнона.

«Меня пригласили в Тальпиот, один из районов Иерусалима, провести субботу в доме особенно чтимого среди нашего народа писателя и деликатного человека. Выйдя из гостиницы, я заметила, что нижняя часть города,

населенная арабами, освещена яркими вспышками. Больше всего араб любит фейерверк. Но днем этому мешает соперничество солнца... Мы, прохожие, терпеливо ожидаем конца празднества. Тогда я захожу в автобус. Впереди сидят два греческих монаха очень приятной наружности... У старшего волосы завязаны на затылке, у младшего волосы кудрявятся, но они гладко зачесаны как у гранитных статуй греческих юношей в музеях. Людей мало, в автобусах здесь царит покой большого Иерусалима. Автобус-пустыня. Можно без помех взирать на древнюю Стену плача. А вот мы проехали мимо священной гробницы Рахели, любимой жены Иакова. Дважды — семь лет, затем еще семь — отрабатывал он за эту милостивую женщину. Долго добивался молодой наш предок младшей дочери Лавана. И ведь добился своего».

И такой неожиданный скачок мысли: «А народ Израиля отрабатывает за свою страну уже тысячи лет, пусть и с благословения небес, но под постоянной угрозой соперников».

Ну чем не подслушанный монолог в сегодняшнем автобусе?!

Побудем еще несколько минут в обществе Эльзы Ласкер-Шюлер, коль скоро она сделала нас своими спутниками. Мы помним, что она могла жить, где попало и как попало, притащила к себе как-то в бедный номер гостиницы старое кресло и, назвав его тронем царя Давида, почувствовала себя царицей... Но Агнону, знаменитому писателю, положены настоящие хоромы. И что же она видит?

«Агнон и его добросердечная супруга ждут меня на улице. И мы вместе поднимаемся к их дому. Он расположен с краю голой площади, правда, вокруг него зелено, много сиреневых колокольчиков и весенних цветов. И что же? Дом оказался довольно жалкой хижинкой, уютящейся с краю площади, и меня начинает одолевать мысль, как это такой писатель живет в столь скромном жилище? Он наблюдает за игрой детишек... Мы усаживаемся за стол. Все здесь относятся друг к другу с симпатией. У мальчика, ему лет одиннадцать, глаза светлые, у девочки черные. Отец их, поэт, совершив омовение белых, чуть дрожащих рук, произносит благодарственную молитву. Мать улыбается. Это их семья, а я тут — гостья. Еще снаружи я заметила серебряный бокал, который теперь возвышается перед моей тарелкой с цветочным узором. Поэт заполняет мой бокал вином. Я пью за здоровье и счастье домочадцев. И замечаю осуждающий взгляд соседа, долженствующий напомнить, что мы собрались на встречу субботы, а не напойку по случаю дня рождения. Но я отворачиваю лицо и направляю взгляд на семь белых свечей в субботнем подсвечнике, на их маленький чистый свет».

И кто же сидел по соседству — мальчик? Или другой, неназванный гость? Выдумала про осуждающий взгляд или почувствовала, что кто-то сторонний наблюдает за ней? Нам об этом не узнать.

Но чем-то этот текст гипнотизирует. Он как продолжение ее поэзии. Еще одна щелочка — не проникнуть, но хотя бы заглянуть в мир поэта, который на равных общается с героями Танаха, надевает на себя разные маски и с легкостью живет в них, но и с неподдельным интересом изучает нынешних обитателей земли обетованной. Особенно близки ей, и это понятно, ибо они привиделись ей еще с юности, восточные типажи, вот они — это выходцы из Бухары, Йемена и арабы. В ее иллюстрациях к рассказу и рисунках той поры на фоне фантастических видов Иеруса-

лима — не менее фантастические типы в турецких фесках, арабских куфиях, тут же юноши в пейсах и кипах. Она может соединить их и в одном рисунке, где над толпой возвышается фигура в белом талите и надписать ее «Дер Вундер-рабби» («Раби, творящий чудеса»? Или «Удивительный рабби?»).

Итог ее наблюдений и размышлений сводится к простейшей формуле: этой земле нужен мир — и между людьми и между народами. Звучит это искренне, немножко наивно, но не забудем, что писалось это в конце 30-х годов прошлого века. Из Эрец-Исраэль она еще возвращалась в Швейцарию, куда ей удалось сбежать от нацистов тогда, в 1933 году, без вещей, первым поездом — после того, как ее до крови избili на улице коричневорубашечники, Боже, в ее любимом Берлине! Она издаст свою книгу «Страна евреев» в 1937 году, снова придет в Иерусалим, и опять уедет, но в 1939 году поселится в Иерусалиме, в гостинице с названием «Вена», и доживет здесь свою странную жизнь, счастливую свободой, друзьями, событиями и впечатлениями, и одновременно трагическую, холодную, одинокую, мало кому понятную. Точно также как Эльза Ласкер-Шюлер запретила переводить свои стихи на иврит, она не разрешала и фотографировать себя. Но еще в первый свой приезд она попала на выставку художника Мирона Симы. Они почти подружились, и хотя Эльза и не позировала специально, но узнавала художника и не мешала ему работать. А Мирон Сима иногда специально ходил в кафе «Зихель», чтобы сделать еще эскиз, и еще...

Ему мы обязаны тем, что можем видеть ее изображения последнего периода жизни. Иногда он делал свои зарисовки, когда она его вообще не замечала.



Мирон Сима 1944

Эльза Ласкер-Шюлер. Худ. Мирон Сима, 1944

...В причудливой странной одежде она бредет по сумеречным — будто со вчерашнего вечера — улочкам Иерусалима. Добрые скажут вслед: *бедная*, злые: *ведьма с клюкой*. Но все-таки понемногу светает...

Она заходит в кафе «Зихель», садится, к ней подходит официантка, в руках у нее несколько тарелок. И вдруг те, кто сидят ближе, слышат голос Эльзы, одновременно глухой и глубокий как древний колокол: «Лола, Лола!» — «Нет, это

не Лола!» — официантка отвечает ей ласково, так говорят с ребенком. Поэтесса не подняла глаз, ей неинтересно ни видеть, ни слышать. «Было ясно, что реальность не заботила ее, зачем с нею считаться, у нее — другая реальность», — скажет Лея Гольдберг, обожавшая поэзию Эльзы Ласкер-Шюлер. А Эльза продолжала, будто пела, наслаждаясь самим звуком имени: «Лола, Лола!»

Даже после смерти не было ее душе покоя. После Шестидневной войны оказалось, что памятник ей на Масличной горе разрушен, пришлось искать могилу и все восстанавливать.

Моти Лернер написал пьесу об Эльзе, Ади Ацион-Зак поставила и сыграла монодраму «Черный лебедь», Циши Флейшер, Гиль Шохат и другие писали музыку на стихи поэтессы.

*Приди ко мне ночью — мы заснем, обнимая друг друга.
Я одинока и бодрствую слишком много. Устала.*

*Незнакомая птица поет мне во тьме рассвета,
А сон все борется — с тобою и со мной.*

*И распускаются цветы у родников,
Раскрашиваясь красками бессмертия
твоих глаз.*

*Приди же ночью в семизвездных башмаках,
Окутанный любовью — в мой шатер.
И месяц выйдет из небесно-пыльного ковчега.*

*Мы отдохнем в любви как редкие два зверя,
В высоком тростнике по ту сторону света.*

(«Песня любви»)

Лея Гольдберг чувствовала, что найдет сегодня Эльзу в кафе «Зихель». В странной и смешной шляпке, Эльза сидела, как обычно, отрешенная, одинокая, одна в мире. Лея решила сказать, наконец, Эльзе Ласкер-Шюлер, как она любит ее поэзию, но снова постеснялась. Все почему-то чувствовали себя перед ней виноватыми. Лея вышла из кафе, купила букетик синих фиалок, вспомнив стихи Эльзы о ее роде такого же синего цвета. Вернулась в кафе и робко поднесла свой букетик поэту. Увидев на столике перед собой цветы, Эльза будто очнулась, подняла голову и, кажется, улыбнулась... Или Лее это показалось?..

Первая публ. в сокращенном виде: «Новости недели», приложение «Еврейский камертон», июнь 2015



Игорь Ефимов

ЗАКАТ АМЕРИКИ

САРКОМА БЛАГИХ НАМЕРЕНИЙ

(продолжение. Начало в №1/2015 и сл.)

5. В СЕМЬЕ

Я сколько ни любил бы вас,
Привыкнув, разлюблю тотчас.
А. Пушкин. «Евгений Онегин»

В течение 20-го века американская семья претерпела невероятные трансформации, и законодательство явно не поспевало отражать происходившие перемены. Когда Элеанор Рузвельт в 1918 году случайно узнала, что у её мужа, отца их пятерых детей, пылает роман с её секретаршей, это было для неё шоком, перевернувшим всю жизнь. Восемьдесят лет спустя, когда разразились публичные скандалы из-за открывшихся связей президента Клинтона, его жена, Хилари Клинтон, приняла это довольно спокойно и умело использовала ситуацию как трамплин для собственной политической карьеры.

За эти годы тихо и незаметно ушёл в прошлое ужас перед браком, не освящённым церковью. Жених, ожидающий, что его невеста окажется девственницей, может стать предметом насмешек. Рождение ребёнка от неизвестного отца или даже с помощью спермового банка не бросает тёмного пятна на репутацию женщины. Внебрачное сожительство по системе бой-френд/гёрл-френд не вызывает возражений ни у его, ни у её родителей. Развод сделался таким повседневым явлением, что дети путаются в нумерации мужей своей матери.

Противозачаточная таблетка, вошедшая в обиход в 1960-е годы, произвела настоящую революцию, но одновременно обострила борьбу вокруг проблемы аборт. Тут дело порой доходило до кровопролития.

Вера в то, что всякий аборт есть убийство невинного и незащитного человеческого существа по капризу его жестокой и безответственной матери, проникла в миллионы сердец и толкала людей на борьбу. Фанатики этой веры доходили до поджогов клиник и убийства врачей. Штатные законодательные собрания по-разному реагировали на возникшую бурю. В конце концов, Верховный суд согласился вмешаться и в 1973 году вынес постановление по делу, вошедшему в историю как «Jane Roe v. Wade»: «Право на аборт является конституционным правом каждой женщины, если плод не достиг той стадии, когда он может самостоятельно существовать вне материнской утробы».¹

Это решение до сих пор подвергается яростным нападкам. Противники аборт (они называют себя «за жизнь») доказывают, что нигде в Конституции нет таких слов, а наоборот, право на жизнь объявлено главным правом, дарованным человеку самим Творцом. Они утверждают, что после опубликования решения

Верховного суда это право было нарушено в стране 50 миллионов раз. От врачей, совершающих аборт, требуется немалое мужество, ибо пуля страстного защитника нерождённых может поразить его в любой момент. Сама Норма Маккорвей, истица в деле *Jane Roe v. Wade*, изменила свою позицию, присоединилась к движению «за жизнь» и утверждает, что вчинила свой иск в 1972 году под нажимом и при дезинформации со стороны сторонников движения «за выбор» (то есть за разрешение аборт).²

Не менее страстные дебаты кипят вокруг вопроса: должен ли закон давать однополым парам те же права, какими пользуются обычные семейные союзы.

Защитники равноправия для гомосексуалистов изобретательно и неутомимо отстаивают свои главные тезисы:

Запрещать гомосексуальные браки — это такая же дискриминация, какая проявлялась в законах, запрещавших браки белых с чёрными.

Гомосексуалистами люди рождаются не по своей воле, поэтому они должны пользоваться теми же правами, что и остальные граждане.

Нелепо говорить о священности брачного института, когда 50% браков в стране кончаются разводом.

Детям нужна любовь родителей, и устойчивая гомосексуальная пара может надёжнее обеспечить заботу о них, чем разведённые родители.

10% населения — гомосексуалисты.

Борцы с распространением гомосексуализма возражают им с неменьшей страстью и убеждённостью:

Термином «дискриминация» можно клеймить любой закон, ибо каждый закон что-то запрещает.

Гомосексуализм есть свободный выбор определённой формы сексуального поведения и, при желании, может быть изменён с помощью специальной терапии, разработанной доктором Робертом Спитцером.³

Высокий процент разводов имеет место по многим причинам и не может ставить под сомнение огромную важность традиционной семьи.

Нет исследований, доказывающих, что гомосексуальные пары способны вырастить детей, хорошо приспособленных к жизни в современном обществе.

Цифра 10% взята из устаревшего отчёта Кинзи и много раз была дискредитирована. Недавнее исследование Чикагского университета дало 2,8% для мужчин и 1,4% — для женщин.⁴

Победа в этих спорах явно склоняется на сторону защитников гомосексуальной любви. На сегодняшний день более тридцати штатов узаконили однополые браки с предоставлением тех же льгот, какие имеют традиционные пары (например, совместная оплата налогов, совместная медицинская страховка, право наследования и т.д.). Остаётся дождаться первого развода гомосексуальной пары, чтобы увидеть сохранил ли свою силу идол равноправия и по отношению к этому важнейшему акту.

Однако в пылу полемики, кипящей вокруг аборт и гомосексуализма, на задний план отступили гораздо более обширные и глубинные перемены, происшедшие с американской семьёй в течение последнего полувека.

В этих переменах огромную роль сыграл экономический фактор.

Вплоть до 1950-х годов традиционная семья была гарантом нормального существования для подавляющего большинства американцев. Если муж имел надёжную работу, этого было достаточно, для того чтобы жена оставалась дома, заботилась о детях и хозяйстве, поддерживала тёплые отношения с соседями и родственниками. В 1963 году 80% матерей не ходили на службу.⁵ Общение за семейным столом было для подрастающего поколения важнейшей школой, где оно обучалось правилам поведения людей по отношению друг к другу, узнавало, какие поступки и слова вызовут одобрение, какие — осуждение.

Но начиная с 1960-х, всё больше и больше семей попадало в финансовую ситуацию, требовавшую, чтобы оба супруга получали зарплату. Далеко не всегда это была настоящая нужда. Чаще соблазны большего комфорта, улучшения школы для детей, более просторного жилья толкали женщин овладеть подходящей профессией и поступать на службу.

В этом же направлении их подталкивало и начавшееся в послевоенные годы мощное движение феминизма. Красноречивые писательницы, актрисы, журнальщицы одна за другой присоединялись к этому движению, объявляли традиционную роль жены и матери просто «комфортабельным рабством», призывали женщин любой ценой добиваться независимости. Любые разговоры о том, что в каких-то профессиях женщины не могут сравняться с мужчинами и заменить их, клеймились как «мужской шовинизм».

Большую роль в ослаблении семейных связей играла возрастающая мобильность населения. Превосходные дороги, обилие автотранспорта позволяли и мужчинам, и женщинам поступать в учреждения, находившиеся в десятках миль от их дома. Если фирма решала переехать или перевести кого-то из супругов в отделение, находившееся в другом штате, очень редко кто-то мог позволить себе отказаться по семейным обстоятельствам. Для многих детей отец и мать превращались в визитёров, появлявшихся в их жизни по воскресеньям и праздникам.

Как ни странно, улучшение жилищных условий тоже ослабляло семейные связи. Дедушки и бабушки получили возможность жить отдельно, их участие в воспитании внуков делалось мало заметным. Всё чаще подросток получал отдельную комнату в 10-12 лет и мог укрываться там от родителей со своим радиоприёмником, телевизором, компьютерными играми. В семье наших друзей четырнадцатилетний сын повесил на дверях своей спальни табличку: «Без разрешения не входить».

И конечно — облегчение процедуры развода.

Правила развода в США изначально находились полностью в сфере юрисдикции отдельных штатов. До середины 20-го века сторона, подающая на развод, должна была указать какую-то причину, «вину» супруга. Достаточными считались измена, жестокое обращение или физическое отсутствие, когда муж или жена просто покидали дом и семью. В 1963 году всего лишь 5% американских семей имели в своём составе супруга, прошедшего через развод.⁶

Но с начала 1960-х Общенациональная ассоциация женщин-адвокатов начала усиленно лобировать принятие законов, отменявших фактор «вины». Достаточно, чтобы один из супругов объявил об исчезновении любовного чувства или непримиримых разногласиях, и суд принимал к рассмотрению дело о расторжении брака. Сторонам разрешалось самим выработать условия раздела имущества и заботы о детях. Разногласия по этим вопросам часто выливались в долгие и мучительные судебные разбирательства. Также требовался период раздельного проживания, который отличался от штата к штату. Кто очень спешил, поселялся на два месяца в Неваде. Кроме

того, разрешено было оформлять развод в иностранных государствах, где процедура была очень облегчена: Мексике, Гаити, Доминиканской республике.

Посреди этих революционных перемен каким-то чудом сохранилась традиция, оставляющая за мужчиной право быть инициатором брачного союза, «предлагать руку и сердце». Но запуганные легальными западными супружества женихи не спешили воспользоваться этим правом. Многолетнее сожительство неженатых пар сделалось нормой. Однако эта уловка помогает далеко не всегда. Если бой-френд попытается покинуть свою подругу, очень велика вероятность, что она найдёт цепкого адвоката и сердобольного судью, которые судебным порядком заставят его всю жизнь расплачиваться за свою «жестокость».

Развал американской семьи обходится стране недёшево. 41% детей рождаются у незамужних или брошенных матерей. Они сразу получают помощь от государства в виде медицинского обслуживания, жилья, бесплатных продовольственных талонов (food stamps). В 1974 году на талоны было истрачено из бюджета 4 миллиарда долларов. В 2011 эта цифра подскочила до 77 миллиардов.⁷

Устав от поисков надёжного партнёра в Америке, женихи и невесты всё чаще устремляют свои взоры за границу, заводят знакомства через Интернет. Виртуальную связь легко превратить в реальную, ибо любой американский гражданин имеет право запросить для своей избранницы визу на 90-дневный визит, которая так и называется «дневностодневная помолвка». Если знакомство завершится браком, приглашённая невеста (или жених) получает американское гражданство, если нет — возвращается на родину.

Статистика разводов в 1970-80-х годах стремительно пошла вверх. На сегодняшний день Интернет приводит данные последних исследований: половина заключённых в стране браков кончится разводом, средняя продолжительность брачных отношений — 11 лет. Причём, две трети заявлений о разводе поступают от женщин.

Последний факт заслуживает особого внимания.

Доброхоты в судейских мантиях склонны выносить решения, сильно перекошенные в пользу женщин. Как правило, суд оставляет детей у матери, если она того хочет. Естественно, муж будет платить деньги на их содержание до 18 лет, часто его заставят платить и за их обучение в колледже. Имущество делится поровну, но мужа также присуждают выплачивать алименты жене, доходящие до половины его заработков. Американские мужья оказались в ситуации, когда жена может без всякой их вины отнять у них детей, лишит семью и заставить оплачивать её безбедное существование, в котором она будет вольна заводить новые связи, если только не будет пытаться легализовать их.

Растерянность, горе, ярость оставленных мужей часто повергают их в пьянство, болезни, а порой толкают и на преступления. Уголовная хроника переполнена историями мести, в которых жертвами могут оказаться не только бывшие жёны, но и вершители правосудия.

Миллионер Даррен Рой Мак, разволившийся после десяти лет супружества в городе Рено (штат Невада), был взбешён решением судьи, приказавшего ему выплачивать по 10 тысяч долларов в месяц на домашние расходы плюс 850 долларов на ребёнка (такой потолок штат Невада установил на выплаты для детей). 12 июня 2006 года Даррен Мак зарезал бывшую жену в гараже их дома, а потом отправился к зданию суда, поднялся на крышу здания напротив и из снайперского ружья выстрелил в судью через стекло его кабинета.

Охота за убежавшим миллионером заполняла экраны американского телевиденья в течение двух недель. В конце концов, его обнаружили в Мексике. Он сдался властям, был возвращён в Америку, на суде признал себя виновным и получил свой срок.⁸ Судья выжил, и мы не знаем, станет ли он в будущем выносить более мягкие приговоры оставленным мужьям. Знает лишь одно: число убийств, совершённых в Америке на почве супружеских разногласий, продолжает расти. 30% женщин, погибших насильственной смертью, были убиты своими партнёрами.

Некоторые из этих убийств имеют явно корыстные мотивы: получение наследства или страховой премии. Но очень многие совершаются в припадке слепой ярости, когда преступник не имеет никаких шансов уйти безнаказанным. Романы, фильмы, пьесы переполнены драмами, описывающими семейные раздоры, кончающиеся кровопролитием. Поневоле рождается мысль, что прожить в мире и согласии супругам, получившим равные права, стало гораздо труднее. Понятие «глава семьи» постепенно исчезает из обихода. Один наш знакомый хвастливо объявлял, что главенство принадлежит ему, ибо он распоряжается чековой книжкой. После пятнадцати лет жене это надоело, она ушла и через суд заставила его «распоряжаться чековой книжкой» в свою пользу.

Полигамия запрещена в Америке во всех штатах. Однако этот вариант устройства семейных отношений упорно возрождается в обход закона, а иногда и бросая ему прямой вызов. По крайней мере, две полигамные семьи с успехом появлялись каждую неделю на телевизионном канале TLC (*The Learning Channel*), участники передач подробно рассказывали о своих отношениях, о детях, о бытовых и эмоциональных проблемах и о путях их преодоления.

Глава одной из семей, Брэди Вильямс, работает администратором в строительной фирме своего брата. Он живёт неподалёку от Солт Лэйк Сити вместе со своими пятью жёнами и двадцатью четырьмя детьми, в возрасте от двух до двадцати лет. Семья не принадлежит к мормонской церкви, хотя связана родственными связями со многими мормонами, которые молятся за них и призывают покаяться. Несмотря на угрозу судебного преследования, семья решилась появиться на телеэкране, чтобы ослабить стигму, до сих пор лежащую на их выборе.

То, что угроза реальна, подтверждает судьба другой семьи, которая раньше появилась на телеэкране в программе «Жёны-сёстры». Она сделалась предметом расследования со стороны штатного прокурора, и глава её, Коди Браун, был вынужден переехать в Неваду вместе со своими четырьмя жёнами и детьми.

Но самая мощная атака на полигамный выбор произошла 3 апреля, 2008 года, в маленьком городке Эльдorado, штат Техас. Ранним утром отряды полиции и части спецназа, вооружённые автоматическими и снайперскими винтовками, поддержанные с воздуха вертолётами, вторглись в жилой комплекс, окружавший четырёхэтажный белый храм, принадлежавший радикальной секте полигамистов FLDS (Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter Day Saints — Фундаменталистская церковь Иисуса Христа и святых Последнего дня). Поводом для рейда послужил телефонный звонок (впоследствии оказавшийся ложным), извещавший власти о том, что в этом жилом комплексе регулярно совершаются сексуальные насилия над детьми. Полиция не обнаружила ни оружия, ни наркотиков, дети выглядели весёлыми и здоровыми, их матери в строгих платьях до земли никак не походили ни на преступниц, ни на жертв преступления. Тем не менее, все дети моложе семнадцати лет (их оказалось несколько сотен) были погружены в автобусы и увезены в военные казармы и приюты.

Общественное мнение было возмущено такими массовыми насилиями, вторжением в частную жизнь. Десятки адвокатов кинулись защищать матерей, разлучённых с детьми, знаменитый телеобозреватель Ларри Кинг пригласил нескольких из них выступить в его программе. Верховный суд Техаса объявил рейд незаконным и приказал вернуть всех детей матерям. К суду были привлечены только несколько мужчин, вступивших в брачные отношения с несовершеннолетними и имевших от них детей. Эти получили тюремные сроки от восьми лет до пожизненного.

Конечно, многожёнство не может разрешить кризиса американской семьи в общенациональном масштабе. Оно оставляет заведомо одиночками и несчастными тех юношей, которым жёны не достанутся. Не исключено, что это соображение сыграло свою роль в том, что мормонская церковь в 1890 году отказалась от этого важного догмата в своём вероучении. (Отказ от проповеди полигамии был выдвигнут Конгрессом как условие дарования Юте права сделаться штатом.) Однако упорство, с которым и мужчины, и женщины, вполне достойные, разумные, трудолюбивые идут на нешуточный риск, добровольно выбирая эту экстравагантную форму супружества, явно указывает на то, что с традиционной формой что-то зашло в тупик.

В начале 1870-х Лев Толстой написал в письме своему другу Страхову:

«При нынешнем развитии огромных городов, правила моногамных и целомудренных отношений между мужем и женой становятся невыполнимыми. Женщина теряет возможность рожать примерно на 20 лет раньше, чем мужчина утрачивает интерес к плотским отношениям и исчезает для него необходимость в них. Что же делать мужчине эти оставшиеся двадцать лет? Появление огромного числа женщин лёгкого поведения в больших городах — явление повсеместное и неизбежное. Представьте себе город Лондон без его восьмидесяти тысяч магдалин. Что бы стало с семьями? Много ли удержалось жён, дочерей чистыми? Мне кажется, что этот класс женщин необходим для сохранения семьи при теперешних усложнённых формах жизни».

Усилиями благонамеренных проституция была запрещена в Америке уже в начале 20-го века во всех штатах, кроме Невады. В крупных городах полиция даже завела специальные «Отделения по борьбе с пороком». Сотрудники этого отдела, напав на короткие юбки и взгромоздившись на высокие каблук, планируют по темнеющим улицам, подлавливая истосковавшихся по ласке мужчин. Дальше следует арест, ночь в камере, короткий суд, штраф, а для рецидивиста возможно и тюремное заключение.

В 1980-х годах возникло не очень многочисленное, но очень живучее движение, называющее себя «Любовь без границ» (“Love without Limits”). По словам неофициального лидера этого направления, Деборы Анапол, в цивилизованном мире моногамия превратилась в миф, ибо практически не осталось людей, которые прожили бы всю жизнь с одним партнёром, никогда не нарушив обета верности. Разве так уж страшно, если кто-нибудь выберет жизнь в группе любящих друг друга мужчин и женщин, вместо того чтобы прятаться в мотелях и на автомобильных стоянках?⁹

Здесь будет уместно выйти из рамок сегодняшнего дня и взглянуть на устройство семьи у других народов и в другие века.

Творец, которого сегодняшний вербальный этикет велит именовать Природой, создавая живые существа, должен был озаботиться тем, чтобы они исправно

воспроизводили себя, рожали новые поколения. Взаимное влечение самцов и самок исправно служило этой цели вот уже несколько миллионов лет, следуя принципу: «чем больше, тем лучше». Но возникновение человеческого социума усложнило задачу. Социуму было нужно, чтобы люди не только рожали детёнышей, но чтобы они заботились о них и дальше, охраняли, защищали, обучали трудовым навыкам, приучали к правилам взаимоотношений с соплеменниками.

У всех известных нам племён и народов для этой цели возникали те или иные формы семейных союзов. Не обязательно главой этих союзов был мужчина. Рудименты эпохи матриархата сохранились до сих пор в обычаях племён, придерживающихся полиандрии (одна жена имеет несколько мужей): масаи в Африке, шерпа в Азии, гиляки на Сахалине, обитатели Тибета. Однако к 21-му веку моногамная форма сделалась доминирующей на земном шаре.

Тут-то и возник мучительный конфликт между зовом природы — «чем больше, тем лучше» — и требованием социума — «сохранять верность одному супругу». Оказалось, что примирить эти два принципа очень нелегко. В древности применялись довольно крутые меры для сохранения семьи: побивание камнями «изменниц» у иудеев, утопление в болоте у галлов-франков, обезглавливание у мусульман, выжигание позорного клейма у европейцев. Католическая церковь запрещала разводы, поэтому любвеобильным мужчинам не оставалось иного выхода кроме убийства жены или хотя бы отправки её в монастырь. Кто знает: если бы Генриху Восьмому разрешили разводиться, а Мартину Лютеру, изнывавшему в монастыре под обетом безбрачия, разрешили жениться, может быть, протестантская революция не запыхлала в Европе 16-го века и не расколола мир западного христианства надвое.

Сегодня в цивилизованных странах цельность семьи пытаются сохранять при помощи одних только моральных увещаний. Облегчение развода считается достаточным средством для утоления зова природы. Однако опыт последних десятилетий явно показывает, что развод — не панацея. Миллионы мужчин и женщин продолжают ценить свои отношения друг с другом, семейное тепло и не знают, как совместить эти чувства с другим зовом природы: *неудержимой тягой к новизне*. Скандальная хроника любовных «измен» актёров, министров, президентов, банкиров, дипломатов, музыкантов, принцев и принцесс, рискующих крахом семьи и карьеры ради нескольких украденных объятий, ясно показывают нам, насколько могуч этот второй зов.

Если когда-нибудь будет написано исследование «Наркотик новизны», материалом для первых глав его вполне могли бы послужить персонажи и судьбы, включённые уже в Ветхий завет.

Что заставляло библейского Иакова покидать шатёр любимой жены Рахили, проводить ночь с менее любимой Лией, а потом отвлекаться ещё и на служанок? Наркотик новизны.

Что толкало царя Давида, при всех его жёнах и наложницах, добывать себе ещё и Вирсавию, подстраивая убийство её мужа? Наркотик новизны.

Почему царь Соломон неутомимо пополнял свой гарем моавитянками, иду-меянками, сидонянками, хеттеянками и не мог остановиться? Всё потому же.

Из-за чего впал в тоску мудрый царь Экклезиаст? Из-за того, что увидел: «Нет ничего нового под солнцем» (Ек. 1:9).

Особое внимание в исследовании «Наркотик новизны» должно быть уделено нашим отношениям с произведениями искусства. Разве кому-нибудь придёт в

голову требовать, чтобы человек наслаждался всю жизнь только музыкой Моцарта, только стихами Пушкина, только пьесами Шекспира, только фильмами Феллини? Почему же мы ждём, что кто-то может быть удовлетворён жизнью с одним единственным партнёром?

В массовых празднествах многих народов явно просвечивают попытки утолить жажду человека к новизне в сексуальных отношениях. Вахханалии у древних греков, храмовые оргии у вавилонян, карнавалы и маскарады в Средневековой Европе, ночь на Ивана Купала у славян — всё это давало выход второму зову природы.

В последнем томе нашего воображаемого исследования должны появиться президент Франклин Рузвельт с Люси Мерсер и Мисси Лехэнд, президент Джон Кеннеди с Джудит Кэмпбелл-Эснер, Марлен Дитрих и многими другими, президент Билл Клинтон с Джениффер Флауэрс, Полой Джонс и Моникой Левински. Но особого внимания заслуживает история отношений Ричарда Бартона и Элизабет Тэйлор.

Когда эти двое встретились в Италии в 1962 году на съёмках фильма «Клеопатра», оба состояли в браке, имели детей. Роман между ними загорелся неудержимо. Возможно, он ещё разогревался пылкими словами диалога, которыми обменивались Антоний и Клеопатра под объективом кинокамеры.

— В тебе соединилось всё, что я люблю на этом свете!

— Мир без тебя, Антоний, это мир, в котором я жить не хочу!

Разрыв с прежними супругами дался обоим нелегко, на него ушло два года. Но весной 1964 года обряд бракосочетания был совершён: для Бартона во второй раз, для Тэйлор — в пятый.

Дальше начинается десятилетие, заполненное съёмками в лучших голливудских фильмах, миллионными гонорарами, попойками, смертельными ссорами, разрывами и пылкими возвращениями друг к другу. Первый развод они оформили в 1974 году, но год спустя снова кинулись друг к другу и поженились во второй раз в новой-новой стране — африканской Ботсване. Их окружали новые звери — бегемоты и носороги, а новизна обстановки усугублялась тем, что в бедной столице Габороне никто не видел их фильмов, никто не узнавал на улицах и не просил автографов.

Увы, через год новизна испарилась, они снова развелись, завели новых партнёров. Только через несколько лет, когда третья жена оставила спивающегося Бартона, Элизабет примчалась к нему и была готова выйти за него в третий раз. Он снова был для неё новым, непредсказуемым, бесценным. В их драме жажда наркотика новизны являет себя с наглядностью научного эксперимента, они приносят наркотику в жертву душевную близость, тепло, взаимопонимание и любовь, которая жила в их сердцах до конца жизни обоих.

Поневолу в голову закрадывается мысль: а не доживём ли мы до такого момента, когда в Америке начнётся движение за легализацию жажды новизны? За включение в Декларацию независимости четвёртого права вдобавок к трём, перечисленным Джефферсоном? Конституционная поправка, добавляющая к праву на жизнь, свободу и стремление к счастью ещё и право на стремление к новизне? Или счастье и так немислимо без новизны, и мы просто стыдливо отводим глаза, когда эта простая и страшноватая истина всплывает перед нами в миллионах жизненных драм и коллизий?

Другой возможный вариант: браки будут заключаться не на всю жизнь, а на 20, 15, 10 лет, с правом возобновления по истечении срока, с включением в брачный договор условий раздела имущества, денег, детей. Конечно, армия адвокатов,

зарабатывающая сейчас миллиарды на бракоразводных процессах, восстанет. Но её можно будет успокоить, подсчитав, сколько она теперь будет грести на заключении брачных контрактов и возобновлении-продлении их.

Расширять чьи-то права — такое благородное и увлекательное занятие! Немудрено, что благонамеренные предаются ему с такой страстью. Хорошо бы только при этом помнить, что делать это можно только за счёт отнятия прав у кого-то другого.

Расширяя права ученика, вы урезаете права учителя.

Расширяя права работника, суживаете права работодателя.

Расширяя право на судебное разбирательство, сводите на нет права людей на защиту от вздорных судебных исков.

А чьи права уменьшаются, когда оба супруга получают право на лёгкий развод?

Исчезает, истаявает в воздухе право каждого новорожденного ребёнка на заботу двух родителей, на семейный очаг, на созревание под домашним кровом. Учитель, начинавший свою карьеру в 1967 году, сообщает, что тогда у них в школе был только один ученик, чьи родители развелись. 20 лет спустя их число перевалило за 50%.¹⁰

Сегодня можно считать счастливыми тех детей, над чьей кроватью склоняются и мать, и отец. Мы испытываем невольный толчок умиления, а порой и зависти, когда в воскресный день видим на улице супружескую пару с выводком ребятишек. Куда они направляются? Навестить дедушку с бабушкой? Послушать проповедь в церкви? Позавтракать в Мак-Дональдсе? Посмотреть кино?

А может быть, позагорать, искупаться, поиграть в мяч на природе? Ведь в Америке столько замечательных уголков устроены специально для отдыха мирных граждан.

Что ж, последуем за счастливой семьёй в ухоженный, цветущий, зеленеющий американский парк.

Примечания:

1. Jackson, Gregory. *Conservative Comebacks to Liberal Lies* (Ramsey, NJ: JAJ Publishing, 2006), p. 25.
2. See Internet, Wikipedia, Doctor Robert L. Spitzer.
3. Jackson, op. cit., p. 234.
4. Murray, Charles. *Coming Apart. The State of White America 1960-2010* (New York: Crown Forum, 2012), p. 4.
5. Ibid.
6. Buchanan, Patrick J. *Suicide of a Superpower. Will America Survive to 2025?* (New York: St. Martin Press, 2011), p. 33.
7. See Internet, Gougle, Darren Roy Mack.
8. Anapol, Deborah. *Polyamory in the Twenty-first Century. Love and Intimacy with Multiple Partners*. (New York: Rowman & Littlefield, 2010).
9. Grant, Jim. *The Death of Common Sense in Our Schools and What You Can Do About It!* (Peterborough, NH: Crystal Springs Books, 2007), p. 19.
10. Howard, Philip K. *The Collapse of the Common Good. How America's Lawsuit Culture Undermines Our Freedom* (New York: Ballantine Books, 2001), p. 4-5.

6. В ПАРКЕ

Сначала вымерли бизоны
На островках бизоньей зоны.
Затем подошли бегемоты
От кашля жгучего и рвоты...
Оцепенела вдруг собака,
Последним помер вирус рака...
И только между Марсом, правда,
И тихо умершей Землёй
Ещё курили космонавты
И подкреплялись пастилой...

Глеб Горбовский

У меня сохранилось много фотографий, сделанных во время семейных выездов в мичиганские парки в первый год нашего пребывания в Америке — 1979.

Вот наши дочери купаются в озере.

Вот младшая счастливо хохочет, раскачиваясь на качелях.

Вот я с гордостью сажаю её в надувную лодку, купленную на заработанные деньги, и мы готовимся уплыть в неведомые дали.

Вот моя жена, Марина, чистит пойманную мною рыбёшку, а я разжигаю костерок для священнодействия — варки ухи.

Если бы эти фотографии увидел сегодняшний страж парковых законов, рейнджер в зелёной форме и шляпе с полями, он насчитал бы в них с десяток грубых нарушений, за которые, по нынешним правилам, полагаются штрафы, судебные слушанья, а то и лишение родительских прав за то, что подвергли детей смертельной опасности.

Начать с купанья.

Сегодня оно разрешено только в тех местах, где присутствует дежурный спасатель. Он сидит на деревянной вышке и всматривается в гущу купальщиков, барахтающихся внутри тесного садка, размером с волейбольную площадку, огороженного канатами на пробковых поплавках. Глубина — не больше полутора метров. Заплать за канаты — нарушение, сразу раздадутся свистки. Не послушаешься, откажешься вернуться — могут удалить из парка или даже оштрафовать.

Кругом — чудесный водный простор, но ты обязан довольствоваться бултыханием в густой толпе, где люди задевают друг друга локтями, плечами, пятками. Половина купальщиков — дети, которые вряд ли выполняют правило «не писать в воду». Ничего не поделаешь — безопасность отдыхающих превыше всего.

Если рабочий день спасателя кончается в пять часов, даже этот огороженный загон становится запретным. Вы хотели искупаться после работы? Забудьте и думать. Проезжая по шоссе, вы видите справа и слева то реку, то озеро. Можете быть уверены, что напоретесь на таблички: «проход запрещён», «купанье запрещено».

«Озеро Ларк Лэйк в Западной Вирджинии было открыто для рыбалки и пикников с 1993 года. Но компания, владеющая озером, заметила, что подростки, пикнирующие там, не отказывают себе и в купаньи. “Рано или поздно кто-нибудь утонет, и на нас подадут в суд,” — решили менеджеры и закрыли доступ к озеру вообще. Люди покупавшие дома в окрестностях, были разочарованы, для многих близость к воде была решающим фактором в выборе места. Но что они могли поделать?»¹

В 1997 году я приехал с визитом в Россию. Гуляя по набережной Невы, с изумлением увидел плывущего в воде человека. Он плыл широкими саженками, с явным

удовольствием, метрах в пятидесяти от берега. Никакой спасательный катер не мчался ему наперерез, никакие полицейские трели не оглашали воздух. На пляже у стены Петропавловской крепости люди загорали, закусывали, входили в неогороженную воду и, видимо, даже не представляли, что это право кто-то может отнять у них, отравить запретами. Неужели американские отцы-основатели должны были ввести в Конституцию пункт о праве каждого гражданина купаться во всех озёрах и реках своей страны, чтобы будущим бюрократам было невозможно лишить его этой радости?

Фотография дочери на качелях может вскоре стать таким же раритетом, каким для нас были фотографии бабушки в карете. По всей Америке детские площадки избавляются от каруселей и качелей. Горки для катанья детей тоже нередко объявляются опасными и либо выбрасываются на свалки, либо продаются с аукциона местным жителям — этим «безответственным» родителям, готовым подвергать смертельному риску собственных малышей.

Фотография в надувной лодке изображает вопиющее нарушение правил: ни на отце, ни на дочери нет спасательного жилета. Так и ждёшь, что из-за обреза выскочит рейнджер и выпишет штрафной билет. Эти стражи порядка часто демонстрируют усердие, выходящее за рамки рационального. Их роль — поддерживать порядок, охранять мирных граждан. Но воры, грабители и насильники редко выбирают парк местом своих преступлений. Рейнджерам приходится отыгрываться на людях законопослушных, дружелюбных, благонамеренных. А это требует известной изобретательности.

Во время пикника в Харриман парке, расположенном к северу от Нью-Йорка, наша приятельница устроилась со своим бутербродом в переносном кресле, поставив его у воды. Рейнджер пошёл к ней и приказал вернуться «в отведённое для еды место», то есть в густое и шумное скопление столов и дымных жаровень.

В другой раз рейнджер в Пенсильванском парке отыскал меня, сидящего с удочкой у ручья, и объявил, что моя машина неправильно отпаркована на стоянке. Он заставил меня — семидесятилетнего — вскарабкаться обратно к месту въезда на довольно крутой холм и переставить автомобиль. Пикантность состояла в том, что на обширной стоянке других машин не было.

На фотографии с варкой ухи запечатлено деяние, за которое можно схлопотать обвинение в поджоге леса. Никаких костров! Огонь разводите только в специальных металлических коробках с решёткой наверху, установленных рядом с врытыми в землю столами и скамьями.

Действительно, гигантские лесные пожары случаются в Америке каждый год и приносят огромный урон. Но вот группа учёных лесоводов обратила внимание на интересный феномен: когда спиливают старое дерево, видно, что на срезе примерно каждый двадцатый круг темнее других. Была выдвинута теория, что это следы пожаров, пережитых деревьями в соответствующий год. Эти ограниченные пожары, случавшиеся от чьей-то небрежности или от молнии, уничтожали мелкий валежник, кусты, сухостой, а крупные деревья выживали. Но решительная борьба с мелкими возгораниями привела к тому, что горы горючего материала накапливались в лесной чащобе годами. Они-то потом и порождали огонь такой интенсивности, что воспламенялись и большие здоровые деревья, превращая округу в пылающий вулкан.

Однако даже в кострах и пожарах не содержится такого количества потенциальных «преступлений», как в кастрюльке с пойманной рыбкой. Ибо главным объектом преследований для рейнджеров являются охотники и рыболовы. Эти окружены таким количеством запретов, правил, ограничений, что обнаружить нарушение и покарать за него не составит труда. Гонения на охотников я знаю

только понаслышке, но, будучи с детства страстным рыбаком, нахлебался в Америке унижений и угроз от рейнджеров без счёта.

Теоретически их задачей является охрана рыбных богатств страны. Категорически запрещено использовать сети и, уж конечно, глушить рыбу взрывчаткой. Большинство американцев настороженно относится к породам, которые невозможно превратить в филе без костей. Из пресноводных они включают в меню только форель, лосося, налима (catfish). Изредка на прилавках магазинов можно увидеть корюшку (smelt) или дальнего родственника сига (shad). Щук, окуней, судаков, карпов и всякую костлявую мелочь станут есть только иммигранты. Но и эти породы окружены строжайшими правилами, указывающими разрешённый вес, размер, количество, сезон ловли.

Однажды мне удалось вырваться на рыбалку в Харриман-парк в будний день. Уже минут через двадцать неведомо откуда рядом со мной возник рейнджер в форменной зелёной шляпе с полями. Первым делом он направился к моему ведёрку и выплеснул его содержимое на землю. Три пойманные рыбёшки размером с ладонь забились на траве. Он аккуратно замерил их и вежливо объявил, что я совершил три нарушения правил, но он выпишет штраф как за два. Окей?

Похоже, он искренне ждал благодарности от нарушителя. Но старый хрыч не оценил доброты стража порядка. Он заявил, что всё это совсем не «окей». Он практически стал орать на лицо, находящееся при исполнении служебных обязанностей. Он обзывал его мелким тираном, отравляющим жизнь мирных граждан. Он кричал, что, если даже всё население Америки выйдет с удочками на берега рек и озёр, это и на одну тысячную не уменьшит число костлявой мелочи, которую вы объявляете нуждающейся в защите. Что никакой нормальный человек не может запомнить все правила, меняющиеся от года к году и от штата к штату. Что разжиревшие, никем не избранные бюрократы сидят в своих кабинетах и выдумывают всё новые и новые запреты, чтобы оправдать своё существование. А вы, молодые и здоровые люди, рвётесь на тёплую и безопасную работу — штрафовать детей и пенсионеров, вместо того, чтобы заняться охотой за преступниками и террористами.

Ошеломлённый рейнджер дописал свой штрафной билетик, положил его на пустое ведёрко и молча удалился. Конечно, рыбалка была безнадежно испорчена. Дома я жирно написал на квитанции «не виновен» и отправил по указанному адресу, приложив письмо, в котором излил свой клокочущий гнев. «Все эти запреты и ограничения не имеют никакого отношения к охране природы, — писал я. — Большинство рыб, снятых с крючка и отпущенных в воду, всё равно погибнут. Но бюрократы в своих кабинетах будут штамповать всё новые и новые правила, чтобы оправдать свою позицию и зарплату».

На вызов в суд не ответил, штраф платить не стал. И ничего — весь конфликт истаял без всяких последствий. Если не считать комка в горле, безотказно набухающего у меня при виде любого «защитника окружающей среды» в зелёной шляпе с полями.

Охрана рыбных богатств океана ведётся ещё более свирепо. Да, мы знаем, что там за горизонтом, в нейтральных водах японский траулер тянет за собой многомильную капроновую сеть, которая губит всё живое. С траулером мы ничего поделать не можем. Но мы отыграемся на любителях. Рыбак, выезжающий на своей лодочке в океан, — забудь о своём конституционном праве на защиту от несанкционированного судьёй обыска. В любую минуту к тебе может подлететь моторка с защитником камбал, трески, полосатых басов, порги, перевероршить твой улов и наверняка найти что-нибудь подлежащее жирному штрафу.

Большинство американцев давно смирилось с этим террором и предпочитают сразу выбрасывать пойманное обратно в воду без разбору. Я мог бы перестать покупать крючки — столько раз извлекал их из брюха потрошимых рыбёшек. Кажется, к обществам защиты пушных зверей уже добавились группы борцов с мучителями-рыболовами. На экране телевизора увидел сердобольную тётку, кричавшую на испуганного рыбака: «А вам бы понравилось, если бы вы потянулись за яблоком, и тут с неба упал железный крюк и вонзился вам в горло?!».

Однако для русского человека отказ от вековой традиции поедания улова невозможен. Это священный завершающий ритуал. Уберите его — и всё счастье рыбалки испарится. С годами я отработал целый набор приёмов, как прятать «незаконную» добычу в кустах и потом незаметно уносить её в автомобиль, где обыск пока запрещён даже рейнджерам. Но в последние годы решил перейти на ловлю исключительно в частных прудах, где ты платишь за вход и куда рейнджерам путь заказан.

Вообще законопослушность американцев поразительна. Страна покрыта лесами, но вход в них практически закрыт. В грибной сезон мы постоянно наталкивались либо на проволочные ограды, либо на плакаты с надписью «не входите», прибитые к каждому пятому стволу на опушке. Ни у кого это не вызывает протеста. А что там делать — в лесу? Только обожжёшься ядовитым плющом или подхватишь смертельно опасного энцефалитного клеща. Мы уж лучше проведём выходной около собственного, хорошо продезинфицированного бассейна — как славно!

Конечно, отнятие качелей у детей и шельмование рыбаков и купальщиков не представляют собой угрозы для судеб страны. Я уделил этим явлениям столько внимания лишь потому, что иррациональный характер движения благонамеренных проявился в них особенно ярко. На самом же деле борьба за тотальную безопасность отдыхающих и защита страждущих рыб являются лишь крошечным фронтом, ответвлением гигантской войны, которая началась всё в те же 1960-е годы. Называется эта война, пользающая в общенациональном масштабе, «Охрана окружающей среды». В ней есть свои знаменитые битвы, свои полководцы, своя тактика, свои флаги — зелёные, и конечно свой упорный, злонамеренный, жестокий враг: индустриально-промышленный капитализм.

Будем справедливы: первые успехи этой войны принесли заметные улучшения в деле очистки воздуха в городах и воды в реках и озёрах. В правление Никсона было даже создано соответствующее министерство: Environmental Protection Agency (EPA). Оно ввело ограничения на допустимое содержание вредных веществ в автомобильных выхлопах и промышленном дыме, таких как свинец, угарный газ, озон.² Воздух и вода в Америке стали заметно чище, но раз созданное министерство не могло почить на лаврах. Оно должно было расширять свою деятельность, чтобы оправдать рост числа чиновников и их зарплат.

Первой крупной жертвой нового отряда бюрократов стал ядохимикат ДДТ, применявшийся в сельском хозяйстве. За его открытие швейцарский химик Герман Мюллер в 1939 году получил Нобелевскую премию. Позднее была обнаружена также его невероятная эффективность в уничтожении малярийных комаров. Несмотря на многие научные исследования, подтверждавшие его безопасность для людей, птиц, рыб и животных, под давлением зелёных, в 1972 году Министерство охраны среды запретило его применение и ограничило производство. В Африке, Азии, Южной Америке после этого возобновились эпидемии малярии, которые унесли сотни тысяч если не миллионы жизней.³

Другой ядохимикат под названием Алар применялся для обработки яблонь. В 2011 году крупнейшая группа благонамеренных защитников природы NRDC (National Resources Defense Council) объявила его причиной рака у детей и сумела раздуть такую панику, что он был запрещён министерством. Позднее подсчитали, что человек должен был съесть 50 тысяч фунтов яблок, обработанных Аларом, чтобы это имело какой-то отрицательный эффект. Другие исследования показали, что одна чашка кофе в двадцать раз более канцерогенна, чем все примеси промышленных ядохимикатов, попадающих в пищу человека в течение дня.⁴ Но дело было сделано, а потребитель не заметил подорожания яблок, связанного с исчезновением важного защитника деревьев от насекомых.

Охрана окружающей среды сделалась любимой формой реализации благих намерений для миллионов людей. Они вступали в добровольные общества по защите меч-рыбы и трески, моржей и пятнистых сов, лесов Амазонки и коралловых рифов Австралии. В штате Нью-Джерси расплодившиеся медведи сделали угрозой для жителей, и было решено выдать охотникам 50 разрешений на отстрел их. В день выдачи лицензий у конторы лесничего собралась толпа сердобольных защитников, в четыре раза превосходившая число охотников. На пляже в Нью-Йорке одна ироничная журналистка стала собирать подписи под призывом запретить hydrogen dioxide. Десятки людей охотно подписывали, не спрашивая, что это такое, и не отдавая себе отчёта в том, что это просто наукообразное название обычной воды: H₂O.

Борьба с глобальным потеплением выплеснулась за границы Америки, превратилась в род профессии для тысяч энтузиастов. Партии зелёных завоёвывают места в парламентах многих европейских стран. Американский лидер этого движения, бывший вице-президент Ал Гор, сделался миллиардером, выпуская книги и фильмы на эту тему, выступая по радио и телевиденью. Ирония состоит в том, что в 1970-е годы зелёные раздували страх перед глобальным *похолоданием*, грозили возвратом ледникового периода.⁵

Достигнуть влияния и власти над людьми легче всего, объявляя себя единственным спасителем их от страшных грядущих бедствий. На этом выросло могущество католической церкви, обещавшей жителям средневековой Европы защиту от мора, посылаемого ведьмами, от немилости Господа, разгневанного на их терпимость к еретикам, от вечного горения в аду за грехи, не искупленные участием в крестовом походе или приобретением индульгенции. Точно так же и коммунисты во всём мире спешили занять позиции защитников трудового люда от происков всеильного и безжалостного капиталиста. Теперь защитники окружающей среды выступают в роли наших спасателей то ли от тотального замерзания, то ли, наоборот, от таянья ледников и нового всемирного потопа.

Количество добровольных сообществ зелёных в Америке перевалило за пятьсот, суммарные пожертвования, получаемые ими на борьбу с индустриальным капитализмом, «разрушающим природу», приближаются к десяти миллиардам долларов.⁶ Но невозможно подсчитать то вздорожание промышленных изделий и энергоносителей, которое индустриальный мир должен перенести на потребителя, подчиняясь всем требованиям, запретам и ограничениям, выпускаемых Министерством охраны природы под нажимом зелёных.

Милтон Фридман в своей книге «Тирания статус кво» объясняет, каким образом правительство заставляет потребителя расплачиваться за его прожекты, нацеленные на охрану окружающей среды. «При помощи *регулирования* законодатели могут распоряжаться нашими деньгами без введения дополнительных нало-

гов. Допустим, они вводят регулирование выхлопных газов автомобилей. Производители должны потратить несколько сотен долларов на соответствующие изменения конструкции в каждом автомобиле и перенести этот расход на покупателя. Важное отличие от налогообложения состоит в том, что ни законодатель, ни избиратель, ни владелец автомобиля не в силах определить, какова величина этих расходов, и не может решить, стоят ли того достигаемые улучшения.»⁷

Азот, кислород и углекислый газ составляют атмосферу земли. Содержание углекислого газа ничтожно: 38 молекул на 100 тысяч молекул воздуха. Однако он играет важную роль в процессах фотосинтеза. Было подсчитано, что промышленные выбросы в атмосферу добавляют по одной молекуле к 38 каждые пять лет. Этого оказалось достаточно, чтобы Министерство в 2009 году внесло углекислый газ в список «загрязнителей» и установило стандарты на его допустимые выбросы для всех процессов, включающих сжигание углеводо⁸.

Борьба за чистоту питьевой воды ведётся на многих уровнях, городские, штатные, федеральные чиновники отвечают за то, чтобы ничто вредное не попало в чайники и кофейники американцев. А что может быть вреднее микробов? Чем меньше микробов в воде, тем лучше, — кто посмеет спорить с этим?!

Нет, только не я. Раз учёные нашли, что добавка хлорина к питьевой воде — наилучшее средство против микробов, нам — невеждам — лучше помалкивать. Помню, как мы взяли с собой одну нью-йоркскую даму на рыбалку в большом водохранилище, снабжавшем гигантский город водой. Поначалу она была в прекрасном настроении, любовалась природой, читала нам стихи. Но вдруг страшная мысль осенила её.

— Постойте, постойте, — сказала она. — Вот эта рыбка, которую вы поймали, — она ведь живёт в этом водохранилище?

Мы подтвердили.

— И миллионы других рыб — тоже?

— Конечно, где же ещё. Что вас так встревожило?

— Но ведь все они *писают в воду!* А мы потом пьём её!

Понятно, что после такого открытия никакие антимикробные добавки не будут казаться этой даме достаточными. У меня одна беда: на хлорированную воду мой организм безотказно реагирует изжогой. Полагаю, что и у миллионов других американцев — тоже. Недаром же целые полки в аптеках заставлены лекарствами от изжоги, которая по-английски называется «ожог сердца» — heartburn.

Видимо, штаты состязались в повышении дозировки хлорированных добавок к водопроводной воде. Например, я заметил, что Нью-Джерси обогнало в этом святом деле Пенсильванию. Поэтому если мне на пути в гости к дочери хотелось взбодриться чашкой кофе, я знал, что лучше дождаться пересечения границы между штатами.

Кроме того, я стал покупать для чая и супа галлоны с родниковой водой. Причём искартакие, на которых было написано «без хлорина». Увы, вскоре такие бутылки исчезли, и я понял, что доброты, борющиеся с микробами, добрались и сюда.

Что оставалось делать? Я перешёл на бутылки, на которых написано «дистиллированная». Изжога исчезла, и мне остаётся только молить небеса, чтобы благонамеренные воители с микробами не ринулись защищать меня от пока ещё не запылённого hydrogen dioxide.

(продолжение следует)

Примечания:

1. Howard, Philip K. *The Collapse of the Common Good. How America's Lawsuit Culture Undermines Our Freedom* (New York: Ballantine Books, 2001), p. 4-5.
2. Horowitz, David, & Laksin, Jacob. *The New Leviathan. How the Left-Wing Money Machine Shapes American Politics and Threatens America's Future* (New York: Crown Forum, 2012), p. 133.
3. Там же, стр. 134.
4. Там же, стр. 137.
5. Там же, стр. 146.
6. Там же, стр. 156.
7. Friedman, Milton and Rose. *Tyranny of the Status Quo*. (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1984) p. 14.
8. Horowitz, op. cit., pp. 130-131.



Журнал «Семь искусств» № 6 (63) /2015 — Ганновер:
Семь искусств. 2015. — 401 с., 23,8 а.л.

© Евгений Беркович (составление и редактирование)
Компьютерная верстка: Марина Жукова



Семь искусств
Ганновер 2015

Семь свободных искусств - основа воспитания, которое надлежит давать не для практической пользы, но потому, что оно достойно свободнорожденного человека и само по себе прекрасно.

Аристотель. "Политика"



9 781716 933547